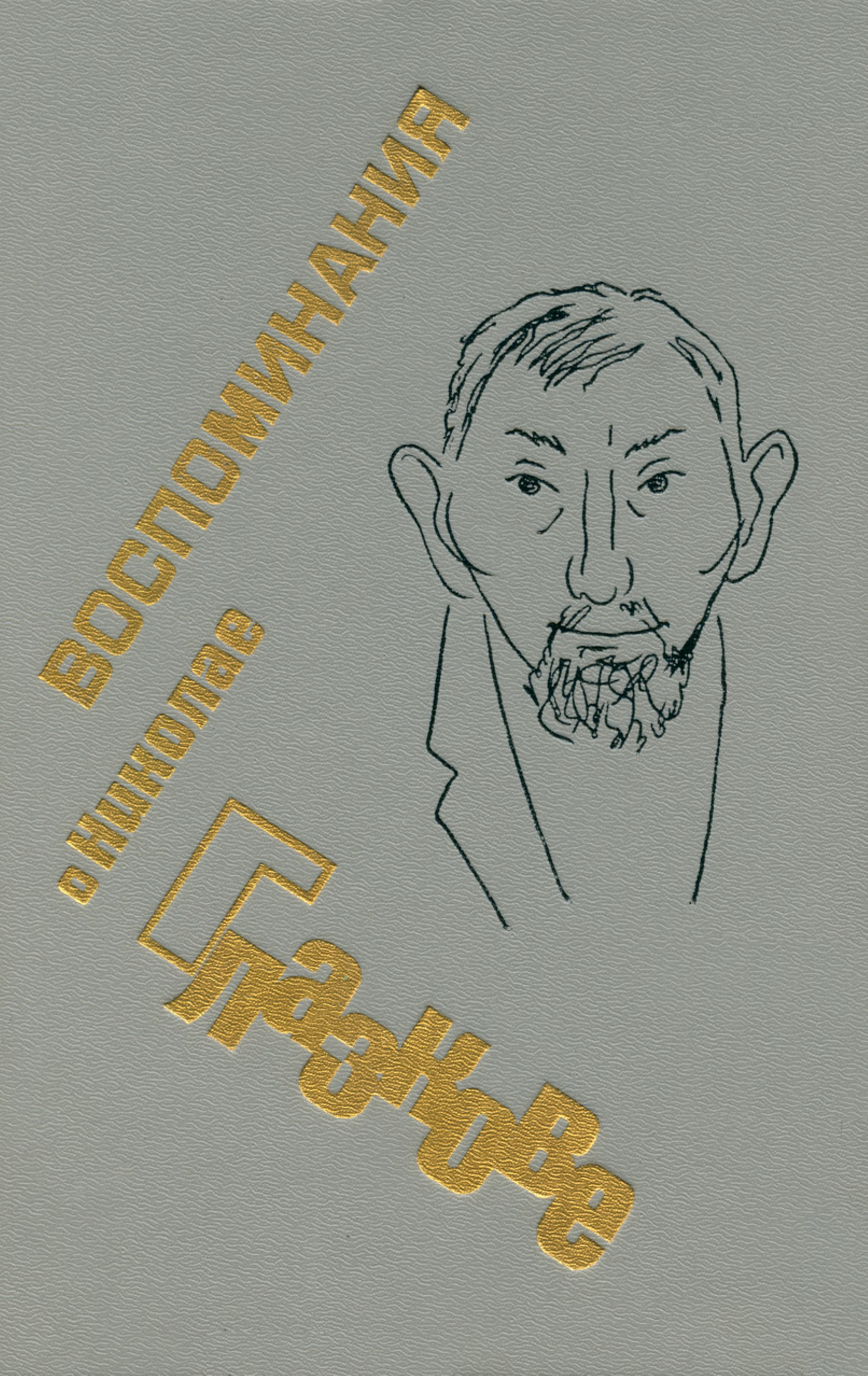
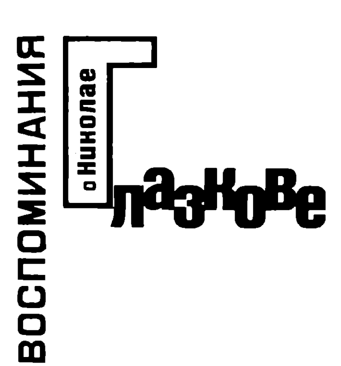
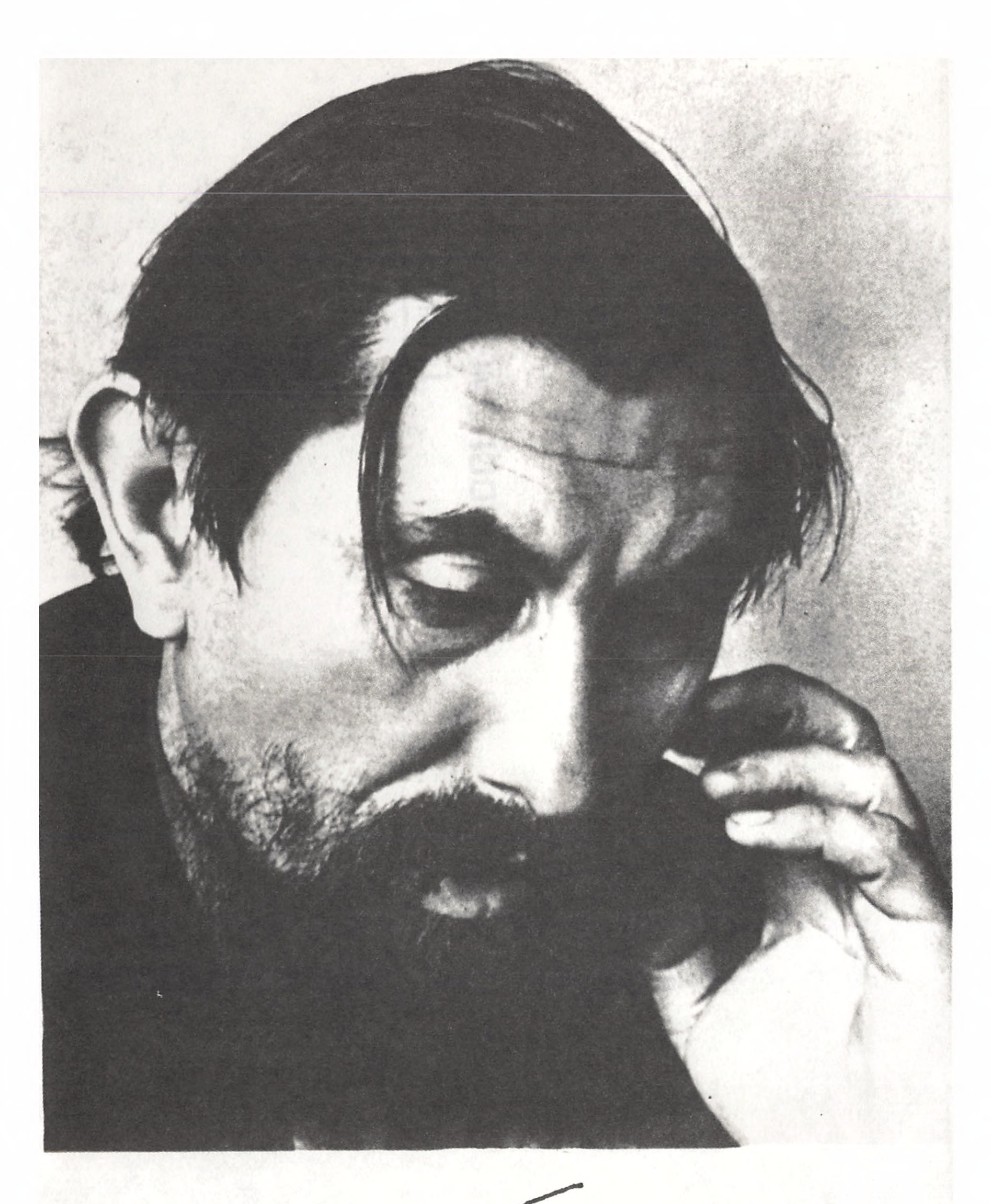

воспоминания
о николае
Глазкове


ВОСПОМИНАНИЯ
о Николае
Глазкове



Воспоминания о Николае Глазкове

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1989

ББК 83 3Р7
В 77

Составители

Росина Моисеевна Глазкова,

Алексей Васильевич Терновский

Художник
НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВ

В книгах этой серии в качестве иллюстративного материала, наряду с фотографиями последних лет, используются архивные и любительские, плохо сохранившиеся фотографии.
Публикуя их, издательство стремится показать читателям редкий фотоматериал из жизни писателя, представляющий несомненный исторический интерес.

4702010206—058
В ——————— 159—88
083 (02)-- 89

ISBN 5-265-00153-0

© Издательство «Советский писатель», 1989

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Предлагаемая читателю книга содержит воспоминания о замечательном русском поэте Николае Ивановиче Глазкове (1919—1979). Его человеческая и поэтическая судьба была нелегкой. Двадцать лет его стихотворения и поэмы отвергались редакциями и были известны лишь ограниченному кругу ценителей поэзии. Но и после того, как, начиная с 1957 года, один за другим вышли двенадцать его сборников, читатель не получил необходимого представления о масштабах и своеобразии его таланта: немало из его наследия пока не опубликовано. Изучение творчества поэта, по сути дела, только начинается. Между тем стихи Глазкова,— метко названного одним из его друзей «поэтом изустной славы»,— оказали неоспоримое влияние на поэзию его времени. Многие поэты называют его своим учителем.

Сказанное определило содержание сборника, в который мы сочли необходимым включить не только воспоминания о поэте, но и несколько статей, вводящих читателей в художественный мир Николая Глазкова. Кроме того в книгу вошли высказывания писателей — своего рода заметки на полях, письма к Глазкову и, конечно же, стихи, посвященные ему.

Круг авторов, откликнувшихся на просьбу составителей, весьма широк. К сожалению, нам не удалось использовать все поступившие в наше распоряжение рукописи. За пределами книги остались воспоминания Е. Лозовецкой, учившейся с Глазковым в Литинституте, поэтов И. Кобзева, Ю. Денисова, прозаика Г. Айдинова, журналистов А. Губера, Н. Никифорова, краеведа Ю. Чумакова, доктора медицинских наук В. Малкина и некоторых других.

Приношу искреннюю благодарность оказавшим большую помощь в отборе и подготовке материалов сыну поэта Николаю Николаевичу Глазкову, Сергею Владимировичу Штейну, Лазарю Вениаминовичу Шерешевскому и Лидии Ивановне Семиной. Особую роль в составлении этого сборника сыграла вдова поэта Р. М. Глазкова, которая, к несчастью, не увидит его вышедшим в свет. Она скончалась во время подготовки этой книги, в 1986 году.

А. ТЕРНОВСКИЙ

Евгений Сидоров

ПОВЕСТЬ О НЕБЫВАЛОМ ЧЕЛОВЕКЕ

(Вместо предисловия)

Кажется, совершается акт посмертной справедливости по отношению к Николаю Ивановичу Глазкову, редкостному поэту и человеку. Интерес к его творчеству не угасает. Такие личности, бескорыстно растворенные в деле своей жизни, упорно непрактичные, всегда будут напоминать людям об идеальных возможностях искусства и художника.

Книга эта замечательна еще и тем, что вводит в литературу немало текстов раннего Глазкова, сохранившихся в памяти и многочисленных списках, записях его друзей. Читатель не должен удивляться, когда, казалось бы, одно и то же глазковское стихотворение встретится ему в разных вариантах. Это вовсе не разночтения, а действительные варианты самого Глазкова, сделанные собственной рукой поэта. Он возвращался к стихам, оттачивал их, был требовательным мастером. Правда, обстоятельства жизни порой заглушали эту требовательность, и он мог ухудшить свои строки: ведь так хотелось выйти наконец к читателю. Не забудем: почти двадцать лет (до конца пятидесятых годов) Николай Глазков был известен главным образом среди поэтов. Вспомним еще мандельштамовское: «Читателя! Советчика! Врача! На лестнице колючей разговора б!» Маленькие книжечки «Самсебяиздата», аккуратно перепечатанные на машинке и переплетенные самим поэтом, редкие выступления перед читательской аудиторией, дружеские застольные импровизации, а дальше — в официальных издательских и литературных кругах — тишина, молчание, неприятие. И так шли годы.

О Глазкове долго не писали. О нем говорили. Старые и молодые поэты знали его наизусть. Быль и небыль обволакивали его имя. И постепенно он сам вжился в образ изустно созданной легенды, стал соответствовать ей. Это была глубокая драма.

Он создал Поэтоград, мир своей поэзии, и однажды в горькую минуту назвал себя в стихах «юродивым Поэтограда».

Восстановление образа поэта в возможно полном художественном и человеческом объеме, удаление наносного, случайного, апокрифического — и в то же время преодоление соблазна посмертной иконизации его светлого и грешного лика — вот задачи, которые ставятся и решаются в этой книге, пронизанной не слепой, а зрячей любовью к ее герою. А не полюбить его, не привязаться к Глазкову было трудно, если тебе посчастливилось повстречаться с ним, услышать стихи и рассказы из его уст, вглядеться в него, человека небывалого, из породы Хлебникова и Пиросмани, но не подавлявшего этой необыкновенностью (деспотизма «гениальности» здесь не было и в помине!), а постигавшего душу собеседника, чутко улавливавшего настроение слушателя, вникавшего в строй их мыслей и переживаний.

Глазкову была в полной мере присуща способность творческого перевоплощения в образ «другого человека». Отчасти таковым является герой многих его стихотворений, то нарочито ироничный, то наивно-простоватый, то вдруг почувствовавший себя «богатырем» и «великим путешественником». Но всегда этот человек сохраняет человечность, чуткость, совестливость. Это были само собой разумеющиеся свойства «Великого гуманиста», как шутливо величал себя Николай Иванович.

Талант перевоплощения, умение «войти в образ» проявились и в его актерских работах в кино. Вместе с поэтом Валентином Проталиным я был свидетелем участия Глазкова в съемках фильма «Андрей Рублев». Происходило это в Суздале. Николай Иванович сыграл роль Летающего мужика.

И перед гибелью постылой
Я вразумительно постиг,
Что над моей взлетит могилой
Другой летающий мужик.

Мало кто знает, что по первоначальному замыслу Андрея Тарковского Летающий мужик, становящийся видéнием главного героя фильма, должен был совершить свой путь босиком по русскому снегу с крестом на Голгофу (эпизод «Голгофа Андрея» из режиссерского сценария). Но тут воспрепятствовал несчастный случай: Глазков сломал ногу. От съемок пришлось отказаться. Как жаль, что так случилось: кинообраз несомненно стал бы крупнее и глубже по своему внутреннему трагическому смыслу.

Глазков сказал о себе в стихах много правды. Он любил подробности, имел вкус к детали. В его поэзии как бы вновь ожил, продолжился пародийно-наивный мир

обэриутов, и в то же время парадоксальная или ироническая формула уникально сочеталась здесь с затаенной патетикой, лирическим самоутверждением.

Жизнь моя для стихов исток,
Я могу подвести итог:
Написал пятьдесят тысяч строк,
Зачеркнул сорок пять тысяч строк.

Это значит, что все плохое,
Все ошибки и все грехи,
Оставляя меня в покое,
Убивали мои стихи.

Это значит, что все хорошее,
Превзойдя поэтический хлам,
С лицемерьем сражаясь и с ложью,
Даровало бессмертье стихам!

Чтобы познать «стихов исток», надо обратиться к биографии поэта.

Его отец — Иван Николаевич Глазков, юрист по образованию, учившийся в Московском университете, уже весной 1917 года, как свидетельствуют документы, выступал на 1-й Нижегородской губернской конференции РСДРП от фракции большевиков. После Октябрьской революции партия направляет его на ответственные посты в органах правопорядка. Он работает в Нижнем Новгороде, Иваново-Вознесенске, Витебске. (В конце тридцатых годов И. Н. Глазков был незаконно репрессирован и исчез из жизни.)

С 1923 года семья Глазковых в Москве. Сохранилась шуточная автобиография поэта, которую он в конце сороковых диктовал своему другу Давиду Самойлову. Приведу некоторые ее фрагменты:

«Географические карты я разрезал на равные прямоугольники примерно такой же величины, как марки, тасовал их и потом раскладывал с таким расчетом, чтобы получилась карта. Учительница отобрала у меня их. И считала, что это ужасно, хотя лучше, чем фантики».

А вот еще из школьного детства:

«Вскоре у меня появилось... увлечение: я впервые в жизни поддался влиянию среды и стал кататься на подножках трамвая. Мы становились на подножку трамвая и уезжали неведомо куда. А потом приезжали обратно.

Я задумал кругосветное путешествие и решил для этого использовать круг «А». На Арбатской площади мы сели на трамвай и доехали до Кировских ворот (в то время — Мясницкие). По дороге половина нашего эки-

пажа «погибла» от милиционеров. У Мясницких ворот все решили ехать обратно. Напрасно я доказывал, что обратно ехать вдвое дольше. Мне никто не хотел верить и дальнейший путь я совершил один. Наверно, то же самое испытывал Магеллан».

Далее Глазков вспоминает, как в 32-м году тринадцатилетним мальчиком он «от нечего делать стал сочинять стихи». И тут же остроумно корректирует это сообщение: «Когда я увидел, что они очень быстро рифмуются, то испугался и прекратил».

На смену стихам приходит новое увлечение — шахматы: «Неожиданно для себя я обнаружил, что всех обыгрываю. И я решил стать чемпионом мира». И все-таки природа берет верх: «С 36-го года я решил, что я побольше поэт, чем шахматист, и стал писать стихи».

Так начинает жить стихом юный Николай Глазков. И рядом с ним его сверстники, новая поэтическая поросль знаменитого поколения «сороковых, роковых».

«Первыми литинститутцами, с которыми я познакомился, были замечательные поэты Наровчатов и Кульчицкий.

С Наровчатовым я познакомился в Усачевском общежитии. Нас было трое: я, Коля Кириллов и Славка Новиков. Четвертым пришел Наровчатов, который лежал вместе со Славкой Новиковым в госпитале» (речь здесь, очевидно, о госпитале, в котором лежал Наровчатов, раненный на финской войне).

Глазков продолжает: «С Кульчицким я познакомился в Ленинской аудитории Политехнического музея. После этого мы всю ночь бродили по городу, читали друг другу стихи и обсуждали судьбы отечественной литературы. Стихи Кульчицкого произвели на меня сумбурно-талантливое впечатление. Жил он в подвале...

Когда меня исключили из пединститута, я пошел к поэту Асееву и потребовал рекомендации в Литинститут.

Незадолго до этого Кульчицкий познакомил меня с поэтом Кауфманом (то есть с будущим Давидом Самойловым.— *Е. С.*) и отважным деятелем Слуцким... Я познакомил Слуцкого с учением небывализма (читатели прочтут об этом «поэтическом направлении» в воспоминаниях друзей Глазкова.— *Е. С.*), к чему Слуцкий отнесся весьма скептически. Кауфман читал стихи о мамонте и о том, как плотники о плаху притупили топоры...

Был еще Павел Коган. Он был такой же умный, как

Слуцкий, но его стихи были архаичны. Кроме того, в Литинституте были лекции и семинары».

Пародируя жанр автобиографии, Глазков набрасывает картину литинститутской жизни тех лет:

«Самым интересным семинаром был семинар Сельвинского. После семинара мы читали друг другу стихи и уходили к неведомым пределам... Самым хорошим поэтом в Литинституте был я. Второе место занимал Наровчатов, третье — Кульчицкий... В поэме «По Глазковским местам» великий гуманист Глазков дает блестящую характеристику своей литинститутской деятельности:

Тряхнуть приятно стариною,
Увидеть мир в табачном дыме,
И вспомнить мир перед войною,
Когда мы были молодыми.

Тянулись к девочкам красивым
И в них влюблялись просто так.
А прочий мир торчал, как символ,
Хорошенький, как Пастернак.

А рядом мир литинститутский,
Где люди прыгали из окон
И где котировались Слуцкий,
Кульчицкий, Кауфман и Коган.

Еще был замечательный художник-юморист Федя Траубе. Все лекции этот трудолюбивый подвижник рисовал остроумнейшие картинки нашей обширной страны...

Весь Литинститут по своему классовому характеру разделялся на явления, личности, фигуры, деятелей, мастодонтов и эпигонов.

Явление было только одно — Глазков. Наровчатов, Кульчицкий, Кауфман, Слуцкий, Коган составляли контингент личностей. Израилев был наиболее яркой фигурой, Хайкин — самым замечательным деятелем, Кронгауз — наиболее выдающимся мастодонтом, а эпигоны были все одинаковые.

Время от времени Литинститут сотрясали диспуты. Выдающийся деятель и чуткий товарищ Хайкин написал в стенгазете статью, в которой он доказывал, что лучшие поэты Литинститута — Глазков, Кульчицкий, Наровчатов, Слуцкий и Коган — идеологически не обоснованы. Глазкова и Кульчицкого Хайкин обвинял в талантливости и разгильдяйстве, а Слуцкого и Когана в поэтической немощи и ошибочности.

Только десять лет спустя современники осознали всю справедливость критических замечаний товарища Хайкина. Так, например, с одному ему присущей проницатель-

ностью товарищ Хайкин справедливо отметил, что строчки Слуцкого — «Нет, коммунизм — не продуктовый рай» — не соответствуют действительности.

...Еще мы шатались по корпусам цехов, где читали тысячи стихов. Одно из них, которое я написал, было напечатано в «Комсомольской правде». К сожалению, не помню месяца и числа, но с уверенностью могу сказать, что это было в первую половину 41-го года. Как в предыдущие, так и в последующие периоды своей жизни я допустил много прекрасных ошибок».

Последняя фраза чисто глазковская. «Много прекрасных ошибок» — это и есть, по Глазкову, жизнь настоящего поэта, его «выпадение» из общих правил.

Остальные биографические сведения читатель найдет в этой книге. Он не раз убедится в том, каким авторитетом пользовался Глазков у своих товарищей по поэтическому цеху. Ему посвящали стихи, его знали и уважали литераторы самых различных творческих направлений.

При всей своей интеллигентности и терпимости к иным мнениям Глазков не был добреньким и всепрощающим, человеком «не от мира сего» (а есть и такая легенда), особенно когда речь заходила о творчестве. Он был от сего мира! Не раз приходилось слышать, как метко, разяще судил он поэзию некоторых маститых процветающих своих современников. Ювеналовой была интонация, смягченная, правда, иронией, но иногда и прямую речь себе позволял, безо всяких стилистических околичностей. Играть играл, но последних истин держался упорно, до самой смерти.

В 1940 году он написал:

Я не тот, кто дактиль и анапест
За рубли готовит Октябрю.
Я увижу на знаменах надпись,
А услышу надпись: «Лю-я-блю».

Лю-я-блю. Моя любовь разбита.
Это слово тоже разрублю.
Потому что дьявольски избито
Словосочетанье: Я люблю.

Он умел вдувать в обветшалые, избитые слова и понятия вечно новый, неустаревающий смысл. Праздник поэтического слова был всегда с ним.

Читая книгу воспоминаний о Глазкове, испытываешь светлое и одновременно горькое чувство. При этом никакой подавленности — льется свет жизни из его стихов, жизни неповторимой, судьбы недовоплощенной, но оставив-

шей яркий, прочный след в душах людей. А в памяти вновь и вновь всплывают гордые, ни на что не похожие глазковские строки:

У меня костер нетленной веры,
И на нем сгорают все грехи.
Я поэт ненаступившей эры,
Лучше всех пишу свои стихи.

Верю, что эта книга поможет многим читателям узнать и полюбить Николая Ивановича Глазкова, небывалого поэта и человека.

Сергей Наровчатов

СЛОВО О НИКОЛАЕ ГЛАЗКОВЕ

Глазков — это один из самых оригинальных поэтов, встретившихся мне на моем долгом литературном пути. Мы познакомились перед войной. Уже при первой встрече он производил впечатление совершенно неожиданное и одновременно неизгладимое. Высокого роста, с хитрыми и несколько шальными глазами, с неповторимой улыбкой, он казался человеком как будто сотканным из всех странностей, которые только могли быть на белом свете. О нем ходило множество анекдотов, но все эти анекдоты были добрыми, веселыми, отмеченными восхищением и любовью к их герою. Ни один из этих анекдотов не характеризовал Колю Глазкова, как мы его всегда называли, с дурной стороны. Ему прощались все его причуды, потому что он действительно был человек талантливый, а главное — у него все это было не от рисовки, но от редкой одаренности натуры, которую он в себе заключал.

И стихи его были такими же, как он. То есть здесь было полное единство: стихи совершенно неотделимы от личности поэта.

Таким он был, таким, как говорится в древней былине о Чуриле Пленковиче, ему «бог быть повелел» с самого начала.

Мы, его товарищи, его сверстники, знали чуть не все его стихи. Он их сам переписывал, раздавал, дарил; многое мы помнили наизусть, запоминали с ходу. Среди них попадались настоящие шедевры.

Например, такое:

Люблю тебя — за то, что ты пустая!
Но попусту не любят пустоту:
Мальчишки так, бумажный змей пуская,
Бессмысленную любят высоту.

Или это, хорошо известное:

Я сам себе корежил жизнь,
Валяя дурака.
От моря лжи до поля ржи —
Дорога далека.

Это прекрасно, это сделало бы честь любому, даже самому крупному поэту.

Его «Ворон» знает несколько редакций. Я помню наизусть последнюю, вошедшую в сборники:

Черный ворон, черный дьявол,
Мистицизму научась,
Прилетел на белый мрамор
В час полночный, черный час.
Я спросил его: — Удастся
Мне в ближайшие года
Где-нибудь найти богатство? —
Он ответил: — Никогда.

Поначалу кажется, что это еще один, правда, блистательный перевод из Эдгара По. Но смотрите, как неожиданно и остроумно расправляется со своим «Вороном» Глазков:

...И на все мои вопросы,
Где возможны «нет» и «да»,
Отвечал вещатель грозный
Безутешным: — Никогда!..
Я спросил: — Какие в Чили
Существуют города? —
Он ответил: — Никогда! —
И его разоблачили.

Вот такая всесильная усмешка сопровождала Глазкова все время, пока он писал стихи. Это, наверное, один из самых необычных, парадоксальных, зачастую алогичных русских поэтов. Не надо бояться алогичности — она свойственна истинной поэзии, составляет ее необходимую черту.

Сколько я, например, ни задавал вопроса, как читать одну из строф «Анчара» Пушкина: «К нему и птица не летит...» — обычно говорят: «И зверь нейдет». Но у Пушкина-то не так! У Пушкина: «И тигр нейдет»! Вот ведь в чем дело. Он почувствовал, что здесь уже нависла обычность, здесь уже навис поэтический штамп. И он перечеркнул эту обычность, вдруг оживив стихи вот этим своим неожиданным «тигром». В этом смысле Николай Глазков — прямой продолжатель пушкинской традиции. То, что у Глазкова широко используется неожиданность, алогизм, как-то очень украшает, расцвечивает его стихи.

Николай Иванович Глазков — незаурядное, уникальное явление русской советской поэзии. Я думаю, мы будем долгие годы возвращаться вновь и вновь к его ярким, талантливым, свежим и интересным стихам.

Борис Слуцкий

ЛИЦО ПОЭТА

Несколько лет тому назад широко бытовал термин «дожатие». Означал он примерно вот что: мало сделать открытие, надо добиться его практического осуществления. Мало написать роман, надо, чтобы он был опубликован, прочитан и понят.

Если применить термин «дожатие» к судьбам поэтов, оказывается, что у одних, скажем, у Тютчева, оно растягивается на всю жизнь. Иные же — Блок, Есенин, Маяковский — получают заслуженное признание уже в молодости. Десять или двенадцать талантливых людей, составляющих очередное поколение московских поэтов перед самой войной (его обычно называют военным поколением), совершали «дожатие» в самые разные сроки. Позже всех это делает Глазков.

Между тем, когда вспоминаешь канун войны, Литературный институт имени Горького, семинары и очень редкие вечера молодой поэзии, стихи Глазкова — едва ли не самое сильное и устойчивое впечатление того времени.

Глазков решительно отличался от своих сверстников. У нас были общие учителя, но выучились мы у них разному. Мы все были, в сущности, начинающими поэтами. Глазков в свои 22 года был поэтом зрелым. Мы по преимуществу экспериментировали, путались в сложностях. Глазков был прост и ясен. Полная естественность выражения, афористичность, имевшая следствием то, что вся литературная Москва повторяла его строки.

Первая книга стихов Глазкова не была издана своевременно. Не издана она и посейчас, хотя многое выжило, выдюжило, осталось прекрасным. С тех пор прошло тридцать пять лет. Юный Глазков стал литературным преданьем с его безобидными чудачествами и блистательными строками. Лет 15 назад, когда его принимали в Союз писателей, сторонники приема аргументировали строками, а противники — чудачествами. И те и другие цитировали наизусть целые стихотворения, и рекомендация к приему была дана после того, как удалось обратить внимание спорящих на то, что ни один из уже прославленных



Николай Глазков и Борис Слуцкий. 60-е годы

сверстников Глазкова не засел в памяти таким огромным количеством строк.

...Новый Глазков не слишком похож на «старого», то есть того — молодого, предвоенного. Молодой был естествен, безрассуден, парадоксален. Нынешний Глазков естествен, рассудителен, здравомыслящ, степенен. Общего осталось очень много — простота, демократизм художественного мышления. Но и очень многое изменилось.

Парадоксальное, «криволинейное» мышление довоенного Глазкова сменилось прямолинейным здравомыслием. Множество бытовых, жанровых картинок, разбросанных по последним книгам поэта, отличается таким же прямолинейным здравомыслием, напоминающим порою великий дидактизм XVIII века. Мораль не упрятывается в глубину басни. Она очевидна. Она наглядна. Однако это действительно мораль. Глазков всегда на стороне добра. Он всегда заботится о том простом и хорошем человеке, которого он считает своим главным читателем.

...Когда-то Глазков писал только городские пейзажи. Его строки: «Чем больше в Москве двухэтажных троллейбусов, тем меньше в Москве двухэтажных домов!» — существуют и сейчас, когда двухэтажных домов почти не осталось, а двухэтажных троллейбусов никто не помнит. Пейзажи нынешнего Глазкова — это лес, поле, большие сибирские реки. Горожанин, глядящий на них, пишущий

о них стихи,— горожанин особого рода... Глазков — не турист, а путешественник...

Один за другим выходили в печать, добивались читательского внимания глазковские погодки. Сам же Глазков оставался в стороне. Он очень много работал. Не издав своей первой книги, он издал вторую, третью, четвертую и т. д.

Однако «дожатие» затягивалось.

Мне кажется, что куда отчетливее я рассказал бы обо всем этом в стихах:

Это Коля Глазков. Это Коля,
шумный, как перемена в школе,
тихий, как контрольная в классе,
к детской
принадлежащий
расе.

Это Коля, брошенный нами
в час поспешнейшего отъезда
из страны, над которой знамя
развевается
нашего детства.

Детство, отрочество, юность —
всю трилогию Льва Толстого,
что ни вспомню — куда ни сунусь,
вижу Колю снова и снова.

Отвезли от него эшелоны,
роты маршевые
отмаршировали.
Все мы — перевалили словно.
Он остался на перевале.

Он состарился, обородател,
свой тук-тук долдонит, как дятел,
только слышат его едва ли.
Он остался на перевале.

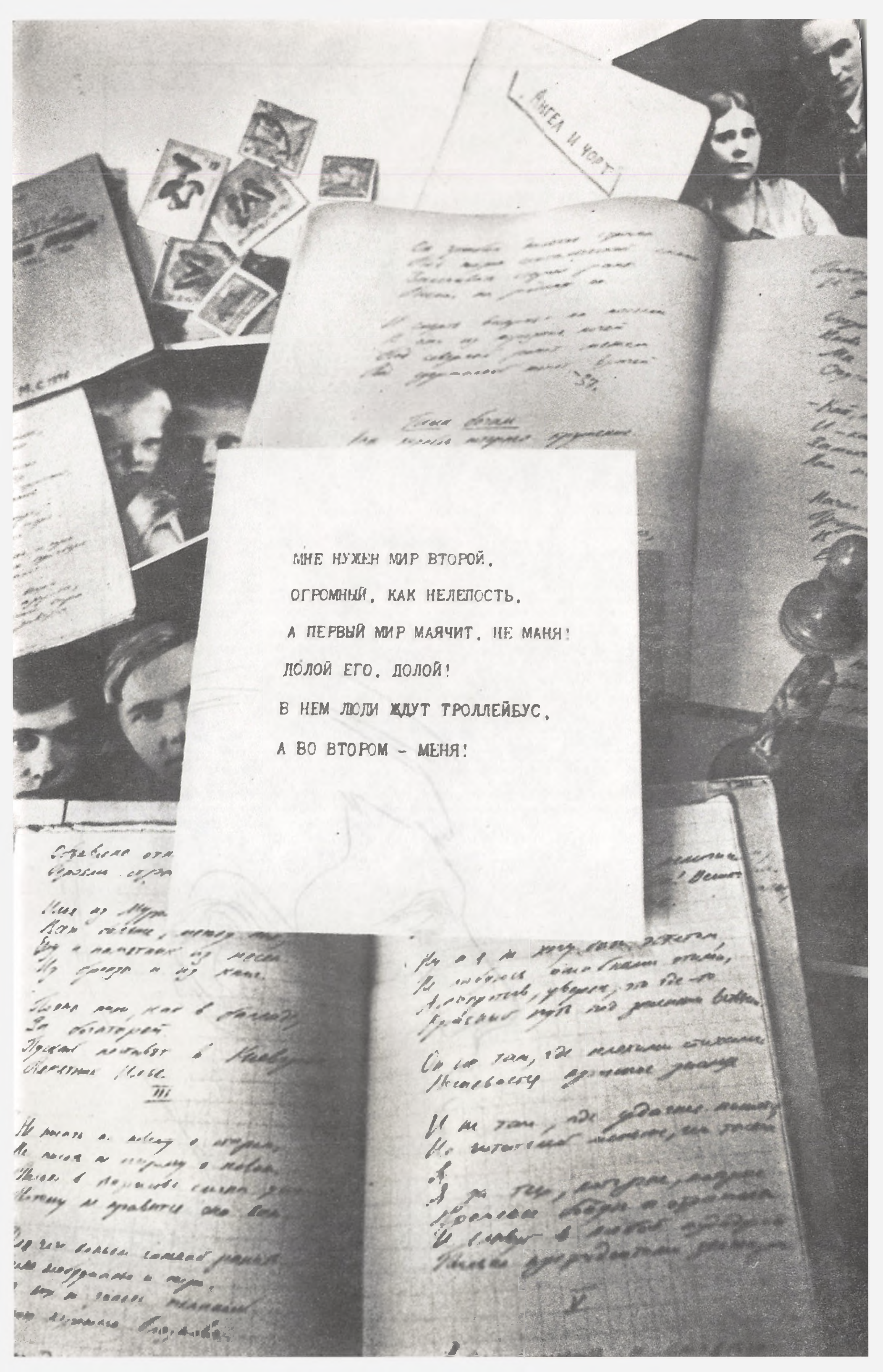
Кто спустился к большим успехам,
а кого — поминай как звали!
Только он никуда не съехал.
Он остался на перевале.

Он остался на перевале.
Обогнали? Нет, обогнули.
Сколько мы у него воровали,
а всего мы не утянули.

Скинемся, товарищи, что ли?
Каждый пусть по камешку выдаст!
И поставим памятник Коле.
Пусть его при жизни увидит.

1976


1


АНГЕЛ И ЧОРТ
МНЕ НУЖЕН МИР ВТОРОЙ,
ОГРОМНЫЙ, КАК НЕЛЕПОСТЬ,
А ПЕРВЫЙ МИР МАЯЧИТ, НЕ МАНЯ!
ДОЛОЙ ЕГО, ДОЛОЙ!
В НЕМ ЛЮДИ ЖДУТ ТРОЛЛЕЙБУС,
А ВО ВТОРОМ – МЕНЯ!

Сергей Штейн

ВОСПОМИНАНИЯ СОСЕДА

Живу в своей квартире
Тем, что пилю дрова.
Арбат, 44.
Квартира 22.

Давно избавились москвичи от дровяных забот, и уже почти десять лет прошло с тех пор, как не стало автора этих поэтических строк, многие годы бывших визитной карточкой поэта Николая Глазкова.

А дом на Арбате стоит и поныне. Он очень старый, и помнит Наполеона. Чтобы увидеть его, вы пройдете с Арбата под высокой гулкой аркой, прорезавшей другого свидетеля 12-го года,— в нем, по семейному преданию, останавливался то ли Даву, то ли Мюрат. Позже он перестроен и надстроен. Наш же флигель не мог приютить никого из наполеоновских маршалов, потому как первый его этаж во времена нашествия двунадесяти языков был конюшней, а второй сеновалом. В начале века его окружили пяти-, шести- и семиэтажные доходные дома, а в нем самом после соответствующих перестроек на втором этаже появилась квартира 22, в которой изредка, наездами из Петербурга, останавливалась семья домовладельца и где после также соответствующих, но уже и социальных перестроек в 1925 году родился автор этих воспоминаний и встретился с шестилетним к тому времени Колей Глазковым.

54 года соседства и дружбы. Я помню его учеником младших классов, с аккуратно подстриженной челочкой темных волос, и, кажется, вчера еще жал руку взлохмаченного и обородатевшего богатыря-балагура.

Для меня, может, эта борода — единственное изменение в Глазкове за долгие годы почти каждодневных встреч. Да, он неординарен, в нем много неожиданного, странного, но ведь это Коля, а он всегда и был таким. То, что для кого-то осталось в памяти как нечто необычное и яркое, даже шокирующее, для меня обыденно и естественно, как, впрочем, естественно было все в нем.

В своих письмах и поэтических посланиях он всегда

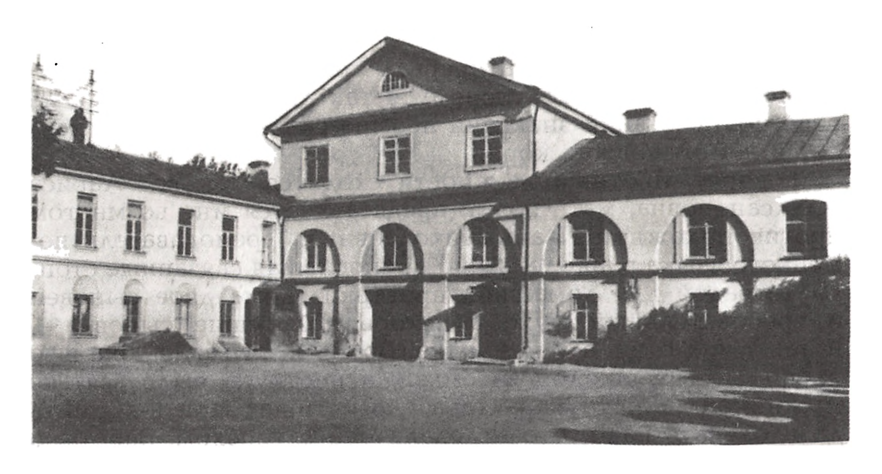


Дом по улице Ленина, 64 в городе Лысково Горьковской области. Здесь 30 января 1919 года родился поэт

обращался ко мне как к другу-соседу, так же всегда и подписывался. И эти мои заметки, кроме как на воспоминания соседа о друге, ни на что большее не претендуют.

В Москву Глазковы приехали из Нижегородской губернии, где в крупном селе Лысково Макарьевского уезда, на всю Россию знаменитого своими ярмарками, 30 января 1919 года родился поэт.

Отец его, Иван Николаевич, член Московской коллегии адвокатов, высокий, статный, с сухим характерным профилем скорее римлянина, чем нижегородца, был человеком резким, волевым и добрым. При двоих сыновьях, он привел в дом беспризорника, и тот долгое время жил у них, пока бродяжий дух не позвал его в бега. Несколько лет жил у них подобранный на улице доберман-пинчер Джек. Собака, видимо, с трудной судьбой и тремя дробинами под кожей на холке. Характер у пса был не собачий, а зверский — он грыз (не кусал!) всех домочадцев без разбора, начиная с Ивана Николаевича и включая будущего поэта. Единственно, в чем проявлялась его «человечность»,— это музыка. Стоило младшему из сыновей, Георгию, сесть за пианино, как пес оказывался рядом и, вслушиваясь в мелодию, мягко, попадая в тональность, вступал со своей сольной партией, постепенно оставляя пианино лишь роль аккомпанемента. И в нем победил бродяга. Иван Николаевич тяжело (именно тяжело) переживал потерю зверя. Вообще он был не чужд страстей, что стало мне понятно несколько позже, но и в первых запом-



Дом, в котором Н. И. Глазков жил с 1923 по 1971 год (Москва, Арбат, 44)

нившихся мне эпизодах он предстает человеком, знающим и любящим вкус жизни.

В его речи не было характерного волжского оканья, но все гласные были полнозвучно широкие и, я бы сказал, звучали плотоядно. С самого раннего дошкольничества запомнилось: мы, дети, играем в детской (одна из трех комнат), в столовой гости, и Иван Николаевич громко кричит на кухню: «Лара, подавай телятину!» Не знаю, каково было жаркое, но слово это истекало соком: «Те-еля-яти-ину-у!» Видимо, с той поры и на всю жизнь моим нечастым свиданиям с телятиной предшествует дрожь вожделения.

С таким же вкусом и наслаждением читал он нам любимого им Чехова. Мы сидим в кабинете на кожаном диване под брокгаузовским многотомьем, Иван Николаевич в кожаном глубоком кресле у письменного стола, в руках марксовский том в зеленом переплете под мрамор — «Роман с контрабасом». Много позже я обнаружил в этом рассказе некую пикантность, детство же сохранило лишь пропажу белья музыканта и как кого-то несут в футляре по ночной дороге. Но главное — это лицо исполнителя, нет, не исполнителя, а творца! Глубоко спрятанные под рыжеватые кустистые брови глаза жадно выхватывают со страницы слово, и к нам оно летит наполненное плотью и радостью большого и щедрого человека. Четко его лицо я помню лишь в двух случаях: смеющееся и счастливое в этот чеховский вечер и глубоко задумчивое, запрокинутое

к потолку, когда он, с зажатой казбечиной в зубах, слушал моего папу, вернувшегося домой после трехлетней — увы, не последней — отлучки.

Литературные вечера прервал тридцать восьмой год.

Не буду объяснять, почему я так долго задержался на отце поэта: всякий знающий поэзию Глазкова, думаю, найдет в ней отцовские корни.

Говорят, противоположности сходятся; так вот Лариса Александровна, мать поэта, представляется мне во многом противоположной Ивану Николаевичу. Преподаватель немецкого языка в школе, вечно приносившая связанные стопки тетрадей для домашней проверки. Дома двое сыновей и требовательный муж, а вскоре подросшие сыновья — и нет у них отца, а у нее мужа. Вот и разрывалась она всю жизнь между школой и семьей, и неоткуда было взяться мужниной широте характера,— ребятишек поить-кормить да и одевать надо, что и делала она с успехом. Заботы о близких не оставляли ее до самой смерти в 59-м году.

Снег не сравню с пушистой ватой,
Добром не вспомню год невзгод:
Проклятый пятьдесят девятый,
Тяжелый, невеселый год!

Надо сказать, что глазковско-кудрявцевский клан (Кудрявцева — девичья фамилия матери Глазкова) довольно велик, и все они в разное время и не однажды бывали и гащивали на Арбате, и о каждом из них следовало бы рассказать, да не по мне эта задача.

Но вот дядя Сережа (в семье его все, включая детей, называли Сережей) обязательно должен быть отмечен. И человек он был милоты необыкновенной, и брату своему Ивану по характеру вроде и не брат, и любили его все родственники во всех ветвях и коленах, и он им платил тем же, и пережил его любимый племяш Коля всего-то на три года. Большой, русые кудри копной курчавятся, а доброта его не то что на лице, а, кажется, впереди идет. Ходил он забавно. Моряков, только что сошедших на берег, слегка покачивает на ходу, а он, кроме волжских пассажирских пароходов, палубы и не видывал, а качался так, будто не посуху шел, а с гребня волны первым шагом в морской провал ступал, а вторым снова на гребень становился. И был он большой книгочей и русской истории знаток и любитель. Вот это-то особенно и привязывало к нему Колю, хотя и расходились они по многим вопросам нашего прошлого (в настоящем больше сходились), так как Сергей Николаевич был апологет классической русской историографии, а Коле и Ключевский не указ, он сам с усам. Но поточить мысль о мысль Коля всегда любил,

да и споры их на любые темы всякий раз разрешались, к обоюдной радости, полюбовным признанием, что Иван Грозный был параноик и живоглот.

В прозаическом цикле Глазкова «Похождения Великого Гуманиста» есть баечка «Пожар» — в ней подтверждение сказанному.

Сестру Сергея Николаевича Надежду Николаевну в семье также все звали просто Надей. Жила она в Нижнем (так всегда назывался у Глазковых Горький), учительство давно оставила, а из пенсии норовила племяннику подарочек прислать. Последним подарком были шерстяные носки домашней вязки для больных Колиных ног, а последний приезд был — ко гробу.

И еще две колоритнейшие старушки, впрочем, «старушки», при всем почтении и любви к ним, здесь не подходит,— старухи. Но какие!

Елизавета Андреевна Кудрявцева — бабушка по материнской линии (мать Ларисы Александровны). Из-под косынки, повязанной платком, выглядывает иссеченное морщинами, старого пергамента лицо с запавшими губами, постоянно либо говорящими, либо готовящимися заговорить, очки сдвинуты на кончик носа, и при чтении низко наклоняет голову, читая поверх очков. А читала с быстротой неимоверной, не переставая шевелить губами. Бывало, спрашивает: «Нет ли чего почитать?» Отвечаю: «Нет».— «А это что на столе лежит?» — «Это я сам читаю».—«Но ведь сейчас-то не читаешь?» — «Через два часа начну».— «Ну так дай мне на два часика». Точно в срок книга возвращалась, да еще с подробным комментарием. Читала она не пропуская ни строчки. Кроме книг любила и устное творчество — анекдоты. Сразу же по приезде выкладывала все накопившееся в ее памяти и, потирая сухие ладони, незамедлительно требовала, в свою очередь, потешить и ее. Легкая фривольность допускалась. Знала обо всех многое, стремилась знать все.

Как-то у них в кухне начал подтекать кран, и назойливая капель доносилась до столовой, где Коля беседовал с двумя-тремя друзьями и, наконец, не выдержав, раздраженно крикнул бабушке, читавшей на своем сундуке-постели при входе в кухню: «Бабушка, почему кран течет?» Не отрываясь от книги, ответила: «В силу классовой ограниченности и потому что не дано!» Общий хохот был тем более дружным, что присутствующие знали Колино обыкновение в тот период многие сложные вопросы объяснять именно этой формулировкой.

Совсем иной была другая бабушка — Александра Терентьевна Глазкова. В Москву из своего Нижнего выбиралась не часто, но тем памятнее бывали ее приезды. Высо-

кая, прямая, во всем черном, юбка до пят, платок, черный же, на спине опускается до пояса, неизменные очки подчеркивают строгость и значительность всего облика. Никакой суетности. Нестеров и Корин писали бы с нее мать-игуменью, если бы еще раньше Мельников-Печерский не поместил бы ее в заволжские скиты. В Москву приезжала всегда с гостинцами (не подарками!) и во внуках души не чаяла. Приезжая в послевоенные годы в сопровождении кого-нибудь из родственников, уже слепая, очень печалилась по поводу Колиной неустроенности, но наставлениями не докучала, видимо, понимая, что простым трудоустройством судьба внука не решится.

И, наконец, младший брат Николая — Георгий. Дядя Сережа звал его Юрой, все в семье Жорой, Коля почему-то Корой, а двор прибавил к этому Слаб Здоровьем, так и пошло — Кора Слаб Здоровьем, хотя ни в здоровье, ни в чем прочем он слабостью не отличался, напротив, во многом был посильнее многих, вот разве что нервен был слишком, да я бы сказал, что эта нервозность была не болезненная, а художническая. Помимо музыкальных способностей, он определенно был наделен дарованием художника, и если к пианино подходил хотя и без принуждения, но изредка, то рисовал почти все время, повсюду и на всем — от тетрадных обложек до стен нашей коммунальной уборной. А между этими полярностями были и художественные кружки, и самостоятельные занятия дома, и подготовка к поступлению в Суриковское училище... И был июнь 41-го года. Вместо студенческого билета он получил военкоматовское приписное свидетельство с предписанием о невыезде. Лариса Александровна и Коля эвакуировались в Горький, Жора остался один в Москве. Мы были дружны с ним только что не от пеленок. И хотя два года разницы в возрасте давали ему какое-то преимущество в наших отношениях, к этому времени разница стерлась, и в оставшиеся несколько месяцев до его ухода в армию наше приятельство обрело глубину и тепло подлинной дружбы. Каждый вечер после отбоя воздушной тревоги мы располагались в его комнате возле голландской печи, пожиравшей остатки окрестных заборов и залежь скопившейся в их библиотеке макулатуры. Вскоре нас стало трое. Жора переживал свой первый и счастливый роман. Я, как сторона нейтральная, был поверенным обоих. Жесткий регламент военного времени придал роману стремительное и бурное течение. Думаю, если бы не было этой любви, Жора не остался бы в моей памяти таким озаренным и спокойным на фоне отнюдь не светлом и тревожном.

Он был высокого роста, очень хорошо сложен и,



Коля Глазков с братом Георгием. 31 июля 1924 года

унаследовав от Ивана Николаевича остроту профиля, избежал отцовской резкости и сухости. Овал его удлиненного лица под волнистыми льняными волосами был мягок и вместе с тем удивительно мужествен.

До военкомата мы шли втроем и обнялись, чтобы больше никогда с ним не встретиться.

В начале 45-го года, вернувшись с фронта, я поднялся

на костылях на площадку нашего второго этажа и остановился перед окном. Вся ниша была изрисована карандашными профилями Ленина. Эти довоенные автографы Жоры продержались еще несколько послевоенных лет.

Так всегда. Как прошли звероящеры,
Мы пройдем, и другие придут.
За такие стихи настоящие,
Что, как кости зверей, не умрут,

А расскажут про то, как любили мы
И какая была суета...
И смешаются с прочими былями.
Так всегда!

Глазковские были...

Мне рассказывать о Коле все равно что о себе самом. Многое видел, многое помню, а о каких былях речь вести — не ведаю. Слишком близко стоял.

Восьмидесятисемилетняя мама моя говорила, вспоминая его маленьким: «Он был застенчив и боязлив». Верно, и я это помню, но боязливость, при всей своей яркой выраженности, была какая-то странная, я бы сказал, убежденная. Он шел мимо конфликтов и через них. Двор наш состоял, говоря сегодняшним языком, почти сплошь из «трудных подростков», и видеть что-то отличное от собственной массы было выше их сил. Но, как бы они ни пыжились вывести Колю из себя,— он шел своей дорогой, не отвечая им и никогда не жалуясь дома. И он победил. Сначала они попримолкли, а позже, часто видя его с шахматной доской под мышкой, стали просить научить играть, а те, кто уже умел,— сыграть с ними. Неизменные победы сделали его шахматным героем двора, лед тронулся. А вскоре приспели и стихи, здесь уж просьб почитать не было, просто знали, что пишет, а второго такого и во всех окрестных дворах не водилось, значит, и в футбол мы их обдерем. А вообще через двор Коля лишь проходил — в школу, из школы, к товарищам или вместе с товарищами.

Друзья у него всегда были, и (нисколько не приукрашиваю все связанное с Николаем) ребята были яркие, с собственным лицом. Не берусь судить, что их привлекало в Коле, но, думаю,— его увлеченность не могла оставить их равнодушными. А увлечения сопутствовали всей его жизни. Он как-то сказал мне, что у него в жизни было три мечты:

марки — хотел собрать лучшую коллекцию в мире;
шахматы — хотел стать чемпионом мира;
и — стихи.

Именно в такой последовательности он прошел через две

первые, а третью, воплощенную в книги и рукописи, оставил нам. И во всех случаях был обстоятелен и глубок. Марки были аккуратнейшим образом наклеены в альбомы, и занимался он ими скрупулезно, не жалея времени, чуть ли не до самой войны. Прекрасное знание географии и истории в большой степени следствие этого увлечения:

Лишенный мелкого азарта,
Я, как все люди гениальные,
Географические карты
Не променяю на игральные!

Покончил с филателией совершенно сознательно, поняв, что лучшую коллекцию собрать не сможет. Так же было и с более серьезным, глубоким и длительным увлечением — шахматами. От детских аттестационных турниров в парке Горького (кстати, словосочетание «культуры и отдыха» применительно к парку считал совершенной абракадаброй), через запойный «шахматёж» с чуть ли не ежевечерними, а вернее, всенощными турнирами на Арбате, до участия в первенствах ЦДЛ и выступлений за сборную Дома литераторов, он и здесь пришел к выводу, что выше первого разряда ему уже не прыгнуть, а сил отнимают шахматы много, и, в конце концов, оставил себе лишь решение шахматных задач.

Не подумайте, что детские мечты, пронесенные почти через всю жизнь,— свидетельство его болезненного честолюбия. Ни в коем случае! И говорю я о них лишь для того, чтобы подчеркнуть его оптимистическую веру в победу целенаправленного труда; не случайно слово «лентяй» было у него ругательством:

Дураки — это лентяи мысли,
А лентяи — дела дураки,
И над ихним бытом понависли
Недостигнутые потолки.

И хоть поставил он мечту о поэзии на третье место, была она не просто его первым, а изначальным делом. В старину говорили: Богом отмечен. Сейчас говорят: развил свое дарование. Так вот: Николай Иванович — развил, пробил и стал. Но и отмечен был немало.

Роста повыше среднего, в плечах широк, волосы как росли естественно от макушки вниз, так всю жизнь и лежали на лбу неподстриженной и нечесаной челочкой, через лоб — три бороздки, верхняя губа при улыбке усы пошире растягивает, нижняя, обнажая щербатость, книзу тянется,— это он ее за бороду горстью оттягивает, а глаза, карие под вскинутыми бровями, пытливые и озорно «хитренькие» (его словечко) — мужичок себе на уме.

Но главная отметина — не в облике, а в даре. С первых

своих поэтических шагов еще в школьные годы, нисколько не претендуя на роль лидера, он был убежден в своем избранничестве. И я не могу согласиться с теми, кто говорит о Колиных подчеркиваниях своей гениальности как об оригинальничанье, либо просто пристрастии к шутейности. Поэт Николай Старшинов в своем обстоятельном и умном предисловии к «Избранному» Глазкова очень верно говорит о парадоксальности и ироничности лирических стихов Глазкова. Да, он такой даже тогда, когда речь идет о сокровенном и трагическом, а именно так воспринимал он разрыв с любимой в 44-м году. Я уже не застал ее в Москве, но переживания Коли знаю и помню. А в стихах это представлено так:

Лида милая моя
Не понимала ничего,
Сама не знала, отчего
Не понимала ничего.
Она однажды ду-ду-ду,
Я удержать ее не смог...
В последнюю секунду ту
Почувствовал, что одинок.

Эти «отчего» и «ничего» и особенно «ду-ду-ду» ничего не снимают, а лишь закрывают. Это защитная ирония. Точно так же, откровенно пародируя знаменитые строчки К. Симонова, Глазков говорит не совсем серьезно, но об очень серьезном:

Не жди меня, и я вернусь,
Дорога нелегка.
Сказать я только не берусь,
Вернусь к тебе когда.
Как только встретимся,
Останемся,
Чтоб было хорошо вдвоем,
И не расстанемся,
И не состаримся,
И не умрем!

Так же обстояло и с гениальностью. Конечно, у него хватало чувства юмора и умения взглянуть на себя со стороны, и, дабы не прослыть самовлюбленным, кутался он в маскхалат самоиронии.

Но все-таки...

1939 год:

Мне нужен мир второй,
Огромный, как нелепость,
А первый мир маячит, не маня!
Долой его, долой!
В нем люди ждут троллейбус,
А во втором меня!

Несколько лет спустя. Поэт понимает неизбежность поражений:

Неутомимым, но усталым,
Как все богатыри,
Вхожу я со своим уставом
Во все монастыри,
И если мой устав не понят,
А их устав старей,
Меня монахи бодро гонят
Из всех монастырей.

(Какое глазковское это — «бодро гонят!») Да, он все понимает...

53-й год:

Я должен считаться
С общественным мнением
И не называться
Торжественно гением.
А вы бы могли бы
Постичь изречение:
Лишь дохлая рыба
Плывет по течению!

54-й. Глазков утверждает:

Пусть устал. Все равно хорошо,
Что иду я вперед.
Мое время еще не пришло,
Но придет!

Об этом же в 55-м году:

Испытав сто двадцать пять обид,
Я, поэт, иду к великой Нови.
Сильный враг меня не победит,
Слабый друг меня не остановит!

Я не очень правильно иду,
У меня неровная дорога:
И в литературе, и в быту
Мелочей досадных очень много.

Не случайно каждою весной
Унываю я от этой хмури...
Но победа все-таки за мной,
Как в быту, так и в литературе!

Глазков сумел остаться самим собой, потому так органично и звонко звучат его поистине хрустальные стихи 55-го года «За мою гениальность!..»:

...В неналаженный быт
Я впадаю, как в крайность...
Но хрусталь пусть звенит
За мою гениальность!..

Стихотворение «Гоген», написанное на седьмом году сознательного стихотворства, запомнилось мне как первые его стихи. Причина такого сдвига в памяти, видимо, в том, что как раз около того времени в музее Нового западного искусства я познакомился с Гогеном, и его яркие полотна, воспринятые мною чисто живописно, в этих стихах вдруг обрели сюжет, вобравший в себя всю знойную экзотику Океании. Написан «Гоген» в 39-м году. Этот год Коля считал годом начала нашей дружбы. Я в это время — школьник, он студент педагогического института, который вскоре оставит и перейдет в Литературный институт.

Не порывая дружеских связей со школьными товарищами, а с некоторыми он сохранил дружбу до последних дней, он обретает новых друзей-студентов. В немалом числе заполняли они небольшой кабинет Ивана Николаевича, год назад ставший Колиной комнатой. Оставляя далеко позади многие и многие темы споров и порою острых полемических стычек, здесь главенствовала Поэзия. Большинство сами писали, но и остальные не были безучастны к судьбам поэзии, и вопросы ставились остро: или — или. Спорные разрешал «Круг» — так назывался своего рода арбитраж, выносивший бескомпромиссное решение, с обязательным подчинением таковому. Этот метод решения споров был предложен одним из товарищей Коли, студентом-медиком, выходцем из донского казачества. В случае, если решение «Круга» было особо неожиданно и блистательно или же кто-то разил противника остроумным выпадом, раздавались крики: «Сомнамбула!.. Сомнамбула!..» Коля вставал, вытягивал вперед руки, к нему подходил остроумец и ложился спиной на протянутые руки. Коля недвижно держал вытянутое струной тело, а все присутствовавшие хором восторженно скандировали (хотя в ходу этого слова еще не было): «Сомнамбула! Сом-намбула! Сом-намбула!» После этого Коля опускал руки, ставил героя на пол и выкрикивал: «Долой... Сашку Жарова, Лебедева-Кумача... Да здравствует Непосредственная натура!»

Две последние строки сопровождались гулкими ударами кулака в грудь, и, видимо, возникающая от этого голосовая вибрация приводила компанию в особый экстаз, и они, прибавив к восторженности ноты гнева, повторяли: «Сомнамбула! Сом-намбула! Сом-намбула!»

К некоторым из называемых поэтов Глазков позже переменил отношение, да и не всегда одни и те же имена повторялись, можно было импровизировать. Кстати, о перемене отношения. Я как-то заговорил с Колей о Лебедеве-Кумаче, и он сказал, что у того есть прекрасные строчки, и процитировал:

Мы-ста,
да я-ста,
рабочий класс-то,
я-ста,
да мы-ста,
в рот тебе триста!

Основным критерием при оценке поэта было — войдет в историю или нет. Об одном из участников этой компании Коля написал шутливое стихотворение с рефреном-утверждением: «Не войдет в историю!» Предсказание, увы, оправдалось. В свою очередь сам Глазков сплошь и рядом сталкивался с неприятием его поэзии.

Вы, которые не взяли
Кораблей на абордаж,
Но в страницы книг вонзали
Красно-синий карандаш,
Созерцатели и судьи,
Люди славы и культуры,
Бросьте это и рисуйте
На меня карикатуры!..
Я пока не мыслю здраво
И не значусь в статус-кво.
Перед вами слава, слава...
Но посмотрим кто кого?..
Слава — шкура барабана,
Каждый колоти в нее,
А история покажет,
Кто дегенеративнее!

В эти же предвоенные годы поэт увлечен идеей Поэтограда и выражает уверенность, что развитие человечества идет по пути Поэтограда, где нравственные и художественные ценности будут создаваться и определяться поэтом.

Путь-дорога
Без итога
Хвалится длиной.
Скоро вечер,
Он не вечен,
Ибо под луной!
Или прямо,
Или криво,
Или наугад,
Все пути
Ведут не к Риму,
А в Поэтоград...
Истину глаголят
Уста мои
Про Поэтоград,
Где живут поэты
И пьют аи.

Время и история внесли свои коррективы в мечту о Поэтограде и заставили его по-иному взглянуть на себя довоенного:

Был легковерен и юн я,
Сбило меня с путей
Двадцать второе июня —
Очень недобрый день.
Жизнь захлебнулась в событьях,
Общих для всей страны,
И никогда не забыть их —
Первых минут войны!..

Колю первых дней войны я вижу очень тихим, замкнутым в себе и почти неразговаривающим, во всяком случае, я не помню ни одного его слова. Ему было плохо, он и не пытался скрыть это.

Был снег и дождь,— и снег с дождем,
И ветер выл в трубе.
От армии освобожден
Я по статье 3-б.
Вздымался над закатом дым,
И было как пожар,
Когда я шел ко всем святым
И не соображал.

Вскоре после начала войны в Москве была объявлена воздушная тревога, оказавшаяся учебной. Когда Коля вместе с Ларисой Александровной шли в бомбоубежище, он по пути из прихожей захватил стоящую там тоненькую кавказскую тросточку и на вопрос, зачем берет ее, ответил: «А зачем ей пропадать?» Позже цикл стихов 41—42-го годов объединится общим заглавием «Сорок скверный год», а о себе скажет:

Я не был на фронте,
Но я инвалид Отечественной войны.

Расставшись осенью 41-го года, мы встретились вновь в апреле 45-го. К этому времени они с мамой вернулись из эвакуации, где он закончил Горьковский педагогический институт, параллельно не чураясь никакой работы, включая погрузку и разгрузку барж, и успел некоторое время поработать сельским учителем, преподавая русский язык и литературу. Жили они трудно, но от растерянности 41-го года не осталось и следа. Это был уже взрослый человек, твердо следующий своему поэтическому призванию, но вынужденный добывать средства к существованию чем угодно, но только не литературой.

К этому времени относится четверостишие о пилке дров, открывшее мои записки. Тогда Москва еще дымила печными трубами, и, выглядывая в окна, москвичи по дымам определяли погоду. Дров было нужно много, а пильщики четвертый год пилили войну, поэтому спрос на мужские мускулы был немалый, и дело это — пилка-колка — при тогдашней натуроплате было в прямом смысле — хлебное. Бу-

ханка хлеба и бутылка водки были основной платежной единицей. Если за 3—4 кубометра перепиленных, расколотых и уложенных дров он получал (иногда он и один пилил) буханку хлеба и поллитра водки, то водку можно было обменять на рынке на какой-то иной продукт, что ему, при иждивенческой карточке, было очень кстати, а если цепочку обмена удавалось продолжить, то она могла закончиться и заканчивалась обычно рабочей карточкой. Так рынок вошел не только в его быт, но и в стихи.

На Тишинском океане
Без руля и без кают
Тихо плавают в тумане
И чего-то продают...

О своей физической силе Коля сам скажет: «Я самый сильный среди интеллигентов и самый интеллигентный среди силачей». И это правда: руки длинные, при пилке дров рычаг мощнейший, напарнику за ним тяжко угнаться — чуть приустал, пилу на себя помедленнее тянешь, как он уж рвет ее у тебя из рук: у него ритм постоянный, потому напарника ему нелегко было подыскать. Из наших общих знакомых лучше всего он «спилился» со своим неизменным другом еще со школьной скамьи, тогда Женей, сегодня — Евгением Петровичем Веденским, кстати, тоже нижегородцем. Я пилил с Колей только два раза в год — свои и его дрова, вот колоть дровишки иной раз брался помогать, так как на такое пустяшное дело ему силу тратить было жалко.

Еще в довоенные годы учебы в пединституте он поступил в институтскую секцию бокса, которую вел мой старший брат, чемпион Союза по боксу в легком весе, Николай Штейн.

Историю эту мне рассказывали они оба, и в обоих случаях версия была одна и та же. На одном из первых занятий братом было предложено известное упражнение боксеров со скакалкой. С большим или меньшим успехом все приступили к этой девчоночьей забаве, один Глазков оставался сторонним наблюдателем. Наконец, он молча подошел к составленным в углу зала стульям, поставил три из них друг на друга, присел на корточки, ухватил нижний стул за основание ножки и, медленно распрямившись, поднял всю махину на гордо вытянутой руке. Постояв так какое-то время, медленно опустился, аккуратно поставил нешелохнувшуюся конструкцию на пол и, гордо обведя всех своим характерным взглядом исподлобья, жестом руки предложил повторить дивертисмент. Никто, включая моего брата, не сдвинулся с места. Глазков молча вышел из зала и никогда туда не вернулся. За-

кончил он свой рассказ такими словами: «Хо-хо, как я их посрамил!»

Но вернусь к военным и первым послевоенным годам. Тогда, в сороковые годы, ни одна его строчка не была напечатана, и он пользовался «Самсебяиздатом»:

Самсебяиздат — такое слово
Я придумал, а не кто иной!

Маленькие самодельные книжки, вначале рукописные, а позже и машинописные, хранятся у многих друзей и почитателей поэзии Глазкова.

Путь был им выбран:

Не ищу от стихов спасения,
Так и буду писать всегда.
У меня все дни воскресения,
И меня не заела среда.

Возвращались его товарищи-фронтовики, приезжали в Москву молодые люди, знавшие Глазкова лишь понаслышке, и все шли на Арбат к Коле. Снова в кабинете гул голосов, пелена дыма, преимущественно махорочного, уже выползла в коридор, и одна из соседок, ревнительница коммунальной чистоты, грозит участковым, а поэты все идут и идут к поэту, и он придирчиво слушает чужие стихи и задумчиво читает свои:

У меня с тобою предисловье,
Увертюра, старт, дебют, начало.
Неблагоприятные условья
Нам мешают видеться ночами.
Между нами недоговоренность,
А нужна взаимная влюбленность!..
В дни, когда победу любо праздновать,
Промедленье скверно, как беда.
Ты сказала мне: — Нельзя же сразу!..—
Я сказал: — Нельзя же никогда!

Стучат в коридоре костыли Виктора Гончарова, у окна молчаливый Борис Слуцкий в майорском кителе, Михаил Луконин тоже вспоминается в чем-то цвета хаки, и над голубым костюмом трофейного немецкого сукна «всё видавшие на свете синие глаза» Сергея Наровчатова...

Зимой 45-го или 46-го года в литературной Москве большое событие — вечер поэтов-фронтовиков в Политехническом музее. Коля взял меня с собой и весь вечер внимательно слушал незнакомые ему стихи своих довоенных друзей. Мне запомнился Наровчатов, читавший стихи польского цикла. По окончании в забитом людьми вестибюле Коля, как обычно, загодя глухо застегнул пальто и поднял воротник, завязал под подбородком шапку-ушанку и, зяб-

ко ссутулившись, переходил от группы к группе, резко и радостно выбрасывая руку для рукопожатий. Мне было велено: «Стой здесь!» — а сам куда-то скрылся. В ближайшей ко мне довольно большой компании кто-то, кивнув головой ему вслед, спросил: «Кто это?» Другой, кажется, ныне один из секретарей писательской организации, с сочувствием ответил: «Глазков! Всех нас за пояс заткнет, да не по той дорожке пошел!» Откуда это пошло и из чего родилось? Или я оказался при рождении сопутствующего ему многие годы несправедливого ярлыка? Так или иначе, но это укоренившееся мнение на многие годы удлинило путь Глазкова к читателю. Некоторые видели в этом даже преимущество. Так, Илья Сельвинский, чьи семинары Коля посещал в Литинституте, сказал ему однажды: «Счастливый вы, Коля». На искреннее удивление, какое же счастье может быть у поэта, живущего пилкой дров, Илья Львович ответил: «Вы можете писать все, что хотите!»

О поэте больше и точнее всего говорят его стихи. Сейчас они все передо мной, и я свидетельствую: ни в одном из них нет ничего «с той дорожки». А если кого-то смущает часто повторяемое местоимение «я», то Глазков, как бы предвидя такой упрек, сказал:

Когда я пишу о себе,
То не о своей судьбе:
Пишу о судьбе Отчизны,
Пишу о борьбе и жизни!

Однако надо вернуться в вестибюль Политехнического. Коля вскоре возвратился с Наровчатовым, и мы втроем поехали на Арбат. Почему-то этот вечер мы провели за столом не у Глазковых, а у нас. Наровчатов снова читал польский цикл и многое другое, обворожил всех, включая мою маму. Колю я запомнил в этот вечер сияющим. С тех пор, в течение ряда лет, они встречались чуть ли не ежедневно либо на Арбате, либо у Наровчатова на улице Мархлевского.

Незадолго до смерти Коли Сергей Сергеевич приехал к нему, о чем Коля с удовольствием сказал мне при одном из последних наших свиданий. Тогда же я высказал предположение, что познания Коли в области естественных наук выше наровчатовских, и спросил, как обстоит дело в гуманитарных. Ответ был по-глазковски точен: «В естественных я впереди один к пяти, в гуманитарных наоборот!» И это при том, что сам он был в искусствах знаток немалый. Что же касается пристрастия Глазкова к естественным и точным наукам, то это объясняется складом ума, всегда отдававшего предпочтение логике мысли и фак-

та и не доверявшего эмоциональному восприятию явлений. В этом смысле показательно его возражение мне по поводу М. Пришвина. Коля сказал, что предпочитает В. Бианки, так как от него получает больше знаний. Вот откуда этот поэтический диалог:

— Учусь у чувств!
— Учись у числ!

Однажды я принес ему «Собачье сердце» М. А. Булгакова, а он к тому времени читал уже не все, а с разбором, и, увидев машинописную копию, кивнул в сторону жены: «Пусть она прочтет». Дальше события развивались так. Ина решила какой-то отрывок прочесть Коле, занимавшемуся за письменным столом. Много прочесть ей не удалось. Вскоре он прервал свои дела, прислушался, а затем и остановил ее, сказав, что будет читать сам. Прочитав, сказал: «Гениальный писатель».

Ну вот в моем повествовании появилась и жена, а я ее еще не представил.

В 1951 году я закончил театральное училище и на семь лет уехал из Москвы. Виделись мы в эти годы редко. В 54-м году в письме ко мне мелькнули буквы И.М.Л., позже они стали часто предшествовать многим стихам Глазкова. За этой аббревиатурой — «Иночка моя любимая», позже получившая более высокий титул, в одному Глазкову ведомой табели о рангах — «Умница Бурундучок», и пожалована недвижимым имуществом — бухточкой Бурундучка, расположенной в районе Крылатского. Свидетельство тому — стихи под таким названием в сборнике «Первозданность». Эта книга, пожалуй, больше других глазковских книг полна путевых впечатлений Великого путешественника, как он сам себя называл и каковым был на самом деле. Он очень любил свой дом, любил работать дома, любил дружеские застолья дома, любил возвращаться домой и... любил уезжать, уплывать, уходить. Улетать не любил — мало путевых впечатлений. Если не было возможности съездить куда-то далеко от дома,— электричка или автобус — и он в лесу.

А вы все, а вы все,
Все катайтесь по шоссе,
А я сам, а я сам,
Сам шатаюсь по лесам!

Сколько здесь глазковской влюбленности в природу, удалой шаловливости и талантливой поэзии! И как просто и естественно.

Стремление к простоте присуще всему творческому пути Николая Ивановича. Не в этом ли причина постоян-



В блоковском Шахматове. Слева — С. В. Штейн, сосед по квартире и друг Н. И. Глазкова. 1974 год

ного саморедактирования? Он любил повторять: «Краткость — единственная сестра таланта!» Хотелось крикнуть: но не до такой степени! Ведь от целых поэм порой оставались только строфы, а то и двустишия. Доводы, что он сам ценил когда-то выброшенные строки, на него не действовали. У него на этот случай был свой резон: «Великие люди тем и отличаются от ничтожных, что признают свои ошибки». И «саморедактировал» он со всей категоричностью: после такой редактуры прежние варианты уничтожались. Я всегда был противником Глазкова-редактора, и в этих заметках цитирую по памяти кое-что уничтоженное автором.

Когда-то у него была теория «сильной строки», из нее следовало, что все стихотворение определяется и держится одной сильной строкой. Помню, как многих, читавших хорошие стихи, он упрекал в отсутствии сильных строк. Позже он отказался от этой теории, но афористичность осталась одной из сильных сторон его поэзии.

Те, которые на крыше
Жизнь свою пропировали,
К звездам все-таки не ближе,
Чем живущие в подвале!

Самобытность и оригинальность Николая Ивановича заставили обратить на него внимание кинематографистов. Правда, в первый свой фильм студент Глазков пришел по объявлению, звавшему принять участие в массовых сценах «Александра Невского» режиссера С. Эйзенштейна. Об этом написаны стихи с прекрасным признанием:

Я в русской массовке
Служил рядовым.

Для актера массовка — поругание всех честолюбивых помыслов, а у него — просто и с гордостью: в русской массовке служил рядовым!

Позже он снялся в «Андрее Рублеве». Андрей Тарковский пригласил его сам, и Летающего мужика в исполнении Глазкова все запомнили: оглядывается... настороженный взгляд исподлобья... и: «Летю-ю-ю!..»

В «Романсе о влюбленных» А. Кончаловского сыграл роль матрасника. В фильме есть крупный план Глазкова во время встречи героя, к сожалению, кадр оборван, но умилительная улыбка матрасника запоминается. В ней — характер персонажа.

В Николае не было ничего актерского, не было дара перевоплощения, но было одно из необходимейших актерских качеств — органичность пребывания в предлагаемых обстоятельствах.

Последние годы мы жили далеко от родного Арбата и друг от друга. Он «получил фатеру» в Кунцеве, на Аминьевском шоссе, и единственный плюс этого переезда был в соседстве с Москвой-рекой. К этому времени он, в прошлом мерзляк, холодными обливаниями закалил себя и купальный сезон растягивал чуть ли не до ноября. И вот как-то осенью он усиленно приглашал меня приехать к нему и вместе пойти купаться; я от купания отказался, сославшись на холод, на что он успокаивающе прокричал в телефонную трубку: «А тебе и не надо купаться! Ты будешь стоять на берегу и восхищаться». В этом тоже Глазков. Ему нужны были свидетели его подвигов, ему было нужно признание.

Уже тяжело больной, он отмечал свое шестидесятилетие. Гостей было много, а он всегда был рад им. Но самую большую радость доставил ему сын, «Коля маленький». Он отчеканил серебряную юбилейную медаль с глазковским барельефом, и Николай Иванович на протяжении всего вечера то прятал ее в карман халата, то снова вынимал и просто держал в зажатом кулаке.

Время болезни оказалось удивительно продуктивным в

его творчестве. Слабеющий на глазах, он не отрывался от письменного стола. Больным он написал пьесу, большие циклы стихов «Объяснения в любви» и «Самоцветы». Сколько блеска и остроумия в «Объяснениях» тяжело больного Глазкова! И масса стихов. Их он сочинял ночью, а днем только записывал. Я спросил, было ли так прежде, он ответил: «Прежде ночью я спал».— «Как выдерживаешь ты каждодневную и неотрывную работу?» — «Иначе нельзя, Сереженька. Без работы умру».

Еще совсем недавно он, в крайнем случае, сказал бы «помру».

Шестьдесят первую годовщину Николая Глазкова мы отмечали уже без него. Его друг, поэт Евгений Ильин, сказал: «Как много мы у него не спросили!» Да, много. Многое мы упустили в своих рассказах о нем. Но остались стихи. В них — все о Глазкове.

Андрей Попов

ЗДРАВСТВУЙ, КОЛЯ!

Как быстро летит время. Уже десять лет, как тебя нет с нами... И вот сейчас мы вновь вместе, чтобы вспомнить прожитое и пережитое. Не знаю, как другим, а мне от этого и радостно и грустно. Радостно потому, что тебя не забыли и по-прежнему ценят и любят многие. И грустно, так как воспоминания всегда порождают запоздалые сомнения и сожаления о совершенных или, наоборот, несовершенных поступках, о том, что следовало бы сделать и сказать, и о том, что было сделано и сказано в жизни. Особенно остро чувствуешь это, когда предаешься воспоминаниям о своем детстве и юношестве уже в преклонном возрасте. Сопоставление мира иллюзий с суровой реальностью всегда болезненно и горько. А именно это мне и предстоит сделать...

Более полувека назад, точнее — 1 сентября 1927 года, мы впервые встретились с Колей на пороге неведомого доселе для нас, таинственно-загадочного и поэтому заманчиво-притягательного школьного мира...

Среди нескольких десятков первоклашек, собравшихся во дворе школы, он выделялся аккуратно отглаженными новыми штанишками и белой рубашечкой. А я, наоборот, привлек внимание нашей будущей учительницы перешитыми из материнской юбки заплатанными штанами, которые по дороге из дома успел уже испачкать едко-зеленой масляной краской, не удержавшись от соблазна пролезть между металлическими прутьями недавно перекрашенных железных ворот, вместо того чтобы пройти через находившуюся в нескольких шагах от них открытую калитку. Впоследствии, узнав об этом, Коля прокомментировал мое неразумное поведение словами Владимира Маяковского: «...где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легше?..» Но, по всей вероятности, не только наш внешний облик, а и внутреннее состояние заинтересовали учительницу. В отличие от него, стоявшего немного в стороне ото всех ребят и бросавшего растерянные взгляды в сторону группы родителей, бабушек и дедушек, среди которых находилась и его мама, я чувствовал себя

совершенно свободно и уже затеял спор, готовый перейти в драку, с двумя мальчиками, один из которых жил в нашем доме и всегда обыгрывал меня в фантики. Поэтому, когда прозвенел звонок и всех стали выстраивать парами, учительница поставила нас с Колей рядом, по всей вероятности исходя при этом из высших педагогических принципов о возможном сочетании диаметрально противоположных личностей с целью их последующего благотворного влияния друг на друга.

Так, взявшись за руки, мы переступили порог школы, вошли в 1-й «А» класс, сели за одну парту, а потом многие годы прошагали вместе, хотя и шли порою разными путями, и жизнь сложилась у нас по-разному... Но даже когда мы долго не виделись, то, встретясь вновь, говорили так, как будто только вчера расстались и всегда понимали друг друга с полуслова, несмотря на различие интересов, взглядов и отношения к окружающей действительности.

7-я школа ФОНО, куда мы попали, размещавшаяся вначале в Плотниковом, а потом в Кривоарбатском переулке, была создана на базе бывшей Хвостовской гимназии. Ее педагогический коллектив был столь же неоднороден по своей профессиональной подготовке и установкам, сколь разнороден был и состав учащихся. Старшее поколение учителей, получивших солидное образование и имеющих большой педагогический опыт, как правило, с иронией и в штыки встречало различные новшества и эксперименты, осуществляемые в те годы Наркомпросом, считая, что они отрицательно скажутся на процессе обучения. Молодые же учителя с восторгом и порою с энергией, достойной лучшего применения, отвергали все прошлое, вплоть до Державина, Жуковского и даже Пушкина, которых считали представителями дворянства и носителями враждебной нам идеологии. В ускоренном порядке претворяли они в жизнь порою самые разноречивые указания РОНО и вышестоящих органов просвещения.

Особенно пагубно эта борьба взглядов по вопросам о том, чему и как надо учить, сказалась на учащихся в период апробирования так называемых комплексного и бригадного методов обучения. В первом случае все предметы (арифметика, русский язык, география, биология, рисование и т. д.) «изучались» одновременно в процессе одного урока, а во втором — система проверок знаний учащихся и усвоения каждым из них пройденного материала сводилась к тому, что спрашивали только кого-либо одного из них, а отметки за его ответ выставлялись всей бригаде, которых в нашем классе было четыре. Меня лично такая система вполне устраивала, так как домашние задания я обычно не выполнял. Коля же отличался прилежани-



Коля Глазков. 1929 год

ем, а главное, любил и знал географию, русский язык и литературу, и поэтому чужие тройки или четверки, красовавшиеся в его дневнике по этим предметам, вызывали у него возмущение.

Когда же обучение приняло, наконец, нормальные формы, мы оба оказались в еще более сложном положении. К этому времени между старшим и младшим поколением педагогов было установлено мирное сосуществование, и все они были охвачены одной идеей — ликвидацией допущенных промахов путем увеличения объема даваемых нам знаний и повышения качества их усвоения нами. Однако каждый из учителей считал, что именно его предмет является главным, основным и необходимым со всех точек зрения, совершенно игнорируя при этом индивидуальные особенности учеников, их подготовку, способности и склонности, не говоря уже о значительной разнице в их материально-бытовых условиях. Так, например, в нашем классе были дети из потомственных дворянских и старинных интеллигентных семей, которые еще до поступления в школу хорошо читали и писали, а иногда владели одним, а то и двумя иностранными языками, часть ребят жили во вполне обеспеченных семьях и не знали других обязанностей, кроме учебы. А несколько человек, в том числе и я, воспитывались улицей и были предоставлены самим себе. Естественно, что все это неизбежно сказывалось на результатах нашей учебы и наших взаимоотношениях уже в младших классах.

В этом возрасте начинается самоутверждение личности, стремление в чем-то проявить себя и этим обратить на себя внимание окружающих. Не думаю, что мы с Колей были совершенно бездарными и не способными к ученью детьми. У него, например, была удивительно хорошая память и врожденное чувство языка. Но память эта была избирательная, то есть запоминал он только то, что его интересовало, а язык признавал только русский. Оба мы неплохо знали отдельные, любимые нами предметы, но все это нас редко когда спасало, и мы всегда числились в списках отстающих.

В старших классах мы буквально ненавидели немецкий язык, что особенно огорчало Колину маму — Ларису Александровну, преподававшую этот самый злополучный немецкий в одной из соседних школ и безуспешно пытавшуюся поднатаскать нас перед экзаменами.

Зато в различных диспутах и спорах, возникавших по любому поводу среди учащихся, мы не находили себе равных. Коля всегда очень обстоятельно и логично, но зачастую слишком пространно обосновывал свою точку зрения. Я же предпочитал аргументировать свою правоту при по-

мощи кулаков, усвоив еще в детском доме на Красной Пресне, где провел первые шесть лет жизни, что нет более веского доказательства в любой баталии, в том числе и теоретического порядка, чем расквашенный нос противника. Часто, поддерживая или защищая Колю, который в те годы был крайне застенчив, робок и физически слаб, я, вступая в спор, начинал экспансивно размахивать руками и как бы случайно задевал ими физиономии его оппонентов, парируя этим все возможные возражения с их сторон. Иногда, правда, доставалось и мне, но обычно уже после окончания занятий, когда оскорбленные противники, сговорившись, устраивали мне «темную» в одном из проходных дворов.

Но не всегда споры кончались столь бессмысленно. Иногда разум и юмор придавали им совсем другой характер. Так, однажды один из учеников нашего класса — Женя Трейер, отец которого работал в торгпредстве в Италии, принес в школу ряд сувенирных карандашей и подарил несколько штук нам. Мне достался красочный, пишущий сразу тремя цветами — синим, красным и желтым — шестигранный карандаш, каких в то время у нас еще не производили. Естественно, подобная диковинка вызвала большой интерес у всех ребят, которые в течение всего урока по обществоведению передавали его через парты друг другу и, внимательно рассматривая, комментировали это чудо заграничной техники. При этом некоторые роняли его, передавая друг другу, отчего грифель, по всей вероятности, крошился.

После окончания урока я вновь овладел карандашом и, наскоро заточив его, попробовал что-то нарисовать. Несколько штрихов получились как трехцветная радуга, и окружившие меня ребята, загалдев от восторга, наперебой стали расхваливать итальянские карандаши. Однако грифель вдруг треснул и сломался. То же произошло и после неоднократных последующих попыток очинить карандаш. В результате он был укорочен вдвое. Писать или рисовать им было невозможно, тем более тремя цветами сразу. Я огорченно чертыхнулся и обругал всю иностранную продукцию. Коля немедленно поддержал меня, а некоторые ребята, наоборот, стали ругать наши карандаши, тетради и чернила.

Звонок на урок прекратил эту полемику. Мы с Колей уселись за свою парту, и я, взяв его тетрадь по обществоведению (своей у меня не было), написал на ней следующее двустишие: «Самый лучший в мире наш — Наш советский карандаш...» Николай, который еще в первом классе писал стихи, был крайне удивлен и поражен, а после урока, преодолев свою обычную застенчивость, обратился ко

всем ребятам и сказал: «Вот послушайте, что написал Андрей. Это здорово и так же патриотично, как всем известная, не имеющая себе равных, потрясающая реклама «Нигде кроме, как в Моссельпроме!» Молодец Андрей!» И сказал он это так проникновенно, убедительно, что спор о преимуществах иностранной продукции над нашей уже больше никогда не возобновлялся.

После этого случая Коля стал уговаривать меня начать писать стихи и преподал мне основы стихосложения: говорил о рифмах, размерах, возможной тематике. Мне понравилось это занятие, не требующее, на мой взгляд, особых усилий, и я с увлечением отдался рифмоплетству, вскоре научившись экспромтом сочинять небольшие четверостишия на любую заданную тему. Николай всегда с большим вниманием знакомился с моим «творчеством» и в очень деликатной форме, с присущей ему извиняющейся улыбкой, делал критические замечания или давал рекомендации, как лучше доработать или вообще переделать созданное мною. В большинстве случаев я был полностью согласен с ним, но реализовать его советы у меня не хватало ни знаний, ни терпения, ни самого главного — способностей. Однако я до сих пор бережно храню эти «пробы пера» с его пометками, так же как и его рукописные стихи с 1927 по 1979 год с моими репликами на некоторых из них. Ведь в продолжение всей жизни мы интенсивно переписывались, особенно когда оказывались в разных концах страны, причем большинство этих писем было в стихотворной форме. В этой связи не могу не упомянуть о так называемой поэме десяти писем (1937 — 1940 годы), целиком состоящей из соответствующего количества стихотворных посланий Коли ко мне и моих ответных стихов к нему. Эта поэма не была напечатана ни в одном из его сборников, но отдельные написанные им отрывки из упомянутой переписки были им потом использованы в других его стихотворениях, напечатанных в разных местах.

Вначале Николай был вполне уверен, что я, как и он, смогу стать поэтом, и, обращаясь ко мне, говорил:

Пиши стихи, ничто не будет зря:
Сломаются дрянные о каменья,
Достойные пера богатыря
Каменья искромсают без сомненья.

Но потом он, конечно, понял, что поэзия не мое призвание, и написал мне следующее четверостишие:

И я хотел, чтоб ты поэт,
Чтоб ты поэтом... Но
Мой утопический проект
Мною забыт давно...

Однако, будучи по своей сути человеком доброго сердца, очень справедливым и благожелательным, Николай всегда старался подчеркивать мои положительные качества, а не промахи и недостатки. Так, он не раз обращал внимание на мои способности сочинять интересные парадоксы и афоризмы, а также писать острые и порою злые эпиграммы. Правда, некоторые мои реплики на его собственные стихотворения его задевали, но он делал вид, что воспринимает их как шутку, и ни чуточки не обижался.

Говоря о наших увлечениях в школьные годы, нельзя не упомянуть об игре в шахматы, о коллекционировании марок, совместных загородных поездках и путешествиях... В шахматы Коля играл прекрасно и всегда легко обыгрывал меня. Тогда я предложил ему свой вариант игры, а именно в поддавки — как в шашки. Выигрывает тот, кто быстрее отдаст все фигуры. Николай возмутился и сказал, что это профанация шахматного искусства, что нельзя же играть без короля и т. п. Но я парировал его доводы своими утверждениями, что шахматы не искусство, а спорт, так как ведает ими Комитет по делам спорта, а не Академия наук или Министерство культуры. Во-вторых, сказал я, целые народы прекрасно существуют без королей и поэтому пешки могут сражаться до конца. И, наконец, тот, кто действительно хорошо играет в шахматы, должен так же хорошо играть в шахматы-поддавки, поскольку там тоже надо знать ходы и предвидеть их результат. После этого Коля согласился сыграть со мной несколько подобных партий, которые моментально проиграл, чем и был не только озадачен, но и по-настоящему расстроен, заявив, что это дурацкая затея.

Но потом на переменах в школе мы все же играли в шахматы-поддавки и втянули в эту забаву еще с десяток своих сверстников. Для меня лично это была удачная выдумка, так как играть с кем-либо я соглашался только на что-либо (на марки, бутерброды, даваемые родителями своим чадам на завтрак, яблоки или конфеты), а поскольку, как правило, я всегда выигрывал, то и получал дополнительное питание, ибо своих домашних завтраков не имел. Коля скоро разгадал эту хитрость и, должно быть, рассказал о ней своим родителям, которые стали после этого давать ему в школу двойной завтрак.

Вообще его родители, особенно отец Иван Николаевич, были люди добрые и хорошо относились ко мне, понимая, как трудно было моей матери одной без мужа воспитывать сына. Для этого ей приходилось работать с 9 утра до 9 вечера на полторы ставки, и так в течение 30 лет, не уходя даже в отпуск, которым она воспользовалась за все это время только три раза, и то, когда болела. Семья же Коли

была довольно обеспеченной. Отец его, в прошлом партийный работник, был видным адвокатом, а мать — педагогом. Оба они положительно смотрели на нашу дружбу и всегда приветливо встречали меня в своей квартире на старом Арбате. Николай Иванович, несмотря на свою занятость, уделял нам с Колей много времени, возил нас по Москве-реке за город. А однажды даже, несмотря на протесты жены, разрешил нам самостоятельно поехать на озеро Селигер во время летних каникул, правда, обусловив наше отсутствие обязательством ежедневно посылать домой письма и не делать никаких глупостей. Это был рискованный шаг с его стороны, в котором он потом не раз раскаивался.

Как только нас проводили на вокзал и посадили в поезд, помахав на прощанье и сунув в окно уже отходящего поезда с десяток почтовых открыток с надписанным на них домашним адресом Глазковых, мы немедленно распаковали корзину с продуктами и с аппетитом принялись их уничтожать, одновременно обсуждая план нашего пребывания на байдарочной турбазе Селигера. И тут меня осенила блестящая мысль. Учитывая, что районный центр Осташков отстоит от турбазы довольно далеко, я предложил Коле, не теряя зря времени, в поезде написать все открытки сразу, сообщив в них примерно одно и то же, а именно: что мы отдыхаем хорошо, кормят отлично, погода прекрасная. «Это избавит тебя от писанины на лоне природы и ежедневной заботы по отправке открыток на почту в Осташков»,— аргументировал я свое предложение. Привыкший мне доверять в житейских делах, Николай слепо последовал моему совету и сразу написал родителям все письма, которые мы опустили через несколько часов на станции Бологое.

К нашему счастью, почта тогда работала не лучше, чем теперь, и вся корреспонденция прибыла в Москву на старый Арбат только через неделю, вызвав там смятение, беспокойство и возмущение Колиных родителей, которые еще дня три обсуждали, что бы это значило, поскольку на всех открытках был единый штемпель, но разные даты написания, о чем Коля позаботился без моих рекомендаций. Лариса Александровна посоветовалась с моей мамой, которая, хорошо зная меня, пыталась ее успокоить. Иван же Николаевич, как юрист, решил выяснить все досконально и сам поехал на Селигер.

К его прибытию мы уже успели испытать все радости пребывания на озере и походов на байдарках. Оба изрядно обгорели и были искусаны комарами, оба научились хорошо грести и управлять швerботами, оба однажды тонули, рискнув поехать на байдарках при большой волне

на остров Городомлю, и оба значительно окрепли и выглядели вполне счастливыми. Поэтому Иван Николаевич, немного поворчав, сказал, что шутка наша с письмами не только глупая, но и жестокая. Однако преступного деяния он в ней не усматривает и искренне рад, что мы живы и вполне здоровы. На следующий день он конвоировал нас в Москву, где успокоил наших матерей, свалив все на почтовое отделение, которое якобы по ошибке все дни на всех письмах ставило один и тот же штемпель, а пришли они все вместе из-за отсутствия сортировщиков и несвоевременной отправки в Бологое. Мы с Николаем были посрамлены его благородством и долго потом испытывали угрызения совести за беспокойство, доставленное родителям. Думаю, что наши матери прекрасно поняли, в чем дело, и с удовольствием дали бы нам подзатыльники, но не хотели разрушать версию, столь великолепно составленную Иваном Николаевичем. И это было правильно. Мы на всю жизнь запомнили, что шутки бывают умные и веселые, а также глупые и злые, и старались больше никогда не беспокоить и не тревожить людей зря, а главное — не огорчать тех, кому мы дороги. К сожалению, нам не всегда это удавалось.

Так, например, у нас постоянно возникали конфликты с учительницей русского языка и литературы Арсеньевой — женой нашего преподавателя по труду, отдаленного потомка Лермонтова. Этот преподаватель был человеком мягким, любящим свое дело и детей. Его же супруга, наоборот, хотя и знала свой предмет, но вела его явно не по призванию. Ориентировалась она только на учеников из привилегированных семей или на тех, кто беспрекословно исполнял все ее поручения и задания. Мы с Колей любили литературу и много читали сверх школьной программы, однако ее это мало трогало. Однажды Николай при моей шумной поддержке открыто заявил на ее уроке, что мы скоро перестанем читать Тургенева, так как по ее комментариям «Записок охотника» мы не можем постичь самого Тургенева, поскольку нам говорится лишь о фермерском и прусском пути развития капитализма в России, представителями которых являются Хорь и Калиныч. Нас, естественно, выгнали из класса. Иногда возникали столкновения и с другими учителями, например, на занятиях по ПВХО, которые Коля очень не любил, главным образом, из-за необходимости натягивать на себя противогаз и сидеть в нем каждый раз по пять-семь минут.

Разумеется, эти годы были наполнены не только конфликтами. Я привел эти эпизоды лишь для того, чтобы показать, что Колина реакция на какую-либо бессмыслицу

или несправедливость в школьной жизни иногда была бурной, и это, конечно, запоминалось.

Свое среднее образование мы завершали в разных школах. Некоторые из моих новых товарищей (Шура и Вера Кузины, Арсений Гиганов, Олег Григорьев, Вася Фомин и другие) стали вскоре хорошими друзьями и Коли Глазкова. У Коли тоже появилось много новых товарищей, с которыми он знакомил меня. Разность характеров, интересов, появление новых товарищей не нарушали нашей дружбы, хотя мы часто спорили по тем или иным вопросам. При этом Коля любил обстоятельно поразмышлять для обоснованного подтверждения своей точки зрения, я же пытался подавить его своей реактивностью и резкостью суждений. Когда мне это удавалось и я «загонял его в угол», он обычно молча сконфуженно улыбался, как бы говоря: «Ну что ж, посмотрим...» Не случайно он как-то написал мне следующее четверостишие:

Мы проводили вечера
И говорили до азарта,
Но все, что делали вчера,
Опровергало завтра.

А я по этому же поводу начеркал ему такие строки:

...Мечты наши — сон, но за сном идет день...
У нас есть завтра — оно наступает.
Коля! Отбрось пессимизм и лень,
Кто поспевает — тот побеждает!
Сюжет прорывает форму — льется наружу,
Трагизм жизненных формул — тебе не нужен...

Мы оба в те годы были очень стеснены в средствах. Особенно нелегко приходилось Николаю после ареста его отца в марте 1938 года. Тогда я предложил ему написать совместно два небольших очерка и потом переделать их в пьески для самодеятельных коллективов, что мы и сделали. Однако наши, безусловно, слабенькие опусы были безжалостно отвергнуты в издательствах и редакциях журналов. Столь же безрезультатна была и попытка создать новую игру для юношества под названием «Сражение флажков», которая до сих пор хранится у меня как неудачная попытка изобретательства. В общем, создать кубик Рубика мы были не в состоянии и стали подрабатывать, используя свою физическую энергию. Это оказалось надежнее и полезнее, так как давало не только какие-то деньги, но и закаляло нас.

Все свое свободное время Коля, теперь уже студент пединститута, занимался поэзией, а я подготовкой небольших статей и информаций для стенгазет и вузовских многотиражек. В октябре 1939 года, когда я, сильно заболев,

попал в больницу, Коля передал мне записку, в которой сообщал: «Я, как всегда, пишу. Недавно на Киевском вокзале выгружал из вагона яблоки. Здорово! Ты тоже был грузчиком... Лекции почти не слушаю. Основное мое занятие — поэзия. Нехорошо, что ты болен, поправляйся...»

К сожалению, дела у Николая шли все хуже. Его мама Лариса Александровна тяжело разболелась и работала из последних сил, младший брат Георгий перед началом войны заканчивал школу и сам нуждался в помощи (учился он хорошо и еще занимался музыкой). Словом, без отца им было трудно жить.

Когда же началась война, Николай с матерью были вынуждены уехать в Горьковскую область. А я вскоре стал политруком эвакогоспиталя.

Около трех лет мы не виделись с Колей, но ежемесячно писали друг другу подробные письма, в которых делились новостями о родных и общих знакомых, обменивались планами на будущее. Я старался внушить ему уверенность и надежду на то, что его наконец станут печатать.

В начале 1944 года мы оба были уже в Москве, но встречались крайне редко. Правда, сразу по приезде в Москву он около двух недель жил на Сивцевом Вражке у моей мамы — Марии Ивановны Поповой-Беспаловой, пока не отогрел свою промерзшую квартиру на Арбате. Мама любила Колю и всегда старалась помочь ему и Ларисе Александровне, когда они оказывались в трудном положении. Лариса Александровна иногда жаловалась на неуспехи Коли и его неумение устроиться в жизни, несмотря на отличную память и литературное дарование; моя мать говорила, что все талантливые люди чем-нибудь выходят за рамки общепринятой нормы. Коля любил мою маму, искренне уважал и ценил ее. Колю удивляла ее феноменальная память и способность быстро читать. Николай сам обладал отличной памятью и умением быстро читать и усваивать прочитанное, очень ценил эти качества в других людях. В годы войны Николай с моей матерью вели регулярную дружескую переписку. Так, в одном из своих писем к ней в день своего рождения, 30 января 1943 года, Николай пишет такие строки:

Когда-нибудь сгинут все грохоты битв
И мы соберемся во время пира
И скажем: «Тогда было трудно быть,
Но вспомнить легко обо всем, что было...»

Письмо написал, может быть, и не так,
Как надо писать. Не понравится Вам оно,
Но сгинут удары немецких атак,
И скоро мы встретимся, Марья Ивановна.

Моя мать не только любила и жалела Колю, но и верила в его талант и была искренне рада, когда в 1957 году вышла в свет первая книга его стихов — «Моя эстрада». Но до выхода этой книги Глазкова прошло двенадцать послевоенных лет, которые были заполнены его кропотливой работой над стихом, многочисленными переводами, отдельными публикациями в периодике, а главное — заботами о хлебе насущном и подыскиванием приработка, начиная от погрузки и разгрузки ящиков с книгами и кончая поездками по стране с целью публикации стихов в местной прессе.

Николай всегда любил путешествовать, и всевозможные поездки помогали ему лучше узнавать людей и жизнь. Расширялся круг его знакомых, друзей. У него стали бывать люди самых различных профессий, которых объединял интерес к Колиным стихам. Но чаще всего заходили к нему его коллеги по поэтическому цеху.

Николай, будучи по природе человеком очень чутким, внимательным, ласковым и душевным, всегда любил порадовать своих друзей, родных и знакомых и, как правило, дарил им свои книги стихов с надписями и посвящениями, сделанными в стихотворной форме. Его автографы есть и у меня на всех его книгах. Каждая из этих надписей говорит об очень многом, о нем самом, о его отношении ко мне, об оценке им собственных, только что созданных или изданных стихов... И все эти надписи (на книгах или на отдельных листочках его стихов), так же как и его письма, крайне дороги мне.

...В сентябре 1979 года я побывал в гостях у Николая. Говорили о вышедшей в том году его книге «Первозданность» и сборнике «Избранных стихов». Вскоре я уехал лечиться в Сочи. Правда, накануне отъезда зашел к нему еще раз повидаться, вернее — попрощаться уже навсегда...

С каждым уходящим из этой жизни уходит частица и нашего собственного «я». И чем ближе и дороже был нам этот человек, тем больше эта частица, тем значительнее, тяжелее и ощутимее эта потеря. С Колей навсегда канули в Лету и мое детство, и моя юность, и отдельные периоды более зрелого возраста...

Евгений Веденский

В ШКОЛЕ И ПОЗЖЕ

Арбат — одна из самых известных московских улиц. Примерно от середины ее ответвляется Кривоарбатский переулок. В этом переулке с левой стороны стоит трехэтажное кирпичное здание. До революции в нем размещалась женская гимназия. Ныне — это жилой дом. В то время, о котором будет идти речь, здесь была 7-я школа Фрунзенского РОНО.

Тут и произошла моя первая встреча с Н. Глазковым.

В ноябре 1933 года моя семья переехала из Горького в Москву. Мне было тогда 12 с половиной лет. Через неделю после приезда мать устроила нас с братом в эту школу. Мы были зачислены в седьмой «а» класс.

Класс встретил нас мирно, даже, можно сказать, равнодушно: никаких особых расспросов не было. После нескольких дней учебы мы уже полностью слились с ребячьим коллективом.

Память сохранила образы всех учеников нашего класса, но в первую очередь — Коли Глазкова. Это был подросток лет четырнадцати, ходивший всегда в сером свитере с молнией. У него были большие оттопыренные уши, за что ему дана была кличка «Коля-осел». Да, вот так...

Каждый день перед началом занятий (мы учились во вторую смену) проводилась «линейка». Мы выстраивались, а староста докладывал: «Рапортует староста группы 7 «а». Списочный состав группы столько-то человек. Присутствует столько-то человек». Глазков считал эти «линейки» пережитком прошлого и никогда на них не ходил, за что ему, естественно, доставалось.

Однажды, помню, было задано нам домашнее сочинение «Образ Левинсона в романе А. Фадеева «Разгром». Раздав в классе проверенные сочинения, учительница сказала о каждом несколько слов, а затем обратилась к Глазкову: «Ну, Глазков, этого я от Вас не ожидала! Как можно делать такие выводы, какие сделали Вы? Я поставила Вам «неуд».

Глазков равнодушно поднялся и взял протянутое ему сочинение. На перемене я спросил его о причинах та-

кой отметки. Он ответил: «Я доказал, что Левинсон был профан в военном деле, поэтому его и разгромили». В доказательство я привел афоризм Шота Руставели: «Сотня тысячу осилит, если мудр вождя совет».

На него двойка подействовала, как пролетевшая мимо муха. В четверти ему все-таки выставили «уд.». Однако эта история долго была предметом обсуждения.

Как началась наша дружба с Глазковым? Боюсь, что не смогу вразумительно ответить на этот вопрос. Подружились — и все. Через неделю после моего поступления в эту школу мы уже были хорошими друзьями, несмотря на разницу в летах. В том возрасте два года — это много.

После уроков мы обычно шли вместе по Арбату: он сворачивал к дому 44, во двор, который тогда был весь разрыт (строилось метро, и во дворе стояла шахта), а я шел дальше до дома 54, углового, где еще внизу был «Торгсин», а шестой этаж надстраивался Наркомземом (там работала у меня мать). В этом доме она и получила квартиру.

Я вырос в деревне. Города я не любил и несколько раз садился на 31-й трамвай, шедший в сторону Филей, и долго там бродил по лесу (теперь Филевский парк). Как-то я предложил Коле совершить такое путешествие. К моей радости, он сразу же согласился, и мы в воскресенье (это было в начале января) поехали. Побродив по парку, мы вышли к Москве-реке и дальше пошли вверх по течению. Пройдя Кунцево, мы свернули влево и в скором времени вышли на шоссе. Это было где-то в районе Мазилова. Было холодно. Мороз был, наверное, градусов 25, не менее. Полчаса прождав автобуса, мы, наконец, сели в него. Коля протянул деньги кондукторше и сказал: «Два до Смоляги». Автобус нас довез до Смоленской площади, после чего Глазков пригласил меня к себе. Я охотно пошел. Поднявшись на второй этаж и пройдя коридор, мы зашли в маленькую прихожую, разделись там, и я попал в квартиру. Квартира состояла из трех комнат. Одна была столовой, тут же спали ребята. Из нее двери выходили еще в две изолированные комнаты. В одной был кабинет отца, вторая принадлежала матери. В столовой было пианино и большой стол. Что-то было еще из мебели. Коля представил меня своим родителям. Его мать, Ларису Александровну — преподавательницу немецкого языка, я сразу узнал. Она занималась с отстающими у нас в школе. Узнал я также и Жоржика, ведь он учился тогда в нашей школе. Жоржу было 10 лет, и видно было, что это мамин любимец. Отца Коли я увидел впервые. Иван Николаевич был известный адвокат, имевший частную практику. На меня он особого внимания не обратил, но зато Лариса Александровна засыпала меня вопросами, кто я, что я, кем работает отец, мать, откуда я



Семья Глазковых. Мать Лариса Александровна, отец Иван Николаевич, Георгий, Николай. 1934 год

взялся и т. д. Я, как мог, отвечал. Затем Коля повел меня в отцовский кабинет и показал мне свое богатство: марки. Из них мне особенно понравились марки Голландской Индии, главным образом с острова Борнео: они все были с изображением тамошних животных. Часа два я пробыл у Глазковых. Они напоили меня чаем. В книжном шкафу я увидел пятитомное издание Гюго «Отверженные» (издание «*Academia*»). Мне очень хотелось прочесть эту вещь, я давно знал о ней, и я попросил книгу. Коля без обиняков достал первый том и вручил мне. Так постепенно я прочел полностью «Отверженные». Это была первая встреча у него дома. Потом я довольно часто бывал у него.

В конце января Коля мне сообщил, что 30 января у него день рождения, ему исполняется 15 лет, и пригласил на этот день меня с братом. В числе приглашенных был еще Андрей Попов. Из нашего класса больше никого не было. Мы, конечно, пришли. Остальные все были домашние.

Вечер прошел очень хорошо. Иван Николаевич был, очевидно, в лучшей своей форме, шутил, смеялся и совсем был не похож на того нелюдимого человека, которого я впервые увидел около месяца тому назад.

Меня поражала Колина осведомленность в географии и истории. Несмотря на то что я сам хорошо знал эти предметы, Коля все же знал больше меня. «Благодаря мар-

кам, я так хорошо знаю географию»,— говорил он. Я не знаю, куда делась та филателическая коллекция, но, конечно, очень жаль, что ее уже давным-давно нет.

Часто, приходя к нему в обычные будние дни вечером, я обращал внимание на разных людей, сидевших в столовой. Это были клиенты Ивана Николаевича, которых он принимал у себя в кабинете.

Занятия в школе обычно кончались в 19.30. Но я иногда оставался и позже. Дело в том, что однажды, задержавшись минут на пятнадцать, я спускался в раздевалку и, проходя мимо актового зала, услышал звуки музыки, доносящейся из зала. Я потрогал дверь, она была заперта, по-видимому, изнутри. Я с детства люблю музыку, хотя и не умею ни на чем играть. Играли на пианино Шопена, и только Шопена. Я, наверное, полчаса стоял и слушал. Я не разбирался в мастерстве пианиста, да и теперь, пожалуй, не разбираюсь, но тогда мне казалось, что пианист очень хорошо играет. Затем я, не дожидаясь выхода пианиста из зала, спустился по лестнице, оделся и пошел домой.

Несколько раз я специально оставался, чтобы послушать музыку, хотя репертуар и не менялся. Играли только одного Шопена.

Наконец, я решил узнать, кто это все-таки играет. Простояв час с небольшим около зала, я услышал, как хлопнула крышка пианино, а затем и легкие шаги. Я понял, что играла женщина, и отбежал скорее в темноту, чтобы не попасться ей на глаза. Она вышла из зала, заперла дверь и стала спускаться по лестнице. Это оказалась тоненькая молодая женщина лет тридцати.

Преподавательский гардероб был тоже на первом этаже. Я спускался следом за ней. Внизу, к моему изумлению, я увидел Колю Глазкова. Он, уже одетый, сидел на скамейке и, видимо, кого-то ждал. Внизу воздух был холоднее, так как наружная дверь то и дело отворялась, а на улице был мороз. Женщина дошла до гардероба, протянула номерок и вдруг сильно закашлялась. Кашляла она долго, приложив платок к губам. Кашель просто сотрясал ее худенькое тело. Наконец она прокашлялась и, повернувшись, увидела Колю. Она в изнеможении прислонилась к стене и улыбнулась Коле: «Коля, зачем?» — сказала она. Коля взял ее пальтишко, отнюдь не зимнее, и помог ей одеться. Тут она увидела меня и спросила Колю: «А это кто?» — «А это — мой друг Женя Веденский»,— был ответ. Потом мы вышли на улицу. «Женя, я провожу ее»,— сказал он. Он взял ее под руку, а я пошел сзади. Она жила на Арбате, недалеко от театра Вахтангова. Проводив ее до подъезда, Коля мне сказал: «Это учительница немецкого языка, Оксана Михайловна, преподает в старших клас-



Московский государственный педагогический институт

сах. Ее моя мама хорошо знает, они учились вместе на курсах. У нее туберкулез. Ей лечиться надо, а она все преподает, да еще и остается после работы, чтобы поиграть. Дома ведь у нее нет инструмента, а поиграть хочется».— «А как же ее допускают, больную, преподавать?» — спросил я. «Не знают еще. Да она сама толком не знает, как она больна». Это было в конце февраля. После каникул в школе она не появилась. Я узнал, что ее положили в больницу. Дальнейшая ее судьба мне не известна.

После каникул в первый день занятий был чудесный солнечный весенний день. Начинался уже апрель. Никому не хотелось идти в помещение, и все столпились на улице, ожидая начала занятий. Глазков был встречен аплодисментами, так как он единственный пришел без пальто. Но счастье было непродолжительно. Часа через два прибежала домработница Клава, принесла ему пальто и пообещала, что ему сегодня попадет дома от матери. Глазков стоически воспринял это обещание.

Кончался учебный год. Месяц продолжались экзамены, и мы все получили аттестаты об окончании семилетки. Но попасть в 8-й класс этой школы нам не удалось: из трех седьмых формировался лишь один восьмой. Мы разошлись с Глазковым по разным школам, но дружба наша продолжалась. Память моя хранит многие примечательные эпизоды нашего дружеского общения. Вот некоторые из них.

В мае 1938 года в газете «Вечерняя Москва» было напечатано объявление: «Для массовых съемок фильма «Александр Невский» нужны мужчины высокого роста. Просьба желающим прийти 13 мая к киностудии «Мосфильм» на Потылихе».

— Ну что, Коля, сходим? — спросил я Глазкова.

— Конечно! — был ответ.

В то время мы уже достигли около 180 сантиметров роста.

В указанный день мы прибыли на Потылиху. Я, конечно, ожидал, что увижу там много очень высоких, но то, что мы увидели, превзошло все наши ожидания. Во-первых, количество их было огромно. А во-вторых, это были такие гиганты, среди которых мы казались почти карликами. Между ними сновали сотрудники «Мосфильма» и выбранным давали какие-то бумажки. Мы обратили внимание на то, что особенно высокие (примерно свыше двух метров) не котировались. Преимуществом пользовались люди ростом от метра девяносто до двух метров. Получившие бумажки подходили к столу, где их регистрировали, записывали фамилию и адрес.

— Когда начнутся съемки, пришлем открытку,— говорили зарегистрированным.

На нас сотрудники «Мосфильма» не обращали никакого внимания.

— Пошли, Коля, отсюда. Это напрасный труд,— сказал я, собираясь уходить.

— Подожди. Мне пришла одна идея.— Он подошел к одному счастливчику и попросил у него разрешения посмотреть бумажку, которую тому дали. Я тоже подошел. Она была из оберточной желтой бумаги, на которой чернилами были написаны две буквы А. Н. и какая-то немыслимая треугольная печать.

— Все ясно,— сказал Коля.

Мы поехали домой. На Смоленской площади он сказал:

— Пошли ко мне.

Когда пришли к нему, он достал лист желтой оберточной бумаги, точно такой же, отрезал кусочки. «Теперь дело за печатью»,— сказал он. «Ну, это чепуха»,— ответил я и потребовал небольшой листочек ватмана или чертежной бумаги. Такая нашлась у его брата, так как Жоржик немного рисовал. На ватмане я изобразил треугольную печать с неразборчивыми буквами, обвел чернилами, а затем, послюнявив кусок оберточной бумаги, перенес туда изображение печати. Получилось не ахти как, но сносно.

После нескольких попыток печать получилась довольно неплохо. Все равно на ней ничего разобрать было нель-

зя. Да это и не было нужно. Затем, написав на этих бумажках с «печатями» буквы «А. Н.», мы опять поехали к студии. Для приличия, потолкавшись несколько минут в толпе гигантов, мы подошли к столу регистрации. К нашему удивлению, никаких возражений не последовало, и мы были зарегистрированы. Потом я уехал в Горький, а приехав в конце июля и встретившись с Глазковым, я узнал, что съемки уже начались, что Глазков в них участвует, что было уже снято Ледовое побоище. Об этом, кстати, у него есть стихотворение «Александр Невский».

Несколько дней мы снимались вместе. Я играл роль ополченца. Да и он тоже, перестав играть роль рыцаря, перешел в стан ополченцев.

Мы раздевались до трусов, надевали на себя полушубок, остроконечную шапку. Подпоясывались обыкновенной веревкой. На ногах были подшитые валенки. В руках держали деревянный, натертый графитом меч. Снимался въезд Александра Невского в Псков. Били Твердилу-изменника.

Все это происходило на территории студии «Мосфильм». Съемки шли только при солнечном свете. Если солнце закрывалось тучей или облаком, съемки прекращались, а мы, сняв с себя полушубки и валенки, расстилали полушубок, ложились на него и читали книжку. Был август месяц, а снимали зиму. Позже я себя все-таки нашел, когда смотрел фильм. Николай, кажется, тоже себя нашел. Нам платили за день 15 рублей. Да были еще и сверхурочные, за них платили в полтора раза больше. Выходило за день рублей по двадцать. По тому времени это были неплохие деньги, если принять во внимание, что работы особенной у нас не было.

Позже мы с Глазковым снимались в фильмах «Суворов», «Валерий Чкалов», «Ленин в 1918 году».

Но это уже другая тема.

Февраль 1940 года был относительно теплый. Особенно теплым он казался еще и потому, что в январе были небывало сильные морозы, доходившие в Москве до минус сорока пяти.

Как-то в середине месяца мы вечером втроем — я, Глазков и Вениамин Левин (мой товарищ по школе, хороший шахматист) — гуляли в районе Бородинского моста и Киевского вокзала. Не помню, кому из нас, кажется Левину, пришла в голову идея перейти по льду Москву-реку у моста метро. Тогда с правого берега реки набережной не было, а был пляж (сейчас — это набережная Шевченко). Сказано — сделано, и мы, расстегнув на всякий случай пальто, пошли по льду на левый берег реки.

Было довольно жутко. Лед потрескивал, мы шли медленно «по тени от моста» на расстоянии друг от друга...

И велика была наша радость, когда переход был закончен и мы достигли берега. Берег (со стороны Смоленской площади) был уже облицован, и взобраться туда было нелегким делом. Но нам посчастливилось. Мы увидели переброшенный через парапет канат и по нему вскарабкались на набережную.

Какой-то человек в тулупе, видимо — сторож, повернулся к нам, сказав при этом: «Чего вас тут носит». Левин ему с гордостью сказал: «А вот мы перешли речку по льду».— «Перешли? Не может быть. Лед уже тонкий. Врете вы все»,— не поверил сторож.

Мы не стали препираться и пошли по домам. Глазков отозвался на этот эпизод стихотворением. Вот его начало:

Мы шли по тени от моста
В конце начала февраля.
И лед трещал по всем местам,
Как будто что-то говоря...

Это запомнилось.

Как-то в одну из наших встреч (это было еще в 1939 году) Коля неожиданно сказал:

— А не выпустить ли нам сборник стихов поэтов-небывалистов?

— А кто такие небывалисты? — удивился я.

— Это я придумал. Мы — основоположники нового литературного течения — небывализма.

— А много нас?

— Наберем человек десять, а может, и поболе. У меня уже и название сборника есть: «Творический зшиток». Зшиток — это тетрадь. Творический — творческий.

— Это я понимаю. Но зачем эти слова?

— Чтобы труднее отгадать было,— ответил Глазков и тут же предложил мне подумать над заголовком сборника.

— Подожди,— сказал я.— Нужно сначала иметь в наличии все содержание.

— Поскольку в основном стихи будут мои, я редактором сборника не буду. Это право предоставляю тебе, а потом вместе посмотрим, что туда войдет.

Мне было тогда 18 лет. Учился я на втором курсе МИИТа, а Коля — на втором курсе МГПИ. К тому времени я уже писал стихи. Отдельные были неплохими, конечно, под влиянием Глазкова, но в основном были они графоманскими. Я согласился быть редактором, хотя прекрасно понимал, что подлинным редактором будет все-таки Глазков, тем более что от него зависит поставка стихов других авторов.

Среди них прежде всего назову Юлиана Долгина. Он, как и Николай, учился в МГПИ и стал теоретиком нашего нового литературного течения — небывализма. Однажды он поведал нам, что небывализм стоит на четырех китах: алогизм, примитив, экспрессия и дисгармония. К каждому из «китов» у него примеры были, конечно, из стихов Глазкова.

Алогизм. Примером было стихотворение «Баллада». Привожу его целиком:

Он вошел в распахнутой шубе,
Какой-то сверток держал.
Зуб его не стоял на зубе,
Незнакомец дрожал.

Потом заговорил отрывисто, быстро,
Рукою по лбу провел,—
Из глаз его посыпались искры
И попадали на ковер.

Ковер загорелся, и струйки огня
Потекли по обоям вверх;
Огонь оконные рамы обнял
И высунулся за дверь.

Незнакомец думал: гореть нам, жить ли?
Решил вопрос в пользу «жить».
Вынул из свертка огнетушитель
И начал пожар тушить.

Когда погасли последние вспышки
Затухающих искр,
Незнакомец сказал, что слишком
Пустился на риск.

Потом добавил: — Теперь мне жарко,
Даже почти хорошо...—
Головой поклонился, ногой отшаркал
И незаметно ушел.

Примитив. «Евгений Онегин» (в восьми строчках).

Онегина любила Таня,
Но он Татьяну не любил,
А друга Ленского убил
И утонул в своих скитаньях.

Потом он снова Таню встретил
И ей признался, но она
Нашла супруга в высшем свете
И будет век ему верна.

Экспрессия. Примером может служить ныне уже опубликованное стихотворение «Гоген».

Дисгармония.

Снег сбрасывали с крыш,
И сторонились люди,
Лишь
Один из них бежал по снежной груде.

Ударило его
Огромным снежным комом,
Он продолжал свой путь бегом
К знакомым.

Юлиан Долгин был не только теоретиком небывализма, но и автором вошедших в наш сборник оригинальных стихотворений, и, на мой взгляд, весьма примечательным поэтом.

Среди других авторов, кроме Глазкова и меня, были студенты того же МГПИ Николай Кириллов, Алексей Терновский, Иван Кулибаба, а также наши с Колей общие знакомые Вениамин Левин, Виктор Архипов (писавший главным образом четверостишья) и Глеб Александрович Глинка. История знакомства с ним такова.

В Москве в 1939—1941 годах была литературная консультация (когда она организовалась — не знаю, а просуществовала до начала войны). Располагалась она в Большом Гнездниковском переулке, в доме, где в то время был цыганский театр «Ромэн», на втором этаже. Там было несколько консультантов, но особенный интерес, пожалуй, вызвал у нас с Глазковым Глеб Александрович Глинка. Произведения он разбирал вдумчиво, неторопливо. Некоторым авторам давал разнос, да такой, что те больше у него не появлялись. Помню, как он похвалил поэтессу Хмелеву за рифму «хмуря — Ибаррури»: «Обычно рифмуют «буря — Ибаррури», а у нее свое».

Мы пока оставались только зрителями. Велико было наше удивление, когда Глинка подошел к нам и сказал: «Вы ведь тоже поэты, так прочтите мне что-нибудь».

Глазков приосанился и шепнул мне: «Прочту ему самые противоестественные». Прочел он свой первый Манифест и еще кое-что.

Неожиданно Глинка схватил Колю за руку и воскликнул: «Да ведь Вы настоящий поэт! — и добавил: — Очень хочется с Вами поговорить. Приходите ко мне. Вот мой адрес».

Мы бывали много раз у Глеба Александровича. Это был приземистый человек лет пятидесяти с небольшим. Занимал он небольшую комнату (насколько я помню, десятиметровую) в коммунальной квартире на Новинском бульваре. Стихи он знал великолепно и так же их читал. Особенно хорошо Пушкина и Блока. Мне он обещал поместить в альманахе литконсультации (а таковой издавался) мою поэму «Город», которая ему понравилась.

Читал он и свои стихи:

Большой поэт, как дерево, растет:
Пускает листья, отпускает корни.
Он вырос, наконец, и вот
Шумит огромный, сильный, непокорный.

Но времени ему не одолеть,
Таков удел всего — людей и сосен.
Ну, и поэт обязан умереть,
Последняя к нему приходит осень.

Дневные обрываются мечты,
Он засыпает тихо, без мучений...
И тихо осыпаются листы
Из полного собранья сочинений.

Нужно ли говорить, что это стихотворение тоже было включено в сборник? Хотя я и понимал, что никакого отношения к небывализму оно и не имеет.

Был еще один автор «Творического зшитка», и о нем следует сказать особо.

Как-то Глазков принес мне длинное стихотворение, сказав при этом: «Это Петр Васьков — крестьянский поэт, надо будет его включить». Внимательно прочитав опус, я обратил внимание на некоторые глазковские обороты, к тому же стихи были написаны почерком Глазкова. «А я их переписал»,— сказал он. Я понял, что Петр Васьков выдуман Глазковым. Коля не отпирался. Мы все же поместили этого несуществующего поэта, однако я добился, что примерно 5/6 было выброшено. Осталось начало и еще кое-что:

Куда зовешь меня, соха, ты!
Выходит солнце из-за хаты.
Восход — обратное заката,
А я рожден, чтоб песни петь.

Поля раскинулись покаты,
Что с самолета, как плакаты.
Да этак можно опупеть!

* * *

А летом капли дождевые,
Да, говорят, еще какие
Стучали по домам.

* * *

Он навсегда решил остаться
И умереть в деревне старцем
Среди родных полей.

А дождь стучал, и ветры пели
О нерешенной эпопее,
Одной из эпопей.

А что же было представлено самим Глазковым? Из его произведений я отобрал четыре — «Манифест», «Балладу», «Выключатель» и стихотворение о мазуриках («Полотно. Ермак, Татары...»).

Когда была завершена подборка стихов, следовало подумать об окончательном названии сборника и его оформлении. Название придумал я, и после некоторого обсуждения окончательно оно выглядело так:

«Расплавленный висмут.

Творический зшиток синусоиды небывалистов».

В институте, где я учился, мы дружили с Игорем Верещагиным, мать которого работала машинисткой. Я обратился к нему с просьбой, чтобы она отпечатала наш сборник. Он согласился, и мы получили три экземпляра (четвертый он оставил себе). Теперь дело было за оформлением. Мой школьный товарищ Михаил Маслов учился в это время в Архитектурном институте и был прекрасным художником (в свое время я познакомил его с Глазковым, и они тоже стали друзьями). Миша охотно согласился иллюстрировать книгу, сделал обложку из ватмана и десять рисунков, тоже на ватмане. Если про сборник можно было сказать, что цельным по замыслу он все-таки не стал, то рисунки получились явно небывалистскими. Маслов както сразу уловил суть течения, в основном, конечно, делая упор на стихи Глазкова, и выдержал сборник в едином стиле. Рисунки были сделаны в одном экземпляре и вставлены в ту книгу, которая осталась у меня. Первый экземпляр взял себе Глазков, а третий — не помню, кому достался.

Впоследствии и Колин, и мой экземпляр сборника были утрачены. Думаю, что такова же участь и двух других книг.

Ушло из жизни большинство участников «Творического зшитка». В 1979 году скончался основоположник небывализма Николай Глазков. Погиб на фронте В. Левин. Умерли Н. Кириллов (поэт-моряк, член Союза писателей), И. Кулибаба (видный педагог-методист), Г. А. Глинка, М. Маслов...

В заключение еще один эпизод.

Весной 1944 года Глазков вернулся из Горького в Москву. Вернулся в свою собственную, уже три года пустующую квартиру, где в одной комнате сквозь потолок видны были звезды, во второй, хотя звезд видно и не было, потолок протекал даже от малого дождя. И только в третьей (бывшем отцовском кабинете) можно было жить.

Друзья достали ему небольшую чугунную печку, дров

и угля. Печка была нужна не только для тепла, но и для приготовления еды. Вместе с ним в квартире поселился Володя Репкин, студент Литинститута. С помощью поэтов Н. Асеева и И. Сельвинского Глазков был восстановлен в Литинституте, получив, таким образом, все нужные гражданские права.

Из Горького он привез две большие поэмы «Панславизм» и «Лида» (поэма о любимой женщине), которые, к сожалению, не сохранились, так как вскоре Глазков собственноручно все «перешерстил». Кроме того, он в Горьком продолжил работу над поэмой «Степан Кумырский». Главы ее назывались «пароходами».

Видимо, в Горьком же возникла у Глазкова идея распространить среди друзей анкету. Но там, очевидно, не было достаточного количества желающих ее заполнить. Глазков составил две анкеты: большую глазковскую, включающую сто вопросов, и малую — на восемнадцать вопросов. Большая — успеха не имела, главным образом из-за своей громоздкости. Насколько я помню, в ней участвовало всего 5—6 человек. Дальнейшая ее судьба мне неизвестна.

Над малой анкетой шефство взял я, благодаря чему она и сохранилась. На большом листе пожелтевшей, поврежденной временем бумаги сохранились ответы шестнадцати человек. Среди них — и ответы Николая Глазкова. Здесь он такой же, как и в жизни,— серьезный и ироничный, рассудительный и парадоксальный. Вот как он ответил на вопросы анкеты:

Чем для Вас является эта анкета? — Исповедью.
Зачем жить? — Дабы развлекаться и разуметь.
Зачем писать стихи, книги? — Чтобы жить.
Какая лучшая книга? — Библия.
Любимый поэт вообще? — Маяковский, Хлебников.
Из ныне живущих? — Глазков.
Любимый художник? — Гоген, Врубель.

Что самое великое создадут люди? — Поэтоград и периодическую систему идей.

Что движет историю? — Развитие производительных сил, столкновения личности с коллективом и мировая дурь. (Приведу здесь несколько строк из уже упоминавшейся поэмы «Степан Кумырский», из ее четвертого «парохода», поскольку они имеют непосредственное отношение к «Малой глазковской анкете»:

Есть дурь. Есть разум. Открывая,
Он сокращает много бед,
Но дурь возникла мировая,
И происходит все во вред.

«Взлечу,— мечтает,— выше
Орлов»,— и самолет готов.
А вышло —
Истребленье городов.

Живет, не тужит
Дурь мировая,
Ей разум служит,
Ее не признавая.)

Лучшая черта в писателе? — Откровенность.

Что такое любовь? — Объективная реальность, данная нам в ощущении. (В поэме «Хихимора», датированной тем же 1944 годом, встречаемся с той же формулой:

Девочки скажут: — Выбирай нас.
Я легко поддамся внушению.
Любовь — объективная реальность,
Данная нам в ощущении!)

Что такое искусство? — Ремесло избранных, которое не может быть механизировано.

Мировоззрение? — Христианство, марксизм, футуризм.

Что Вы хотите из того, что возможно, но от Вас не зависит? — Чтобы война закончилась, а фашистов перебили. (Здесь сходятся многие участники анкеты: — Победы.— Открытия второго фронта.— Нашей победы.— Победы над Гитлером.— Конца войны.)

Любимое изречение? — Человек предполагает, а Господь располагает...

(Позже это изречение стало краткостишием:

Человек предполагает,
А Господь располагает.
Если это совпадает,—
Человеку хорошо!)

Так исповедовался перед друзьями поэт Николай Глазков в 1944 году.

Борис Шахов

БЕГЛЫЙ НАБРОСОК С НИКОЛАЯ ГЛАЗКОВА

Летом 1938 года ко мне на Цветной бульвар пришел высокий длиннорукий парень. Со сдержанной силой он крепко пожал мою руку.

— Коля Глазков! Я знаю, что ты великий гуманист. Я тоже великий гуманист. Так будем знакомы.

Откуда Коля узнал обо мне — это история особая и здесь лишняя.

Мы тогда вшестером в одной комнате жили, и я избегал приводить к себе своих товарищей. На лестничной площадке стоял огромный деревянный диван. Сидя на этом диване, мы разговорились. Сразу же сблизила нас любовь к поэзии и особенно к Маяковскому и Хлебникову, которого тогда еще мало знали. Чувствовалось, что Коля много читал и хорошо знает литературу. Я принес тетрадку, в которую мой самый давний друг Дезик Кауфман (будущий Давид Самойлов) переписал свои стихи, уже широко известные среди молодых московских поэтов. Коля ничего о них не сказал, но стихи запомнил. Вскоре они встретились и стали друзьями. В тот день Коля говорил мало, а больше присматривался ко мне. Свои стихи он читать не стал, а обещал переписать и принести. Через пару дней Коля принес тетрадку со стихами. Они сразу же поразили меня своим ярким своеобразием и мастерством. Так началась наша многолетняя, ничем не омраченная дружба.

Это было счастливое время. Мы тогда были молодыми, полными сил и надежд. Каждый день был для нас праздником: узнавалось что-нибудь новое, читались новые книги, заводились новые друзья, иногда на всю жизнь. В книжных магазинах продавались хорошие книги, и их покупали ради содержимого, а не ради яркого корешка. За прилавками букинистических магазинов, а тогда только на Арбате было три отличных магазина, стояли умницы, любящие и знающие книгу. Они разрешали копаться в книжных завалах, и с ними было интересно говорить. Пройтись по букинистам тоже было праздником. Есть что вспомнить!

Художник, рисуя портрет, стирает случайные штрихи и оставляет только те, которые передают характер натуры. Так и я постараюсь вспомнить, не очень придерживаясь хронологии, те случаи, в которых проявились отдельные черты характера Николая Глазкова.

Глазков рано нашел свой поэтический язык, минуя период ученичества. Даже самые любимые им поэты не повлияли на его ранние стихи. Привлекало уверенное мастерство его стихов. Жалею, что после войны у меня сохранились только маленькая книжечка четверостиший и тетрадь отличных стихов Николая Глазкова. Многие из остроумных и глубоких по мысли четверостиший запомнились навсегда.

По небосводу двигалась луна
И отражалась в энной луже,
И чувствовалась в луже глубина,
Казалась лужа в миллион раз глубже.

А вот это четверостишие выросло в хорошее стихотворение.

Я спросил — какие в Чили
Существуют города?
Каркнул ворон: — Никогда!—
И его разоблачили.

В тетради его стихов я прочитал стремительные строки:

Ее зовут Вайраумати.
И буйволы бегут...

Я узнал картину Поля Гогена. Оказалось, что мы оба были частыми посетителями Музея нового западного искусства на Кропоткинской. Это был замечательный музей. Летом там было прохладно, зимой тепло и уютно и всегда тихо и пустынно. Дремали добродушные смотрительницы. Можно было, подстелив газету, встать на стул и разглядывать мазки на высоко висящих картинах. Хмелела голова от буйства красок на картинах Ван Гога, Гогена, Моне, Ренуара, Дега и Матисса.

Как-то я застал Колю за разбором открыток и репродукций из своего обширного собрания. Я попросил у него репродукцию с рисунка В. Васнецова «Битва Пересвета с Челубеем».

— Рисунок твой, но, если ты не против, я его немного испачкаю.

Он мгновенно написал на обороте рисунка:

Надвинется на них с войской
Димитрий I и Донской,
Не выдержат монголы боя,
А небо будет голубое.

А ведь собиратели не любят расставаться со своими приобретениями!

Бывал я с Колей в Московском государственном педагогическом институте имени Ленина, где он учился на литературном факультете. Помню какого-то паренька, который везде ходил за Колей и записывал каждое его изречение. Уже тогда о Коле ходили легенды. Как вспоминал мой приятель, учившийся в этом институте в одно время с Глазковым, достаточно было четверти часа общения с ним, чтобы он прочно остался в памяти. Рассказывали, что Коля повесил стенгазету с крупной надписью «Николай Глазков. Мой личный орган». Она была заполнена стихами Глазкова и статьей о его творческом пути. Рассказывали, что в институтской аудитории Коля устроил творческий вечер великого поэта современности Николая Глазкова. На вечер явился профессор литературы, который не знал такого великого поэта. Позже на экзамене он с особой свирепостью гонял Колю по поэзии, но думаю, что Глазков не посрамил себя. Даже за давностью лет мне кажется, что это все же быль, а не легенды.

Как-то я предложил Коле встретить вместе Новый год. Он охотно согласился. Мы поехали в его институт. Новый год застал нас в трамвае. В институте во время новогоднего вечера Коля рвался на сцену читать стихи, а я с трудом его удерживал.

Я уже говорил, что не любил приводить к себе товарищей, но я также старался не приходить к ним домой. Поэтому у Коли на Арбате я бывал редко. В раннем детстве я жил почти напротив Коли, в Денежном переулке (теперь — улица Веснина), и Арбат знал хорошо. Встречались мы чаще в компаниях или в какой-нибудь столовке. Я рано стал зарабатывать плакатами и иллюстрациями, у меня водились свои деньжата, и это делало меня независимым от родительских щедрот и хозяином своего поведения. В предвоенные годы у меня собралась неплохая библиотека по искусству, истории и поэзии, и я безотказно давал книги друзьям. Это были легендарные времена. Букинисты оставляли книги, если не хватало на них денег. При наших встречах — у нас было о чем поговорить.

Со мной же Коля был всегда серьезен, остроумен, деликатен.

Как-то он прочитал четверостишие, в котором, как мне показалось, несправедливо осмеял одного нашего общего знакомого. Я высказал свое несогласие. Коля взглянул на меня с улыбкой: «Разве ты еще помнишь эти стихи? А я уже их забыл навсегда!» Больше это четверостишие мне не встречалось.

Перед войной подобрались друг к другу самые талантливые молодые поэты: Кульчицкий, Наровчатов, Слуцкий, Самойлов, Смоленский, и Николай Глазков занял среди них достойное место. Вспомнилось, как собрались однажды Кульчицкий, Наровчатов, Глазков, Лебский и я. Беспрерывно читались стихи и свои, и чужие, сверкали удачные и неудачные остроты — было шумно, весело и хорошо. Какие это были отличные ребята! Не думал я, что мне доведется их пережить. В это время Коля учился в Литературном институте на Тверском бульваре, и его стихи устно и в списках ходили по всей Москве.

Как-то Илья Сельвинский дал на семинаре задание подыскать рифму к слову «Казбек». Коля предложил две рифмы: «Абрикос бы, эх!» и «Глазков», поскольку Глазков рифмуется с любым словом. Юмора у Коли хватало, и это помогало ему жить даже в трудные дни.

Во время войны я потерял Колю из виду, но, конечно, не раз вспоминал о нем. Велика была моя радость, когда после войны мы встретились вновь. Стали возвращаться старые друзья, но многие из них уже не вернулись. Не вернулись бесшабашный Михаил Кульчицкий, серьезный и сдержанный Николай Майоров, жизнерадостный и открытый Борис Смоленский, доброжелательный и остроумный Борис Лебский.

В 1947 году я поступил учиться в Художественный институт имени Сурикова. Он находился тогда на Арбате, в переулке Вахтангова, почти рядом с домом Глазкова. Все мы тогда жили трудно и голодно. Коля с горечью рассказал мне, как один из молодых поэтов, наш общий знакомый, долгое время жил и харчевался у него, а получив деньги, исчез и даже не вернул долги.

Под праздники мне удавалось подзаработать на портретах и плакатах. Я оформил витрины зоомагазина на Арбате и получил за это деньги. Я зашел к Коле и предложил ему денег, но он сказал, что ему нечем будет отдавать, и отказался.

Как-то однажды утром вижу в газете дурацкий фельетон «Рифмы ради». Фельетонист издевался над теми стихами Глазкова, которым позже аплодировали залы. Встревоженный, я бросился к телефону. Коля не стал слушать мои утешения:

— Ерунда! Лишняя реклама.

Помнится, как Борис Слуцкий, когда его принимали в Союз писателей, в заключительном слове выразил сожаление, что такие талантливые поэты, как Глазков и Самойлов, не члены Союза.

Время все расставило по своим местам. Стали одна за другой выходить книги со стихами Николая Глазкова, устраиваться его вечера. В последние годы мы варились в разных котлах и встречались крайне редко и случайно, то в издательстве, то на литературном вечере. Но я всегда с любовью следил за творчеством Николая Глазкова.

Я благодарен Николаю, что он не забывал меня и присылал свои книжки.

Как все мы, грешные, Николай имел свои недостатки, но я их не помню.

Алексей Терновский

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ

Очень трудно говорить об этом замечательном человеке. До сих пор не могу освободиться от мысли, что он жил как бы в другом измерении, попасть куда обычному смертному просто невозможно. В лучшем случае удавалось туда лишь заглянуть. Это вызывало недоразумения, иногда вполне безобидные, комические, а нередко и печальные. Но тот, кто смог проникнуть хотя бы ненадолго в «мир второй» Николая Глазкова, никогда не жалел об этом. Он получал много. Как Летающий мужик из фильма «Андрей Рублев», в роли которого снялся Н. Глазков, он обретал иную точку обзора, видел все поновому.

Счастливая судьба свела меня с Колей Глазковым в сентябре 1938 года. Оба мы были приняты на I курс факультета русского языка и литературы Московского государственного педагогического института имени Бубнова (с 1940 года — имени В. И. Ленина). И даже оказались в одной группе. Он сразу же привлекал к себе внимание необычной внешностью и поведением.

Довольно высокий и широкоплечий, он несколько сутулился как бы под бременем тяжелой, одному ему ведомой ноши. Был он человеком большой физической силы. Здороваясь, любил демонстрировать мощь своего рукопожатия: редко кто мог выдержать его и обычно молил о пощаде. К счастью, садистских наклонностей у Коли не было, и он милостиво отпускал вашу руку. Побеждал он обычно и в известном соревновании, когда противники садятся друг против друга за стол, поставив локти полусогнутых рук на столешницу, а задача — пригнуть руку партнера к столу, так сказать, положить ее на лопатки. Позже я узнал, что Коля отлично плавает (предпочитая брасс) и превосходно гребет.

Одет он был весьма скромно: поношенный костюм, под ним — косоворотка, простая рубашка или футболка (впрочем, многие из нас, ребят 30-х годов, были одеты примерно так же).

У него были большие, несколько оттопыренные уши

(по широко распространенному мнению — признак незаурядности), крупный, но не толстый нос. Свои темные волосы он стриг нерегулярно, отчего над ушами и сзади над шеей образовывались «косички».

Знакомившись, он смотрел на тебя своими светло-карими глазами исподлобья, как бы испытующе: дескать, посмотрим, чего ты стоишь. Зато когда он имел дело с человеком интересным или просто приятным ему, глаза его теплели, оживлялись, он улыбался, забывая о том, что у него не хватает переднего зуба (в то время своей щербатости он стеснялся и, когда говорил, как бы непроизвольно прикрывал рот рукой).

В институте Коля нередко щеголял в незашнурованных туфлях (думаю, не по рассеянности, а из принципа). Свое место в аудитории он занимал не так, как все мы, а прямиком, перемахивая через учебные столы. Иной раз он демонстрировал свою удаль и более рискованным способом. Поспорив с кем-то из студентов, он прошел по перилам галереи, обрамлявшей фойе нашего института, на высоте третьего этажа. На занятиях по военному делу в садике Мандельштама, рядом с институтом, он шел обычно замыкающим и всегда вразнобой со всем строем. Наука хождения в ногу ему упорно не давалась. И еще — очень не любил стоять в очередях.

В рабочей столовке на Малой Пироговской, где мы нередко обедали, увидев очередь, Коля отходил в сторону и терпеливо ждал, пока я или другой его напарник выстоит хвост и подойдет к раздаче. Только тогда он включался в общее дело.

Кстати, преимущество этой столовой 30-х годов перед многими современными заключалось в том, что хлеб в ней не был нормирован и не входил в оплату обеда. Он лежал на тарелках высокими горками: ешь — не хочу. Для нас в то время это было немаловажным.

Прежде чем приступить к уничтожению жиденького супца и традиционной котлеты с макаронами, Коля обычно и здесь демонстрировал свою лихость. Он брал ломоть черного хлеба, густо намазывал его горчицей, а сверху посыпал перцем и солью (удивительно, но в этой дешевой столовой водились и горчица, и перец!) и с невозмутимым выражением лица съедал его без остатка. Научились этому и мы, и бывали случаи (или очередь слишком длинная, или денег не хватает), когда наши обеды состояли вообще только из трех-четырех ломтей этой молодецкой закуски.

Все эти и подобные им замашки установили за Глазковым репутацию человека из ряда вон выходящего. Находились среди нас и такие, кто в святой простоте за-

являли ему в глаза, что он ненормальный. «Вы правы,— кротко соглашался Коля.— Но бестактно, непедагогично говорить мне об этом».

Однако не экстравагантные выходки привлекли меня к нему. Очень быстро я узнал, что мой одногруппник Глазков пишет стихи и считает себя не просто поэтом, а поэтом гениальным. К тому времени я уже кое-что слышал о футуристах, их приемах эпатажа. И стиль поведения Глазкова воспринимал отчасти как свойство его необычной натуры, а отчасти как традиционный и оправданный, как мне тогда казалось (да и сегодня, честно говоря, кажется), способ самоутверждения молодого поэта.

Примерно с 8 класса я заинтересовался поэзией и начал пописывать стишки, скажем прямо, удручающе слабые. Ко времени поступления в институт поэтические вкусы мои были весьма эклектичными. Я чтил Маяковского, Есенина, Гумилева, а вместе с тем мне нравился салонный Виктор Гофман, с книжечкой которого я случайно познакомился, а из современников — Виктор Гусев («Как мы певали, Маша!») и Лебедев-Кумач. Но даже здравствующие поэты были для меня по своей недоступности как бы небожителями.

И вот подарок судьбы. Передо мной живой, настоящий поэт.

Не помню, какое Колино стихотворение я узнал первым. Возможно, это было четверостишье, написанное им еще в 10-м классе:

Один мудрец, прожив сто лет,
Решил, что жизнь — нелепый икс,
Ко лбу приставил пистолет
И переехал Стикс.

Меня поразило в этой миниатюре неожиданное соединение смешного и грустного (не поймешь, смеяться тут или плакать), спрессованного в четырех строках, безукоризненных по форме (последнее я чувствовал интуитивно).

А может, это было и еще более раннее его стихотворение, датированное 1936 годом:

Колесо бессмысленной фортуны
Вертится вокруг своей оси.
А цыганка, ударяя в струны,
О любви и счастье голосит.

Это все ласкает слух поэтам,
Рукоплещут пьяные кругом.
Но я знаю, счастие не в этом,
Потому что счастие в другом.

Знакомый блоковский ресторанно-цыганский мотив внезапно переосмысляется в контрастной всему лирическому «сюжету», типично глазковской концовке. Простодушно-наивная по форме и полемическая по существу, она неожиданно поднимает традиционно романсовую тему на иной, философский уровень. Словом, стихи Глазкова меня поразили и покорили. Я сразу же стал его благодарным читателем и учеником. Мы подружились.

Дружить с Колей было хорошо, хотя и непросто. Непросто потому, что его искренность и прямота исключали всякую «дипломатию», а особый склад мышления, казалось бы, взаимоисключающее сочетание в его взгляде на вещи логики и парадокса — ставили нередко в тупик.

Любил он при встрече огорошить очередной расхожей формулой-тирадой, которую время от времени заменял новой. Вот некоторые из них: «За что боролись, кровь проливали, по окопам и болотам бродили, свою собственную жизнь корежили? Бей его!» Или: «Да здравствуют голубые изумруды поэзии! За что боролись? Агамемнон был царь!..» Подобные монологи с непривычки озадачивали собеседника, и он не понимал, как, собственно, на них реагировать.

Коля много знал, но был не из тех, кто любит щегольнуть своей эрудицией. Сдержанный и немногословный, он, однако, охотно включался в разговор, если это был разговор честный, заинтересованный, без подвоха.

А говорить с ним было всегда интересно. Он был начитан (и не только в поэзии), отлично знал и любил географию и историю. Единственный лекционный курс, который он аккуратнейшим образом конспектировал, был курс «Всеобщей истории» доцента Герчикова. Кроме всего прочего, Коля был сильным шахматистом. Я тоже любил шахматы и играл, видимо, в силу третьей категории. Коля же в то время, думаю, мог бы иметь вторую.

Нередко после занятий мы шли пешком по Большой Пироговской до Зубовской площади, сворачивали на Садовую и добирались до Смоленской. А там рукой подать до Колиного дома — «Арбат, 44, квартира 22». Известный ныне всем москвичам (да и не только им) гастроном на углу Смоленской и Арбата в те годы уже существовал, и, если у нас в карманах оказывалось немного серебра (что бывало далеко не всегда), мы покупали бутылку красного сухого вина, дома у Коли выливали его в кастрюльку, подсыпали сахару и ставили на огонь. Получался вкусный горячительный напиток, который мы громко именовали пуншем. Ведь пунш, как известно,— напиток гусаров и поэтов.

Впрочем, пуншем мы баловались, когда дома не было Колиной мамы Ларисы Александровны, учительницы немецкого языка. Маму мы старались не расстраивать дополнительными неприятностями, у нее их и без того было более чем достаточно. Шутка ли, потерять мужа и остаться одной с мизерной зарплатой и двумя «трудновоспитуемыми» сыновьями (у Коли был младший брат Георгий — в просторечии Кора, правда, я его плохо знал). Что случилось с Колиным отцом, я только догадывался. В те годы я знал немало хороших ребят, отцы которых были арестованы. Расспрашивать же его не считал возможным, поскольку сам он об этом никогда не заговаривал.

Итак, мы входили в Колину комнату (как я понял, бывший кабинет его отца). И на видавшем виды письменном столе расставляли фигуры. Играли обычно матч из нескольких партий, и Коля неизменно его выигрывал. Играл он серьезно и с удовольствием, знал основные дебюты, обладал хорошими комбинационными способностями, умело проводил эндшпиль и радовался, побеждая, особенно если противник его оказывался достаточно сильным. Видимо, и шахматы были для него своеобразным средством творческого самоутверждения. Лишь изредка мне удавалось выиграть у него. Коля по-детски огорчался, но старался всегда докопаться до причин своего поражения. Интерес к шахматам он сохранил на всю жизнь и был неизменным участником шахматных соревнований в ЦДЛ, достигнув силы 1-го разряда. А шахматная тема естественно вошла в его поэзию, начиная от ранней миниатюрной поэмы «Шахматы» (1939 г.) и кончая целыми циклами стихотворений о шахматах и шахматистах.

Но вернусь к главному.

Главное — это наша общая любовь к поэзии. Конечно, мне было далеко до Коли. Очень далеко. И я это прекрасно понимал. Он был в моих глазах (да и не только в моих) настоящим поэтом, мэтром, а я жалким эпигоном самых различных авторов от Полонского до Маяковского.

Коля был нетерпим к слабым стихам и мог прямо сказать незадачливому автору, с гордостью читающему свой новый опус: «Бездарно!» Особенно тогда, когда автор этот не соглашался с критическими замечаниями, возмущался и пытался доказать недоказуемое. Нужно ли говорить, что эта прямота нажила Коле немало недоброжелателей и прямых врагов?

Я редко спорил с ним, признавая обычно его правоту. Но он не ограничивался отрицательной оценкой. Как настоящий друг, он старался помочь, посоветовать, научить. Тем более что в начале нашего знакомства я по-



Студенты первого курса литфака МГПИ Николай Глазков и Алексей Терновский. Зима 1939 года

святил ему стихотворение «Спутнику», на которое он тут же откликнулся одноименным стихотворным ответом. Этот обмен посланиями как бы узаконил наш дружеский союз, сделав его поэтическим фактом.

Вот один из примеров его бескорыстного наставничества. Написав очередное слабое стихотворение, исполненное наигранной меланхолии, я отдал его на справедливый Колин суд. Он тут же откликнулся на мой «шедевр» развернутым письменным отзывом. Да каким! Первая часть этого отзыва была написана стихами, причем таким образом, что каждая строка была критической оценкой соответствующей строки моего стихотворения. Вторую, прозаическую часть отзыва он озаглавил «Критика вообще». Привожу ее целиком:

«1. Лучшими твоими стихотворениями из тех, которые я знаю, являются: «К спутнику» и «В вагоне».

2. Главными твоими недостатками являются: а) Умение делать анализ только чужого творчества, а отнюдь не

своего. б) Переоценка халтуры как таковой (этого я коснусь после).

3. Тебе, по-видимому, нравится Бальмонт, в то время как это плохой поэт. Плохой не в смысле того, что он пишет «хуже Гусева», а в том, что он не способен быть опорным пунктом сколько-нибудь стоящего творчества.

4. Ты много пишешь (в смысле много на день)? Пиши чаще, но меньше. Черкай!»

Обратите внимание, как педагогична его критика. Вначале он дает понять, что какие-то творческие возможности у тебя все-таки есть. И только после этого высказывает серьезные замечания, завершая свой краткий, но очень дельный отзыв практическими советами.

Способы Колиной дружеской помощи мне как начинающему поэту были многообразны. Иногда, написав пару четверостиший, он передавал их мне и просил завершить стихотворение. Если это удавалось, Коля великодушно отрекался от своей части, признавая мое авторство целиком. А бывало и так. Написав очередное стихотворение, я передавал его Коле для авторитетной оценки, а он или существенно редактировал его, или, взяв мой вариант за основу, буквально переписывал его заново и торжественно вручал мне, имитировав мою подпись. Однажды я сочинил пространный акростих «Николаю Глазкову — поэту» и незамедлительно получил от Коли ответный с лестной для меня расшифровкой «Алексею Терновскому — поэту».

Колины уроки не проходили для меня даром. Я стал кое-что понимать в технике поэтического творчества. Некоторые мои стихотворения удостоились Колиной похвалы. Особенно доволен он был моим шуточным стихотворением о хорошо знакомой нам Савеловской дороге:

По Савеловской дороге
Тоже ходят поезда;
По Савеловской дороге
Развеселая езда!..

И Коля решил, что пришло время выпустить нам рукописный альманах с лучшими нашими стихотворениями. Название — «...Настоящих и лучших» предложил он. Это завершающий стих последней строфы его «Стансов» (1939):

Я хочу, чтоб все были поэтами,
Потому что поэзия учит,
Потому, что это — мир
Настоящих и лучших.

Я вспомнил об этом «альманахе», скромно уместившемся на страничках обычной записной книжки в крас-

ном переплете, вот почему. Нашим стихам было предпослано нечто вроде небольшой декларации, составленной самим Глазковым. Она примечательна тем, что называет имена поэтов, наиболее чтимых им. Вот ее текст:

«Поэтическое здание веков — небоскреб.

Пушкин и классики — фундамент.

Блок, Гумилев, Хлебников, Маяковский, Пастернак — лучшие этажи.

Мы — строители очередного этажа, в настоящее время самого верхнего».

В черновом наброске этой «Декларации» была еще одна фраза, заключительная: «А в фундаментах люди не живут», но, по зрелом размышлении, она была исключена из окончательного текста. Добавлю также, что в перечень поэтов-предшественников нередко включался и Есенин.

К сожалению, память не сохранила подробностей первого публичного выступления Коли в нашем институте. Я даже не запомнил точно, на каком курсе это было. То ли в конце первого, то ли в начале второго. И лишь недавно в Колиных бумагах я нашел точную дату: 15 декабря 1938 года (то есть ровно через три с половиной месяца после поступления в институт).

Колин дебют должен был состояться на расширенном заседании институтского литературного кружка. Не обладая особыми организаторскими способностями, Коля тем не менее очень настойчиво и вместе с тем простодушно приглашал всех знакомых и незнакомых студентов на обсуждение стихов «гениального поэта Глазкова». Помню, собралась довольно обширная аудитория (человек 100, не меньше). Состав ее был пестрый. Были тут немногочисленные преподаватели, и среди них, если не ошибаюсь, профессор Нусинов, неизменно интересовавшийся творческой институтской молодежью, а также любимец студентов, молодой талантливый доцент Б. А. Этингин. Были в большинстве своем настроенные скептически студенты старших курсов и кое-кто из аспирантов. Ну и, конечно,— однокурсники.

Только единицы из присутствующих, знакомые с Колиными стихами, принимали задуманное мероприятие всерьез и верили в его успех. Подавляющее же большинство пришло или из любопытства («посмотрим, посмотрим...»), или даже в приятном предвкушении скандального разгрома «выскочки Глазкова».

И вот Коля на кафедре. Он начинает читать стихи. Читает их поначалу плохо, невнятно. Сказывается отсутствие переднего зуба, чего он заметно стесняется. Да и нет еще навыка выступлений перед большой аудито-

рией. К тому же очень мешает «веселое» поведение легкомысленной и шумной толпы студентов. Однако Коля не тушуется. Стоически, невзирая ни на что, он продолжает читать одно стихотворение за другим. И постепенно шум прекращается. Его начинают слушать.

Свое стихотворение, написанное по горячим следам событий, я закончил оптимистически:

И тогда затихли крики
И обидный смех утих.
А поэт стоял великий,
Непохожий на других.

Так оно, собственно, и было. Большинство присутствующих поняли, что перед ними человек особенный, одержимый поэзией, рыцарь поэзии, что стихи, которые он читает,— дело его жизни. Это внушало невольное уважение и настраивало аудиторию на серьезный лад.

Конечно, не следует преувеличивать. Основная масса слушателей не поняла, а значит, и не приняла Колиных стихов. Это обнаружилось на последовавшем затем обсуждении. Его упрекали в высокомерии, зазнайстве, саморекламе, а его стихи в чрезмерной сложности, непонятности и формализме. Но студенты более подготовленные заинтересовались Глазковым. У него появились сторонники и среди старшекурсников (М. Еремин, Н. Кириллов, В. Новиков, Н. Бондарева и другие).

Вспоминается еще один эпизод.

Однажды (по всей вероятности, к концу первого курса) весь наш поток собрали в большой аудитории и предложили написать за два часа сочинение на вполне популярную тему — «Мой любимый писатель». То ли грамотность будущих учителей задумали фронтально проверить, то ли наши литературные пристрастия — бог весть. Задание для нормального студента несложное. Ведь можно взять любого писателя, какого лучше знаешь, и представить его как самого что ни на есть любимого. Вот и писали студенты о Гоголе и Маяковском, Чернышевском и Николае Островском.

У нас с Колей (мы сели рядом) предварительное решение возникло сразу: будем писать стихами. В благородном азарте я не понимал, что переоценил свои возможности. Два академических часа казались мне поначалу астрономическим сроком. Сказано — сделано. Я тут же решил, что моим любимым писателем будет Николай Глазков и ему я посвящу свое стихотворение. Колин же замысел был мне неведом.

Время шло. Я с восхищением и не без зависти поглядывал, как из-под пера моего соседа рождались строфа за

строфой. У меня же, кроме высокого замысла, не было пока ничего. И вот — звонок. Для меня — подведение плачевных итогов. Я все-таки вымучил трехстрофное стихотворение. Но какое же слабое! Зато ему было предпослано посвящение: «Н. Глазкову». Коля же без видимого труда написал многострофное сочинение страницы на две-три.

Не хочется вспоминать всего, что было потом, когда проверили наши работы. Нас вызвали на ковер в деканат и сильно распекли. Меня-то — за дело, а Колю, по-моему, зря.

Из этого своего сочинения он отобрал четыре строфы, и получилось хорошее стихотворение:

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПИСАТЕЛЬ

Мой любимый писатель еще не рожден,
Он еще затерялся в веках.
Я учителем сделал его и вождем,
Для меня он Юпитер и Вакх.

Мой любимый писатель и дьявол и Бог
И писатель минувших веков.
Он Шекспир, Маяковский, Есенин и Блок,
Достоевский, Гомер и Глазков.

И другие еще. Но не только они.
Он еще и еще и еще.
Он волнует, но впятеро больше манит,
Как число, потерявшее счет.

Мой любимый писатель, учитель и друг,
К сожаленью, еще не рожден.
Голоснем за него бесконечностью рук
И столетья его подождем.

Примерно к тому же времени, то есть в 1939 году, на втором курсе состоялось рождение «небывализма». Честно говоря, я не в состоянии сколько-нибудь вразумительно охарактеризовать основные черты этого возникшего на моих глазах литературного феномена. Его создателями были Коля и студент-первокурсник Юлиан Долгин. Последний, как я понимал, являлся и теоретиком нового направления. Так что на все недоуменные вопросы относительно платформы небывализма он смог бы ответить лучше меня.

Поначалу Колин небывализм огорчил меня. Я опасался, что небывалистские опусы выльются в заумные стихи в духе Крученых. Для тревоги были основания: Коля с гордостью демонстрировал свое новое, насквозь небывалистское четверостишие, которое он назвал весьма предусмотрительно — «Австралийская плясовая»:

Пряч. Пруч. Прич. Проч.
Пяч. Поч. Пуч.
Охгоэхоэхаха...
Фиолетовая дрянь.

Однако таких крайних экспериментов-мистификаций, по счастью, оказалось немного. Небывализм не отклонил Глазкова от магистральной линии развития его поэзии. Именно поэтому он относил к небывалистским вещам некоторые стихотворения, написанные им еще до оформления небывализма, в 1938 и даже в 1937 годах. Суть названия этого течения я воспринимал как призыв к поэзии небывалой доселе, то есть новаторской. Это в моем представлении не расходилось с известной формулой Маяковского «Поэзия — вся — езда в незнаемое», которую все мы принимали как аксиому.

Конечно, не обошлось здесь без эпатажа. Мне уже пришлось упоминать, что история литературы знает немало примеров (особенно в XX веке), когда новое течение входило в жизнь с рекламным скандалом. Вспомним ранние стихи символиста Брюсова, вспомним шумные турне футуристов. Небывалист Глазков всего-навсего воспользовался готовыми образцами. Он пишет свой первый небывалистский манифест.

Этот манифест воспринимался большинством читателей и слушателей как вызов общепринятому, а то и как прямая апология хулиганства. В самом деле, поводов для подобной трактовки здесь предостаточно:

Я покину трамвай на ходу,
И не просто, а с задней площадки.

. . . .

И полезу через забор,
Если лазить туда нельзя.

. . . .

Ну и буду срывать цветы,
Не платя садовникам штрафа.

. . . .

Нет приятнее музыки звона
Разбиваемого стекла.

И все же даже в этом, рассчитанном на откровенный эпатаж, стихотворении основная мысль, безусловно, справедлива и глубока. Она выходит на поверхность в предпоследней строфе:

И миры превращаем в мифы мы,
В лицемерии как ни таись,
Ну а я, подбирающий рифмы,
Может, первый и есть атеист.

Нелегка миссия поэта — находить, выявлять истину, искаженную, скрытую различными регламентирующими условностями, системой всякого рода «мифов», которые придуманы нами же самими. Вот почему поэт обязан быть предельно естественным, искренним и мужественным.

Надо сильным быть игроком,
Чтоб играть открытыми картами,—

читаем мы в четвертом небывалистском манифесте. И далее:

Скрывать карты истины
Никто меня не заставит.

И снова утверждение права поэта на творческую самостоятельность, протест против сковывающей регламентации:

Поэты знают, за что им биться,
Не чертите поэтам границ пунктир,
Не ломайте спицы у колесницы,
Летящей по творческому пути.

Декларативность небывалистских манифестов обусловлена их жанром. Однако Николай Глазков этих лет вообще называл себя поэтом декларативным. Действительно, во многих его стихотворениях в четких, нередко по-глазковски парадоксальных формулах определяется позиция поэта, его отношение к людям, к жизни. Вот один из множества возможных примеров:

Впрочем, будьте кем хотите:
Хоть танцуйте гопака,
Хоть комбайн в степи водите,
Хоть работайте в ЦК.

(«Кем быть?»)

Для того чтобы понять, по достоинству оценить и принять эти и подобные им стихотворения Глазкова, следовало, как минимум, воспринимать их непредвзято. Увы, это было дано далеко не каждому. Непонимание, неприятие усугублялось всем стилем его поведения, часто повторяемой формулой «Я гений Николай Глазков», его откровенностью и прямотой. Многих это раздражало, выводило из себя. А раздражение, как известно, плохой советчик. И вот ползет по институту шепоток: «Не наш Глазков, ох, не наш!» А отсюда рукой подать и до прямых доносов. На один из них Коля откликнулся горькими строчками:

Если человек, так доконают,
Как могучий дуб от ветра свалишься.
Знаете, студентик в деканат

Побежал доносить на товарища.
Много их теперь грешат душой,
Клеветников и вралей,
Сующих шило гнусности в мешок,
Увы, коммунистической морали.

А между тем Глазков был воистину «наш». Ни в его стихах, ни в его устных высказываниях (со мною, смею думать, он был достаточно откровенен) не было ничего посягающего на наши высокие идеи, порочащего наш строй. Напротив, Революция, Ленин — были для него самыми заветными понятиями. Ведь не случайно же начало третьего небывалистского манифеста звучало так:

Мое призванье —
Воспевать Октябрь...

И это не было пустой декларацией. Среди стихотворений этих лет немало связано с темой Революции, Ленина, острыми проблемами современной политической ситуации. Конечно, они носят неповторимый отпечаток глазковского стиля. Но это как раз и подтверждает, что они написаны не из конъюнктурных соображений, а искренне, от души.

Стена Кремля и Василий,
Небо и Гум.
Башни в воздух вонзились,
Словно вышки Баку.

Мавзолей и деревья
(Такие растут на Лене),
Часовые у двери.
Ленин.

Я всю жизнь величием бредил,
Пусть таков,
Но знаю, что камни эти
Лучше моих стихов...

(1938)

Достопримечательностью нашего института до сего времени является большая аудитория № 9, где в свое время дважды выступал В. И. Ленин. Она так и называется — «Ленинская». Ей Глазков посвятил стихотворение.

АУДИТОРИЯ 9

Подобьем листка,
Никакой не сломимого бурей,
Мраморная доска
Со стороны вестибюля.

Слова, которые
Для нас и для поколений.

В этой аудитории
Выступал дважды Ленин.

Он говорил о Марксе,
Мудрость, что есть на свете,
Достигает максимума
В двух именах этих.

(1939)

Неизменно волновали Глазкова и события современной международной политической жизни.

Я чувствую грохоты нашей планеты
В Китае, в Испании, даже в Марокко.
Не хочется быть поэтом,
А хочется быть пророком.

Чудесная истина эта —
Не просто случайная фраза,
Кто званья достоин поэта,
Тот видеть сквозь годы обязан,—

так начинается одно из стихотворений 1938 года, а концовка другого («Громада армии на Гродно...») как бы реализует мечту поэта о мировой революции:

И там, где тьмой годов окутан
Последний бой грядущих дней,
Я вижу зарево Калькутты
И знамя Красное над ней.

(1939)

Я привел эти примеры (а их без труда можно было бы и умножить) с единственной целью отвести от Глазкова несправедливые обвинения в аполитичности (и тем более — в чуждости, враждебности его нашей действительности).

В связи с этим мне вспомнился еще один эпизод, быть может, и не столь значительный, но высветляющий его облик с той же стороны.

Среди современных поэтов имена Виктора Гусева и Василия Лебедева-Кумача были для Коли объектом насмешек, своеобразным символом невысокой поэзии, «кумачевой халтуры». Я же, поклонник песен 30-х годов (Коля, насколько я понимал, к музыке был равнодушен), несмотря на все Колины выпады, продолжал высоко чтить Лебедева-Кумача как поэта — создателя современной советской песни — и обижался за него. Задумав обстоятельнее познакомиться с его творчеством, я отправился в Ленинку и там в комплектах сатирических журналов 20-х годов обнаружил множество ярких и острых его памфлетов, бытовых зарисовок, портретов, частушек, миниатюр. Мне очень хотелось переубедить Колю, показать ему,

что Лебедев-Кумач — совсем не бездарный поэт, и его песни и сатирические вещи содержат немало интересного и примечательного.

Сначала я спросил его, как ему нравится двухстишие:

Она меня утюгом,
А я ее матюгом.

— А кто его написал? — оживился Коля.

— Неважно кто. Тебе нравится?

Я знал, что эти крепко сделанные строчки должны вызвать его одобрение. Так оно и было. Объявив ему с торжеством, что это стихи Лебедева-Кумача 20-х годов, я тут же, не откладывая дела в долгий ящик, предложил Коле почитать два имевшихся у меня сборника этого поэта: «Книгу песен» и «Лирику, сатиру, фельетон». К моему приятному удивлению, он не просто перелистал сборники «чужого» поэта, а в буквальном смысле проштудировал их, выписав привлекшие его внимание строки. Я понимаю, что некоторые из них зафиксированы Колей в порядке полемики с поэтом, но одновременно смею утверждать, что многое он выписал одобряя. Не вызывает сомнения его одобрительное внимание к таким, например, сатирическим строкам Лебедева-Кумача:

В жизни главное — бумажка,
Береги ее весь век.
Без бумажки — ты букашка,
А с бумажкой — человек!

Кабы не печаталось сто раз одно и то же,
Эх, кабы побольше выдвигалось молодежи!..

Это и понятно. Лебедев-Кумач в своих лучших песнях и сатирических вещах поднимался до ярких, афористических строк, и Колю, видимо, не могла не заинтересовать технология творчества поэта, снискавшего себе огромную популярность своими патриотическими, лирическими и шуточными песнями, своей колючей сатирой. Многое здесь, как это ни удивительно, оказалось созвучным Коле.

Наступил 1940-й год. Мы уже учились на втором курсе. Но проблемы перед Глазковым стояли прежние. Более того, они стали еще напряженнее. С одной стороны, он нашел признание у небольшой группы студентов, аспирантов и преподавателей, сумевших понять, что перед ними не очередной бойкий рифмоплет и не самонадеянный чудак, а человек с незаурядным поэтическим дарованием. С другой — конфликт между Глазковым и его институтскими недоброжелателями, активно не прини-

мавшими из ряда вон выходящей личности, обострился до предела.

В это время Коля настойчиво обивает пороги редакций, стремясь хоть что-нибудь опубликовать. Он рассказывал, что встречался, в частности, с С. Трегубом (в газете «Правда»), Л. Оваловым («Молодая гвардия») и другими литераторами и должностными лицами. Все, к кому он ни обращался, относились к нему с должным вниманием, слушали его стихи и похваливали, но разводили руками в ответ на Колину просьбу напечатать что-либо из прочитанного. Как хорошо, что он не мог в это время и помыслить, что ему предстоит оставаться «без работы по стихам и без денег» долгие двенадцать лет.

Вот тогда и пришла мне в голову счастливая мысль издать все Колины стихи самостоятельно. Дело в том, что мой отец, профессор В. Н. Терновский, живший и работавший тогда в Казани, страстный библиофил и любитель поэзии, не раз присылал мне в подарок машинописные перепечатки редких стихотворных сборников, аккуратно переплетенные каким-то мастером своего дела. А почему бы не «издать» таким же способом и «Полное собрание стихотворений» Н. Глазкова?

Поделился с Колей. Он отнесся к моей идее благосклонно, и мы, не откладывая дела в долгий ящик, начали готовить сборник. Как ответственный за издание, я поставил перед Колей два условия. Первое: включить в однотомник все, написанное им. Второе: датировать каждую вещь. Оба условия Коля принял и старался соблюсти. Структуру же сборника определил сам автор. Он же и дал названия подавляющему большинству разделов.

Сборник открывался «Четверостишиями» (40 четверостиший). Далее шли разделы «Мир полуоткрытий» (25 ранних, в основном, стихотворений), «Предманифестье» (20 стихотворений) и центральный — «Небывализм меня» (56 стихотворений). Сюда вошли 4 манифеста, 10 заклинаний и другие «небывалистские» вещи. Завершал сборник раздел «Если я неправ» (46 стихотворений), состоящий из двух частей: «Довели» и «Одна десятая шага». Последняя часть в свою очередь включала две рубрики: «Пусть это трагически понято мной» и «Все проверено и понятно».

Нетрудно заметить, что композиция сборника, названия разделов, частей и рубрик, с одной стороны, давали некоторое представление об эволюции поэта примерно за пять лет его интенсивной творческой работы,

а с другой — указывали на конфликтную ситуацию, в которой находился лирический герой Глазкова («Если я неправ», «Довели», «Пусть это трагически понято мной»).

Всего в сборник вошло 187 стихотворений и поэм, что составляет в общей сложности 2 740 строк. Мы предполагали, что включили в сборник все, написанное Глазковым до 20 марта 1940 года (в этот день я завершил переписку рукописи сборника и отправил ее к отцу в Казань). Правда, нами были сознательно исключены некоторые детские стихи, многочисленные послания, стихи на случай, акростихи. Однако впоследствии оказалось, что кое-какие промахи мы все-таки допустили. Например, был забыт популярный «Ворон», не вошла в сборник «Поэма о дружбе», представляющая цикл из 10 стихотворений, адресованных Андрею Попову (именно здесь прозвучали впервые известные строки: «Тяжела ты, шапка Мономаха, Без тебя, однако, тяжелей»). Да и некоторые послания (Е. Веденскому, Н. Кириллову), безусловно, заслуживали публикации.

И все же было сделано хорошее дело. Скромным тиражом, 3 экземпляра, в самом конце апреля 1940 года вышло в свет первое собрание сочинений Николая Глазкова, если и не исчерпывающее, то дающее достаточно полное представление о его раннем творчестве. Первый экземпляр остался у моего отца [1]. Второй и третий предназначались автору и издателю. Однако авторский экземпляр, как мне стало известно впоследствии, не дожил в первозданном виде до наших дней. Его постигла печальная судьба большинства ранних рукописей Глазкова. Часть вещей была уничтожена, а часть послужила материалом для позднейших стихотворений и поэм.

Не могу сказать точно, когда это началось. Мне кажется, с первых лет войны. Во всяком случае, до 1941 года я этого не замечал. А когда я вернулся из армии, Коля подарил мне несколько своих «самсебяиздатовских» книжечек, датированных 1946 годом. Среди них была «Любвеграфическая — 1941 года — (первая) поэма». Погрузившись в чтение, я сначала с недоумением, а затем с глубоким огорчением обнаружил, что поэма эта, фрагментарная, как и большинство других поэм Глазкова периода сороковых годов, включила в себя ряд отрывков из более ранних, хорошо мне известных стихотворений и поэм. Тут были, в частности, куски из «Огрызков поэм» (1940), из «Лунного вступления» к поэме «Азия» (1941)

---

[1] В настоящее время он передан в архив поэта.



На втором курсе пединститута. Справа — друг Николая Глазкова, третьекурсник Слава Новиков. 1940 год

и из самой этой поэмы, из стихотворений «Так, одно» (1938), «Ты мне маяк» (1939) и т. д. Следовательно, создавая свои новые вещи, Глазков нередко уничтожал старые. Конечно, как автор, он имел на это право: ведь все это существовало только в рукописях, и поэт волен перечеркивать, совершенствовать, переписывать заново свои произведения. Но одно дело — права автора, другое — интересы читателей. Нам, читателям и слушателям Глазкова, знавшим и любившим многие ранние его вещи, пусть и не во всем совершенные, но завершенные и неповторимо глазковские,— мириться с их утратой было непереносимо. Мы не раз говорили ему об этом, но он не внимал нашим доводам и был непреклонен. Именно поэтому не дошли до нас некоторые его стихотворения и поэмы сороковых годов, а иные из поэм существуют в нескольких вариантах, и трудно сегодня установить, какой из них первоначальный, а какой окончательный. Можно только порадоваться тому, что все-таки остались неприкосновенными три свода ранних произведений Глазкова: сборник, о котором я только что рассказал, альбом с его стихотворениями в архиве Л. Ю. Брик и свод стихотворений и поэм, переписанных рукою самого автора в 1945 году по просьбе его друга Е. Веденского.

Выпуск сборника — последнее наше поэтическое совместное предприятие, своеобразный итог нашей студенческой дружбы. Вскоре Николай Глазков был исключен из МГПИ.

Произошло то, что и должно было произойти. «Крамольный», «опасный» Глазков давно уже не давал спокойно спать факультетскому, а может быть, и институтскому начальству. А тут подвернулся подходящий повод. Стало известно (информаторы всегда найдутся!), что на квартире старшекурсницы Нины Бондаревой устраивается нечто вроде «литературных ассамблей», другими словами, весьма подозрительные сборища, где гвоздем программы является чтение Глазковым своих «возмутительных» стихотворений.

К сожалению (а может быть, и к счастью?), я не бывал на вечерах у Н. Бондаревой, хотя и знал о них от Коли. В то время я увлекся сценическим искусством и подвизался в институтском драмколлективе. А параллельно переживал свой роман с нашей однокурсницей, закончившийся вскоре женитьбой. Коля еще пытался меня «спасти» и адресовал мне очередное послание, звучавшее весьма категорично. Не помогло.

Словом, «бондаревская эпопея» прошла мимо меня. Но с ее участниками расправа была суровая. Нину Бон-

дареву исключили из комсомола. А Николая Глазкова — из института.

Масла в огонь подлила и статья, напечатанная в одной из центральных газет, где, в частности, подвергался критике студент пединститута «Г».

После Колиного отчисления из института видеться с ним удавалось не часто. В это трудное время его поддержали Л. Ю. Брик и Н. Н. Асеев, который добился зачисления Николая Глазкова в свой семинар при Литературном институте. У Коли появились новые друзья (среди них М. Кульчицкий), но наши дружеские отношения сохранялись.

Война. В октябре сорок первого по семейным обстоятельствам я попал на несколько дней в Горький. Волею судьбы там в это время оказался и Коля. Перед долгим расставанием (в скором времени мне предстояло идти в армию) мы провели с ним несколько дней. На прощанье он подарил мне свои новые стихотворения и поэмы (среди них поэмы «Азия» и «Степан Кумырский»). Я очень дорожил этими рукописными сборничками и пронес их через всю войну, но за несколько дней до Победы они пропали вместе с моим офицерским чемоданом. Были там и письма со стихами, которые я получал от него на фронте. Как обидно, что многое из утраченного восстановить в первозданном виде теперь невозможно.

В послевоенные годы наши встречи с Колей стали эпизодическими. И вина в этом была только моя. Я оправдывал себя тем, что дел всяких много, что жизнь заедает. Лишь изредка выбирался к нему на Арбат и тогда, как в былые времена, погружался в атмосферу поэзии и дружбы. А между тем начали выходить первые Колины книги — «Моя эстрада» (Калинин, 1957), «Зеленый простор» (М., 1960). Помню обсуждение в ЦДЛ его книги «Большая Москва». Много хорошего и справедливого говорили тогда о поэзии Глазкова М. Луконин, В. Кожинов, Б. Слуцкий и другие литераторы.

Была печальная встреча на поминках по трагически погибшему поэту — моряку Николаю Кириллову, нашему однокашнику по МГПИ. Здесь я получил возможность лишний раз убедиться в том, что стихотворные декларации Коли — не поза, а предельно искреннее выражение его жизненной позиции. «Великий гуманист» Глазков недаром сказал о себе в одном из своих ранних стихотворений: «Он молодец и не боится». Среди присутствующих находился один весьма неприятный человек, показавший себя личностью циничной и бессердечной. Коля подошел к нему и в благородном негодовании вле-

пил ему увесистую пощечину. Драки не последовало, ибо этот тип понял, что никто из окружающих его не поддержит.

Помню радостное Колино пятидесятилетие, которое в тесном кругу друзей он отметил в мастерской своей жены Росины Моисеевны. Поэтов и критиков на этом торжестве почти не было, ибо пригласить избранных — значило обидеть остальных, а разместить бесчисленных Колиных друзей по поэтическому цеху в сравнительно небольшом помещении было невозможно.

К этому времени жизнь Коли обрела устойчивость и надежность. Он получил официальное признание, став членом Союза писателей. Вышло пять сборников его стихотворений, и находился в производстве шестой. Наконец, сложилась у него семья: подрастает сын Коля-маленький, вылитый отец. Колина жена стала для него поистине добрым гением. Умная, любящая и самоотверженная, она сумела создать ту самую «творческую обстановку», которой ему так не хватало долгие годы.

И, наконец, последняя встреча. Коля тяжело болен. Костыли. Исхудал. Лицо аскета-подвижника. Но острый философский ум, глазковский юмор, дружеская расположенность — прежние. И казалось: все вернется на круги своя.

Не вернулось.

Я очень виноват перед тобой, Коля. Ты приглашал меня, я не приходил. Великий гуманист, ты был человеком большой души. Ты умел прощать друзей и так хорошо сказал об этом:

Быть снисходительным решил я
Ко всяким благам.
Сужу о друге по вершинам,
Не по оврагам.

Когда меня ты забываешь,—
В том горя нету,
Когда же у меня бываешь,—
Я помню это.

Спасибо тебе за твои уроки. Уроки поэзии, уроки жизни! Спасибо за то, что ты был. За то, что ты есть. И будешь. Я помню горькие, но, увы, справедливые слова Александра Межирова, когда мы провожали тебя в последний путь: «Россия не знает, кого она сегодня хоронит!» Россия и сегодня не знает по-настоящему славного своего сына, замечательного поэта Николая Глазкова. А узнает его лишь тогда, когда познакомится с его поэтическим наследием, в лучшей своей части и до сего времени

в должном объеме не опубликованным. И тогда все станет ясным, все встанет на свое место.

Не об этом ли стихи сорокалетнего Глазкова:

Поэт пути не выбирает,—
Диктуют путь ему года.
Стихи живут и умирают,
И оживают иногда.

Забыться может знаменитый
Из уважаемых коллег,
И может стать поэт забытый
Незабываемым вовек.

Случиться может так и эдак.
И неизвестно потому:
Кому смеяться напоследок
И не до шуточек кому.

Юлиан Долгин

В СОРОКОВЫЕ ГОДЫ

— Хотите: я назову двадцать рифм на слово «любовь»? — задиристо сказал Михаил Кульчицкий.

Когда-то это было проблемой для поэтов, скованных традиционным номиналом «новь» и«кровь», не говоря уже о менее употребимых «бровь», «свекровь», «морковь», «готовь», и прочем. Но требование повтора последних звуков в рифме давно не котировалось. Поэзия выходила на простор «любой» рифмы. И — конкретно — вопрос Михаила Кульчицкого меня не заинтриговал. Обратило внимание другое: интерес к спектру созвучия. (С таким предложением мог обратиться ко мне в ту пору еще только один поэт.)

Большой известностью в литературных и студенческих кругах Москвы пользовались в ту пору поэты-литинститутцы Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Сергей Наровчатов, Дезик Кауфман (впоследствии — Давид Самойлов [1]) и Борис Слуцкий. Даю не исчерпывающий список тогдашних литинститутских знаменитостей. Я называю, по моему мнению, наиболее одаренных и перспективных. Правда, Слуцкий в особенно одаренных не значился (впоследствии он опроверг это заблуждение). Но зато ходил в общепризнанных вожаках. Энергичный и деятельный, он уверенно командовал парадом и пользовался несомненным авторитетом среди коллег по перу.

Если Бориса Слуцкого можно признать организационным главой плеяды талантов Литинститута предвоенных лет, то Павел Коган, несомненно, был душой компании. Он и Михаил Кульчицкий, такие разные как

---

[1] Давид Самойлов посещал семинар в Литинституте, но учился в ИФЛИ.

люди (Павел — экспансивный, красноречивый, подвижный, как ртуть; Михаил — самоуглубленный, немногословный, спокойно-монументальный), имели одно общее: оба были романтиками до мозга костей. Но Коган был романтиком-традиционалистом (от Пушкина), а Кульчицкий — романтиком-новатором (от Хлебникова). И оба, как положено романтикам, сложили головы на войне. «Любовь» все же рифмуется в первую очередь с кровью.

Вся ведущая плеяда молодых поэтов Литинститута участвовала в Отечественной войне, но не все вернулись с войны. Раньше других вошли в литературу Михаил Луконин и Сергей Наровчатов. Борису Слуцкому и Давиду Самойлову предстоял долгий и тернистый путь прежде, чем они достигли успеха.

А позже всех — спустя два-три десятка лет, то есть в 60—70-е годы,— добился признания тот, еще не названный мной, кто не входил на равных в ядро литинститутских корифеев, но как бы примыкал к нему, встречая понимающую заинтересованность Кульчицкого и более или менее снисходительное покровительство Слуцкого. Между тем имя его с конца 30-х годов окружили легенды, а в сороковые — пятидесятые годы достопамятную квартиру на Арбате считали своим долгом посетить многие начинающие поэты. Шли паломники послушать настоящие стихи, окунуться в атмосферу истинной поэзии, поучиться у «гениального Николая Глазкова».

Илья Сельвинский, вырастивший не одну смену молодых поэтов Литинститута, давал первый урок только что поступившим:

«Каждый год в институт поступает какой-нибудь гений. Он убежден, что все постиг и пишет стихи как нельзя лучше. Но тут ему приходится убедиться, что другие умеют рифмовать не хуже, чем он.

Встречаю его через месяц и спрашиваю во всеуслышание: «Ну как? Все еще считаешь себя гением?»

Он мнется и говорит: «Нет, больше не считаю...»

Так у меня бывало со всеми гениями. За одним исключением. Поступил в институт Николай Глазков. Тоже — гений.

Через некоторое время спрашиваю его:

— Глазков! Считаешь себя гением?

Отвечает:

— Да, я — гений.

Ну, думаю, подождем...

При следующей встрече снова задаю тот же вопрос. И Глазков снова отвечает: «Да!»

И так я его постоянно спрашивал, но он оставался при своем. Единственный случай на моей жизни».

Почему Сельвинский относил Глазкова к категории неисправимых самозванцев? Легче всего ответить: из самолюбия. Большой поэт неохотно признает величину, сопоставимую с ним. Но Асеев дал Глазкову рекомендацию в Литинститут, а Кирсанов, пусть не активно, одобрял Колину поэзию.

В неприятии Глазкова сказывалось не изжитое Сельвинским ревнивое отношение к Маяковскому. В стихах Николая Глазкова Сельвинский не мог не почувствовать духа молодого Маяковского.

Глазков пришел в Литинститут из пединститута.

Я познакомился с Николаем Глазковым в 1939 году, когда поступил в МГПИ, где он уже учился на втором курсе литфака. Нас объединило стремление к новаторству в поэзии. Мы объявили себя и наших приятелей-студентов «небывалистами», то есть небывалыми поэтами. Не ручаюсь за всех, но Николай Глазков был небывалым поэтом.

В Литинститут он пришел с ворохом стихов весьма задиристого и себярекламного характера. Стихотворение «Вперед к Маяковскому!» — кредо поэта того периода. Внешне его стихи выглядели эпигонскими (за что Сельвинский и ухватился!).

Мало кто заметил за бравадой и эпатажем ту пронзительную искренность, которая составляла душу поэзии Глазкова.

Студенческая аудитория.

Выступают молодые поэты.

Каждый выдает товар лицом. (Не огрубляю. Слуцкий мне говорил: «Долгин, выдай стих!»)

Итак,— в порядке признанного в их кругу старшинства — Слуцкий, Кульчицкий и другие выступают со своими программными стихами. Каждый читает по одному стихотворению. Завершает парад Глазков озорным четверостишием о похождениях на балу удалого Хаз-Булата.

Взрыв одобрительного смеха.



Л. Ю. Брик и В. А. Катанян

...Отчего же такой пустячок?

Пушкинская лирика имеет несколько этажей. Верхний, смыкающийся с небом,— «Пророк», «Бедный рыцарь»; нижний, уходящий в землю,— рифмованная шутка, острóта, каламбур.

Глазков имел право на свой нижний этаж. Это в порядке вещей. Плохо то, что знатоки Литинститута санкционировали именно нижний Колин этаж и в таком — заниженном — качестве приняли Глазкова.

Слепота, как будто необъяснимая, учитывая, что в ту пору среди плеяды Слуцкого был в моде критерий: «стихи выше уровня моря». Да, все названные поэты-литинститутцы писали выше уровня моря и, наверно, догадывались, что есть еще уровень гор. Михаил Кульчицкий работал на этом уровне. Однако стихи Глазкова поднимались порой выше гор!

Но не все это видели!

Бросалось в глаза то, что поближе и попроще,— Колин примитив, забавный кунштюк, балаганный раек, стихотворно-цирковой номер. Вот так Глазков стал фигу-

рировать в роли поэта-комика, клоуна, шута. И, скажем прямо, не без удовольствия с его стороны. И все-таки это была маска — не мистификации ради, а чтобы скрыть свою исключительную ранимость. Маска шута-эксцентрика.

Помню, как-то Глазков пригласил меня к Лиле Юрьевне Брик, а я тогда постеснялся пойти к ней. И все-таки в годы войны я познакомился с Лилей Юрьевной, и она о многом мне рассказала. И вот снова прокручиваю на экране памяти увиденное и услышанное.

Накануне войны Лиля Брик после десятилетнего перерыва вновь соприкоснулась с поэзией. Она слушала стихи литинститутцев и безошибочно отдала предпочтение Кульчицкому (Глазков не выступал).

...Солнышко заглянуло в подвал, где снимал угол Михаил Кульчицкий. Большие лучистые глаза Лили Юрьевны вместе с ее улыбкой — сноп света! Понятно, она уже не молода и не победительна, как прежде, но глаза и улыбка — те же...

Вскоре в ее доме появился и Борис Слуцкий. Между прочим он сказал Лиле Юрьевне:

— А вы знаете, есть у нас такой чудак... Личность странная, но стихи талантливые...

— Что ж! Приведите его ко мне. Любопытно познакомиться.

Глазков был представлен Лиле Брик[1]. И — совершенно непредвиденно — сразу вытеснил из поля зрения именитой хозяйки дома всех прочих.

Она выделила его, как выделяют драгоценный перл из полудрагоценных камней и просто мишуры.

Взглядом, устремленным в одну точку, угловатыми и резкими движениями — всеми своими манерами Глазков производил впечатление намеренно вызывающего к себе внимание человека. В его поведении усматривалась какая-то вычурная искусственность. Тем разительнее, по контрасту, был эффект от его абсолютно лишенных

---

[1] Вот как вспоминал об этом в рассказанной им автобиографии сам Николай Глазков: «В один из вечеров (это было 21 декабря 1940 года) Кульчицкий познакомил меня с Лилей Юрьевной Брик. За полгода до этого прекрасный поэт Ярослав Смеляков в клубе ССП, завидя меня, сказал Лиле Юрьевне, что это — гений Глазков. Таким образом, Лиля Юрьевна уже тогда была в курсе дела... Лиля Юрьевна одобрила мои стихи».

деланности и заданности, естественных, как разговорная речь, совершенно чистосердечных стихов.

Людей, привыкших к стихотворному штампу и высокопарным декларациям, эта обнаженная откровенность пугала и отталкивала. Она представлялась им кощунственным посягательством на убаюкивающие их привычные каноны. Всегдашняя дань, которую платит поэт за новаторство,— неприятие.

У Глазкова был узкий круг приветствовавших его поэзию друзей и знакомых.

Но первое авторитетное безоговорочное понимание и одобрение он встретил у Лили Брик.

Как относился Глазков к Лиле Брик? Он — неутомимый изобретатель остроумных и метких прозвищ-титулов себе и своим знакомым — назвал ее одной из двух умнейших. (Другая умнейшая — Лиля Ефимовна Попова, подруга и творческая сотрудница необыкновенного Чтеца-Артиста Владимира Яхонтова.)

Как-то, выясняя отношения (кто «настоящий» друг и кто «ненастоящий»), Глазков сказал мне: «Леня! Кроме Жени Веденского и Лили Брик, у меня друзей не было».

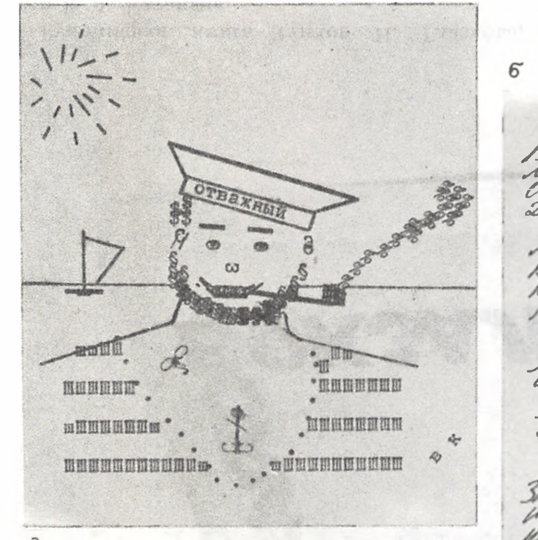
Евгений Веденский — ближайший друг Коли с детских лет, в военные годы, когда Глазков бедствовал, оказывал ему денежную поддержку. Лиля Брик в критический период жизни Глазкова (сорок четвертый год) приютила его у себя и едва ли не спасла от голодной смерти...

Вернувшись в Москву из Горького в годы войны, один в заброшенной квартире на Арбате, Глазков отчаянно бедствовал. Не имея никакого литературного заработка, Николай поневоле промышлял чем угодно, лишь бы достать деньги на жизнь. Он нанимался расчищать снег с крыш, колоть дрова, таскать, по его выражению, «мебеля» и т. п. В кратковременный период рыночного оживления пробовал себя и в торговле папиросами, но, увы, безуспешно... Замотанный, задерганный Коля с благодарностью принял протянутую ему руку помощи Лили Юрьевны.

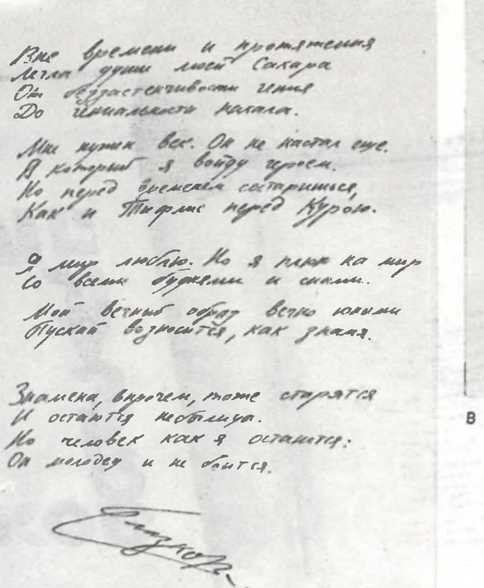
Навряд ли квартиру Бриков 40-х годов можно назвать литературным салоном, хотя превосходно разбирающаяся в искусстве, остроумная и проницательная хозяйка, радушно принимая в те суровые годы многих ярко-талантливых людей, сумела создать атмосферу салона в



Рукописная книга стихов Н. Глазкова, собранная и оформленная друзьями поэта (40-е годы). Из архива Л. Ю. Брик и В. А. Катаняна.



а) Моряк. Рисунок на машинке работы В. Катаняна



Вне времени и протяжения
Легла души моей Сахара
От безрассудчивости гения
До гениальности начала.

Мне нужен век. Он не настал еще.
В который я войду героем.
Но перед временем состаришься,
Как и Тифлис перед Курою.

Я мир люблю. Но я плюю на мир
Со всеми бурями и снами.

Мой вечный образ вечно юными
Пускай возносится, как знамя.

Знамена, впрочем, тоже старятся
И остаются небылицей.
Но человек как я останется:
Он молодец и не боится.

Глазков-39

б) «Вне времени и протяжения...» Автограф Н. Глазкова, 1939 год

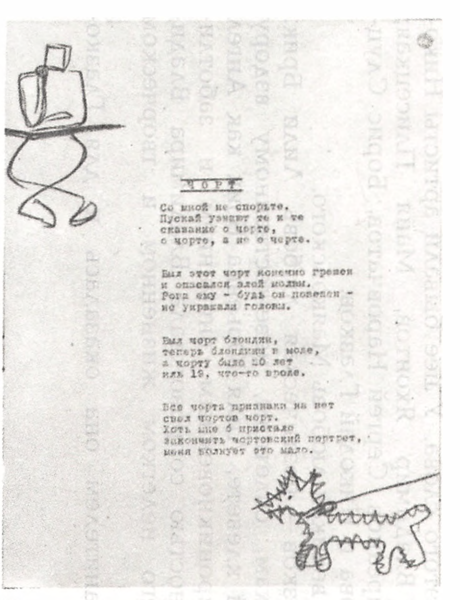
в) Рисунок худ. В. Алфеевского к стихотворению «Один мудрец, прожив сто лет...»

г

г) Рисунок худ. Д. Штеренберга к стихотворению «Все это очень глупое, как небо голубое...»



д) Рисунок худ. А. Тышлера к стихотворению «Колесо бессмысленной фортуны...»



е) Рисунок А. Хохловой к стихотворению «Черт»

лучшем смысле этого слова. У нее бывали артисты Николай Черкасов, Владимир Яхонтов, Майя Плисецкая; поэты Семен Кирсанов, Сергей Наровчатов, Борис Слуцкий, Муза Павлова и Николай Глазков.

Лиля Брик — великая любовь Маяковского.

Николай Глазков — поэтическая любовь Лили Брик.

Вопреки слухам, сплетням, невежественному вздору и злонамеренной клевете, Лиля Юрьевна Брик как Ангел Хранитель с проникновенным вниманием и заботливой взыскательностью сопровождала Владимира Владимировича на его нелегком жизненном и творческом пути.

Ангелом Хранителем она оказалась и для Глазкова.

Лиля Брик говорила мне о Хлебникове: «Глазков удивительно похож на него. Прямо — копия...»

Рисунок художника Митурича, изображающий Хлебникова на смертном одре, больше, чем фотографии, подтверждает слова Лили. Внешнее сходство усугублялось сходством внутренним. Как Велимир, Николай был анфан тэрибль отечественной поэзии.

Но анфан тэрибль — только часть правды, хранимой на тэрра инкогнита.

В квартире Бриков Глазков, кроме участия и восхищения Лили Юрьевны, нашел приветливую поддержку Осипа Максимовича Брика, единомышленника Маяковского по Лефу, и Василия Абгаровича Катаняна — тонкого исследователя жизни и творчества Владимира Владимировича.

Естественно: то, что было неприемлемо для Сельвинского, вызвало одобрение друзей Маяковского, разглядевших в Глазкове за видимостью недоросля-вундеркинда своеобразного нового поэта-философа.

В Николае Глазкове причудливо сочетались простодушие наивного младенца и премудрость многоопытного старца. В 20 лет он рассуждал порой как десятилетний, порой — как столетний, а порой — как тысячелетний Мафусаил. Буддист сказал бы: у Глазкова за счет предыдущих жизней огромная чаша накоплений. Но Николай, отличаясь широтой мышления, с буддистом не согласился бы как православный христианин.

Именно в этом качестве в первые дни войны он пишет свою «Молитву», где простодушие и премудрость нерасторжимы:

Господи, вступися за Советы,
Сохрани страну от высших рас,
Потому что все Твои заветы
Нарушает Гитлер чаще нас...

Однако недаром в семье Глазковых сохранилось предание об одном из ее предков — мятежном иерее, взбунтовавшемся против схоластических догматов официальной религии. Несмотря на христианство, взаимоотношения Николая с богом были сложные:

Я прихожу к монахам
И говорю им как поэт:
«Вы, ничтожные, как Монако,
Знайте, что Бога нет».

Я прихожу к атеистам
И говорю как пророк:
«Там, на небе мглистом,
Есть Господь Бог!»

Не менее сложно порой складывались отношения Глазкова с людьми. Маска шута веселила далеко не всех. За Глазковым полз хвост нелестных эпитетов, вроде: «ненормальный» или — того хуже — «сумасшедший».

Опять Хлебников!

Изнанка короны короля поэтов — вериги юродивого. Однако, если обыватели и профаны с негодованием отворачивались, творческая молодежь Литинститута середины сороковых годов посещала Глазкова и в той или другой мере училась у него. Так же вернувшиеся с фронта поэты из плеяды довоенных звезд убедились на новых стихах Николая, что он нечто большее, чем виртуоз каламбура или юморист-парадоксалист...

Медленно, но верно, Глазков становился поэтом для поэтов.

Литературных друзей Коле всегда хватало с лихвой. Но постоянно и достоверно симпатизировали Коле, интересовались его творчеством, выражали свои дружеские чувства к нему Сергей Наровчатов, Давид Самойлов и Борис Слуцкий, в оценке таланта Николая прогрессировавший в диапазоне от курьеза и до колосса. Из следующей смены поэтов, тянувшихся к Глазкову, назову (всех не перечислить!) Николая Старшинова и Александра Межирова.

Межиров восторгался стихами Глазкова и не скрывал своего ученичества. Даже первую книгу стихов Межиров озаглавил «Дорога далека» под свежим впечатле-

нием от только что написанной поэмы Коли с таким же названием.

Не говорю о Евгении Евтушенко, в свою очередь прошедшем свои университеты у Глазкова, но он принадлежал уже к поколению поэтов не 40-х, а 50-х годов.

Когда Глазков слушал банальные стихи, он, не утруждая себя доводами, говорил: «Это плохо»,— причем с такой неотразимой убежденностью, что молодой автор, в других случаях азартно защищавший бы свое детище, безапелляционно примирялся с приговором.

Однажды один поэт прочел свое стихотворение о веселом эпизоде на фронте и — в упоении от собственной находки — сказал: «Пулемет — пили мед. Нет лучше рифмы!» — «Есть,— возразил Коля.— Пулемет — пили. Мертв».

Сползла и ушла в прошлое маска шута, но место ее занял не лавровый, а терновый венец. Между тем Глазков хотел очень, очень и очень иметь именно венец лавровый!

Ребенок, который никогда не умирал в нем, только, может быть, становился год от году капризнее и деспотичнее, настоятельно требовал роз без шипов. Но где они водятся — эти благоухающие и неколющиеся розы?

Хочу, чтоб людям повезло,
Чтоб гиря горя мало весила,
Чтоб стукнуть лодкой о весло,
И людям стало сразу весело.

Лиля Юрьевна особенно любила эти строки поэмы Глазкова «Поэтоград». Они замечательны не тем, что поэт декларирует свою приверженность к добру, а тем, что добро и веселая шутка стоят у Глазкова рядом. Характерная нота, еще сильнее звучавшая в поэзии Глазкова последующих лет.

Еще водятся писатели-моралисты, полагающие, что добро можно насильно всучить людям.

Можно. Но за счет добра!

Глазков понимал: легче всего доходит добро до людей, когда оно преподносится не навязчиво, с улыбкой. Поэтому его веселые стихи добры, а его доброта в стихах веселая, даже в грустном подтексте.

Добродушно-лукавая улыбка в прозвищах-титулах, которыми молодой Глазков щедро награждал себя. Бахвальство? Забава? Нет. Правда, и только правда! «Бога-

тырь Глазков», «Самый сильный из интеллигентов», «Развлекатель», «Великий Гуманист».

«Развлекатель», в понимании Глазкова,— и шут, и затейник, и сказочник, и фантазер — одним словом, человек, доставляющий людям радость. А от организатора радости до «Великого Гуманиста» — рукой подать!

Кстати сказать, полноценная рифма к слову гуманизм — коммунизм.

Случилось это в середине 40-х годов.

Один малоизвестный поэт пригласил меня на обсуждение его стихов в Дом литераторов.

Я предложил Глазкову пойти со мной.

— Кто он такой? — спросил Коля.— Почему я его не знаю?

— Он не московский, а приезжий периферийный поэт.

— А что он написал?

Я показал подаренную мне им книжонку. Глазков перелистал.

— Плохие стихи.

— Плохие, но ходовые.

— Пошло́ то, что по́шло,— отрезал Глазков.— Мы поступим неостроумно, если пойдем.

— Возможно. Но я обещал. К тому же он хочет познакомиться с тобой.

— Это говорит в его пользу,— сказал Коля.— Во всех спорных случаях я предоставляю решение моему парламенту.

Он вынул из кармана горсть монет, перетасовал в своей мощной длани и, раздвинув пальцы, показал, что у него на ладони. «Парламент» Глазкова голосовал орлами и решками. Орлов оказалось больше, и Николай принял решение пойти со мной.

Приглашавшего нас стихотворца мы обнаружили в коридоре здания. Он маялся у двери комнаты, где должно было состояться обсуждение его стихов.

Коля отрекомендовался по обычаю тех лет:

— Гений Глазков!

Шагнув по направлению смущенно улыбающегося поэта, Николай резко выбросил правую руку вперед, будто собираясь проткнуть живот бедняги. Слегка шарахнувшись от неожиданности в сторону, тот, поняв, что ему ничего не угрожает, любезно пожал Колину руку и проблеял что-то вежливое, вроде: «Давно слышал» или «Очень рад»...

Глазков, пропустив мимо ушей галантерейные штам-

пы, обычно предваряющие знакомство, с места в карьер предложил ему единоборство рука на руку.

Как же реагировал тот на вызов?

Совсем смутившись и растерявшись, он залепетал: «Нет, я не умею... Вы сильнее меня»,— окончательно разочаровав Колю.

Мы вошли в комнату, постепенно наполнявшуюся людьми. Аудитория, впрочем, была немногочисленная. Стихи *N* мало заинтересовали литераторов. Во всяком случае, именитых среди них не наблюдалось.

Мы заняли места. Люди заходили и выходили, заседание не начиналось, и нам стало скучно. Мы встали и обнаружили, что другая дверь комнаты выводит на балкон. Дело было летом, и мы с удовольствием вышли на воздух из душного помещения.

Подошли к барьеру балкона. Смотрим вдаль.

Перед нами двор, за двором ворота, улица и — вольная воля!

— Спрыгнем? — спросил Коля.

Я стоял рядом, инвалид войны с палкой в руке. Как-никак — балкон на втором этаже.

Если бы мне это предложил кто-нибудь другой, я, наверное, заподозрил бы подвох. Но Николай, постигая внутренним взором суть вещей, зачастую не то не замечал, не то пренебрегал внешними обстоятельствами.

Меня взял задор.

— Давай! — сказал я.

Глазков с легкостью акробата спрыгнул вниз. Я менее грациозно последовал его примеру.

Сутки болели ноги, особенно ступни, но обошлось.

Тогда довольно бодро зашагал, больше обычного опираясь на палку.

Мы отправились на Гоголевский бульвар. А с *N* больше не встречались и даже не слышали ничего о нем. Как он воспринял наше таинственное исчезновение — не знаю. Но, проходя мимо Дома литераторов, мимо той стороны, где балкон, каждый раз удивляюсь себе: неужто спрыгнул?!

Колин же прыжок для меня не удивителен. Он такие спортивные подвиги совершал в своей жизни, что в сравнении с ними балкон Дома литераторов — сущий пустяк.

В других случаях мне и в голову не приходило тягаться с ним.

Однако в этом эпизоде — не отстал от него.

Чем и горжусь.

Глазков никогда не говорил о смерти. Он хотел жить всегда, писать стихи, плавать в реке, бродить по природе...

Природу, естественную, не испорченную людьми, он любил. И даже когда один-единственный раз заговорил со мной о смерти (заговорил под величайшим секретом!), он мыслил свою смерть на природе.

Было это в далекие годы нашей молодости.

Двадцатилетний Коля учился тогда в педагогическом институте и стойко переносил все неудобства, связанные с репутацией непризнанного гения...

Казалось, Глазкова нисколько не смущали ярлыки, щедро наклеенные на него малокомпетентными в поэзии недоброжелателями. Задиристый, находчивый, остроумный, он ни перед кем не робел и никому не уступал в спорах. Но и у мужественного человека возможны минуты отчаяния.

— Я хочу тебе сказать, Леня, одну вещь. Но обещай, что никому не расскажешь о моих словах. Пока я жив.

— Обещаю.

— Если мне будет очень-очень плохо, я сяду в электричку и выйду куда-нибудь в поле. И пойду куда глаза глядят. И буду идти, идти, идти... Идти, пока не умру. Так я сделаю.

К счастью, Глазкову в ту пору было не «очень-очень плохо», а только плохо, очень плохо. И он не умер двадцатилетним. Но на природу часто и охотно выезжал всю свою жизнь.

В его стихах — поэтическая география чуть ли не всей нашей страны.

Вот только умереть на природе не довелось.

Петр Незнамов

---

* * *

В спасопесковской ти́ши я,
В Москве,
а не в Глазгоу,
Люблю четверостишиям
Внимать ГЛАЗКОВА.

Он пишет,
словно дышит,
Он время
славно слышит,—
Не связан
И не скован,—
Вздохнет,
потом подпишет
Фамилией
ГЛАЗКОВА.

Февраль 1941

Николай Шахбазов

ВСПОМИНАЯ ГЛАЗКОВА

Сегодняшнему читателю трудно даже представить, кем для моего поколения был Николай Глазков. Стихи его ходили в списках, литературная молодежь знала их наизусть. Все в них было необычно, необычен был и он сам. Спадающие челкой волосы, из-за чего лоб кажется низким, пронзительные глаза, огромные уши, которые, казалось, способны вращаться, как локаторы, острый нос, узкий подбородок. В облике что-то монгольское — в скулах, в разрезе глаз. Ходил ссутулясь и глядел исподлобья. Он был росл, широк в кости, и голова, несмотря на то что была крупной, казалась непропорциональной туловищу. Он хвастался своим богатырским здоровьем и при встрече предлагал немедленно померяться силой. Подчас он бывал наивен, вдруг удивлялся какому-нибудь пустяку и, когда удивлялся, по-детски высовывал кончик языка и начинал моргать. Я пишу о Глазкове давних времен, когда он был для всех Колей Глазковым — неустроенным, чудаковатым, легко ранимым, не умеющим сладить с бытом, надбытным. Он принадлежал к исчезнувшему в наши дни типу поэта. Такой была еще Ксения Некрасова, и, вероятно, таким был Хлебников,— недаром в стихах Глазкова Хлебников упоминается часто.

Жил он тогда на Арбате, в старом московском доме с аркой и двориком, в многонаселенной, захламленной квартире. Все мы жили тогда в таких квартирах. Свет вполнакала, холод, отсыревшие обои, чад в коридоре, очереди в райбане, обеды в столовых по продкарточкам — тридцать граммов крупы, десять масла, но — война окончена, и мы молоды, и — озарения, озарения! Ранние стихи Глазкова неразрывно связаны с воздухом довоенной и послевоенной Москвы. На Арбат, 44 в квартиру 22 мы стекались со всех концов города — почитать стихи, пошуметь, «понизвергать» авторитеты. Коля переписывал свои стихи, а позже печатал их на машинке, брошюровал. Получалось вроде книжки, и он дарил их друзьям. Таких книжек тиражом в несколько экзем-

пляров он «выпустил» много, вероятно, несколько сотен. Каждое его стихотворение мы воспринимали как победу в извечной борьбе поэта с непоэтами. Такие стихотворения, как «Баллада об одноглазках», «Голубь», «Гоген», «Федор Барма Ярыжка», «Будь луна блин...», «Люяблю», «Мрачные трущобы» были не только стихотворениями, но и поэтической декларацией. Что же в них завораживало и притягивало? Прежде всего — раскованность. Раскованность, которая по тем временам кому-то казалась предосудительной. Думается, отсюда и защитная маска скомороха. Глазков то и дело прикидывался этаким простачком, именовал себя юродивым Поэтограда. Роль юродивого давала некоторую надежду на безнаказанность: много ли спросишь с человека «не от мира сего»? Во времена, когда казалось, что пламя поэзии вот-вот готово было погаснуть, а сама поэзия зачастую подменялась риторикой, надо было обладать немалой смелостью, чтобы основать поэтическое течение — небывализм или провозгласить теорию, по которой все человечество делилось на неандертальцев, деятелей и личностей. Все это было игрой, но порой и игры бывают достаточно серьезными.

Знакомство наше состоялось в 1940 году, когда он появился в Литинституте, куда был принят по рекомендации Н. Асеева. Глазков был очень удобной мишенью для критических стрел: в игнорировании гладкописи легко было усмотреть увлечение формализмом. «Формалистические» стихи и были одним из поводов его исключения из пединститута чрезмерно правоверным руководством. Довоенный Литинститут напоминал Лицей: мы резвились в меру возможностей, нам — в меру возможностей — разрешали резвиться. Семинарами руководили такие поэты, как Асеев, Сельвинский, Антокольский, Луговской, Кирсанов. Все они понимали, что послушание и добросовестное копирование не компенсирует отсутствие таланта.

Поэзия Глазкова — это в основном развернутый перед читателем поэтический дневник. Дистанция между лирическим героем и автором сведена до минимума. Глазков этого и не скрывает: «Мои пороки и достоинства в моих стихах найдет любой».

Читая его ранние стихи, следует помнить о реальной обстановке, в которой они создавались. Недавно я прочел моим молодым друзьям, любителям поэзии, «Балладу» («Он вошел в распахнутой шубе...») — они оценили ее по достоинству, но не поняли, почему она не могла появиться в печати тогда, когда была написана. Я позавидовал «младому племени», не подозревающему о труд-

ностях, выпавших на долю поэта, работавшего более четырех десятилетий назад. Баллада могла показаться в те времена вызывающим свидетельством неприятия редакторских критериев, определяющих отношение к поэту и поэзии. Видимо, слово поэта все-таки должно быть услышано вовремя.

Упорство, с каким его не печатали, соответствовало упорству, с каким он себя утверждал. В стихах он то и дело именовал себя «великим и гениальным». «Как великий поэт современной эпохи, я собою воспет, хоть дела мои плохи». И чем хуже были дела, тем демонстративнее был вызов, который он бросал исповедующим «трезвое благоразумие». Характерно, что в зрелые годы, совпавшие с общим оживлением литературной жизни, это стремление к самоутверждению заметно ослабевает.

Его поэтическая натура была склонна к мистификациям. В разные годы он был разным: то вел жизнь отшельника, то примыкал к литературной богеме, то стремился быть проповедником, то — актером. Постепенно он обрастал легендой. И стихи его неотделимы от его личности.

Он был добр к друзьям и благодарен, когда ему оказывали внимание. К нему можно было прийти в любой день, и он читал свои стихи много и с удовольствием. Его заявления о своей исключительности многих шокировали, и, когда речь однажды зашла о поэтах, кто-то заметил, что Глазков заносчив и чересчур о себе мнит. Это было неправдой. Я никогда не замечал у него даже намека на заносчивость. Однако присутствующий при разговоре Слуцкий сказал: «Если какой-нибудь актер средней руки, получив звание заслуженного, мнит себя по крайней мере Гамлетом, почему бы Николаю Глазкову, поэту уникального дарования, живущему всю жизнь впроголодь, и не быть заносчивым?»

Глазков не любил людей бездарных и, слушая беспомощные вирши, бывал резок и бескомпромиссен. И еще он не терпел, когда в его открытый дом проникали благополучные люди, пришедшие взглянуть на хозяина, как на диковинку.

Он был поразительно органичным поэтом. Встав из-за письменного стола, он продолжал мыслить как поэт, оставался им всегда и везде. Возможно, этим и объясняется его, ставшая нарицательной для поэтов, рассеянность. Он мог вдруг «выключиться» в середине разговора или, перебив собственную мысль, предложить готовую строфу о происшедшем на глазах незначительном событии. «Я иду по улице, мир перед глазами, и стихи стихуются совершенно сами». Он писал поэмы, четверостишия, послания

в стихах, раешники, мадригалы, и все это он делал радостно, строчки ложились на бумагу легко и свободно. Иной раз останавливался на первом варианте, не организуя стих. Поэтому не все в его литературном наследии равноценно. Но среди вороха стихов возникают строфы такой афористической завершенности, что врезаются в память на многие годы. Иной раз — только строка: «Но приговор эпохи есть приговор эпохе». Или — только образ: «Собиратели истин жевали урюк». Глазков — поэт цитатный.

Стихотворение «Сам себе задаю я вопросы» запоминается одной строкой: «Эх, поэзия, сильные руки хромого». На это определение поэзии обратил внимание Сельвинский.

— Это очень точно,— сказал он.— Поэзия не обладает мощностью, свойственной прозе. Тяжесть «Войны и мира» или «Тихого Дона» ей не поднять. В этом смысле крепко на ногах она не стоит, хромает. Но, в отличие от мощной и неповоротливой прозы, она способна одной строкой враз и намертво схватить болевую точку. Руки у нее — сильные.

Читая стихи Глазкова, следует настроить себя на волну, на которой автор ведет передачу. Если не чувствовать ироническую интонацию, пронизывающую их, если парадоксальность сюжета проверять бытовым правдоподобием, если простодушную естественность принимать за простоватость и не заметить виртуозности, с какой автор владеет словом,— значит, лишить себя знакомства с поэтом, чье творчество не определить иначе, как явление.

Глазковское всегда узнаваемо. В Литинституте на семинарских занятиях, когда студенты читали свои стихи, то и дело слышались замечания: «Это строка глазковская». Ему нельзя было подражать без риска впасть в эпигонство. Но и удержаться от силового поля его поэзии было невозможно. Его стихи были событием в стенах Литинститута довоенной поры. Многие черты его поэзии получили в дальнейшем развитие в стихах других поэтов. «Сколько мы у него воровали, А всего мы не утянули!» — восклицает Слуцкий в стихотворении, посвященном Глазкову. В беседе с критиком Е. Сидоровым Евтушенко говорит об огромном влиянии, которое оказали на его творчество ранние стихи Глазкова.

Трудно у хорошего поэта выискать цитату, которая заключила бы в себе формулу его талантливости. Талантливость определяется совокупностью всего творчества. Цитирование обычно преследует утилитарную цель: подкрепить то или иное положение. Вот, например, цитата, дающая представление о непосредственности поэ-

тического голоса, о лукавстве автора, когда не поймешь, говорит ли он серьезно или шутит, о мастерстве его в словесной игре:

Иду и думаю,
Когда иду.
Тогда про ту мою
И эту ту.

Строфа совершенна: в ней ни одного лишнего слова.

Беседа с Глазковым доставляла огромное наслаждение. Он любил задавать вопросы-ловушки, но предпочитал, чтобы вопросы задавали ему. Ответы его всегда бывали непредсказуемы. Он обладал ассоциативным мышлением и, доказывая что-либо, обращался к фактам разных временных категорий, порой парадоксальным и несопоставимым. Иногда он отвечал лаконично, одной фразой. Приняв его правила игры, однажды я спросил:

— Коля, ты гений?

— Да,— ответил он.— А что?

В голосе не было никакого вызова, он сказал это, глядя в окно, и опять нельзя было понять, говорит ли серьезно или шутит.

Шли годы, менялось время, менялся и поэт. Бывшего урбаниста и домоседа потянуло к широким просторам, к Природе. Он исходил всю Якутию, был в Прибалтике, в Средней Азии, на Кавказе. В стихах появились новые герои — охотники, геологи, землепроходцы. Теперь он именовал себя «великим путешественником». Но этот период его жизни мне известен мало, встречались мы редко, однако, как говорится, очень дружили, когда встречались.

Запомнилась одна из последних встреч. Это было в начале семидесятых годов. Уже изданы «Моя эстрада», «Зеленый простор», «Поэтоград», «Дороги и звезды», «Пятая книга», «Большая Москва». Мы сидели у него дома, вспоминали давние времена, Литинститут, войну, и я не удержался, пожаловался на возраст, сказал, что весна осталась за горами и что осень, в общем-то, грустна. Он мне подарил свои «Творческие командировки», сделав на титульном листе надпись:

Шахматы полезны мудрецам,
А лото лентяям и глупцам.—
Хорошо, кто это понимает.
Белый снег пускай зимой идет,
А зачем он нужен круглый год? —
Зрелости зима не заменяет.
Осень жизни все-таки нужна —
Выглядит нарядней, чем весна.
Умный от нее не унывает!

Так он ответил на мои банальные сетования. Написал он это стихотворение с ходу, без помарок, лукаво улыбнулся, вручая книжку, и, лишь вернувшись домой, я понял, что означала его улыбка, когда перечитал стихотворение и обнаружил, что является оно акростихом.

Последний раз я виделся с ним за два месяца до его смерти, и он мне сказал, что жить ему осталось два месяца. Когда я уходил, он, тяжело дыша, поднялся с постели, чтобы запереть за мной дверь. Над впалыми щеками резко обозначились скулы, борода была всклокочена, на исхудавшем лице — большие задумчивые глаза...

Ричи Достян

ПОЭТ ИЗУСТНОЙ СЛАВЫ

В небольших институтах, особенно таких, как Литературный, студенты друг с другом не знакомятся. Они каким-то образом сразу знают всё — каждый о каждом.

В конце 1940 года, когда я перешла с исторического факультета ИФЛИ в Литературный институт имени Горького, мне уже с порога стало известно, что гениев общепризнанных в институте два: Михаил Кульчицкий и Николай Глазков. Само собой разумелось и то, что гении возможны только среди поэтов.

Меня очень хорошо приняли в свое содружество и студенты второго курса, и члены семинара Ильи Сельвинского, куда я была включена приемной комиссией. На первом же занятии семинара, тоже с порога, ошарашили «могучей кучкой», самим Ильей Львовичем отобранной и нареченной так звонко. В нее входили: Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Борис Слуцкий, Михаил Луконин и Сергей Наровчатов.

Для того чтобы мое изумление на первых порах было понятным, необходимо сказать, что к литературе я шла из науки (история, археология) и, ясное дело, по моим представлениям, дабы попасть в ГЕНИИ, следовало, по меньшей мере — открыть Трою либо родиться Николаем Яковлевичем Марром!..

Но речь не обо мне, а о друге моем, точнее — о верном товарище Николае Глазкове. И странное дело — не однокурсники за внешне кажущимся моим благополучием заметили, до какой степени в Москве я одинока и не для русской зимы одета. Все это сразу разглядел на несколько лет меня младше Николай и с первых же дней взял под свое надежное покровительство. К слову, сам он тоже невесть во что был одет. Пальтецо какое-то да шарф, в несколько витков намотанный вокруг шеи... Всем нам тогда, за очень редким исключением, было и холодно, и голодно — тем более — слава студентам нашего поколения! — никого совершенно не интересовало, кто во что одет. Нам было важно, что у кого за душою.

...Широкие подоконники обращенных в скверик окон — сердце Литинститута. Здесь читались только что написанные стихи, вспыхивали споры, доверялись тайны, улаживались конфликты...

Как-то в начале зимы благословенного для меня сорокового года я стояла у одного из этих окон и с увлечением следила, как ветер кружит по скверику листья, то и дело взметая их под самые кроны. Я ветры с детства люблю за баловство их, напор и силу, но вот этот — раздевающий, лютый?!. Гляжу и думаю: дали бы заночевать здесь на диванчике в канцелярии, как ВДРУГ за спиной у меня возникает Коля. Слово «вдруг» (об этом следует сказать сразу) не только самое точное обозначение поступков Николая Глазкова, не только черта порывистого, при всей его мягкости, характера, а бесценная, непредсказуемая вспышка глазковской поэтической мысли!

Тихо, но тоном, не допускающим возражений, с чем никак не вяжется вечно тлеющая ласковость в густой черни его глаз, Коля говорит: «Сегодня после занятий идем к Глинке».

Кто такой Глинка, зачем надо к нему идти — не спрашиваю, уже привыкла, что Коля говорит редко и не просто мало, а исчерпывающе[1]. Чаще всего отвечает на вопросы, приставать с которыми — любимое развлечение студентов, потому что молниеносные ответы Глазкова — или вызывают хохот, или вгоняют в тупик.

Были сумерки, когда мы с Колей вышли из Литинститута. Ураганный ветер дул нам в лицо, и пока от Тверского, 25, дошли до Пушкинской площади, а это всего один квартал, теплым оставалось только дыхание.

Машин тогда было мало, трамваев много, а светофоры очень редки, но самое главное — Пушкинская площадь была действительно площадью, и громаднейшей. Вот где ветру лафа!

А мы стоим и стоим. Коля порывается протащить нас в узкие и ненадежные просветы между ползущими трамваями и несущимися машинами. Я успеваю схватить его за рукав: ты что, с ума сошел?!. Ответ был скор: «Со мной на улице ничего не бойся. Я утону!» И вдруг на несколько секунд для меня вообще исчез весь белый свет. Стою в полном мраке с тяжестью на голове и плечах — это Коля так неуклюже нахлобучил на меня свое пальто, совершив сразу два «подвига»: без восторга, мягко говоря, относясь к городскому транспорту, прикрыл-

---

[1] Краткость — *единственная*, — любил подчеркивать Глазков,— сестра таланта.

ся словами гадалки, которая еще в юности наворожила, будто ему суждено утонуть. Ну а то, что он снял с себя пальто на ледяном ветру,— просто невероятно. Я только недавно узнала от его жены, что Николай всю жизнь мерз, ненавидел зимы и холод и даже летом носил шарф...

Не помню, как мы добрались до Глеба Александровича Глинки[1], да и сам он видится смутно.

Крутая деревянная лестница оканчивалась широкими ступенями, которые открывали вид на просторную мансарду. За письменным столом — худощавый сутулый человек. Обращали на себя внимание его руки — красивые, с выпуклыми, хорошей формы ногтями.

Когда мы пришли, у Глинки уже было несколько незнакомых мне ребят. О чем говорил Глинка, что читали молодые поэты — не помню. Весь этот вечер впаялся в память молчанием Коли, тогда мне еще не понятным. Ни единого слова он не обронил. Это со временем для всех станет естественным, что Николай Глазков не молчит только стихами.

И здоровался он своеобразно. Вместо «Здравствуй» — порывисто протянутая рука, пожатие (для женского пола умеренной силы) с одновременным наклоном головы и долгим проницательным взглядом исподлобья. Все это вместе означало не просто «Здравствуй», а скорее: «Вот я!»

Только недруги или завистники в поведении до кротости скромного Глазкова, в словечках, которые он иногда себе позволял в свой адрес, усматривали гениальничанье. Им было невдомек, что так рвется наружу громадной силы творческая энергия.

Коля был до смешного застенчив и скромен. А возникал он ВДРУГ только среди своих, никогда и нигде не появляясь непрошеным. Это его с первых юношеских строк уже звали и всюду ждали... У нас на глазах происходило небывалое: поэт, не опубликовавший еще ни единой строки,— сразу стал известен. Сначала за стенами Литинститута, очень скоро по всей Москве, а затем стремительно в самых отдаленных уголках нашей страны и за ее пределами (чему не я одна свидетель)...

День за днем сживалась наша студенческая община на Тверском бульваре, 25. А я от семинара к семинару все больше мрачнела. Когда подошла моя очередь читать, сказала Илье Львовичу, что пока еще не готова.

---

[1] Глеб Александрович Глинка работал в литконсультации, которая находилась в Гнездниковском переулке. Писал стихи. Глазков познакомился с ним в 1939 году. В девятнадцатилетнем поэте Глинка сразу увидел зрелого мастера.

Тут следует сделать коротенькое пояснение, потому что к моему решительному переходу на факультет прозы Николай Глазков имеет прямое отношение.

Официально Глазков числился в семинаре Семена Кирсанова, однако желанен был на любом другом. Сельвинский сам пригласил Николая к нам. В этот день Коля читал отрывки из поэмы «Азия», а затем еще много стихов и «краткостиший». Это был самый долгий семинар у Ильи Сельвинского...

После этого семинара я не написала больше ни единой стихотворной строки. Правда, решение переходить на факультет прозы назревало по мере знакомства с поэзией Кульчицкого и всей, уже упомянутой, пятерки.

А тем временем подползала весна сорок первого года. Отсчитывались последние дни нашей молодости с ее переизбытком надежд и вдохновенья...

Миша Кульчицкий как-то, прогремев во весь голос свое знаменитое: «А я все равно люблю Россию...» — прошелся дерзким взглядом по нашим лицам и добавил: «Моя горбушка хлеба всегда падает маслом вверх!»

Нужно ли напоминать о том, что сам он упадет... насмерть в сорок третьем году...

Порасшвыряла нас война — кого куда.

Сельвинского и весь его мужской семинар — на фронт. Меня злая судьба снова закинула в Тбилиси, откуда с таким трудом вырвалась в Россию весной 1939 года, убежденная, что это уже навсегда... Только в сорок третьем дождалась я вызова из Литинститута, где «своих», даже девушек, было не густо. На радость, в Москве оказался Коля Глазков.

Он молча подошел ко мне на перемене и так протянул руку, словно мы виделись позавчера. И взгляд его был тем же долгим, но теперь, помимо тепла, тлела в нем еще и печаль.

Был Коля бледнее обычного. Похудел. Черный узкий адвокатский сюртук с отцовского плеча делал его еще выше.

Повторились наши хождения к многочисленным его друзьям. Как должное восприняла я и то, что Николай не спросил, почему перешла на прозу. Конечно, все понял и не осуждает.

Только сейчас, уходя мыслью вспять, отчетливо вижу, какой небывалый жил рядом человек. Ни разу не видела злых глаз; не слышала громкого слова; не видела хохочущим! Изредка вырывался смех короткими, застенчивыми вспышками. Как ему удавалось быть все-

гда ровным и при этом всегда новым — необъяснимо! Про него можно, не покривив душою, сказать: легкий, неутомительный человек. Быть может, оттого, что всегда и повсюду был он сосредоточенно собран и замкнут. Не знала я только одного — каков он дома.

Лишь однажды, не помню зачем, забежала к нему на Арбат. Это было зимой сорок четвертого года. В квартире пустынно, холодно и сыро. В левом углу неметеной комнаты большая дыра в полу. С вопросами не спешу. Коля, крупно шагая, ходит взад и вперед. Может, сочиняет, а быть может, так он нервничает?! Я подошла к дыре. Она оказалась глубокой. Коля тут же приблизился:

— Крыша,— сказал он и взметнул руку над головой,— законным путем я не сумел добиться. Не чинят. Тогда я взял топор и прорубил сток, пусть теперь туда льется, ибо там, конечно, забегают.

Весь Литинститут взбудоражил глазковский «способ», и на Арбат сорок четыре студенты ходили как в цирк! Но недолго, потому что крышу починили в два дня. По военным временам — молниеносно!

Через год я снова исчезну (сорок пятый — сорок девятый: работа в Германии), но это никаким образом не отразится на наших дружеских отношениях.

Я вернусь на Родину ленинградкой. Из Москвы пойдут письма, а в самом начале пятьдесят третьего года появится у нас и сам Николай Глазков.

Жили мы тогда с мужем на улице Петра Лаврова, почти у самого Таврического сада, в коммунальной квартире. Восьмиметровая комната в ширину имела всего два метра двадцать сантиметров и вмещала: один письменный стол, один, правда большой, диван и крохотный «обеденный» столик с двумя табуретками... (Здесь меня подстерегает Колино: «Все, что описательно, то необязательно». И тем не менее должна отвлечься на подробности, иначе не передать всей прелести вечера, о котором до сих пор помнят те, кто на нем был.)

В заповедных Роговских лесах, между Ченстоховым и Варшавой, прошло все мое детство, поэтому даже в этой конуре нашлось место для большой пушистой елки. Игрушек — никаких! Как распятая птица нависла она над диваном вершиной вниз. Ее красота и блеск, запрятанные в гущу ветвей, проявляли себя лишь с наступлением темноты.

Как только Глазков сообщил, что придет к нам на Петра Лаврова двадцатого января, мы тут же позвонили самому близкому нашему другу — поэту Глебу Семено-

ву. Глеб — своему другу, Льву Мочалову. Я дала знать прозаикам, и стало твориться нечто странное: наш телефон надрывался. На встречу с Николаем Глазковым напрашивались даже те, кто в нашем доме не бывал, при этом напрашивались настоятельно, вопя наизусть не строчки, не строфы или разлетевшиеся по городам и весям знаменитые глазковские краткостишия, а целые главы из поэм!

Это сейчас, вчитываясь, понимаешь, что его стихи запоминались сразу не случайно. Такое впечатление, будто не писал он их, а (слова точного не подыщешь) отливал, что ли?! Тут с горечью его словами за него хочется крикнуть: «Я это мог бы доказать, но мне не дали досказать!»

Из этой телефонной вакханалии вылуплялась еще более горькая мысль: за годы, что мы не виделись, фантастически росла известность поэта, которого не печатали. Николай Глазков стал знаменит изустно!

Когда число жаждущих встречи с ним перешагнуло пятнадцать человек, три проблемы подняли у меня волосы дыбом: где разместить? На чем разостлать скатерть? Как, при безденежье, накормить?!.

И, конечно же, выручил сам Николай. Точнее — азартное желание выдумкой потягаться с ним. И — пожалуйста: на диване размещу всех рядком, поплотнее; вместо стола, скатерти, посуды и т. п. — дюжина дешевых подносов из черной пластмассы; ну а на них — бутерброды без числа! Чем меньше денег, тем воображение богаче. Добавить к этому нужно главное — красота какая, если черен поднос и зелены кружева петрушки!..

Гости подобрались не только воспитанные. Всем почему-то захотелось прийти раньше самого Глазкова. И они пришли пораньше и расселись кто рядом с кем хотел. Я сознательно не называю имен собравшихся. Самого дорогого, Глеба Сергеевича Семенова, уже на свете нет. Иных вспоминать не очень хочется. Кроме того, боюсь напутать: кто был на этом первом вечере, а кто на втором — седьмого ноября 1954 года.

Николай Глазков, всегда пунктуальный, пришел ровно в семь. Кивком головы поздоровался, и произошло мне одной с давних пор известное: мгновенно прекращалась болтовня, где бы он ни появлялся. Так срабатывала магическая сила ЛИЧНОСТИ, которая никак себя не «подает», но все живое угадывает ее безошибочно.

В полнейшей тишине, бочком, чтобы не задевать ног сидевших на диване, Коля добрался до табуретки, поставленной так, чтобы все могли его видеть.

Потом последовала короткая церемония, когда хо-

зяева вновь прибывшему и в представлении не нуждающемуся представляют своих гостей; потом сидящие на диване приняли на свои колени подносы со снедью; потом каждый получил по бокалу вина. В те времена, а на таких вечерах в особенности, для молодежи вино было чем-то символическим, и безо всяких тостов, кстати.

Коля встал и молча высоко поднял свой бокал. Гости повторили его жест, и тогда заявила о своем присутствии елка. Погасив люстру, я включила лампу, спрятанную в гуще ветвей, и наша конура обернулась лесом в лунную ночь.

В какой-то момент, без каких-либо вступлений вроде: «Я прочитаю то-то и то-то» или «Я начну с...» — Глазков чуть наклонил голову и начал чтение, как начинают негромкий и незначительный разговор. Читал все подряд, почти не делая пауз между стихами, голосом ровным, даже монотонным.

Тот, кто слушал его впервые, мучительно напрягался, явно не успевая «переварить» одно, как Николай читал уже другое, на слушающих при этом не глядя. Складывалось впечатление, что он в одиночестве просто выверяет себя на слух.

Изредка в этом ровном потоке строк выделялось чуть более внятно произнесенное слово. А до слушателя не сразу доходило, что в этом-то слове и весь смысл! Что же касается рифм, в большинстве стихов Глазкова они как бродячие путники, которые совершенно случайно встретились на перекрестке мощной поэтической мысли, и автор этих встреч — вроде бы ни при чем.

Слушать Глазкова всегда нелегкой было работой, ну а на этом вечере — такая стояла тишина, что, оброни иглу уже заблагоухавшая от перегрева елка, стало бы слышно ее падение.

Хорошо, что был январь и на Неве не разводили мостов: разошлись ведь за полночь. Плохо, что такой тесной была наша комната, но Николай Глазков — не салонный поэт, который сам себя тиражирует.

Страшно подумать — в 1940 году, в девятнадцать лет, он напишет (и не опубликует) провидческие строки:

Не я живу в великом времени,
А времена живут во мне.
С тех пор, как стали жить во мне они,
Я стал честнее и умней.

Я в ночь одну продумал заново
Мышленья тысячи ночей.
И облака нависли саваном
Над городом из кирпичей.

Повторяю: Николай Глазков — не салонный поэт. Не слушатели необходимы были ему, а читатель. Через год, в ноябре, он снова появился в Ленинграде вместе с супругой Росиной — уже гостем Глеба Семенова. Седьмого ноября повторится вечер у нас на Петра Лаврова, все в той же комнатке, которая Росине покажется похожей на утюг, но вместит она еще большее число желающих.

В эти же дни о Глазкове прослышали на Ленфильме. И, конечно, возжаждали встречи с ним. Состоялась она в доме наших друзей, у прозаика Жанны Гаузнер — дочери Веры Инбер и супруги кинодеятеля.

Этой встрече с Глазковым, как всегда, казалось, не будет конца.

И снова шли письма. То коротенькие, то длинные со стихами. Дарил мне Коля и книжицы в фанерных переплетах. Одна из них застегивалась, как ларец, железным крючком.

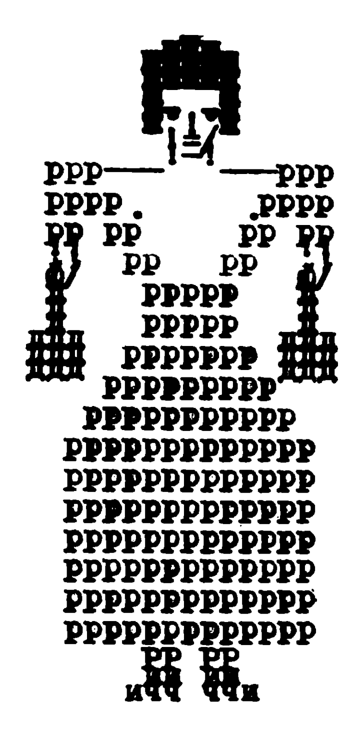
С какого-то времени, особенно после вечеров в моем доме, я стала получать от Николая свои портреты, выполненные шрифтом пишущей машинки. Ошеломляет до сих пор, как мыслимо выстроить фигуру, лицо с черные буйных волос из буквы *р* и буквы *g* вперемешку с точками и черточками. Хранятся у меня и несколько изображений храмов, «нарисованных» тем же способом. Рисунки сохранились, а книжицы «зачитаны» ленинградскими поклонниками Глазкова.

В 1966 году я покидаю Ленинград, но жизнь моя в Москве до такой степени сложна и неустроенна, что с Колей мы видимся случайно, редко, большей частью в ЦДЛ. Так и не выбралась я к ним, а ведь звали. И совестно, и горько.

Заканчивая эти запоздалые и торопливые строки о большом поэте, которого, несмотря на объяснимые и необъяснимые обстоятельства, так и не смогли «замолчать», я еще расскажу о встречах с именем Глазкова.

В 1969 году во время длительной поездки по ГДР сотрудник газеты «Верфштимме» («Голос верфи») в городе Ростоке спросил меня, не знаю ли я поэта по имени Гляскофф? Когда я сказала, что это мой «гроссе геноссе», он досадливо развел руками и посожалел, что не знает русского языка. Иначе дело обстояло в Берлине, на встрече в союзе писателей, где известный издатель подошел ко мне и на ломаном русском языке попросил уточнить строки до сих пор не опубликованного четверостишия. Он тут же вынул блокнотик и под мою диктовку записал.

Совсем недавно в гостях у меня побывал капитан даль-



Ричи Достян. Рисунок на пишущей машинке Н. И. Глазкова

него плавания Александр Александрович Гидулянов, с которым я в 1971 году в составе экспедиции по перегону кораблей проделала немалый путь от Измаила до Ростова. Блистая великолепной памятью, Александр Александрович долго читал ведомого мне и неведомого Глазкова да еще похвастал, что в бухте Тикси в минувшую навигацию приобрел его объемистую книгу «Автопортрет».

Однако популярнее всего Глазков у геологов. И знают его наизусть, и поют на свои мелодии.

Можно услышать и в электричке песни на стихи Глазкова. Был даже случай, когда по радио глазковское стихотворение «Потеряли девки руль» было спето с таким вот сообщением: «Слова народные».

Географию изустной славы Глазкова установить невозможно. Еще невозможнее представить себе, что мог он создать, если б не был окружен глухой стеной официального безразличия.

Так и ушел, не озлобившись, на судьбу свою не жалуясь, лишь единожды вырвалось у него: «Стихи полузабытого Глазкова читались, почитались, не печатались...»

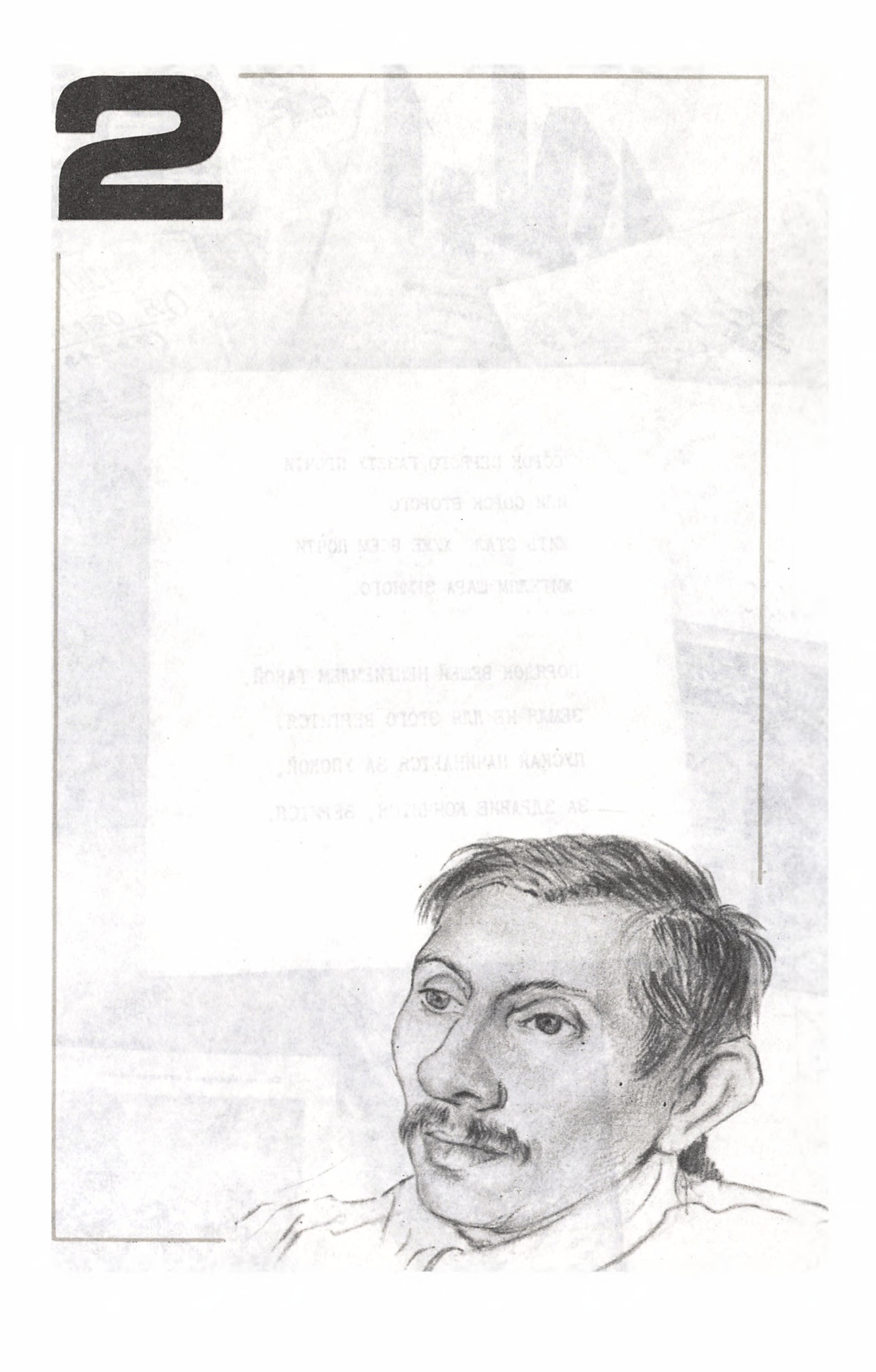
Первой своей книжки он дождался в возрасте тридцати восьми лет. И то вышла она не в столице, а в Калининском издательстве в 1957 году. 28 февраля была подписана к печати, а в апреле я уже получила от Коли эту книгу, не случайно названную «Моя эстрада», с надписью, из которой я приведу две последние строфы:

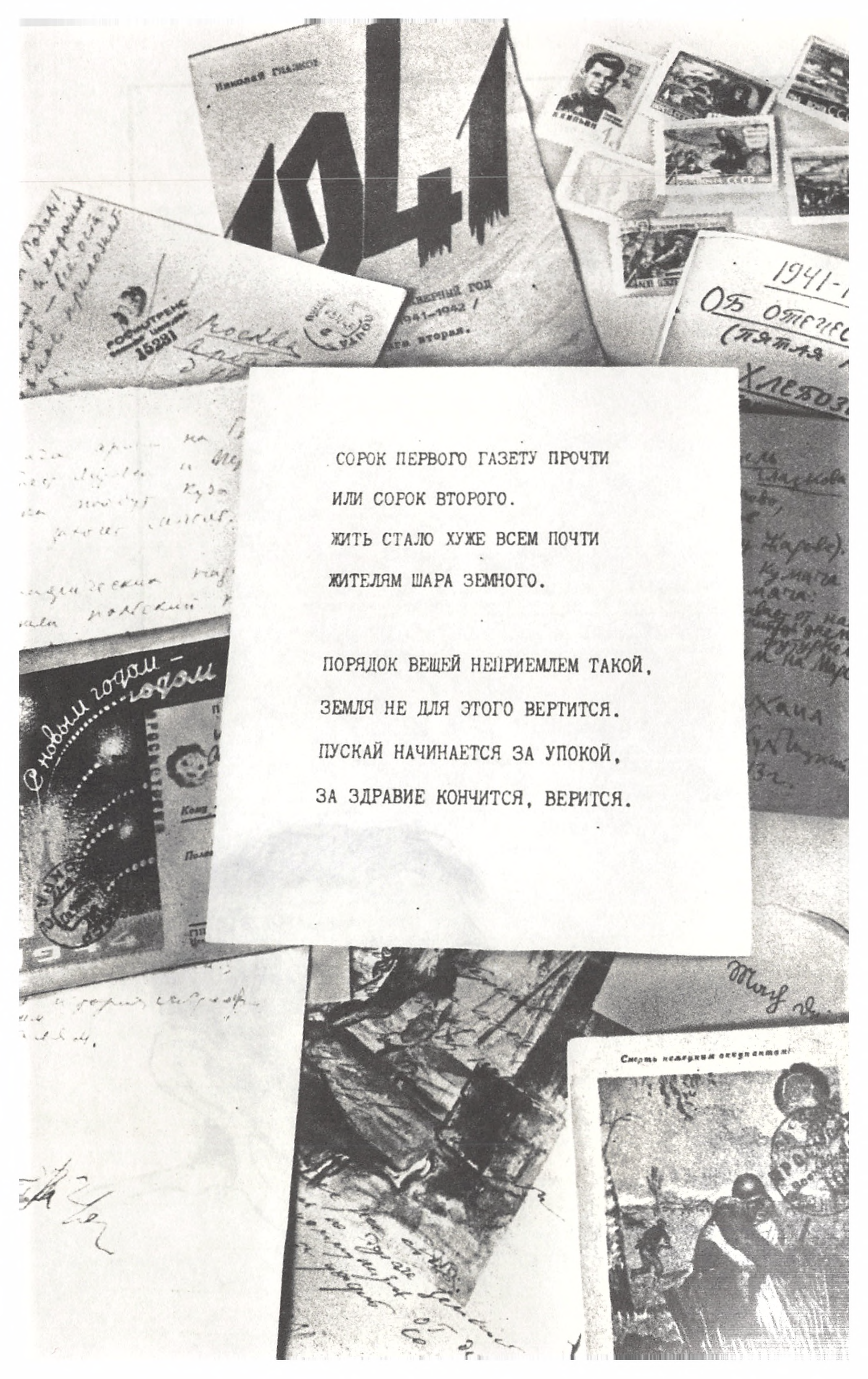
Писательница Ленинграда,
Дарю тебе «Мою эстраду»,
Ты в ней Глазкова ощутишь!

Однако будет книга эта
Не торжеством весны поэта,
А первой ласточкою лишь!

22 апреля 1957 г.

Считаю себя счастливой оттого, что многие годы моим защитником, товарищем, наконец, мужества примером был неповторимый художник и человек, который всей сутью своей вразумлял, что́ есть ЛИЧНОСТЬ, чей взгляд — поступок, жест — событие, слово — вечность!


2



СОРОК ПЕРВОГО ГАЗЕТУ ПРОЧТИ
ИЛИ СОРОК ВТОРОГО.
ЖИТЬ СТАЛО ХУЖЕ ВСЕМ ПОЧТИ
ЖИТЕЛЯМ ШАРА ЗЕМНОГО.

ПОРЯДОК ВЕЩЕЙ НЕПРИЕМЛЕМ ТАКОЙ,
ЗЕМЛЯ НЕ ДЛЯ ЭТОГО ВЕРТИТСЯ.
ПУСКАЙ НАЧИНАЕТСЯ ЗА УПОКОЙ,
ЗА ЗДРАВИЕ КОНЧИТСЯ, ВЕРИТСЯ.

Самуил Блинцовский

МОЙ ДРУГ — КОЛЯ ГЛАЗКОВ

Теперь, спустя почти пять десятилетий, писать о первых встречах с Колей Глазковым, начале нашего знакомства, его учебе в институте в 1941—1942 годах, о первом годе нашей дружбы, длившейся до последних дней его жизни, нелегко. Что-то запомнилось настолько, будто происходило вчера. Многое, увы, забыто, и никакие потуги не в состоянии воскресить утерянного из памяти. И пусть это «многое» — всего лишь частности, отдельные факты, моменты, нюансы, но тогда они были очень существенны, важны для нас обоих. Это и мысли, фразы, реплики, озарения, отдельные слова, афоризмы, стихи и «стишата» Коли Глазкова, наконец, анекдоты, которых он знал очень много и с блеском рассказывал, красиво жестикулируя своими мощными ручищами.

Жалею, что не вел тогда дневника: могла бы получиться интересная книга о Колиной жизни в первые годы войны.

Познакомились мы 1 сентября 1941 года в Горьковском пединституте на оргсобрании студентов третьего курса литфака. Произошло это в одной из аудиторий сельхозинститута, куда нас перевели на неопределенное время, так как большая часть здания пединститута была отведена под госпиталь. На этом собрании нам объявили, что наш третий курс — последний, а выпуск — ускоренный — из-за войны, чтобы мы как можно раньше приступили к учительской работе.

В аудитории сидели мы не на стульях, а на скамейках. И запомнилось мне это, по сути ничтожное, обстоятельство благодаря... Коле Глазкову. Сидели мы на одной скамейке, он слева в полутора-двух метрах от меня. В промежутке между собранием и первой лекцией он неожиданно подался ко мне, корпус и голову под острым углом наклонил к моему лицу, пятерней причесал свои волосы и выпалил:

— Ты поэт? — в его глазах, как успел заметить, искорки любопытства, насмешки и какой-то «сумасшединки», что меня покоробило и немного напугало. Ответил отрицательно. В его глазах появилось нечто похожее на удив-

ление. Вероятно, во всех сверстниках ему виделись одни поэты. Потом это выражение сменилось другим — глаза стали веселыми. Он хитровато улыбнулся и с уверенностью сказал: «Ты художник».

Вспоминаю, в товарном вагоне, в котором месяц катил на восток из Гомеля, пока прибыл в Горький, отрастил длинные баки. Может, они-то ввели его в заблуждение. Возможно и другое. Человек искусства внутренне богат. И он хочет видеть в других такую же одержимость. Ибо другую жизнь он себе не представляет. И, видимо, в этот момент Коля хотел мне отдать частичку своего, от себя. Я сразу понял, что он хороший человек.

Глазков широко улыбнулся (тут я заметил, что у него не хватает зубов), протянул мне свою ручищу, крепко стиснул мою левую так, что искры из глаз, и произнес: «Николай Глазков. Поэт,— и после короткой паузы, ожидая, какое впечатление произвело это сообщение, добавил: — И богатырь».

Он действительно был крепок, широкоплеч, но заметно сутул. Щеки впалые, волосы, как мне показалось, нечесаные. На богатыря он походил мало. Понял, что «богатырь» — это игра, розыгрыш, на которые, как я убедился потом, он был большой мастер.

После первой лекции, во время перерыва, Глазков, подойдя ко мне, счел нужным уточнить, что он не просто поэт, а поэт гениальный. И уточнил стихами:

Я не гегельянец,
А я генильянец,
Николай-чудотворец,
Император страниц.

«Император страниц» мне очень понравился, как и это четверостишие. После лекций мы ненадолго задержались в аудитории, и Глазков рассказал, что эвакуировался в Горький из Москвы, там учился в пед- и литинституте имени Горького. Ныне проживает у своей тетки Надежды Николаевны на улице Свердлова. Пока что не опубликовал ни одного сборника стихов, но после войны я получу с его автографами не одну, а десяток книг. (Коля подарил мне именно 10 своих книг, а после его безвременной смерти Росина Глазкова, его вдова, презентовала мне еще четыре его посмертно изданных сборника.)

Когда впоследствии читал в рецензиях и предисловиях оценочные характеристики: «большой талант», «неповторимый талант» и т. д., мне всегда в это время слышался голос Коли, его слова: «Я не гегельянец, а я генильянец», во что уверовал я с первых шагов нашей дружбы. Хотя понял, что слово «гений» из его саморекламы — это всего

лишь своего рода маска, бравада, оригинальничанье, что ли. Наконец, желание привлечь к себе внимание сверстников, слушателей, которых, несмотря на войну, у него всегда было немало. Даже в избытке.

Дней через пять-шесть после лекций в той же аудитории Коля подошел к массивному «профессорскому» стулу, нагнулся, сжал своей мощной ладонью низ передней ножки и на вытянутой руке «выжал» его. «Видишь,— сказал он мне,— я богатырь, а ты сомневался». Голос его был совсем не богатырский, напротив, мягкий, тихий, «тенористый».

За Глазковым, как ныне за знаменитостями, всегда был «шлейф» из студенток. Среди них — наша однокурсница, отличница Валя Насонова и ее младшая сестра, первокурсница Ниночка, которая, кажется, в него была влюблена. И это понятно: она была начинающая поэтесса, а рядом с нею — маэстро!

12 сентября мне исполнилось 20. И Коля придумал: в десять утра пригласил меня... на лодочную станцию. Взял напрокат лодку, и мы отплыли с правого берега Волги на противоположную сторону. С берега было не видно, что волнение чересчур уж серьезное. Расстояние — не менее километра, а то и больше — лодочная станция как раз у слияния Оки с Волгой. Но мы уже отплыли. Греб Коля. Метрах в двухстах от берега, наконец, уразумели, что волны преогромны — на реке был шторм! Но повернуть назад уже было невозможно: при развороте наверняка перевернуло бы лодку. Надо было плыть только вперед, что Коля и делал с упорством и сноровкой. На середине реки нас швыряло с волны в «яму», вниз, потом приподнимало высоко вверх и опять бросало вниз — бесконечное количество раз. К тому же течением лодку относило вниз по реке. Плавать я не умел. Да если бы и умел... Хотя Коля был, как он говорил тогда и много раз позже, неплохим пловцом, но, перевернись лодка, и ему бы несдобровать.

Часа через два — два с половиной все же оказались на противоположном берегу Волги. Ближе к берегу, как и на той стороне, волнение было умеренным, не таким страшным. Часа два лежал Глазков на теплом прибрежном песке. Как ни странно, день был солнечный, ветер «пахал» только на реке. Отдохнули. Вернее будет сказать, отдыхал Коля от тяжкого физического труда и нервного напряжения. Перекусили. Коля кое-что прихватил из дома. Нужна была разрядка. И он придумал! Произвел «обряд» посвящения меня в «богатыри». Сорвал гигантского размера лопух, приподнял его левой рукой вверх. (Сказал, что так надо — левой, ибо я — левша. Мне кажется, что настало время все же сказать, почему я торчал в Горьком, когда

все здоровые люди воевали. У меня тогда, как и теперь, лишена подвижности правая рука.) И стал читать стихи о богатырях. Он импровизировал. Наверно, обдумывал их, когда лежал, отдыхая, на теплом песке.

— Теперь, Муля, ты тоже богатырь, как и я. Это говорит гениальный поэт Николай Глазков! — и мы оба расхохотались. Напряжения и скрытого где-то в глубине нас страха — как не бывало. А ведь предстоял обратный путь все по тому же маршруту. Ровно в шесть вечера приплыли к лодочной станции, и старик-лодочник сердито, нарочито разочарованно изрек: «Думал, что утопли».

Да, Коля был отменным гребцом. И настоящим богатырем. Это и спасло нам жизнь.

Встречались мы ежедневно не только в институте, но и у меня в студенческом общежитии, у Колиной тети, где он временно проживал (это метрах в трехстах — четырехстах от общежития), в студенческой столовой, куда вместе ходили обедать. В общежитии были две огромнейшие жилые комнаты, в одной помещалось 30 студенток, в другой — 26 представителей сильного пола. Вестибюль — единственное место общения двух полов. Это правило никогда не нарушалось. Вестибюль и стал Колиным форумом: здесь ежевечерне он читал свои стихи, рассказывал анекдоты, шутил, а все внимали. После его стихов редко кто осмеливался соперничать с ним. Попытки делала лишь студентка геофака И. К., но после этих ее потуг всем становилось ясно, до чего же Глазков настоящий, «всамделишный» большой поэт. В его мозгу — поэтической лаборатории — неустанно кипела стихотворная лава, выплескивавшаяся наружу стихами и «стишатами». Их он написал в 41—42-м годах много сотен. «Хлебозоры», например, Коля прочитал мне, как и другие стихи, в 41-м. Я, признаться, не знал этого слова, и он объяснил его значение тоже стихами:

Хлебозоры — это молнии без грома
В ночь, которая темна...

В конце сентября узнали: в Доме партпросвещения художник Б. Блик рисовал плакаты окон ТАСС, наподобие окон РОСТа В. Маяковского. Коля стал писать к ним стихотворные подписи, а я помогал Блику «технически» — копировал несколько десятков экземпляров, и их выставляли (они были огромных размеров) на улицах и площадях города. Вот, к примеру, один из таких плакатов. 4 карикатуры на Гитлера-мародера. Первая: «фюрер» в обличье нашкодившего кота прет через нашу границу. На двух других — «горячий» прием захватчикам в городах, на последней — такой же прием в селах и деревнях. К первой карикатуре Коля сделал такую подпись:

Один фашистский сукин кот
Европу грабил круглый год.
Когда он все в Европе съел,
Тогда пошел на СССР.

Ко второй:

Кот ворвался в ресторан,
Но «заработал» там сто ран.

И так далее. Такие подписи Глазков сделал к четырем-пяти окнам ТАСС.

Была уже глубокая осень сорок первого года. Денег у нас не было. Пришлось идти разгружать баржу с дровами для одного из предприятий города. (В то трудное время люди искали и находили себе применение, независимо от того, какое заключение об их здоровье сделал военкомат.) Разгружали ее ровно семь дней — целую неделю. Работали по 10—12 часов в сутки. Из бригады в 30 человек (студентов не только нашего института, но и других) лишь 8—10 человек выдюжили «дровяную эпопею» до конца, среди них Коля и я. К слову сказать, с нами на разгрузке был и Николай Хохлов, впоследствии журналист-известинец, автор очерков «Конго-65», книги «Патрис Лумумба» и других.

Деньги были заработаны, и, конечно же, Колей была написана шуточная поэма об этом событии.

Декан нашего факультета И. И. Ермаков учинил Глазкову и мне грандиозную головомойку за прогул в такое, мол, грозное время, но, узнав, почему и где мы «гуляли», немного смягчился и простил пропуск занятий. (Как раз в эти дни немцы бомбили город и автозавод, «юнкерсы» пролетали над нами, и мы видели, как от них отделяются черные точки — бомбы.)

Так что не только учебой и стихами жили мы в то время. Думали и о хлебе насущном. Кроме того, пухла голова от беспокойства за братьев: Георгий, брат Глазкова, и мой брат Аркадий были на фронтах Отечественной войны (оба погибли), я к тому же все время думал о том, где мои близкие, родные. Живы ли...

А когда студентов направили в Павловский район (ноябрь— декабрь 1941 года) на рытье противотанковых рвов и окопов (на случай, если прорвутся немцы), то нас двоих забраковали — по состоянию здоровья. В начале декабря и мы подались туда — «самостийно». Я пробыл на окопах 5 дней (выпускал «молнии», рисовал плакаты, стенгазету), Коля пробыл там около двух недель, орудовал, как и все рабочие, колхозники, студенты, ломом и лопатой. Из-за отсутствия теплой одежды нас выпроводили оттуда, сперва меня, а потом и его.

Вот такая была учеба в то трагическое и героическое для страны время. Впрочем, после окопов всерьез взялись за занятия, тем более что назревала зимняя экзаменационная сессия. Лихорадочно перелистывали учебники, с пятого на десятое читали страницы романов, входящих в программную литературу — русскую, советскую и западную, честнейшим образом зазубрили конспекты, которыми нас снабжали сердобольные знакомые-предшественники по литфаку. Да и сами писали конспекты, когда посещали занятия. О пропуске лекций и думать перестали.

Зимнюю экзаменационную сессию умудрились сдать довольно прилично, особенно Коля. В 42-м году учились успешно, я бы сказал, хорошо, без срывов и «происшествий». Меня перевели в другое общежитие, более «привилегированное», где в комнате было по два-три человека. Коля стал приходить сюда. Но по старой памяти мы часто навещали «старое», где остались знакомые студентки, которые без Глазкова ощущали «поэтический голод». Да и Коля уже привык здесь постоянно бывать.

В мою комнату на новом месте стал иногда заходить семнадцатилетний Люсик Шерешевский, которого очень полюбил Глазков. Люсик уже тогда подавал большие надежды как поэт. Хорошо относился Глазков к Жене Савчику, фронтовику, которого поместили в «мою» комнату. Он поступил на первый курс литфака, кажется, весной 42-го, выйдя из госпиталя после ранения, имея единственный «документ» об образовании — напечатанное в дивизионной газете очень слабенькое стихотворение «Сестрица» — о фронтовой медсестре. Будучи неравнодушен ко всем военным, особенно фронтовикам, Коля ему много помогал, советовал, правил, одним словом, «учил» писать стихи, если этому вообще можно научить. А Савчик, впрочем, старался, много работал над собой и над стихами, как говорится, так «поднаторел», что стал печататься в местных газетах. Колины уроки пошли впрок.

Обо всем отрадном, хорошем, радостном Коля любил отзываться односложно: «Хорошо». Люсик — это хорошо! Наши перешли в контрнаступление — это хорошо! Я сдал очередной экзамен — это хорошо! Все отрицательное оценивал тоже однозначно: «плохо» или «бездарно»!

Осенью 42-го года институт окончен. Мы простились и разъехались по институтскому распределению. Он в село Никольское Чернухинского района, где (в Чернухе), кстати, проживала его мать, Лариса Александровна, а я — в Кстовский район, село... Чернуху! И тут такое совпадение.

Коля дважды в 1943 году навещал меня в «моей» Чернухе. Первый раз удачно. Сутки провели вместе. Была очень скромная еда, но зато было много новых стихов



Николай Глазков. Горький, 1942 год

Глазкова и приятных (и неприятных тоже) воспоминаний. Во второй же раз он меня, к сожалению, не застал дома: я пешком (40 километров) отправился в Горький... Такими были первые годы нашей дружбы. Что потом?

Глазков не нашел во мне поэта, но, возможно, увидел «поэтическую натуру»? Как бы то ни было, под его влиянием много лет спустя, не оставляя школьных дел, я стал журналистом.

У Коли всегда было очень много друзей, известных поэтов, актеров, шахматистов... Я — исключение из правил. Талантов у меня нет, кроме, может быть, одного — любить Колю Глазкова и дружить с ним до его последних дней. Он отвечал мне тем же. Один из своих последних акростихов Глазков посвятил мне, когда был уже очень серьезно болен, а именно — 2 марта 1979 года. Этот акростих он написал на титульном листе своей книги «Первозданность»:

Москва-река течет, как лента
У Олимпийских берегов.
Летят лета, храня легенды
Ее загадочных веков.

Была довольна ролью Тибра,
Любила говорить про Рим,
Игру свою забыла, ибо
Не нужен ей заморский грим.
Церквей славянских вереница
Окружена зеркальем вод,
В Москве река ее струится,
Советский радуя народ.
Красу Кремля и зданий светлых
Обходит стая облаков.
Москва-река течет, как лента,
У Олимпийских берегов.

Еще в студенческие годы мы все знали, что Коля необычайно эрудирован. А в последующие — его энциклопедичность стала фантастической. Он знал все. Обо всем. Он знал наизусть даже периодическую систему элементов Менделеева. Что же касается акростиха, адресованного мне, Глазков в нем намекает на философскую концепцию монаха и писателя XVI века Филофея, что «Москва — Третий Рим, а четвертому не быти», и гармонично увязывает это с предстоящей в 1980 году Московской Олимпиадой.

И все-таки самое главное в Коле — это Колины стихи. Уже в студенческие годы Глазков мыслил стихами. Да, не «сочинял», как другие поэты, стихов, а мыслил ими. Он был уже тогда талантливым поэтом-импровизатором. Как тот итальянец, «неаполитанский художник», из пушкинских «Египетских ночей».

Лев Курылев

ОСЕНЬ СОРОК ПЕРВОГО

Стояла глубокая, небывало холодная осень тревожного 1941 года. Нас, основную массу выпускников Горьковского пединститута, только что сдавших досрочно государственные экзамены, направили вместе со студентами младших курсов на строительство оборонных сооружений. Кроме нас здесь работало местное население и старшеклассники.

Как известно, в гитлеровских планах город Горький фигурировал как точка, куда должны были пробиться, окружая Москву, фашистские войска. Необходимо было срочно создать вокруг волжской столицы мощные оборонительные рубежи.

Сначала мы базировались в деревне Межуйки Борского района, а с 10 ноября нас направили на более опасное направление — в Павлово-на-Оке. Разместили нас в домах крестьян соседних селений: одних — в крупном селе Таремском, других — в маленькой деревне Крюки. С нами были и многие наши преподаватели: профессор С. С. Станков, доценты И. И. Ермаков, В. Н. Николаев, Б. И. Александров и другие. Они возглавляли студенческие бригады: получали задания на каждый день, отвечали за их выполнение, обеспечивали своих подопечных питанием (хлебом, картошкой, а иногда и рыбой). До сих пор помнится подаваемая кем-нибудь из старших товарищей команда, далекая от армейской уставной: «Подъем, братцы!» И начинался день, полный напряжения, пота, озноба. Ломами долбилась неподатливая от непомерно сильных для ноября морозов земля, и ее отвалившиеся комья, похожие на осколки, лопатами выбрасывались на бруствер. Местами мы готовили только шурфы, в которые специалисты закладывали взрывчатку.

Большинство в бригадах составляли девушки, и мы, парни, старались, насколько это возможно, облегчить их участь и самые тяжелые операции брали на себя. Нашим лозунгом было: не выполнил норму — не покидай участка!

И все-таки молодость, несмотря ни на что, остава-

лась молодостью. В короткие минуты передышки над нами плыла какая-нибудь песня — от неизменной «Катюши» до «Варяга».

Здесь-то, под Павловом, я и увидел впервые Николая Глазкова, высокого, широкоплечего, сутулого, немного неуклюжего, но милого, как я понял, по характеру. Новичок старательно, как и все, вгрызался в промерзшую землю, а вот в минуты передышки преображался: то с затаенным восторгом любовался окрестностями, то с грустью в глазах читал свежие газеты с невеселыми сводками Совинформбюро, то декламировал свои стихи, жестикулируя в такт их ритму большими руками. Первое стихотворение, которое я услышал:

Был легковерен и юн я.
Сбило меня с путей
Двадцать второе июня,
Очень недобрый день.

Были потом и многие другие стихи. Мы быстро оценили незаурядный талант Глазкова, и он, наш земляк, принятый на предпоследний курс Горьковского пединститута, полюбился многим и стал одной из центральных фигур нашего коллектива.

Постепенно все четче и четче вырисовывались противотанковые рвы, артиллерийские и пулеметные гнезда. Так продолжалось до конца 1941 года, когда стало известно, что немцы на подступах к Москве разгромлены и отброшены далеко на запад, и работы на оборонных рубежах вокруг Горького были прекращены. Со временем сооружавшиеся на самый крайний, самый тяжелый случай контрэскарпы и окопы, которые не пришлось (к великой нашей радости и счастью) использовать по назначению, разрушились, были распаханы и остались лишь в памяти народной.

Глубоко любивший и любящий до сих пор поэзию, я довольно близко сошелся в ту пору с Николаем. Помню, после оборонных работ провел с ним несколько часов в квартире его родных на улице Свердлова, где мы читали друг другу стихи.

Потом война разделила нас. Я добился направления в армию. Увиделись мы уже после Победы. Было это в 1950 году, когда я учился на журналистских курсах Центральной комсомольской школы. Посетив однажды редакцию «Комсомольской правды», я встретил там своего друга, бывшего сокурсника. Он-то и устроил нашу встречу с Глазковым. Встреча была радостной, расспрашивали друг друга — что, где, когда...

Видел я Николая и в 1965 году, на ходу, проезжая

через Москву в Венгрию, а через год довольно обстоятельно в Горьком, где он гостил. Опять стояла холодная осень, правда, без снега и мороза. Остановился он, как всегда, на квартире своей тети, Надежды Николаевны, все на той же улице Свердлова и каждое утро ходил купаться на Волгу. Возвращаясь, заглядывал ко мне в «Горьковскую правду», где я был тогда ответственным секретарем. А перед отъездом в Москву Николай Иванович устроил «мальчишник» на дому, собрав у себя знакомых по пединституту. Мы по-юношески болтали, читали стихи, острили. И душой был сам Николай Глазков, находчивый, озорной, потешный.

Николай был очень щедр на экспромты. Запомнилась его дружеская эпиграмма, посвященная горьковскому поэту и драматургу Нилу Григорьевичу Бирюкову, возглавлявшему в то время областную писательскую организацию:

Богат водою город Горький:
Текут у здешних берегов
Река Ока с рекою Волгой
И Нил, который Бирюков...

Хорошо, что в посмертных публикациях Глазкова появилось многое, что по-настоящему помогает читателям узнать талант этого большого человека.

Лазарь Шерешевский

«ОН МОЛОДЕЦ И НЕ БОИТСЯ!»

1

Имя Николая Глазкова я впервые услышал от Анатолия Борушко, моего соседа по комнате в студенческом общежитии. Осенью 1942 года я окончил девятый класс школы в городе Богородске, под Горьким, куда мою семью в 1941 году занесло волной эвакуации из Киева. Мечтая о приобщении к литературе, я узнал, что на учительское отделение Горьковского пединститута можно поступить и с девятью классами образования, и решил туда податься. Меня без проволочек приняли и направили в общежитие — старое здание, выходившее одной стороной на Нижне-Волжскую набережную, другой — в Нагорный переулок. Это был весьма известный район старого Нижнего Новгорода, именуемый «Скоба»,— прославился он в свое время тем, что именно там находилась нижегородская ночлежка — «Миллиошка», откуда Максим Горький почерпнул немало впечатлений для своих рассказов и пьес.

Меня поместили в мрачноватой, но просторной комнате под номером 21, где на соседней койке я увидел изящного, с тонкими чертами лица юношу в очках и в потрепанной железнодорожной шинели. Это и был Анатолий Борушко — подобно мне, тоже эвакуированный, только не с Украины, а из Белоруссии, из Бреста. Отец его учительствовал в железнодорожной школе под Горьким, а Толя вот уже второй год занимался в Горьковском пединституте. Узнав, что я пишу стихи, он сказал: «У нас тут учился поэт из Москвы, Николай Глазков... Слышали?» — «Не слышал».— «Зря,— заметил Борушко.— Он написал замечательную поэму «Хлебозоры».— И сосед мой процитировал несколько строк, которые я тогда не запомнил.

Прошла голодная, холодная, то печальная, то радостная (победа под Сталинградом!) зима 42—43-го годов. Весной тяжело заболела жившая в Богородске моя мать, и мне пришлось перейти на заочное отделение, чтобы

увезти мать в деревню, где был свежий воздух и кое-какие харчи, которые можно было заработать в колхозе. В райкоме комсомола мне помогли получить назначение на должность заведующего сельским клубом деревни Кубаево, и я с матерью по непролазной апрельской дороге добрался туда на санях...

Вскоре — в первых числах мая — я на несколько дней отпросился в Горький, чтобы сдать зачеты в институте. Явился в свое родное общежитие — и услышал от Анатолия: «Молодец, что приехал! Здесь сейчас Николай Глазков! Он год проработал в сельской школе, вот тоже нагрянул в город. Вечером мы встречаемся!»

Я сейчас точно не припомню, где произошла эта встреча,— кажется, в садике у нижегородского кремля. Глазков был не один, а со свитой, в которой я приметил двух девушек, как оказалось живших на квартире у глазковской тетушки Надежды Николаевны,— Леру, студентку пединститута, и Катю, учившуюся в медицинском. Толя Борушко подвел меня к московскому поэту. Высокий парень с короткими, непокорно торчащими вихрами, с оттопыренными ушами, с головой, как-то по-особому накрененной вперед. Нет, он не сутулился, он именно куда-то вперед тянул голову, словно ему не терпелось заглянуть в некое грядущее время ли, пространство ли... Удивительными были его глаза: в них одновременно светились доброта, лукавство и что-то отстраненное, непонятное окружающим.

Нас познакомили. Здороваясь, он не просто протянул мне руку,— он точно вынес ее откуда-то из-за плеча, описал широкую полуокружность, а затем сжал мои пальцы с такой силой, что суставы хрустнули...

— Вы поэт или прозаика? — спросил он, нажимая на «и» в последнем слове. Удовлетворенно хмыкнув на мое заявление, что я — поэт, задал следующий вопрос: — Курите?

Я в свои тогдашние семнадцать лет не курил. Глазков полез в карман заношенного пиджачка, извлек самосад и нарезанную квадратиками газету, быстро свернул самокрутку, зажег, затянулся и деловито сообщил: — Сорок сосулек за день!

Впрочем, мы собрались не затем, чтобы курить или гулять: мы жаждали стихов — читать их, слушать, оценивать... Всей гурьбой отправились на волжский Откос, где тогда еще стоял — привожу глазковские строки — «на берегу зеленый дом, похожий на Наполеона, и помещался ресторан в зеленом домике над Волгой». Дом этот тогда был не то заколочен, не то отведен для каких-то отнюдь не ресторанных нужд. Миновав его, мы спустились

с верхней набережной чуть ниже, где росли вековые, торчащие над наклонной почвой деревья, расселись на яркой майской траве — и чтение началось. Не помню, читал ли я или еще кто-то из институтских поэтов: все поглотили впечатления от поэзии Николая Глазкова. Он уселся поудобней на сук старого кряжистого дерева — и пошёл...

Читал Глазков неподражаемо: он словно делал затяжку, как курильщик,— и вместо дыма выдыхал стихи. У него был высокий, но слегка глуховатый голос, иногда он растягивал гласные, широко открывал глаза, точно сам удивлялся парадоксальности тех или иных строк, порой в его тоне звучала усмешка. Но главное не это: казалось, он не читает, а как бы дышит стихами: вдохнул воздух, а выдохнул строчку. Это была сама непосредственность, сама непринужденность — при том, что мысли в этих строчках излагались глубокие, серьезные и подчас не сразу постигаемые...

Запомнилось: «Вне времени и протяжения легла души моей Сахара от беззастенчивости гения до гениальности нахала...», «Я — поэт. Поэты — боги. Но не знаю — рая, ада ли? Ну, а вы играли в покер? Хороша игра, не правда ли?» Но это было написано до войны. А мы все тогда жили войной, дышали войной, жадно ловили каждое весомое слово о войне. И тут Глазков стал читать поэму «Хлебозоры». Поэму? Пожалуй, нет. Скорей,— сгусток мыслей и чувств поэта, связанных и с войной, и с молодостью и любовью, и с литературными и житейскими делами. Впоследствии Глазков неоднократно переделывал эту вещь, написанную в 1941—1942 годах, что-то убирал, что-то добавлял, публиковал отрывки как самостоятельные стихи (благо при фрагментарности «Хлебозоров» это можно было делать свободно). После смерти поэта «Хлебозоры» тоже подвергались разной редактуре, и, когда они увидели свет, их текст сильно отличался от того первоначального варианта, который прозвучал из уст автора в теплый майский вечер на Откосе. Кажется, ни в одной из последующих редакций поэмы мне не попадались строки:

Литературу заедает бездарь,
А мне б хотелось, чтоб под звон мечей
Такие, как Кибальчич или Пестель,
Поистребили пошлых рифмачей.

Или такая характеристика событий 41-го года:

И как проходят пешки в дамки,
Ряды препятствий огибая,
Так к нам врывались эти танки,
А остальные погибали.

Но от вечера этого сохранились не только отдельные строчки или образы,— он был для меня наполнен ощущением встречи с чем-то небывалым и удивительным. Я по тогдашнему своему возрасту прилично знал русскую поэзию, классическую и современную, читал и Хлебникова, и Каменского (последнего даже видел и слушал), бредил Пастернаком, знал Луговского, Твардовского, Симонова, Сельвинского... Но ничего подобного я еще не встречал!

С Откоса мы пошли в общежитие мединститута, что было расположено неподалеку. Там тоже состоялся импровизированный поэтический вечер. Потом бродили по улицам, беседовали...

Поздней ночью я вернулся в свою 21-ю комнату, окрыленный и осчастливленный. Тогда я, конечно, ничего не мог осознать и сформулировать, но чувствовал, что судьба свела меня не просто с 24-летним юношей, пишущим интересные стихи, а подарила мне счастье знакомства с явлением, масштабы которого и в те времена, да и поныне понятны еще далеко не всем.

Я ощущал (на это хватало и моей литературной эрудиции), что таких стихов у нас еще не писал никто. Может быть, писали лучше, изощренней, глубокомысленней, страстней — что угодно! — но не так. Это было похоже чем-то на Хлебникова, но не формой, не даже новаторством, а — необыкновенностью, не хлебниковской, а иной, глазковской, и только глазковской...

Надо ли говорить, что со второго или третьего слушания я знал «Хлебозоры» наизусть и бесконечно повторял их — и на городских улицах, и потом, когда я через несколько дней уехал в свою деревню, твердил их, шагая полевыми тропами к бригадным станам, где мне полагалось проводить политбеседы, читать сводки Информбюро, вести культурно-массовую работу. Рожь, июньская, еще бледно-зеленая, обступала меня, земля казалась ласковой и теплой, я шел по ней и бормотал: «Это молнии без грома в ночь, которая темна...» Меня поражало умение автора «Хлебозоров» причудливо соединять известные словосочетания, так что они становились необычными, заново осмысленными. А ритм, вернее — ритмы поэмы! Они были какими-то крылатыми, вольно летящими, подхватывающими тебя! Привычные ямбы и хореи — а они преобладали в «Хлебозорах», если взглянуть на поэму лабораторно,— казались неузнаваемыми, обретали новые качества...

Разумеется, со всем пылом стихотворной юности я начал если не подражать, то во всяком случае следовать Глазкову: чуть ли не в ту же ночь после нашего знаком-

ства написал стихи о луне, как об оторвавшейся голове земли, утверждая, что Тихий океан — «то место, где была когда-то шея», и тому подобное — хотелось быть «необычным». Вряд ли понимал я тогда, что необычность Глазкова — его природное качество, его органическое свойство, и он необычен не оттого, что ему хочется или нравится быть необычным, а оттого, что обычным, похожим на многих он просто быть не может.

И тогда, и теперь, много лет спустя, я знал и знаю: знакомство с Николаем Глазковым стало событием в моей жизни, в моих взглядах на жизнь и литературу и в моем профессиональном учении.

Впоследствии открылось мне, что не только меня, юнца желторотого, но и людей постарше, наделенных большим поэтическим талантом,— таких, как Слуцкий, Самойлов, Межиров, Наровчатов, Луконин,— очень многому научил Николай Глазков. Сошлюсь, кстати, на известные строки Бориса Слуцкого: «Сколько мы у него воровали, а всего мы не утянули...»

А в 1943 году следующая наша встреча с ним состоялась месяца два спустя: шли жестокие бои на Курской дуге, фашистские самолеты совершили несколько налетов на Горький, летние короткие ночи пылали пожарами, вспышками трассирующих пуль, небо было исполосовано прожекторами...

Когда я приехал из деревни для сдачи очередного запущенного экзамена, на главной площади города был выставлен на обозрение сбитый над Горьким немецкий бомбардировщик. Глазков был весел, оживлен: положение на фронте ему представлялось обнадеживающим, возникла перспектива скорого возвращения в Москву, где поэта и его мать ждала оставленная без присмотра арбатская квартира. Мы с Глазковым, конечно, пошли на площадь Минина поглядеть на сбитый вражеский самолет, и Коля — мы почти сразу стали на «ты» — прочитал мне стихи об этом.

Стихи эти потом были опубликованы в одной из книг Глазкова, но в печати они начинаются со строфы, которая в первоначальном варианте была не первой и даже не второй: «Он летал ночами долгими, в облаках купаясь ватных...»

Молодой Глазков — и это сохранилось у него на всю жизнь — играл словами, играл рифмами, которые легко и весело, приговаривая «Хо-хо!», он словно бы извлекал из карманов. О девушке Кате, квартирантке своей тети, он мгновенно бросил: «Такую Катю еще поискать, да здравствует Катя — лучшая из Кать!» Он мгновенно подбирал рифмы к именам своих знакомых — потом это

усложнилось: из имен и фамилий он составлял акростихи, во множестве представленные в его книгах. Когда я однажды похвастал придуманным мною рифмованным афоризмом «Учусь у чувств», Коля тут же отозвался: «Учись у числ!» Были у него в запасе и игривые каламбуры вроде — «Один прозаик писал про заек», и вполне серьезные, ставшие строчками его поэм «Азия», «Хихимора». Помню, как каламбурная рифма вдруг оказалась к месту в отнюдь не шуточных стихах:

Летели самолеты в дали,
И немцы, горе-мастаки,
Бомбили, но не попадали
В великолепный мост Оки.

Я не единственный, кто находил, что Глазков был чем-то сродни Велимиру Хлебникову, который, говоря глазковскими словами, «умер нищим, но председателем земшара». Хлебников, как известно, делил людей на две категории: изобретатели и приобретатели. Николай Глазков при первой же встрече сообщил мне, что он делит человечество на «творителей» и «вторителей». Роднил его с Хлебниковым и глубокий интерес к математике: поиск точных слов вел обоих поэтов к стремлению к высшей точности — математической формуле.

К сожалению, очень смутно помню одну из юношеских поэм Глазкова, где автор рассуждал о преодолении времени и пространства, подкрепляя это включенными в текст физическими формулами. Сам Глазков в одном из поздних стихотворений вспоминал, как в юности хотел изобрести прибор «умометр». Жила в Глазкове и тяга к словотворчеству, но оно носило у него, если можно так выразиться, не стратегический, а тактический характер и не было самоцелью.

Формотворчество Глазкова развивалось преимущественно по смысловой, грамматической или звуковой аналогии к бытующим оборотам и поэтому удивляло одновременно и похожестью и непохожестью: так прозвучали «сорок скверный год», «из всех моих ты всех моейнее», «с чудным именем Глазкова я родился в пьянваре»... Многие небезуспешно заимствовали эти приемы у Глазкова.

Подобно Хлебникову, Глазков всегда был внутренне приподнят над бытом, чувствовал глубинные токи жизни, но, в отличие от Велимира, он не мог да и не хотел оставаться вне быта и вне житейского. Ни по обстоятельствам жизни, ни по складу характера он не отстранялся от бренных будней — тем более военных и послевоенных, с их бесчисленными трудностями. Я уже упоминал, что Глазков тогда много курил, а махорку можно было купить

только на рынке. И мы ходили с ним на горьковские рынки 1943 года, где полученные по карточкам коробки папирос или конфеты продавали поштучно не ради того, чтобы нажиться, а чтобы хоть как-то заделать бесчисленные прорехи в трудной военной жизни. Да и можно ли сравнить рынки времен Хлебникова, олицетворявшие ненавистный поэту дух торгашества («и войско песен поведу с прибоем рынка в поединок»,— писал Хлебников), с убогими торжищами 40-х годов, где бедняк предлагал отрываемое от себя такому же бедняку, где бродили инвалиды и раненые из госпиталей прямо в халатах, ища что-нибудь поесть или покурить... Глазков пристально вглядывался в пестрые рыночные картины, извлекая и из них «голубые изумруды поэзии».

Очень трудно представить себе, чтобы Глазков искал для себя какой-нибудь громкозвучный псевдоним, вроде того же Велимира,— его вполне устраивало хорошее русское имя Николай Иванович Глазков, он им гордился, поминал в стихах (в прозаических заметках поэта «Записки великого гуманиста» главный герой именовался Зрачковым) и разве только любил подчеркивать, что назван в честь Николая Чудотворца, связывая это с художественностью поэтического слова: «И я Николай Чудотворец, и мира победа за мной!»

Почему я пишу об этом в первой же части моих воспоминаний? Потому что еще тогда, в юности, Глазков уже выделялся теми чертами, которые сохранил на всю жизнь. Свойство молодости — не затушевывать и сглаживать, а заострять, подчеркивать, и у молодого Глазкова, не чуждого стремлению эпатировать мещанствующих, его привычки и словечки, жесты и поступки проявлялись, пожалуй, резче, чем в последующие годы.

Чтобы завершить эту тему, коснусь ставшей притчей во языцех легенды о «гениальничании» Глазкова. Да, Николай Глазков, многогранно талантливый человек, и в жизни и в стихах частенько именовал себя гением. Многие, не знающие его достаточно близко, видели в этом не то самонадеянность, не то нескромность, не то некую психическую ущемленность, не то вызов общественным приличиям.

Но те, кто по-настоящему знал Глазкова, воспринимали его слова о гениальности совершенно иначе. Когда же Глазков поднимал тост за свою гениальность, мы охотно этот тост подхватывали, не морщились ханжески от этих слов, а радостно включались в предложенную поэтом игру, понимая и ее тонкость, и ее глубину.

Но, всерьез или не всерьез объявляя себя гением, он никогда — ни в стихах, ни в жизни — не был высокоме-

рен, никогда ни к кому не снисходил, а нежно и искренне любил своих друзей, спешил им на помощь в трудные минуты, не оставлял без ответа ни одного письма, внимательно выслушивал несовершенные строки приходивших к нему стихотворцев и в каждом из своих знакомых умел находить хоть что-нибудь хорошее и интересное. Глазков естественно становился центром дружеских литературных компаний, но никогда не изображал из себя «мэтра», не вещал, не поучал, а честно высказывал свое мнение, по возможности щадя самолюбие ближнего. Если стихи, прочитанные ему, не нравились Глазкову, он либо смущенно похмыкивал: «Это... трогательно...», — либо точно определял уязвимые места стихов, был в суждениях своих немногословен и строг... Впрочем, я не помню, чтобы на него кто-либо обижался даже после весьма определенного отрицательного отзыва: он все умел скрасить добродушной шуткой. Зато если стихи товарища по поэтическому цеху ему нравились, он их запоминал, читал наизусть другим своим знакомым, пропагандировал.

Ах, если бы все, считающие себя гениями или литературными генералами, были в общении с людьми такими, как Глазков!

Могу сказать, что мне, может быть, и незаслуженно, но повезло: я в течение тридцати пяти лет чувствовал доброту и дружеское расположение ко мне Николая Глазкова и, каюсь, далеко не всегда умел это оценить и достойно на это ответить...

Осенью 1943 года я вернулся на очное отделение института, приехал из деревни в Горький, снова поселился в общежитии на Скобе. Вокруг Глазкова к этому времени возник кружок молодежи, причастной к поэзии, и внутри этого кружка складывалась своя система не только литературных отношений: Толя Борушко, как мне тогда казалось, увлекся Катей, я влюбился в Леру и посвящал ей стихи, а сам Коля Глазков питал нежные чувства к Лиде Утенковой и складывал в ее честь свои неповторимые строки, из которых моя память сохранила немногие, но яркие:

Мы в лабиринте. Ты не Ариадна.
Но все равно мне образ твой — как нить.
Тебе я непонятен — ну, и ладно!
Тебе я неприятен — ну, и ладно!
Ты думаешь, кого бы соблазнить.
Но таково судьбы предначертанье,
Что непременно будем мы вдвоем.
А здравый смысл,— в нем смысла ни черта нет!
И станешь ты моей секретарем!
Люблю тебя за то, что ты пустая,
Но попусту не любят пустоту.
Мальчишки так, бумажный змей пуская,
Бессмысленную любят высоту.

Кроме тех, кого я знал по летним встречам, в глазковском окружении прибавились новые лица: интересная, пишущая дерзкие стихи, молодая поэтесса Калерия Русинова и вовлеченный мной в глазковскую орбиту, совсем еще юный (ему не было и 15 лет) Риталий Заславский. Все они, как и товарищи Глазкова по институту, сохранили дружбу с Глазковым на долгие годы, покоренные неувядающим обаянием его личности и поэзии.

На исходе лета Коля Глазков съездил в Москву похлопотать о своем окончательном возвращении в столицу из эвакуации. Благодаря содействию Л. Ю. Брик и В. А. Катаняна, высо́ко ценивших талант Глазкова, ему удалось получить нужные документы. Дни летнего пребывания Коли в Москве — это время победоносного завершения Курской битвы, нового наступления нашей армии и первых салютов, так и не смолкавших потом до самого конца войны и принесших в мирные годы свои праздничные фейерверки.

Глазков из этой поездки привез новые стихи:

> Был в Москве, послушал залпы,—
> И до Горького катись!
> Очень я любил вокзал бы,
> Если б не бюрократизм...

Проклиная бюрократов, поэт противопоставляет реальному вокзалу — вокзал в Поэтограде:

> Никаких таких там нет касс,—
> В каждом зале, если надо,
> Бюрократ торчит, как редкость,
> Что-то вроде экспоната.
> В славном городе поэтов
> По воде хоть, по земле хоть
> Каждый смертный без билетов
> Может ехать — и не ехать.

Мне тогда очень нравилась, нравится и сейчас последняя строчка этого полушутливого стихотворения — она истинно глазковская: человек — не винтик, у него есть свобода воли, свобода выбора! Бюрократизм, а также глупость, пошлость, тупость, чиновничье чванство Глазков ненавидел всю жизнь. И не только потому, что унаследовал эту ненависть как традицию русской поэзии от Пушкина до Маяковского, но и потому, что сам в жизни много претерпел от бюрократов, перестраховщиков и пошляков и знал по собственному опыту, каково иметь с ними дело.

В этих стихах упоминается Поэтоград — «славный город поэтов». Поэтоград, как и литературное направление «небывализм»,— порождение самого раннего, довоенного

периода глазковской биографии. Образ Поэтограда как символического города будущего, очень схожий с представлениями Маяковского о времени и месте, «где исчезнут чиновники и будет много стихов и песен»,— этот образ надолго сохранился в поэзии Глазкова, дал название одной из его книг и навсегда остался связанным с его именем.

Мое общение с Глазковым и другими друзьями осенью 1943 года продолжалось всего несколько недель: Коля готовился к переезду в Москву, а мне пришел срок идти в армию, повестка из военкомата уже лежала на моей тумбочке в общежитии. Мы еще успели, собравшись в квартире Надежды Николаевны Глазковой, отметить Октябрьскую годовщину, ознаменованную для меня и для моего земляка Риталия Заславского освобождением нашего родного Киева, и распрощались. Потом состоялась еще встреча нового, 1944 года — отец Риталия, военный юрист, попросил командование части, где я начал служить, отпустить меня на день в город. Снова собрались друзья, девушки, были тосты и стихи. Коля подарил мне толстую тетрадь своих стихов и поэм, написанных его характерным — косым и очень мелким — почерком. И каждый двинулся навстречу своей судьбе.

2

Моя участь в те годы оказалась печальной: летом 1944-го, осужденный по клеветническому доносу, я очутился в подмосковном Бескудникове, в заведении, обнесенном рядами колючей проволоки и дощатым забором, по углам которого стояли сторожевые будки... Спустя десятилетие все разъяснилось и я получил официальный документ, где было сказано: «Приговор... отменить, и дело за отсутствием состава преступления производством прекратить». Но эти десять лет предстояло прожить и выжить!

Очнувшись от шока, вызванного постигшей меня бедой, и выяснив, что я нахожусь совсем близко от Москвы и что могу переписываться с родными и близкими, я написал Глазкову по его московскому адресу — Арбат, 44, квартира 22 — и очень скоро получил ответ, удивительно теплый, дружеский, сочувственный. А вскоре, тем же летом 1944-го, меня ждала и вовсе неожиданная радость: вернувшись в жилую зону с работы, я был вызван на вахту, где мне вручили передачу и записку. Ко мне приехали! Приехал Николай Глазков и мой школьный товарищ по Киеву Эмка Мандель — уже тогда известный поэт Наум Коржавин. Свидания нам не дали, но записку я прочел и

передачу получил. Это было сказочное везение! Сказочной по тем временам была и передача: буханка хлеба и две банки свиной тушенки! Людям такого положения, как мои товарищи, такие продукты достать было можно только на «черном рынке», где буханка стоила рублей 200 тогдашними деньгами, а банка тушенки — чуть ли не 600 или 800!

Я стеснялся потом спрашивать, но полагаю, что поездка ко мне потребовала от Коли немалых жертв... И не только материальных: все три года, что я провел в Бескудникове, Глазков регулярно писал мне, посылал стихи, делился мыслями. При его тогда весьма неопределенном общественном положении непризнанного и непечатавшегося поэта это было даже и опасно. Но долг дружбы для него был выше опасностей.

Отправленные им мне еще в армию письма и подаренная тетрадь со стихами безвозвратно погибли, но у меня постепенно из новых писем Коли накапливались и его новые стихи — преимущественно короткие: длинные переписывать от руки и вкладывать в треугольники военных писем было долго и хлопотно.

Из этих писем я узнавал и о житейских трудностях Глазкова той поры. Когда Коля вернулся в свою квартиру на Арбате, запущенную и не отапливаемую, там провалился потолок. Сообщив мне об этом в письме, Глазков приложил к письму четверостишия, свидетельствовавшие о его неиссякаемом оптимизме: в одном писалось, что у него «провалившийся потолок, но не провалившийся нос», а в другом говорилось: «Необходимо бывать везде, исхаживать сотни дорог, один мужик сидел дома весь день, и на него обвалился потолок».

В письмах Коли содержались и литературные новости: так, однажды он написал мне, что «самый лучший поэт в Москве теперь — Сережа Наровчатов, недавно вернувшийся с фронта», а вскоре я и сам в газете прочел понравившиеся мне стихи этого поэта, товарища Коли по Литературному институту. Потом уже я узнал, что поэты — друзья Глазкова, ушедшие на войну (некоторые, как Майоров, Кульчицкий, Коган, погибли на фронте), писали ему оттуда, находили и его московский, и горьковский адрес, помнили его.

Был я в какой-то мере в курсе и личных дел моего друга. Когда летом 1944 года в ходе Белорусской операции наши войска взяли Лиду, к Коле приехала из Горького уже упоминавшаяся Лида Утенкова и поселилась у него на правах жены. Глазков сообщил мне в письме, что он тоже «взял Лиду». Но проживание с ней, как я вскоре узнал, доставило ему мало радости, ей — тоже.

Через несколько месяцев она уехала обратно в Горький, о чем тоже Коля мне написал. Не могу уже вспомнить почему, но на меня эта история произвела сильное впечатление, и я написал стихи, обращенные к Коле: «Ты юность провожаешь как любимую...»

С весны 1948 года и до осени 1949 в нашей переписке наступил длительный перерыв: я уехал далеко на Север, за Полярный круг, потом группа, где я работал, оказалась на зимовке в Новом Порту, на берегу Обской губы: мы отправились туда в кратковременную командировку, но самолет, который должен был нас вывезти оттуда, разбился, попав в пургу у гор Полярного Урала. Полеты через хребет запретили, а до окончания полярной ночи прекратили вообще авиарейсы. Пришлось зимовать в льдистых землянках над Обской губой. Связь была только по радио, и примерно раз в месяц мне удавалось послать телеграмму матери, что я жив и здоров. (Позже я видел у нее эти телеграммы с пометой: «Задержано доставкой из-за дальности».)

Когда весной 1949 года мы наконец вылетели с места зимовки и я стал работать в Салехарде, сказались последствия многомесячной жизни на «сухом пайке»: я заболел цингой, потом желтухой и оправился только к лету. Но в августе мне попался на глаза номер журнала «Октябрь», где были напечатаны стихи Глазкова «Миллионеры». В них сопоставлялась судьба двух миллионеров: американца, получившего наследство, и советского летчика, налетавшего миллион километров. Это была, если я не ошибаюсь, первая публикация стихов Николая Глазкова в толстом литературном журнале — событие для него важнейшее. Я тут же отправил Коле телеграмму: «Поздравляю «Миллионерами» целую»,— и указал свой адрес. Через некоторое время пришло письмо... Какое это было прекрасное письмо! Он очень обрадовался, что я объявился, рассказывал о своих делах, об общих наших знакомых. Обычно глазковские письма были весьма лаконичны: минимум полезной информации, пара броских мыслей-фраз, стихи. Это письмо — должно быть, самое длинное из полученных мною от него. Там была не только информация, но и эмоции: радость от того, что мы снова нашли друг друга. Теперь я знаю, что оно пришло ровно за тридцать лет до смерти Николая Глазкова,— значит, потом наша переписка не прерывалась еще целых три десятилетия!

Почти семь лет я не встречался с Глазковым...

Осенью 1950 года, получив первый после войны отпуск, я проездом к матери в Горьковскую область оказался на пару дней в Москве и пришел на Арбат к Коле. В его

квартире я очутился впервые. Он открыл мне дверь, без всякого удивления сказал: «Заходи, милый!» — и, когда я снял в прихожей пальто, провел меня к себе в кабинет. Провалившегося потолка давно не было, но квартира все еще несла на себе печать трудного послевоенного быта. К тому же у Глазковых гостили родственники, кажется, из той же Горьковской области, куда лежал и мой путь.

Полдня мы просидели в Колином кабинете, говорили о поэзии, которая в те времена в печати выглядела довольно примитивной и однообразной. Впрочем, Глазкова понемногу начали публиковать, но не те стихи, в которых по-настоящему проявлялась его творческая сущность. Именно в это время Коля стал много переводить советских и зарубежных поэтов. К своей переводческой деятельности он относился по-разному (разумеется, добросовестно выполняя поручаемую ему работу). Как-то прислал мне в Салехард веселое четверостишие:

Иные товарищи, отдыхая,
Пускают мыльные пузыри,
А я, не переводя дыхания,
Перевожу от зари до зари.

А в написанной несколько лет спустя «Поэме о справедливости» он сетовал на то, что часто «лучшие поэты, не обретя своей победы, уходят в переводы». На конвертах его писем ко мне рядом с названием города — «Салехард» — в скобках указывалось: «Устье Оби», словно Коля хотел, чтобы почта посмотрела на карту, прежде чем отправить письмо. В этом уже чувствовался будущий член Географического общества.

В 1952 году я в Салехарде женился и летом того же года вместе с женой поехал в отпуск, опять же в Горький с заездом в Москву. Мы зашли к Коле. Он уже стал маститым переводчиком и однажды на наших глазах, чтобы успокоить жаловавшуюся на безденежье мать, демонстративно устелил ее подушку только что полученными в издательстве тогдашними сторублевками... О деньгах Коля говорил тогда часто, но как-то несерьезно: «Деньги — не дрова: воз привезешь — надолго хватит!»

Глазков принял меня с женой как радушнейший хозяин не только своего дома, но и всей Москвы: повел показывать столицу, в центр — на Красную площадь, в Мавзолей, на улицу Горького, угостил в кафе изысканным мороженым («Разве у вас на Севере знают, что такое настоящее мороженое!»).

Потом я поехал в Горький, и вскоре Глазкова повстречал и там и открыл в нем новые, неведомые мне ранее черты. Он оказался страстным любителем природы,

купанья, гребли, сбора ягод и грибов, путешествий. Во время войны эти качества не могли в нем так ярко проявиться. В Горький Глазков приехал из Тамбова, где у него появились новые друзья. Он читал поэму о Тамбове и реке Цне. Со времен лермонтовской «Казначейши» это была, кажется, первая такая пространная и веселая поэма об этом городе. В это время, много печатаясь как переводчик, Коля выступал и как детский поэт в журнале «Затейник». «Не то впал в детство, не то в безденежье»,— саркастически сказал мне в Салехарде сибирский писатель Евгений Ананьев, которого позднее я познакомил с Колей. Глазков много говорил — тогда, в 1952 году! — о необходимости охранять природу, о порче рек и лесов, о защите рыб и зверюшек...

И снова Глазков в Горьком мне помог: познакомил со своими новыми приятелями Володей Ларцевым и Яном Карасиком,— последний, когда через год я приехал поступать в Горьковский университет, предоставил мне приют на время экзаменов. Тогда же Коля, движимый желанием помочь мне, заговорил о моем приобщении к переводческим делам, и в зиму 1952—1953 годов, мою последнюю салехардскую зиму, стал посылать мне для перевода подстрочники, делясь со мной теми, которые поступали к нему.

Та зима в Салехарде была очень тяжелой. Маленькая городская электростанция, мощностью всего в 80 киловатт, обеспечивала энергией только предприятия, школы, больницы. В домах коптили керосиновые лампы — а темное время зимой в Заполярье занимало большую часть суток. Я учился в десятом классе вечерней школы: война давно прошла, с 9 классами в вузы не брали, а мой курс Горьковского пединститута в 42—43-м годах, не подкрепленный аттестатом зрелости, утратил свою силу. В свободные часы я переводил присланные Глазковым стихи. Перевел жившего в Москве и писавшего на языке урду молодого индийского поэта Шамима Хабиб-Вафа, сына известного в 30-х годах поэта-революционера Эс Хабиб-Вафа. Перевел стихи украинского поэта Григория Плоткина, татарского детского поэта Хая Вахита. Глазков сообщил мне адреса авторов, я вступил с ними в переписку, и работа принесла плоды! Я еще жил в Салехарде, когда переводы стихов Плоткина были напечатаны на Украине, потом московское радио передало стихи Шамима Хабиб-Вафа в моих переводах, кажется, Глазков сам их туда и отнес...

Летом 1953 года, получив аттестат зрелости в салехардской вечерней школе, я решил поступить в университет в Горьком. Когда я, проезжая через Москву, сказал об

этом Глазкову, он не одобрил моих намерений: «Ты начал переводить, тебя будут печатать. Правда, на тебя будут косо смотреть соседи, а управдом станет интересоваться, кто ты есть — сидишь дома, пишешь и вроде нигде не работаешь... Но это профессиональный риск!»

Мой друг, при всей своей мудрости, тогда не понимал, что у меня не было ни соседей, ни управдома, ибо не было дома, что я ехал с Севера в Горький «яко наг, яко благ», и стать студентом — для меня значило приобрести социальное положение и право на прописку в Горьком...

Когда я уже все это получил и стал посещать лекции, Глазков прислал мне книгу корейского поэта Се Ман Ира, где в его переводе была помещена поэма, сделав на книге надпись, начинавшуюся с упрека:

О Люсик Шер! Тебя, как друга,
Я побраню на этот раз...

А «бранил» он меня за то, что я забросил переводческую лиру —

И в этой книге Се Ман Ира
Твоих произведений нет.
Меня стихами веселя,
Скорее сбрось учебы иго!
Тебе дарю я эту книгу
С поэмою «Моя семья».

Некоторое время спустя Глазков, верный своему принципу — никого ни к чему не принуждать («может ехать — и не ехать»), примирился с моим студенчеством, но продолжал привлекать меня к переводческим делам. Он прислал мне стихи башкирского поэта Ханифа Карима, я перевел их, и вскоре они были опубликованы в Уфе.

В первые же мои студенческие каникулы зимой 1954 года Коля пригласил меня приехать в Москву, пожить у него и поработать вместе с ним.

На маленькой, выделенной из комнаты кухоньке его старой арбатской квартиры стоял предназначенный для гостей, которые, кстати, не переводились в этом доме, сундучок, на коем гости, прибывавшие из разных мест, могли ночевать. Две недели занимал это гостевое место я, вдыхал проникавший в приоткрытую форточку кухни сырой воздух московского февраля, смотрел в окно на недавно построенное и закрывавшее прежний вид из квартиры огромное здание телефонной станции, слушая глухо доносившиеся сюда шумы огромного города. Арбатская квартира Глазкова могла считаться местом историческим. Вероятно, вся литературная, и не только литературная Москва побывала там. От старого футуриста Алексея

Крученых и до мальчиков, пробующих свои силы в стихописании, от друзей Колиной юности, уже признанных и вышедших в лауреаты, вроде Луконина, и до тех его товарищей, чья слава была еще впереди,— Слуцкого, Самойлова, Евтушенко...

Много раз не только бывал, но и живал там и я. По утрам мы пили кофе со сгущенным молоком, заедая его калорийными булочками, купленными в магазине напротив, а поближе к вечеру отправлялись в гастроном на углу Арбата и Смоленской — взять что-нибудь к ужину, который редко обходился без гостей. Мы нагружались яствами (попутно заглядывали и в рыбный магазин на полпути между гастрономом и Колиным домом) и готовились к ужину с гостями, а иногда — очень редко — и без них. В невеселом настроении Глазков говорил подчас белым пятистопным ямбом, там, где ему не хватало слогов, он вставлял свое любимое «Хо-хо!», отчего его речь становилась похожей на ранние стихи Сельвинского. С гостями Глазков играл в шахматы, спорил о литературе, мерился силой, показывал им свою прекрасную коллекцию открыток. Незадолго перед тем он приобрел пишущую машинку и развлекался тем, что изображал с ее помощью разные рисунки — преимущественно затейливые церквушки, делал рамочки на страницах, виньетки, уснащая ими свои письма. Кстати, несколько лет спустя художник, оформлявший одну из книг Глазкова, исполнил заставки в духе этих Колиных узоров.

Мое пребывание в Москве зимой 1954 года началось с посещения бухгалтерии Всесоюзного радио, где мне причитался гонорар за устроенные туда Глазковым переводы. А потом, уже с новыми переводами, мы с Колей опять двинулись на радио, на этот раз не в бухгалтерию, а в редакцию на улице Качалова. Туда полагалось выписывать пропуск. Но едва мы вошли в вестибюль, как Глазков рванулся мимо опешившего вахтера к подошедшему лифту, вскочил в него, нажал кнопку... Лифт взмыл вверх, а вахтер схватил меня за руку, нажал другую — сигнальную — кнопку, откуда-то выскочило несколько человек. «Вот! — крикнул вахтер, указывая на меня.— Тут с ним один прошел без пропуска!» Пропуска не было и у меня... Но зазвонил телефон, вахтер взял трубку. Видимо, из редакции сообщили, что приход Глазкова легализован, и заодно предложили пропустить и меня. Был дан отбой тревоги, и я беспрепятственно поднялся в редакцию.

К тому времени уже получило устную известность стихотворение Глазкова, кончавшееся словами: «А что он сделал, сложный человек? Бюро, бюро придумал пропу-

сков!» К этим бюро, как и к другим формам бюрократизма, Глазков питал устойчивое отвращение.

Обосновавшись благодаря своему студенчеству в Горьком, с которым была связана память о нашей военной юности, я довольно часто наезжал в Москву и обязательно посещал Глазкова. Летом 1954 года я у него познакомился с Сергеем Наровчатовым и Давидом Самойловым, спустя год — с Ксенией Некрасовой и Алексеем Крученых, тут же встречал и Василия Федорова, и Егора Исаева, и многих других. Товарищи по поэтическому цеху дарили Глазкову свои книжки, а книги самого Глазкова все никак не выходили, на него в издательствах все еще поглядывали с опаской...

В главных своих вещах, которые, к сожалению, тогда не публиковались, Глазков оставался самим собой и подчас горестно восклицал: «Я поэт и не люблю редакций, где со мной валяют дурака».

Меня он продолжал радовать своим дружеским теплом. Весной 1955 года Коля ненадолго приехал в Горький, побывал у меня,— а я тогда снимал комнату на чердачной мансарде и увлекался собиранием слонов, изготовленных из разных материалов, а также изображений этих слонов. Коля написал шуточное, но довольно грустное стихотворение о том, что у меня «в светлице по столам расставлены слоны, и к слонам тем можно прислониться». Неутомимо приобретая разные открытки, он старался мне присылать такие, на которых были изображены слоны... Летом того же 1955 года на пути в Крым я заглянул к Коле. Он, довольный тем, что может сделать что-то приятное, сказал мне: «Иди в УОАП (Управление по охране авторских прав), там тебя ждет гонорар!» В Казани вышла книга стихов Хая Вахита, где были переводы Глазкова и мои, сделанные еще в Салехарде по присланным Колей подстрочникам.

Всех своих горьковских, северных, московских, киевских друзей я считал долгом приводить в дом Глазкова, чтобы познакомить их с замечательным человеком и поэтом. И на всех Коля производил неотразимое и незабываемое впечатление. Не забывали Глазкова и друзья нашей горьковской юности: Калерия Русинова стала жить под Москвой и навещала Колю, в конце 1959 года в Москве поселился и Анатолий Борушко, назначенный редактором журнала «Молодой колхозник» (ныне «Сельская молодежь»). Он охотно публиковал стихи и переводы нашего общего друга, бывал у него. Правда, скоро Борушко уехал в Белоруссию, получив новое назначение.

Быт Глазкова за это время тоже изменился. Еще летом 1954 года Коля меня как-то пригласил съездить

вместе с ним в Перловку, где жила его будущая жена Росина, и познакомил меня с ней. Вскоре она поселилась в арбатском доме, и у Глазкова началась настоящая семейная жизнь с женщиной, которая не только его любила (такие и раньше бывали), но понимала всерьез, знала его стихи не хуже его самого, ласково называла поэта Геночкой — производным от слова «гений». Он же зашифровывал посвящения ей над стихами буквами «И. М. Л.», что означало: «Иночке моей любимой». Жить с Колей было нелегко, но Росина добровольно взяла этот удел себе, с честью выполняла миссию жены Глазкова. В 1956 году в семье Глазкова родился сын — «Коля маленький», как его называли в доме.

В 1957 году благодаря содействию Александра Парфенова и Василия Федорова, работавших тогда в Калининском издательстве, там вышла первая книга Глазкова «Моя эстрада». Несмотря на то что книга несла на себе отпечаток редакторской осторожности и была перегружена нехарактерными для истинного Глазкова случайными стихами, в нее попало несколько жемчужин глазковской лирики, таких, как «Ворон», «Волгино верховье», «Если взглянуть на хаты». Коля прислал мне книгу с надписью: «Соратник по Поэтограду, дарю тебе «Мою эстраду»!»

Вскоре в одной из местных газет (в Калинине) появилась брюзгливая рецензия, автор которой упрекал Глазкова в легковесном подходе к серьезным темам. В стихотворении «Черное море» он усмотрел несерьезное отношение к истории в строчках: «Провалились все попытки всех бандитов и вояк,— словно пробка из бутылки, вылетал из Крыма враг»... Читая эту статейку, я пожимал плечами: рецензент явно не понимал ни духа, ни стиля глазковской поэзии, ни ее художественной прелести. Как мог он не заметить в том же стихотворении удивительно организованных по звучанию, емких по образному смыслу строк: «В Истамбуле точат гордо меч несбыточной мечты, в Черном море хочет Порта сжечь российские порты», не оценить эти «меч-мечты», «точат-хочет», «меч-сжечь», «Порта-порты»? Видимо, рецензенту, что называется, медведь на ухо наступил, хоть и подписался он кандидатом филологических наук...

Несмотря на нелепую периферийную рецензию, «Моя эстрада» оказалась первой ласточкой: через три года «Советский писатель» издал сборник Глазкова «Зеленый простор», потом в разных московских издательствах одна за другой стали выходить стихотворные книги Глазкова. Заговор молчания вокруг замечательного поэта кончился, хотя книги пробивались в свет подчас с немалым тру-

дом, напоминая собою надводную часть айсберга: самые «глазковские» стихи поэта по-прежнему либо не печатались, либо просачивались в книги тонкими ручейками. Но и эти сборники сыграли свою роль в жизни Глазкова.

Когда вышел «Зеленый простор», я встретил на улице Сергея Наровчатова, который радостно сказал мне: «Вот хорошо! У Коли теперь две книги: есть формальный повод вступить ему в Союз писателей!» Так и случилось. Имея теперь официальный документ, что он — писатель, Глазков много ездил по стране, выступал перед читателями, устно знакомя их с теми стихами, что еще дожидались своего опубликования. Он продолжал заниматься и переводами, сдружился с поэтами далекой Якутии, почти ежегодно бывал там, посетил Сибирь, Дальний Восток, другие районы страны. Являясь членом Географического общества и называя себя поэтом-путешественником, Глазков совершал поэтические экскурсы и в географию, и в историю тех мест, где он бывал, изучал местные предания и легенды, знакомился с языками разных народностей.

Слушая в 60—70-е годы разноголосицу поэтических деклараций и мнений, Глазков поглаживал отпущенную им для съемок в кино да так и оставшуюся при нем бороду и загадочно улыбался: он-то знал, «кому смеяться напоследок и не до шуточек кому»!

Теперь, когда в посмертно вышедшей его книге «Автопортрет» представлено многое из остававшегося при жизни в архиве поэта или имевшее только устное распространение, любители стихов, да и сами стихотворцы смогли убедиться, каким непреходящим поэтическим богатством он владел.

Декабрь 1966 года. День поэзии. Книжный магазин на улице Кирова. Бригада поэтов, в которую входил и я, выступает перед покупателями. С опозданием приезжает Глазков. Не сняв шубы и шапки с опущенными ушами,— он всегда так ходил зимой,— произносит негодующую речь против книготорговских путаников, заславших его только что вышедшую «Пятую книгу» не в тот магазин, где он должен был выступать. Кстати, книги Глазкова, изданные в 60—70-х годах, для нас, знавших его более ранние стихи, открыли Глазкова, пробующего свои силы в новых для него жанрах — например, пародии, басне.

Что же касается бюрократизма и головотяпства, то Глазков с ними боролся не только стихом. Был в его жизни период, когда поэт, путешествуя по стране и замечая те или иные несуразицы, упорно писал о них в газеты, журналы и непосредственно в министерства и ведомства. Я видел у него как-то целую кипу ответов на его письма,

ответов, гласивших, что «меры приняты» или «меры принимаются». В этом смысле он был не только поэтом-путешественником, но и поэтом-гражданином.

Любопытно, что ряд несправедливостей и нелепостей, высмеянных Глазковым в его неопубликованных стихах, был исправлен после того, как против них ополчалось общественное мнение. Но Глазков был одним из первых! Он написал стихи, в которых возмущался, что на доске в память писателей, павших на фронтах, не было имен погибших молодых поэтов только потому, что их при жизни не успели принять в Союз писателей. Глазков требовал, чтобы их посмертно приняли в Союз. Так и произошло: имена Павла Когана, Николая Майорова, Михаила Кульчицкого теперь врезаны в мрамор в Центральном Доме литераторов.

Помню стихи Глазкова, начинавшиеся так: «Девушки, кондукторши трамвая, делают один и тот же жест: целый день билеты отрывая, получают плату за проезд». Завершались же стихи призывом: «Отменить кондукторш будет польза, польза, польза, польза для людей!» Так вскоре и сделали: в вагонах давно стоят металлические кассы. Но Глазков заговорил об этом намного раньше других! Он неутомимо ратовал за сохранение русской природы, за памятники старины, за чистый воздух в городах и откровенно публицистически выступал за это в стихах. Вспомним хотя бы такие произведения, как «Здравый смысл» или «Русь непреходящая».

Был ли Глазков в стихах своих шутом, скоморохом, «юродивым Поэтограда», как он однажды сам обмолвился, правда, в сугубо личном стихотворении? Был ли он клоуном — умным человеком, игравшим дурака? Думаю, что нет. Больше всего к нему подходят, видимо, слова Державина об умении поэта «истину с улыбкой говорить». Его ирония и самоирония чем-то сродни иронии Гейне, смеху Вийона, но это — неповторимая глазковская ирония, высказанная с позиций мудрого простодушия, вроде бы детского удивления перед неразумностью тех или иных явлений жизни. Не надо ум путать с хитростью. Глазков бесхитростен, хотя порой и лукав. Его ирония не желчна, а светла и жизнелюбива, за ней — глубина народного здравого смысла.

3

Летом 1968 года, готовясь к своему пятидесятилетию, Николай Глазков вместе с сыном Колей последний раз посетил Горький, подышал памятным ему с первых дней жизни волжским воздухом. Родившийся

на Волге, он нежно любил великую русскую реку, много писал о ней. Коля хорошо знал верхнее течение Волги, был у ее истока (вспомним стихи «Волгино верховье»), на речном пароходе ездил в Углич и воспел его, заодно высказал свое одобрение водному транспорту: «Хотя речное пароходство и не нуждается в рекламе, его большое благородство хотел бы я воспеть стихами». Приезжая в Горький, Глазков обязательно брал лодку, забирался на ней в уединенные волжские бухточки, купался там, собирал ягоды, отважно на веслах пересекал широкую реку, ставшую оживленной синей улицей, наполненной судами на подводных крыльях, катерами, баржами, теплоходами, поднимавшими большие волны... Еще в начале сороковых годов он писал о Волге «Чкалова, и Разина, и Хлебникова, и меня».

В августе 68-го года Глазков поехал в Лысково, увидел дом, где жила когда-то семья его родителей и где он появился на свет: «Я родился в доме Лонина, на улице Ленина». Теперь на этом доме установлена мемориальная доска в честь поэта. Написал Глазков стихи и о расположенном напротив Лыскова за Волгой знаменитом Макарьевском монастыре, и об Оленьей горе в Лыскове, и о самом поселке, ныне районном центре, с газетой которого у поэта установилась прочная связь: он регулярно посылал туда стихи, подружился с газетчиками и лысковскими любителями поэзии.

Глазков давно и хорошо был знаком со многими горьковскими литераторами, следил за их работой, читал их книги.

Тогдашний руководитель горьковской писательской организации Владимир Автономов лично не был знаком с Глазковым, зато много о нем наслышан, в том числе и от лиц, рассказывавших всякие анекдоты о глазковских чудачествах. Когда Коля пришел в Союз писателей и разговорился с Автономовым, тот был буквально очарован. «Слушай! — сказал он мне на следующий день.— Это же умнейший парень! И какой светлый ум! Какая чистая русская душа! Что о нем разную ерунду плетут!»

Глазков с журналистами «Горьковской правды» съездил за грибами: помню его в шляпе, с большим ножом и круглой плетеной корзинкой в руках. Он побывал у Николая Кочина, Юлия Волчека, еще нескольких писателей-горьковчан, вечерок провели мы с ним и у меня.

В теплый августовский день собрались мы на Керженец. Заместитель редактора «Борской правды» поэт Михаил Сточик встретил нас на левом берегу Волги, сел вместе с нами в редакционный «газик», и мы поехали лесными дорогами к желто-зеленому Керженцу, к окрестно-

стям былинного града Китежа... Были купанье и грибы, стихи и тосты...

В 1971 году я с семьей перебрался из Горького в подмосковный город Красногорск. Когда закончились хлопоты, связанные с переездом, ремонтом квартиры, покупкой мебели и тому подобным и мне надо было поехать в Горький для завершения всяких дел, оказалось, что у меня нет даже десятки на билет. Я обегал разных знакомых в редакциях, ни у кого не смог занять. Пошел к Глазкову: он и на этот раз выручил меня, дал денег.

В первой половине семидесятых годов я частенько бывал на Арбате. Коля неустанно закалялся: по утрам принимал все более холодные ванны, брал в ванную градусник. Помню, как-то утром он встретил меня в купальном халате — только что из ванной — и с гордостью сообщил, что температура воды была 11 градусов. Отправляясь в дальние поездки в Сибирь, он теперь неизменно брал с собой термометр, и помню, как получил от него открытку из Красноярска, что он искупался в Енисее при весьма низкой температуре. То же сообщил он о Лене, об Амуре и других водоемах. Сохранилась фотография, где Глазков купается в реке, а на берегу лежит снег. Раньше бывали времена, когда Коля, с детства подверженный всяким простудам, зимой старался вообще не выходить на улицу. Нынче стало все наоборот: он стойко и целенаправленно укреплял свой организм. Однако все же как-то заболел вирусным гриппом и очень тяжело его переносил...

Шли годы. Глазков внешне почти не менялся. Не седела его борода, о которой он, не любивший ничего искусственного, написал:

Я незначительной бородкой
От лютой стужи защищен.
Хоть волос у нее короткий,
Он все же шерсть, а не нейлон.

Дальше пошли события, многое в его жизни изменившие: Арбат потерял Глазкова! Тот Арбат, с которым накрепко соединилось представление о Колином доме, тот Арбат, где напротив дома была булочная со знаменитыми «калорийками», а неподалеку — рыбный магазин и знаменитый на всю Москву гастроном, тот Арбат, где расположен магазин открыток, много лет пополнявший глазковскую коллекцию... Уютный прославленный Арбат, еще с пушкинских времен облюбованный русской поэзией, одного за другим терял своих певцов: давно уже жил вдали от Арбата, вздыхая по нему, Булат Окуджава, развеялись следы более ранних литературных обитателей

поэтического Арбата (сохранен только пушкинский мемориальный дом),— и настал черед Глазкова проститься с воспетым Арбатом: флигель, в котором он прожил более полувека, флигель, о котором говорили, что он помнит 1812 год, должен был из жилого дома стать какой-то конторой. Жильцам предложили новые квартиры в довольно далеких районах Москвы.

В январе 1974 года, выстояв на морозе длинную очередь в книжную лавку писателей, где в этот день продавался давно ожидавшийся однотомник Осипа Мандельштама, мы с Росиной Глазковой, купив желанную книгу, пошли к Глазковым, на Арбат. Дом казался почти необитаемым. Многие соседи уже выехали. Глазковы держались до последнего. Им грозили выключением света, телефона, отопления. Коля ходил в Союз писателей, просил предоставить жилье, не слишком отдаленное от милого Арбата. Как-то я его встретил возле Союза. Коля был мрачен. «Я боролся, сколько было сил, больше не могу»,— сказал он.

Новое жилье Глазковых оказалось в Кунцеве, на Аминьевском шоссе. Название улицы не понравилось Глазкову и рождало в нем недобрые предчувствия. В эти последние, «аминьевские» годы мы с Колей встречались редко, преимущественно в ЦДЛ. Я с неясной тревогой отмечал, что у всегда подтянутого, худощавого, спортивного Глазкова начинает ненормально увеличиваться живот. Стал ли он полнеть на шестом десятке лет или это уже подступала водянка, признак тяжелого заболевания печени, которое в конце концов сгубило его? В это время и я начал тяжело болеть, редко выбирался из дому.

Последний раз я видел Колю в 1977 году на собрании объединения поэтов. Его жестоко обидели в одном издательстве, и он с трибуны громко протестовал против очередной несправедливости, коснувшейся его.

Весной 1978 года я поехал в Горький, перенес там операцию, пролежал больше трех месяцев в больнице, а когда в конце августа вернулся в Красногорск, узнал, что звонила Росина Глазкова и сообщила, что «Коля — не жилец», что он безнадежно болен. У меня дела тоже не улучшались, осенью я снова очутился в горьковской больнице, а потом до самой весны 1979 года жил в Горьком, где получал от Глазкова письма, как всегда, с вложенными в них стихами. Одно четверостишие гласило:

Разумный, как медведь,
И хитрый, как лисица,
Я не боюсь болеть,
Но я боюсь лечиться!

В другом письме Глазков поделился своими соображениями о типах поэтов: «Поэты делятся на задир и технарей. Такой-то (он назвал имя нашего общего знакомого) — задира, ты — технарь. Я совмещаю в себе черты тех и других». 30 января я позвонил ему из Горького, поздравил с шестидесятилетним юбилеем. В трубке раздался не бодрый, а грустный голос Коли: «Ну, какой юбилей может быть у больного человека?»

И вот — первые дни октября 1979 года. Звонок Росины на московскую квартиру, где я жил, приехав из Горького: «Коля вчера умер!»

Панихида в ЦДЛ. Не буду ее описывать — там было много людей. У Коли в гробу было очень спокойное пожелтевшее лицо, на смертном одре внезапно поседела его борода. Выступали поэты. Александр Межиров процитировал давние строки Глазкова о Волге, строки, написанные поэтом как раз в те годы, когда мы с ним познакомились. А я вспоминал тот весенний вечер на волжском Откосе и услышанные тогда впервые стихи Николая Глазкова:

Но человек, как я, останется:
Он молодец и не боится!

Мне не дано знать, боялся ли Глазков смерти. Но знаю, что жизни он не боялся и старался жить по-своему, вопреки всем препятствиям. А это не каждому дается.

Лазарь Шерешевский

НИКОЛАЮ ГЛАЗКОВУ

Как доволен я своей судьбою,
Что она свела меня с тобою,
Николай Иванович Глазков!
Не был ты подростком меж подростков,
Подголоском среди подголосков,
Не был голоском средь голосков.

Ты на жизнь смотрел светло и зорко,
Лицемерье не считал подпоркой,
Отличал зерно от шелухи,
Знал, что искренность сильнее тайны,—
Оттого-то так необычайны
Все твои сужденья и стихи.

Много лет ты прожил на Арбате,—
Но прописан был в Поэтограде,
В городе, который сам воздвиг
Без архитектурных ухищрений
Из своих ироний и прозрений,
Изданных и рукописных книг.

Нет, не только для хмельных застолий,—
За отвагой, мудростью и волей
Устремлялись мы в Поэтоград.
В этот дом, что был всегда распахнут,
Где средь споров, странствий, книг и шахмат
Шли года находок и утрат.

Чуть звонок в прихожей раздавался,
Как Глазков мгновенно отзывался:
Добрый человек иль негодяй?
Пусть за стол садились те и эти,
Но не меркла заповедь в поэте:
Всем по справедливости воздай!

В облаках надмирных не витая,
Ты, друзей в беде не покидая,
Поднимался по тропе крутой,
Ты трудам был верен и забавам,
Душу очищая смыслом здравым,
Откровенностью и добротой.

В мастерах себя по праву числя,
Вкладывал ты дерзостные мысли
В гибкий и стремительный язык,—
Как смельчак нырял в любые реки,
Как летал в четырнадцатом веке
Сыгранный тобой в кино мужик.

Пусть, к потерям нашим безразлична,
По орбите древней и привычной
День за днем вращается Земля,—
В гуще моря плотного людского
Я Арбат не мыслю без Глазкова,
Как Москву — без МХАТа и Большого,
Без Блаженного и без Кремля...

Калерия Ларкина (Русинова)

ТЕ, КОТОРЫЕ НЕПОХОЖИЕ

Писать о Николае Глазкове трудно. Наверное, потому, что не перегорела горечь утраты самобытного, талантливого русского поэта, с которым меня связывала многолетняя дружба.

1941 год, конец августа. Я абитуриентка Горьковского пединститута. Поднимаюсь по многолюдной лестнице на второй этаж — навстречу какой-то чудик: зимнее пальто, ушанка с кожаным верхом, потрепанные ботинки. Идет как-то боком — «правое плечо вперед». Непонятная улыбка. Глаза... Пронзительные, кажется, они смотрят на всех, а видят каждого. Я оглянулась и смотрела, пока он не скрылся из вида. Что за человек?

В конце апреля 1943 года получаю на лекции записку Анатолия Борушко — приглашение на поэтический вечер Николая Глазкова в 21-ю комнату общежития. Это была самая большая комната в общежитии пединститута. Прихожу. Дым коромыслом. Народу набралось порядком. На подоконнике в той самой ушанке сидел тот самый чудик и дымил папиросой. Не это ли поэт?

И вдруг:

— Дураки и дуры могут уйти!

Признаюсь, хотелось выбежать из комнаты от такого знакомства. Глазков повторил свое предложение. Девчонки демонстративно поднялись и ушли, как говорится, хлопнув дверью. А я осталась.

Сколько длился этот вечер, я уже не помню. Помню только, что трамваи давно уже не ходили. Глазков читал много: «Поэтоград», «Хлебозоры», «Лю-я-блю», «Огрызки поэм», четверостишия. Поэмы воспринимать было трудно, не то что читать «с листа». Но меня поразили четверостишия, их афористичность, ироническая мудрость.

А потом спорили, обсуждая, студенты литфака — народ въедливый. Николая засыпали вопросами. Особенно старались мои однокурсники Сеня Мендельсон и Рувим Фельдгун. «Кто такие?» — спросил Глазков у Борушко. Тот ответил. Николай сразу нашелся: «Ага, Мендельгунны!» С этого времени их уже иначе не называли.

Я в дискуссии участвовать не решилась: не все было понятно, хотелось все прочесть самой. И, конечно, боялась уронить себя в глазах Николая. Но что удивительно: стихи его не надо было заучивать, они запоминались сразу, хотя, конечно, «второй и третий смысл» их не сразу постигался.

А недели через две снова вечер Глазкова, на этот раз — в общежитии студентов Политехнического института. И снова — стихи.

Вместо того чтобы разойтись по домам после сидения на общежитских койках, мы отправились на волжский Откос. Поэт забрался на развесистый дуб, мы расположились на траве под его кроной, а наверху, у парапета, столпились любопытные. Глазков читал «Хлебозоры».

В тот приезд в Горький (он учительствовал в Чернухе Горьковской области) мы встречались часто: то в редакции областной газеты «Горьковская коммуна» на литературных средах, то в доме на улице Свердлова у Колиной тети Надежды Николаевны, то просто ходили по городу и читали стихи. Мы — это наша компания пишущих и критикующих: Лазарь Шерешевский и Риталий Заславский (пишущие и ныне), Савчик, Бокарев, Борушко, я (давно уже не пишущие), Фельдгун, Мендельсон, Лера Татаурова.

Любимое обращение Глазкова того времени к друзьям было «бродяга». К нам, представительницам слабого пола, он обращался по-иному: «Вот Лера, Лера — она молодец, умница».

На литературных средах он не читал своих стихов: надо было предварительно размножать тексты. Глазков приходил туда просто с нами. Поразительно, что он будто бы отсутствовал, когда кто-либо из авторов читал свои стихи: взгляд его был словно бы скучающим, равнодушным. Зато первыми же короткими, но емкими репликами сразу давал понять, что есть что и кто есть кто.

Вот один из примеров. Перед членами литобъединения выступал прозаик Костырев. Он читал пространный отрывок из своего романа об Иване Грозном. Слушатели порядком устали и не только от монотонного чтения автора, учителя истории. Уж очень все предлагаемое их вниманию напоминало только что вышедший роман В. И. Костылева «Иван Грозный». Вдруг из угла комнаты раздался голос: «Для чего Вы пишете?» Все оглянулись на вопрошающего, а автор растерялся и замолчал. Ведущий «литсреду» замредактора газеты Полонский вступился за него: «А вы что, Глазков, предлагаете?» — «Пусть лучше картошку сажает: и ему и всем полезно!»

Ко мне, к пишущей, он относился поначалу снисхо-

дительно и однажды предложил устроить мой поэтический вечер. Я испугалась. Стихи мои были подражательными: Маяковский, Есенин, Пастернак. А теперь и Глазков. Недаром в новогодней институтской газете была помещена карикатура: я, молитвенно сложив руки, стою перед бюстом Глазкова. И подпись:

Одного сейчас мне надо,
И проект мой лишь таков:
Будет имя мое рядом,
Где Есенин и Глазков.

Тем не менее вечер мой состоялся. Собрались мы на Звездинке, где жили братья Рат — Коля и Сема. О них Глазков говаривал:

Коля Рат очень рад,
Что Сема Рат его брат.

Я прочла десять или двенадцать стихотворений. «Мендельгунны» стали меня критиковать, а Глазков сказал: «Лера — первая поэтесса после Марины Цветаевой. Она молодец, если только освободится от условностей». Я думала, что он плохо меня слушал, однако поразилась, что он запомнил и немногие стоящие строки из отдельных стихотворений, и строки-штампы, которых было более чем достаточно и которые он предложил мне вычеркнуть.

И позже, когда я посылала ему стихи в Москву, он из каждого оставлял по 1—2 строчки, а остальные советовал зачеркнуть. Вот несколько отрывков из его писем.

«Из присланных тобой двух стихов следует оставить строчки:

1. Закачалась береза осиновая,
   И осина стала березовой.
2. Чувствую, что-то случится.

Все остальное можно зачеркнуть. Вот видишь: из 28 строчек только три более или менее настоящие.

Некоторые строчки кажутся хорошими, а по сути дела пустые. Например:

Нет берега у меня,
Некуда якорь бросить.

Очень наивно: якорь не всегда бросают на берег, чаще на дно. Таким образом получается:

Нет у меня ни берега, ни дна.

А это воспринимается как

Нет мне ни дна, ни покрышки.

...Думаешь, что это очень поэтично, а получаются побрякушки, а где искренность?» *(21.06.1944).*

О своих стихах писал:

«Все стихи, которые тебе не нравятся, ругай, но только вслух, а не про себя, и так, чтобы это слышало возможно большее число людей» *(там же).*

«Задача поэта вовсе не в том, чтобы выйти из своего «я», ибо это невозможно, а в том, чтобы расширить свое «я», сделать более значительным, если на то пошло, то усовершенствовать» (*13.02.1944*).

«Переделку своих стихов заканчиваю. В основном переделка заключается в зачеркивании ненужных, лишнего. До войны у меня было 10 000 строк. За время войны я написал больше, чем до войны; но к концу 42 года у меня было лишь 8 000 строк, а к концу 43 года только 6 500 строк. К концу 44 года будет 6—7 тысяч строк, не больше, в том числе 2 000—2 500 довоенных. Зачеркиваю я правильно и всем поэтам советую поступать со своими стихами точно так же» (1944 г., точной даты нет).

Как тут не вспомнить его же четверостишие:

Написал то же я,
Быть может, что и прочие,
Но самое хорошее
В том, что покороче.

И еще один отрывок из его письма:

«Помнишь мое четверостишие, написанное в 1941 году:

Красновоины, войска врага дробя,
Славно бьются. Победят они.
Будет 9-е сентября
Последней датой войны.

Девятое мая — День Победы над Германией. Третье сентября — День Победы над Японией. Пророчество невероятное, непонятное мне самому» (16.10.1945 г.).

А тогда, в апреле 1943 года мы только посмеялись, когда Глазков прочел среди других четверостиший это «пророчество невероятное». Поистине удивительно!

Вернусь к тем горьковским временам. Когда я поняла, что Глазков что-то находит в моих стихах, я стала писать много (даже сессию одну завалила, и меня едва не вышибли из института) — строк по 50 в день, а то и больше. Вот когда Коля был поистине беспощаден. Он вычеркивал у меня почти все, но при этом мне было жаль не себя, а его: казалось, что от моих неудач он очень страдает.

Однажды, в очередной его приезд в Горький, в ин-

ституте был вечер самодеятельности. Я решила выступить с пародией на «Письмо о пользе стекла» («И хочу я, как Ломоносов, рассказать о пользе стекла»), где я перепевала одну из популярных глазковских тем. Слушатели встретили меня, что называется, овациями. Один Глазков сидел мрачный. А потом сказал: «Зачем это тебе? Будь сама собой. Что годится для Глазкова — не годится для Русиновой». Подражательство его всегда раздражало: «Это уже было», «об этом сказано тысячу раз», «выбрось пастернакипь» и т. д.

1946 год. Я приехала из Горького в Москву в свой очередной отпуск с мыслью поступить в Литинститут.

На перроне Курского вокзала мое внимание привлек человек, нагруженный двумя чемоданами и корзиной. За ним поспешала женщина и мальчик. На носильщике была кепка в крупную клетку. Знакомая походка — «правое плечо вперед». Глазков? Глазков — поэт-носильщик?! Я замедлила шаг, не желая встречей смутить его и... потеряла из виду. Собираясь в Москву, я намеревалась зайти к Глазкову сразу: он все время меня звал. Но встреча на вокзале выбила меня из колеи. Как, «председатель земшара», «гениальный поэт современности», как он называл себя в кругу друзей,— носильщик? Может, я ошиблась?

Зашла я к нему недели через полторы, а потом приходила каждый день до отъезда. Глазков был рад моему приезду. Знакомя со своим дядей Сергеем Николаевичем, сказал:

— Это Лера, она умница, это маленькая Марина Цветаева.

Я не знала, куда деваться. Разговора о встрече на Курском я не заводила: и так было все ясно. Его квартира на Арбате производила почти удручающее впечатление. Потолок протекал, штукатурка отвалилась. У окна видавшее виды кресло. Окурки в консервной банке и в пепельнице. На столе уйма бумаг и бумажек — рукописи, наброски на клочках. На окне треугольником, одна на другую выстроились рыбные и овощные консервы в жестяных банках.

Николай недавно возвратился из творческой командировки в Среднюю Азию. Угощал меня зеленым чаем и драже (изюм в шоколаде), насыпанном в коробку из-под папирос (потом меня долго преследовал запах от такого соединения).

— Как ты живешь, Коля? Чем живешь?

— Стихами, но они меня не кормят. Правда, занима-

юсь переводами посредственных стихов, их печатают. Пишу свои, их почти не печатают, кое-какие в журналах и газетах есть. Но нужны деньги, которые я не умею копить, но великолепно умею тратить. Потому пилю дрова и с другими хорошими бродягами зарабатываю на вокзалах.

Могу к Казанскому вокзалу
Доставить чемоданов пару.

Вот консервы, их можно сменять на хлеб и еще на кое-что... Но все это ерунда. Давай стихи!

В тот моей приезд мы много ходили по Москве, я читала стихи, Глазков слушал, сам на улице почти не читал. Обиделась я на него здорово, когда он незадолго до моего отъезда сказал:

— Ты пиши, Лера. Только теперь задай себе и всем вопрос: для чего ты пишешь?

Видя, что я «не в своей тарелке» от этих слов, сказал как-то смущенно и... горько:

Без стихов моя жизнь — петля.
Только надо с ума сойти,
Чтоб, как прежде, писать для
Очень умных, но десяти.

В Литинститут я не поступила и не пыталась поступить. Мой писательский зуд прошел. Я работала в школе, рядом не было привычных слушателей и читателей моих виршей.

А дружба с поэтом осталась.

В самом начале 70-х годов я, тогда завуч школы, в подмосковном городе Щелкове, решила пригласить Колю на встречу со старшеклассниками. Страшно волновалась. Вдруг, думаю, начнет стулья, а то и стол поднимать за одну ножку. Ведь я его ни разу не видела в школьной обстановке. Когда мы вошли в зал (а он был полон, сидели даже на подоконниках), Николай, как мне показалось, даже покраснел. Рассказывал он больше, чем читал стихи. О своих путешествиях, о киносъемках (в «Андрее Рублеве»). Отпускать его не хотели, хотя просидели шесть уроков да час ждали встречи (он опоздал на электричку). Я попросила его прочесть пародии. Он отказался. Тогда я попросила разрешения самой прочитать его стихотворение «Арону Копштейну». Он не разрешил: «Не надо, это ни к чему». Когда я провожала его на станцию, он

сказал мне: «Это же дети, зеленая молодежь. Они ведь могут не так понять». Я, многоопытная учительница, получила еще один хороший урок от Глазкова.

Всякий раз, беря книжку стихов Николая Глазкова, удивляешься всему: богатству его поэтической лаборатории, обезоруживающей самоиронии, владению приемом «от простого к сложному», «откровенности на уровне откровения», неожиданности выводов. И снова вспоминаются его строки:

Что такое стихи хорошие?
Те, которые непохожие.
Что такое стихи плохие?
Те, которые никакие.

Риталий Заславский

МОЙ СТАРОДАВНИЙ ДРУГ

1

Все-все мне памятно в этом человеке: фигура, движения рук, голос, улыбка...

Я считаю, что мне в жизни повезло. В неразберихе эвакуационных пространств судьба свела меня, мальчика, пишущего стихи, необразованного и мечтательного, с несколькими людьми, которых даже в обычной жизни встретить было бы счастьем. Впрочем, в той, обыкновенной жизни, если бы она была, я, наверное, и не решился бы к любому из них подойти. А так — все получилось просто, само собой. Среди этих людей наиболее колоритным, конечно, был Николай Глазков. Его стихи прочел мне (и потом часто читал и перечитывал) мой земляк, а его друг — Лазарь Шерешевский, Люсик. Строки Глазкова произвели на меня такое ошеломляющее впечатление, что я, из застенчивости и гордыни, наотрез отказывался в течение года прийти в дом на улице Свердлова, где проживал тогда у бабушки и тети этот, казавшийся мне кудесником, по сути тогда еще совсем молодой двадцатичетырехлетний поэт. Каких только предлогов я не выдумывал, чтобы не пойти к Глазкову,— и не пошел, хотя жили мы рядышком, только площадь перейти.

Шла война. Шестого ноября 1943 года радио сообщило об освобождении Киева. И в этот же день забежал Люсик — проститься: его призывали в армию. Обрывалось мое общение с единственным человеком, который считал главным в своей жизни то же, что и я, который прочел мне наизусть за год чуть ли не всю русскую, да и украинскую советскую поэзию, который был для меня ходячей энциклопедией, живой библиотекой, чтецом-декламатором, ликбезом, да мало ли чем еще... Как тоскливы первые дни отроческого одиночества! Не было больше встреч с Лазарем, оборвалась и ниточка, связывавшая меня с ежедневной жизнью и работой таинственного, загадочного в своем поэтическом богатырстве Николая Глазкова.

Я свыкся со многим, но к новой, трудной жизни, ожидавшей меня, оказывается, не был подготовлен...

И вдруг однажды утром раздался стук в дверь.

— Войдите! — крикнул я, думая, что это кто-то из моих одноклассников. Мальчики ко мне приходили часто, я жил один (родители в это время обретались в военных лагерях, в ста километрах от Горького), и ребята любили собираться в моей «келье» (квартира находилась в здании бывшего монастыря, на площади Лядова).

Дверь отворилась, и я увидел двух незнакомых людей. Первой вошла женщина лет сорока с немного мордовским, скуластым и румяным лицом. А за ней стоял большущий широкоплечий парень. Он даже не вошел, а меланхолически прислонился к косяку двери и уставился на меня огромными черными глазами. Из-за того, что он смотрел как будто исподлобья, взгляд его казался сумрачным, но глаза улыбались, рот улыбался, все лицо светилось приветливой готовностью общаться со мной и, кажется, уже любить меня.

Он молчал, заговорила женщина.

— Мы — Глазковы,— сказала она.— Мы обещали Лазарю не оставить тебя. Собирайся, сейчас пойдешь к нам!

Я совсем смутился, растерялся, начал что-то выдумывать, врать, говорить, что приду сам, позже.

Глазков так же молча и безмятежно смотрел на меня и улыбался, а его тетя, внимательно оглядевшись, сдернула с вешалки мой полушубочек и почти сердито сказала:

— А ну не выдумывай! Сам не придешь! Одевайся...

И я оделся и пошел с ними. И с тех пор не было у меня милей дома, ближе людей, лучшего времяпрепровождения, чем сидение на старом, окованном железом сундуке в тесной двухкомнатной квартирке в обветшавшем двухэтажном домике по улице Свердлова, 86, в городе Горьком, а может быть, просто, как говорили старожилы, в Нижнем.

Это был удивительный дом. Здесь никто никому не мешал. Часто я приходил сюда прямо из школы. Тихонько усаживался, брал какую-нибудь старинную (во всяком случае, дореволюционную) антологию русской поэзии и читал, читал... Сколько новых, совершенно неведомых мне имен русских поэтов прошлого выплывало из небытия: Виктор Гофман, Гумилев...

Я читал, Надежда Николаевна вязала варежки, а слепая бабушка Коли, мать его отца, тихо что-то бормотала, зевала, крестилась. Где-то за дверьми ходили соседи, но

и там стояла тишина: соседи были глухонемые, вся семья.

Но вот приходил Коля — и сразу жизнь становилась шумной, веселой, озорной. Возвращались после занятий и девочки — квартирантки Колиной тети. Их было двое, а потом прибавилась и третья: Лера Татаурова — в нее был влюблен Лазарь, Катя Шапилова, у которой жених на фронте, и Ариадна Копашина, она же Тина. Лера занималась русской филологией, Катя — медичка, Тина изучала английский.

Появлялась вторая Лера — Калерия Русинова. Она писала стихи и в подражание Глазкову тоже делала броские рукописные книжечки, раздаривая их нам. Приходил товарищ Николая по пединституту Толя Борушко, сдержанно-ироничный, в очках, придававших ему необыкновенно интеллигентный вид. Он — единственный среди нас — писал не стихи, а рассказы.

А потом прибегала светленькая, близорукая Лида Утенкова, будущая первая жена Глазкова...

Вскоре она выйдет за Колю замуж, уедет с ним в Москву. Некоторое время от общих друзей до меня будут доходить удивительные новости. Ну, например: Коля даже в оперу начал ходить! Колю видели в галстуке и с накрахмаленными манжетами! Но Лида ушла от него. Я уверен, что ушла она. Коля не мог оставить женщину. Любую. «Забыты все — и прочие, и Лида...» — вскоре своеобразно вспомнит о ней Глазков.

Великим счастьем для существования и творчества Глазкова явился его второй брак. Умная и проницательная женщина, прекрасно понявшая, с кем она связала свою судьбу, Росина была и другом, и помощником. Она не подделывалась под Глазкова, она умела многое осторожно корректировать в нем, разумно оберегая от всего случайного, ненужного, создавая незаметно — при любых трудностях — тот душевный и бытовой минимум-комфорт, в котором Глазков, сам того, может быть, не зная, так нуждался. Думаю, что многим он обязан этой женщине — ее чуткости, характеру и, прежде всего, выдержке. С ней Глазков мог безмятежно оставаться собой и в то же время лучше ориентироваться в людях и ситуациях. Так мне всегда казалось.

Но это еще когда будет! А сейчас — вбегает Лида, а следом — Коля, он обнимает ее при всех, она выворачивается из его рук, платье ее взметывается, трепещет... Ах, как весело всем! И начинается: свои стихи, чужие, споры, Колины афоризмы и парадоксы. Это уже до утра!

Вся жизнь в этом доме вращается вокруг Коли. К тому времени он уже окончил педагогический институт, поработал учителем в сельской школе.

Он приехал в село Никольское Чернухинского района Арзамасской области в середине сентября 1942 года и сразу же пришел в школу, приступил к исполнению своих обязанностей. Уже в день приезда он пишет бабушке и тете Наде: «Если кто будет ко мне приходить, то можно дать адрес: Чернуха, Арзамасская область, ул. Федеративная, 13. Е. А. Кудрявцевой (для Н. И. Глазкова)» (Елизавета Андреевна Кудрявцева — бабушка Николая Глазкова по материнской линии).

4 октября того же 42-го года Глазков сообщает: «Вот уже три дня я преподаю русский язык и литературное чтение в V и VI классах неполной средней школы села Никольского Чернухинского района... Дал уже одиннадцать уроков, а всего у меня 18 уроков в неделю».

«Итак, как идет работа? — повествует Глазков о своей учительской эпопее в другом письме.— С младенцами я сдружился; дисциплина — когда какая; собой я никогда не бываю доволен, а работа — не моя, но я с ней справляюсь.

Вчера был педсовет. Обсуждалась успеваемость V-го класса. Я сообщил, что по русскому языку будет за 1-ю четверть 5 «плохо». Директор стал говорить, что это недопустимо и т. д. Но я сослался на то, что не моя вина, что младенцы пишут безграмотно, что существуют установленные Наркомпросом нормы успеваемости и т. д. Тогда директор стал мне намекать на то, что я должен быть снисходительным и т. д. (сказал бы просто, ставьте на одну отметку выше, и я бы поставил)».

Несмотря на то что педагогический труд, по словам самого Глазкова, не его стихия, он, по-видимому, был увлечен общением с учениками: «Сегодня рассказывал младенцам биографию М. Ю. Лермонтова, объяснял им, почему можно писать как Лермонтов, так и Лермaнтов».

И вот еще одно письмо 1942 года от 16 ноября. Хочется привести его почти полностью, столько в нем живых подробностей этих дней и прелестных переливов глазковских интонаций:

«Дорогие бабушка и тетя Надя!

Недавно получил от вас четвертое письмо, на которое спешу ответить улучшенным почерком. Отвечаю по всем пунктам. Конспекты уроков я не пишу, потому что бумагу можно использовать более рационально. Кой-какие планы веду. К счастью, их никто не просматривает. На

двух моих уроках была заведующая РОНО, после чего она высказала ряд довольно правильных замечаний. Как классный организатор, я делаю стенгазету и все такое прочее. В V классе у меня 14 человек, в VI — 11, в обоих классах 25. Провел в V классе 4 диктанта, в VI классе 6 диктантов. Проверяю я их очень быстро, потому что насобачился. Для моих любимых занятий время остается, но света не хватает. Оно, правда, в темноте, а не в обиде, но я гораздо лучше себя чувствую тогда, когда светло.

Из учителей ни с кем не сдружился...

У нас комната, но один из углов этой комнаты занят хозяйкиной кроватью.

Маме я чем могу помогаю, потому что так надо. Чувствует себя мама когда как. Книг у меня до дьявола самых разных: только не хватает света их прочитывать...

Зарплаты я получаю, если не считать вычетов, 260 рублей.

Кроме того, был 1-го ноября в Арзамасе, где мы с мамой покупали валенки. Город мне понравился. Он стоит на бугорках, и там много церквей. Залезал на колокольню и смотрел оттуда на Арзамас. Река Теша, правда, не ахти какая, но все остальное очень здорово. Обратно шли пешком, и всякие леса были, в них дубовые листья валялись... А праздник мы встретили в учительской...

Про Кору (одно из домашних имен брата Николая — Георгия.— *Р. З.*) поступило известие комиссара полка, что он из этого полка переведен... Куда? Пока неизвестно. Переведен он был 4-го июля. Следовательно, до 4-го июля был жив и здоров...»

В Никольском встретил Глазков 1943 год, на который возлагал «очень много надежд». Этот год он встретил дома, с матерью. В школе — каникулы, елка. Глазков собирался съездить в Горький, но, как назло, 30-го декабря вывихнул ногу. И не то что в Горький — «даже не смог пойти в Чернуху, где состоялась районная конференция учителей».

В следующем, февральском, письме Глазков поздравляет родных с «новыми победами наших доблестных войск», а потом рассказывает о своем житье-бытье:

«В школе дела идут без изменений... Кроме школы занят бываю чем?

1. Пишу: 1) Стихи, 2) Письма.

2. Читаю: 1) В. И. Ленина, 2) Прочие книги, 3) Письма, которые получаю.

3. Помогаю по хозяйству: 1) Колю дрова, 2) Хожу за водой, 3) Растопляю печку, а когда спичек нет, то из искры (посредством фитиля и кремня) высекаю пламя.

4. Изучаю местные быт и нравы».

Глазков в марте ненадолго вырывается в Горький. Возвращаясь в Никольское, прямо с дороги он посылает родным два письма. Следующие письма, датированные концом июня, уже из Москвы. Впрочем, в ноябре Глазков еще заедет к матери в Никольское, но он уже не будет преподавать в школе. И напишет: «Живу я в Никольском довольно хорошо. Два раза ездил на тачке в лес за дровами, помогаю, в чем могу, по хозяйству, остальное время уделяю творчеству и чтению». И в другом письме: «За последнее время молол на жерновах пшеницу, возил на санках картошку, переколол очень много дров».

Позже — в обычном юмористическом ключе и все-таки очень серьезно — Глазков подытожит свою работу в сельской школе:

Никогда ничего не хочу изменять,
Все равно ничего не получится,
Ибо умный научится и без меня,
А дурак и со мной не научится.

А интересно было бы все-таки повидать кого-либо из бывших учеников Глазкова, людей, которым сейчас за пятьдесят, и расспросить, что они помнят о своем учителе, непохожем на других учителей! Какой след оставило в их детских душах появление Глазкова в Никольском? Не случайно же в одной из открыток тех лет (от 19 марта 1943 года) читаем: «Вчера пришел из Чернухи в Никольское. Сегодня приступил к занятиям. Ребята обрадовались, что я приехал. По-видимому, им без меня скучно».

Я познакомился с Глазковым уже после того, как он покинул сельскую школу, одолеваемый творческими замыслами, требовавшими воплощения. Он приобщал всех нас, его друзей,— каждого по-своему — к своим интересам и делам.

Коля рассказывал своим друзьям о знакомстве с Лилей Брик, показывал ее фотокарточку с теплой надписью. Она верила, что Николай Глазков будет большим поэтом.

В эту зоревую пору Глазков, как подавляющее большинство молодых поэтов, был отчаянным максималистом. Если он что-то или кого-то не принимал, то уж полностью. Высказывания Глазкова были полны задора и азарта. «Его строки,— говорил Глазков об одном известном авторе,— напоминают растопыренные пальцы, которые никак не удается сжать в кулак!»

Молодость всегда склонна к гипертрофии, но — при всем при том — в ней уже ясно проглядывает (во всяком случае, у таких людей, как Глазков) неподвластная чему бы то ни было определенность мнений.

Мне с Глазковым доводилось бродить по Откосу, присутствовать на его причудливых поэтических выступлениях, но все же больше памятна жизнь, связанная с домом Надежды Николаевны Глазковой, с ежедневным существованием в двух тесных комнатках, с долгими вечерами, заполненными молодыми голосами, азартными спорами, стихами. Говорят, за сорок лет ничего в этих комнатах не изменилось, они — как музей нашей юности.

У меня хранится одна очень давняя фотография Николая Глазкова. Такие фотографии клеили когда-то на паспорта и пропуска. Маленькая, с белым уголком для штампа внизу. В уголке — карандашом написано 1943. Глазкову тогда было 24 года. Коля смотрит исподлобья, серьезно и напряженно. Он острижен по распространенной моде того времени — «под бокс». Спереди — чубчик. Торчат уши, чуткие Колины уши, огромные, как локаторы... Таким он был в те первые месяцы нашего знакомства.

И снова в памяти зимний (почему-то всегда вспоминается — зимний) вечер. Коля пьет кипяток, обнимая стакан обеими ладонями, грея пальцы. Он рассуждает о поэзии и жизни. Слепая старуха — Колина бабушка сидит вроде бы безучастно, но, оказывается, и она прислушивается. Иногда ей что-то не нравится в Колиных словах, и она принимается сердито бормотать. «Бабушка,— говорит Коля неподражаемо ровным, бесстрастным и серьезным голосом,— ты вследствие своей классовой ограниченности впадаешь в беспринципный агностицизм». От непонятных слов своего странного внука слепая старуха сердится еще больше и, если Коля сидит поблизости, колотит кулаками по его широченной спине. Коля только усмехается и тем же бесстрастно-серьезным голосом произносит: «Бабушка, а ты не серчай, а пей чай!»

Этот дом был знаком Глазкову с детства. Он и его младший брат Жоржик (как ласково называли его в семье) провели в нем немало счастливых часов и дней. Мальчики приезжали сюда на школьные каникулы, приезжали на лето и просто так приезжали, чтобы еще и еще раз повидаться с тетей Надей и бабушкой — Александрой Терентьевной. В этот дом неодолимо тянуло всех Глазковых. Где бы они ни жили, именно этот дом ощущался самым родным, объединяющим, он способствовал восстановлению душевных и физических сил, помогал что-то понять и пережить. В одном письме Николай Глазков написал: «В жизни самое главное сама жизнь» [1]. Этот дом, видимо, и был «самой жизнью» — простой, прочной,

---

[1] Здесь и далее цитируются отрывки из писем Николая Глазкова к Надежде Николаевне Глазковой, а также к автору этих строк.

безусловной. Недаром и Сергей Николаевич Глазков, «дядя Сережа», несмотря на то что у него удачно сложилось семейное существование и вроде бы идеально отладился быт, подчас вдруг, без видимых причин начинал собираться в Горький: «Поеду домой!» — говорил он.

Под Новый, сорок четвертый год отпустили Лазаря Шерешевского из военных лагерей на побывку. Он пришел в военной форме, возбужденный, порывистый, нервный. Читал новые стихи: «...Я брал с налету счастье, как Житомир, И отходил на выгодный рубеж». Образы были навеяны последними сводками Совинформбюро. В эти дни наши войска вторично оставили Житомир. Было тревожно: снова немецкая танковая лавина покатилась в сторону Киева.

Но были у Лазаря еще и другие стихи — о Лере. Он писал тогда, по выражению Коли, не лирику, а лерику.

В этот вечер Лера уезжала к себе в Дзержинск, она не хотела оставаться с нами на Новый год, что-то у них с Лазарем не ладилось. Тот пытался удержать ее, выскакивал без шапки и шинели за Лерой на морозную улицу, я переживал за друга, выбегал вслед за ним и видел, как Лазарь целовал ее руки, а она резко выдергивала их. Я ненавидел Леру и тоже страдал. А Коля сидел в комнате, безмятежно усмехался и что-то быстро писал. Тогда я впервые услышал его стихи, посвященные Лазарю:

Все перепуталось: Лера, Россия,
Предопределение, рок...

Коля не переживал, подобно мне, и не говорил никаких утешительных слов, зато похваливал новые стихи Лазаря и делал это так, что все страдания обретали для Люсика смысл: можно было и стоило жить. И даже страдать.

Мы встретили сорок четвертый год дружной компанией молодых стихотворцев. Как все, мы пытались заглянуть вперед. Но что могли мы увидеть? За окном, под желтым кругом фонаря, плясали снежинки. Шла война...

Глазков напишет потом о городе, в котором оказался он в годы войны:

Здесь жил поэт Глазков в годах
Сорок втором и сорок третьем
И о Поэтогородах
Слагал стихи и бредил.

Какими бы аксессуарами эпатажа и демонстративного чудачества ни обставлял Глазков свою мечту о Поэтогра-

де, по сути, это была одна из многих утопий человечества о справедливой и радостной жизни:

Я хочу Поэтограда
Для себя и для тебя!

Поэтоград — глазковский «город солнца» — незабываем...

Воздействие творческого опыта Николая Глазкова на современную поэзию очевидно. Об этом писали Б. Слуцкий, Д. Самойлов, Е. Евтушенко... Но интересно, что, влияя на поэзию в целом, Глазков в то же время является, пожалуй, единственным большим поэтом, который не породил ни одного (подчеркиваю — ни одного!) подражателя или хотя бы плагиатора. Имитировать Глазкова невозможно, это дело безнадежное. Никто ни на секунду — в любом поэтическом самозабвении — не может, по-видимому, почувствовать стиль Глазкова «своим», поддаться столь распространенному сладостному самообману. Настолько органично сливаются в глазковских стихах самобытная личность и по-настоящему оригинальный, неповторимый поэтический мир.

2

Весной 1944 года Глазков окончательно вернулся в Москву. Мы в это время регулярно переписывались, присылали друг другу стихи. Колины письма всегда были шутливы, хотя жил он, должно быть, нелегко. Литературным заработком тогда Глазков прокормиться не мог — этого заработка попросту не было или был он столь незначителен, что его никак нельзя было принимать в расчет. Коля подрабатывал физическим трудом: что-то грузил, нанимался пилить дрова.

Его поддерживали Лиля Юрьевна Брик и Василий Абгарович Катанян. «Питаюсь я, в основном, у Л. Ю.» (Лили Юрьевны Брик),— пишет он в марте 1944 года. «У Бриков бываю ежедневно»,— сообщает он 8 апреля того же года. И снова: «Я написал два стиха и отправился к Брикам. Там поужинал и поговорил о стихах. Очень хорошо поговорить о стихах».

Первый раз я был проездом в Москве осенью сорок четвертого и, кажется, не успел побывать у Коли на дорогом ему Арбате. Зато с 1946 года, когда поступил в Литинститут, бывал у него часто. Недалеко от Смоленской площади — довольно просторный для центра Москвы двор. В глубине этого двора — двухэтажный, массивный

и приземистый дом, в нем-то и обретался Николай Глазков. Я подымался по деревянной лестнице, сворачивая налево, звонил. Дверь обычно открывал сам Коля. «Заходи, милый!» — говорил он, радостно улыбаясь, и мощно, с явным удовольствием, почти до боли сжимал руку.

В доме у Глазковых всегда толкалось много народу, всякие люди, случайные и неслучайные, литературные и нелитературные... У Глазкова ночевали, у Глазкова жили... Его квартира напоминала зал транзитных пассажиров. С каждым человеком он обязательно находил точку соприкосновения, какой-то общий живой интерес. Вообще дом Глазкова был одним из самых открытых домов, здесь можно было встретить кого угодно и услышать что угодно. Я знаю, что некоторых несколько смущала возможность столкнуться у Глазковых с людьми чуждыми и даже враждебными. Но Глазков не был, как могло показаться, «всеяден» и уж тем более беспринципен. В том-то и дело, что Глазков, никогда ни к кому не подлаживаясь, был свободен во всех проявлениях своего духа, но предоставлял такую же свободу другому! Я не помню случая, когда Глазков был бы с чем-нибудь не согласен и промолчал из каких-нибудь соображений. Энергичным голосом Коля говорил: «Неверно!» — подкрепляя интонацию столь же энергичным движением руки, после чего сразу же недвусмысленно излагал свою точку зрения. Ничье мнение или присутствие не могло остановить его. Так было всегда!

Глазков любил математическую точность доказательств. Иногда мне даже казалось, что, когда ему приходила в голову возможность парадоксального, но логического построения, он настолько увлекался этим, что готов был утверждать заведомо нелепые вещи. И все-таки — большей частью — за причудливыми словами Глазкова всегда стояла глубоко продуманная система представлений о мире. Глазков много размышлял об истории человечества, но как бы прятал свои мысли, точнее — не то что прятал, а облекал их в гротеск, что, впрочем, иногда прорывалось потрясающими откровениями на уровне настоящих пророчеств!

Но вернусь к московскому дому Глазкова. Видел я в этом доме и Алексея Крученых, и Сергея Наровчатова, и более молодых поэтов. Мало ли кто заходил сюда... Частыми гостями бывали якутские поэты, которых Глазков неутомимо переводил. Покашливал чахоточный Баал Хабырыыс. Коля с бесстрашным спокойствием запускал пальцы в его табакерку или подставлял ему свою. Его жена Росина только бледнела, она боялась палочки Коха. «Я хорошо проспиртован!» — успокаивал ее Коля...

Как-то в один из зимних дней я поздно засиделся у Глазкова. И остался ночевать. Часа в четыре утра — стук в дверь: Ксения Некрасова. «Коля,— сказала она тонким голоском,— дай мне иголку и тряпочки, я буду куклу шить». Коля невозмутимо, ни о чем не спрашивая, достал откуда-то всё, о чем просила ночная гостья, и ушел спать. Он не удивился и вел себя так, будто было не четыре утра, а середина дня. Ксения примостилась у окна и принялась за шитье...

Глазкова возмущало всякое небережное обращение с природой. То, о чем сейчас много пишут и говорят, Глазков неустанно повторял в давние-давние годы, когда в прессе об этом еще и речи не было. Глазков нежно и, я бы сказал, последовательно любил природу. Последовательно — потому что никогда не переставал подчеркивать полезность общения с ней. Нежно — потому что, несмотря ни на какие слова, не было в этом общении чистого рационализма, в Глазкове жила живая потребность наслаждаться травами, «незнамыми» реками, лесом, всем простором земли и неба. В разговорах и письмах он с неподдельным увлечением рассказывает, сколько собрал грибов, в какой реке и сколько раз купался, неизменно точно указывая температуру воды, быстроту течения и т. п.

«В сентябре я увлекся грибами,— пишет он в сентябре 1961 года.— Трижды ездил вместе с Иной по Киевской железной дороге до шестой зоны. Трижды притаскивали домой по два ведра грибов, в том числе первый раз было пятьдесят белых, второй раз — сорок белых, третий раз — тридцать белых.

Сейчас у меня в кухне за окном десять банок соленых и маринованных грибков. Шляпки белых прекрасно засушились над газовой плитой. Жареных грибов тоже было вдоволь. Но главное, конечно, не грибы, а сам лес, по которому за три дня я пробродил, должно быть, шестьдесят верст». И далее Глазков убежденно утверждает: «Лес очень успокаивает. И усталость после леса очень хорошая: гораздо лучше любой другой усталости».

Не без некоторого тщеславия и милой, детской похвальбы Глазков описывает раннее купание в еще холодной, наверное, реке: «Вчера я искупался в Москве-реке. Девочки и мальчики школьного возраста очарованно смотрели на меня. Дул буйный ветер, и температура воды была +8 по Цельсию» (открытка от 23 апреля 1975 г.).

Природа для Глазкова — источник здоровья, приро-

да — радость и наслаждение. Но при этом Глазков не обожествлял ее: природа тоже бывает всякой. «Любить всю природу так же нелепо, как любить всех людей... В природе не все заслуживает любви. Я никогда не любил зимы, хотя она и природная, и русская» (открытка от 6 мая 1978 г.). Действительно, Глазков всегда мучительно переносил холод: «Зиму воспринимаю, как несчастье»,— без какой бы то ни было рисовки жалуется он 18 января 1976 года. К зиме он относится как к живому существу, свирепому и злокозненному:

«В Москве стоит омерзительная погода: снег, который выпал, весь растаял, после чего наступили мерзкие холода. Больше всего на свете ненавижу зиму!

Искренне завидую медведю, который может забраться в берлогу и не ведать зимы.

Самочувствие у меня прескверное, из дому решил пока не выходить, чтобы не заболеть окончательно» (письмо от 14 ноября 1960 г.).

И еще один зимний отклик Глазкова:

«Сейчас зима. Не люблю я зиму, потому что морозы невыносимы. Холодно бры-убры; в заводи мерзнут бобры. И я, бедняга, мерзну, потому что зима несносна. Когда стоят холода, стараюсь не выходить никуда. С горя дома сижу и письма пишу, ничего хорошего в зимнем сезоне не нахожу. Не вижу в зиме никаких красот: зимой никакая трава не растет!» (от 30 декабря 1961 г.).

«Люблю жару»,— не уставал повторять он.

Впрочем, иногда (очень редко!) Глазков не впадал в уныние при виде снега и даже позволял себе острить: «Посылаю тебе свою фотографию, где я, человек подверженный всем простудам, гордо попираю снег босыми ногами» (апрель 1976 г.).

И все же основной мотив прежний: «Зима осточертела и опостылела, а месяц март только называют весенним, а он самый что ни на есть зимний».

Как будто все понятно. И надо же чтобы так вышло, что именно Якутия стала главным объектом глазковских посещений!

Любовь к природе, жажда увидеть все своими глазами и насладиться увиденным послужили первоначальным импульсом к неутомимым поездкам Глазкова по стране. Со свойственной ему серьезной самоиронией Глазков называл себя Великим путешественником. А начались эти путешествия в октябре 1947 года, когда Глазков ликующе сообщал: «Вот уже пять дней, как я нахожусь во Фрунзе. От Ташкента до Фрунзе мы летели на самолете. Я летел на самолете первый раз в жизни». Как положено Великому путешественнику, Глазков фиксировал

и резюмировал: «Все пассажиры почему-то уснули, а я всю дорогу смотрел в окно на снеговые вершины Тянь-Шаня...»

Глазков подробно и с видимым удовольствием рассказывает о своих поездках: «Послезавтра в 9 часов 10 минут по московскому времени я отправляюсь в великое путешествие. Поезд следует до станции Лена (на карте это город Усть-Кут). От Усть-Кута, точнее — от пристани Осетрово мне предстоит проехать на пароходе две тысячи верст до Якутска» (15 июня 1962 г.).

«...Больше всего на свете люблю путешествовать...» (13 июня 1964 г.).

«Путешествия — мое любимое занятие. И книга, которая у меня скоро выйдет, будет о путешествиях» (9 октября 1965 г.).

Глазков сдержанно ликует: 13 декабря 1965 года он получает членский билет Географического общества СССР! «Общество это основано в 1845 году. Его членами были великие путешественники. И я тоже великий путешественник, изучающий бескрайние просторы Якутии...»

Из многочисленных поездок летят открытки: «Выехал в Горький», «Я весь в Сухуми», «Я весь в Гагре», «Воду Иссык-Куля я трогал рукой...»

4-го сентября 1963 года Глазков улетает в Хабаровск.

Все путешествия перечислить невозможно. Но вот еще: «Март у меня был киргизским, а апрель — казахским,— сообщает Глазков в письме от 1 мая 1967 года.— Оно и понятно, ибо я великий путешественник. Пустыню на поезде я пересек пятый раз. После пустыни наша русская природа особенно привлекательна».

Глазков всегда с нетерпением ждал весну: «Приход весны означает для меня начало путешествия» (8 апреля 1970 г.).

«Мое здоровье прямо пропорционально летнему зною и обратно пропорционально зимнему холоду» (26 сентября 1970 г.).

3

Глазков понимал человеческие слабости и не обижался на дураков: они же не виноваты, что они такие! Однако совсем не реагировать на глупость он не мог. Вспоминается, как один молодой поэт начал вдруг в присутствии Коли раздраженно изображать его речевую манеру, говорить, что у Глазкова плохие рифмы и т. п. Все были в смятении, только Глазков, казалось бы, пропустил все мимо ушей. Он по-прежнему улыбался и, как будто даже соглашаясь, кивал головой. Но потом —

в течение всего вечера — не демонстративно, нет, а как-то естественно-непринужденно не обращал на молодого человека внимания. Глазков как бы исключил его из общения, он не заслуживал ни возражений, ни спора, потому что его представления были ниже, по терминологии Глазкова, «уровня воды».

Глазков был насмешлив. Но вне экстремальных ситуаций насмешливость была доброжелательна и мягка. Глазков с опытностью и зоркостью пародиста умел выявлять в людях какие-то главные черты характера, слабости, увлечения и не удерживался от подтрунивания над ними в строчках и в разговорах. Но, кажется, никто никогда на него не обижался, ибо делал он это со свойственной ему добродушной деликатностью.

Глазков любил игры (недаром когда-то написал: «А смысл самый больший в играх»). Особенно — шахматы. Мы играли с ним часто и с удовольствием. Я лучше был подготовлен теоретически, но у него была упорная воля, и это уравнивало силы. Играли с часами «блицы». Впрочем, Коля уклонялся от пятиминуток, ставил всегда на десять. Он не любил проигрывать: проигрывая, становился всегда мрачным, даже раздражительным, стремился во что бы то ни стало отыграться. Выиграть и уйти из его дома было просто невозможно — с такой просительной настойчивостью он предлагал: «Еще одну сыграем... ну, еще одну...» Лицо у Глазкова становилось все более угрюмо-сосредоточенным, почти ожесточенным. Зато, отыгравшись, он сиял, как дитя после купания, и смотрел на партнера с непередаваемой ласковостью и дружелюбием, с готовностью сочинял и тут же дарил какой-нибудь приятный стихотворный экспромт.

В марте 1964 года Колина жена прислала мне фотографию, которая здесь и воспроизводится. Мы с Глазковым играем в шахматы. За игрой наблюдает детский писатель Сергей Козлов. Хорошо видна позиция. Коля играет белыми, я — черными. У него ладья против пешки. Но у меня король и пешка на третьей горизонтали. Сейчас (рука протянута) я двину короля на *f*2, ладье придется отойти. Через два хода Коля наверняка вынужден будет отдать ее за пешку. Но у него есть еще ферзь! Мой палец на кнопке часов. Наверное, я играю на время: других шансов у меня нет. Коля спокойно смотрит на доску... Аквариум. Настольная лампа. Календарь. Пузырек с чернилами. Стеллажи с альбомами. Вдали — на одном из них — легко прочитывается надпись: «Хохлома». Как давно и недавно это было!..



В кабинете Н. Глазкова на Арбате (слева направо): Н. Глазков, С. Козлов, Р. Заславский. 1964 год

В нашу последнюю встречу, за несколько дней до смерти, Глазков не забыл надписать и подарить мне страничку из «Шахматного бюллетеня», посвященную его шестидесятилетию. Здесь и статья о Глазкове-шахматисте кандидата в мастера и спортивного поэта Евгения Ильина, и фотография Коли за доской, и, наконец, стихи Глазкова, в которых он объясняет, почему предпочитает шахматы другим играм, таким, например, как лото с его слепым везением. Шахматы Глазкову понятней и приятней, ибо: «На клетках шахматной доски немыслима несправедливость!»

4

Не так уж много сохранилось у меня писем и открыток Николая Глазкова. А было их у меня, может быть, сотня, а то и две. Я сам виноват в утрате — и глубоко сожалею об этом. Особенно невосполнима потеря писем 1944—1945 годов, когда я — в мои 16—17 лет — регулярно, чуть ли не каждый день, посылал Глазкову новые стихи, а он так же аккуратно высказывал о них свое мнение и заодно вкладывал в конверт собственные произведения. Кроме того, со свойственным ему

очаровательным юмором Глазков повествовал о своем житье-бытье, завершая письма обычной для него аббревиатурой «т. д.» — «твой друг».

Вот, например, веселое, полное энергии, задора и жизнелюбия письмо, которое я получил от Глазкова 12 мая 1965 года. «...Позавчера вернулся из Владимира — города, основанного киевским князем Владимиром Мономахом — тем самым, у которого шапка.

Во Владимире я убегал от разъяренной толпы, быстро-быстро уплывал на лодке, потом вбегал в собор Покрова на Нерли и залезал на крышу собора. После полета воздушного шара я, бедняга, разбился и четыре часа лежал на земле.

Если не веришь, то посмотри кинофильм «Андрей Рублев», который через год появится на экране...»

Глазков был необыкновенно внимателен к друзьям. И не ленив в проявлении этой внимательности. Во всяком случае, я это чувствовал на себе всегда. Стоило ему увидеть в какой-нибудь газете мой перевод, как он тут же аккуратно вырезал его и присылал мне. Даже если это была всесоюзная газета (скажем, «Литературная»), о публикации в которой я не мог не знать. Я уж не говорю о менее заметных изданиях. Так, если б не Глазков, я действительно не узнал бы, наверное, о перепечатках некоторых моих стихотворений в календарях, ибо никогда не просматривал их. А Глазков присылал мне отрывные листики и по-деловому, хотя и весело, сообщал: «...за стихи, опубликованные в календаре, тебе причитается гонорар. Напиши об этом в Политиздат — и тебе вышлют денежки» (открытка от 23 декабря 1972 г.).

Каждый год Глазков подводил итоги сделанному. Он неустанно перепечатывал свои стихи и переплетал в рукописные книжечки. Он с охотой раздаривал их друзьям и даже случайным людям.

Глазков оформлял свои «домашние» издания с выдумкой и любовью. Он расписывал заголовки цветными чернилами (каждую букву другим цветом), сопровождал дарение милыми, чаще всего шутливыми, стихотворными экспромтами. Как, впрочем, и на «настоящих» книгах:

Ритику Заславскому —
Критику заправскому.
От рассвета до заката
Изучай мои стишата.

Одна из рукописных книг Глазкова особенно дорога мне. Под дарственной надписью, сделанной в обычном шутливо-панегирическом тоне, стоит дата — 4 марта 1964 года. Это день моего рождения. Как нарочно, именно в этот день мне вернули мои рукописи сразу в двух московских издательствах. Расстроенный, уставший, не знающий куда себя девать, я интуитивно понял, что лучше всего, наверное, пойти к Глазкову. Коля, как всегда, не утешал. Наоборот, рассказал несколько подобных нелепых историй (может быть, он их тут же придумал), поиграл со мной в шахматы. А на прощанье подарил свой рукописный сборник. Я сидел в вагоне метро и читал. Несмотря на все мои обиды, я начал незаметно улыбаться. Ну, чего, в самом деле, так огорчаться? С кем не бывало такое? Листаю книжечку-самоделку — и вдруг натыкаюсь на строки:

Вот и всё. Но довольно об этом!..
Я смотрю уходящему вслед.
Молодым я считаюсь поэтом,
А душе моей тысяча лет!

И сразу все отошло. Можно ли так заводиться на мелочах? Глазков и здесь помог почувствовать масштабы, пропорции, смысл, время...

А душе моей тысяча лет!

На это ощущение и надо ориентироваться. Ничего страшного. Точка еще не поставлена...

У Глазкова были свои излюбленные словечки. Со временем они менялись, но держались обычно долго — годами. «Это трогательно!» или «Это забавно!» — говаривал Коля. «Молодец!», «Приветствую!» Были и стихотворные присказки на все случаи жизни...

Если мы даже несколько лет не виделись, то новые словечки при встрече узнавались быстро: Коля повторял их множество раз, на все лады, в разных контекстах, придавал им множество оттенков и значений. Некоторые слова переходили и в стихи, другие — оставались только в обиходной речи. Эти слова, как правило, сопровождались особенными «глазковскими» жестами, без них они вряд ли были бы так объемны и выразительны.

Для меня самое памятное и устойчивое словечко Коли — «наплевизм». С военных лет помню широкий спектр применения этого слова. Коля не выносил равнодушия в людях — к делу, друг к другу. Недаром это слово обрело у него окончание «изм», то есть стало как

бы социально-терминологическим. Вслед за ним это слово употребляли и мы, его многочисленные друзья, тем самым способствуя его укоренению в жизни как особого понятия.

5

Это было 22 сентября 1979 года. Я позвонил: так и так, я — в Москве, можно ли прийти и когда.

— Коля очень обрадовался, приходите сегодня в любое время,— сказала Росина. И тут же предупредила: — Если меня не будет дома, позвоните в дверь и терпеливо ждите. Коля откроет, но он очень долго добирается до двери: ноги у него не ходят...

Я знал, что Коля в последние годы болеет, но, честно говоря, не придавал этому серьезного значения. Уж очень не вязалась с Глазковым всякая немощь, слабость, физическая усталость. Так думал не только я, но и многие Колины друзья, жившие в Москве и видевшие Глазкова часто. Еще в 69-м году наш общий друг писал мне: «Как ты, вероятно, знаешь, 31 января Коле Глазкову стукнет аж 50 лет,— чего бы, глядя на его с годами не меняющееся лицо, никто бы не сказал». Даже другое письмо — уже 1978 года — не очень всполошило: «Это хорошо, что Коля тебя поздравил. Он ведь тоже болеет, несокрушимый богатырь: жалуется на боли в ногах, за лето похудел на 9 кг». Но все это казалось несущественным, случайным, преходящим. С кем угодно может случиться что угодно, но не с Колей: он же рассчитан на сто, на двести лет!

И вдруг: «долго добирается до двери», «ноги у него не ходят».

И вот я еду по филевской линии метро к Аминьевскому шоссе, я не был еще в этом новом обиталище Николая Глазкова, и мне трудно совместить его фигуру с другим пространством, представить среди, может быть, тех же, но совершенно иначе расставленных вещей. Покачиваются в авоське дыньки-колхозницы, возле белого девятиэтажного дома потерянно бродит маленькая светло-коричневая собачка.

Вот и дверь: сейчас увижу Колю. Звоню. Открывает Ина: она, слава богу, успела вернуться.

— Не обижайся,— впервые перейдя на ты, быстрым шепотом говорит она,— если Коля скажет что-нибудь резкое, он сейчас такой злой.

Я иду по коридору совсем незнакомой квартиры, никак не связанной для меня с Глазковым,— и вдруг в конце коридора, в проеме двери дальней комнаты вижу

Колю. Он стоит, чуть наклонившись вперед, как-то всем телом навалившись на костыли. Стараюсь быть невозмутимым, что-то говорю. Медленно вдвигаемся в комнату. Коля опускается в кресло. Скулы обтянуты и блестят, бороденка торчит, как у старого дьячка, дышит Коля трудно. Начинаем разговаривать. Я рассказываю что-то об одном нашем приятеле. Коля слушает с жадным интересом.

Потом хмуро говорит:

— Недавно приходил Наровчатов и жаловался на него...

Коля зябко ежится, трет ладони и каждую реплику начинает фразой:

— Теперь, когда я больной и калека...

— Коля,— говорю бодрым голосом, как будто у нас обычная встреча,— давай есть дыни.

Коля отвечает:

— Приветствую! — и внезапно делает рукой — почти как прежде — энергичный жест.

Мы едим дыни, пьем чай.

Коля говорит:

— Камни тоже живые существа! Они растут, видоизменяются, умирают. Вот посмотри...

У него коллекция минералов. Мы разглядываем их. Глазков вообще любит коллекционировать, это с детства в нем. Какая была радость, когда дядя Сережа обещал подарить марки! Как в своих детских письмах Коля торопил его!

Сидим, разговариваем о разном.

Заходит речь о переводах.

— Я однажды спросил у Толи Старостина, редактора, который дал мне подстрочники для перевода: «Перевести — как мне хочется или так, как написали якуты?» — «Нет,— ответил редактор,— ни так, ни так: переводить вы будете, как мне нужно».

Потом сердито о своем сумасбродном товарище-чудаке:

— Надо печататься! За всю жизнь он один раз напечатался в «Советском воине» и один — в многотиражке. Думает, что принципиален, а это — непрофессионализм. Так становятся не гениями, а графоманами...

И вдруг спросил:

— А ты знаешь, почему Оттоманская империя так усилилась между XV и XVII веками и стала одерживать победу за победой?

Я не знал, начал что-то на ходу соображать, фантазировать.

Коля был доволен, глаза его по-старому заблестели:

— Нет, все дело в усовершенствовании турецкой сабли, в ее превосходстве над рыцарским мечом!

И долго подробно объяснял, какая она была, эта турецкая сабля (форма, изгиб, эфес, каление), и какой стала.

Внезапно разговор прервался, Глазков как бы отключился, рука его потянулась к бумаге, он принялся что-то записывать. Росина незаметно кивнула мне головой: мол, выйдем. Вышли. Он — как не заметил.

— Потрясный мужик! — сказала восхищенно Колина жена. Как будто говорила не о муже, рядом с которым прожила столько дней и лет, а о только что увиденном ярком новом человеке. И, как будто желая меня убедить в справедливости своего восклицания, добавила:

— Он же знает наизусть таблицу Менделеева!

Глазков действительно был широко образован, его интересы и знания касались самых неожиданных вещей, и о всем у него было свое, глубоко продуманное суждение.

— Он все время работает,— говорила Росина.

Через некоторое время она осторожно заглянула в Колину комнату и позвала меня. Коля сидел сгорбившись, весь какой-то изнуренный. Несмотря на теплый сентябрь, он мерзнет, не разрешает открывать форточки, целый день включен большой рефлектор... Коля, видно, устал от напряжения мысли и писания: скулы еще резче обтянулись, блестят капли пота. Он протягивает руки к рефлектору и тяжело дышит. Надо уходить. Но перед тем, как уйти, я нашел повод процитировать наизусть Колины строки, как бы невзначай почитать Глазкову его стихи. Коля оживился, что-то в нем снова вспыхнуло и загорелось.

— Коля,— сказал я,— так и не приехал ты в Киев, все путешествуешь в Якутию. Выздоровеешь — приезжай!

Коля заулыбался, закивал головой, а потом снова произнес свою фразу:

— Теперь, когда я больной и калека...

Он придвинул к себе только что вышедшую книгу «Избранные стихи», открыл обложку и что-то начал писать.

Потом посмотрел на меня и тихо сказал:

— Вот я написал тут: «Стародавнему другу Ритику Заславскому от автора 22 сентября 1979».

Он долго задерживал мою руку в своей, пожатие было слабым-слабым (это у Коли-то!). Руки у него в шерстяных перчатках, у которых отрезаны мешочки для пальцев, чтобы удобней было писать.

— Видишь, я в перчатках,— сказал он как-то виновато и несчастно улыбнулся...

В автобусе я раскрыл книгу. Надпись была двухцветной: даже в своем трудном состоянии Глазков не изменил привычке!

С портрета смотрел Коля — крепкий, улыбчивый, с оттопыренным ухом и чертячьей бородкой, такой годящийся для жизни!

Я уехал в Киев. Через девять дней ночью раздался длинный междугородный звонок.

— Коля умер! — сдавленно произнес наш общий друг и повесил трубку.

6

Когда в кинотеатре Повторного фильма иногда пускают «Андрея Рублева», я беру билет на самое крайнее место в первом ряду и захожу в темный кинозал всего на несколько минут... В самом начале первой серии медленно опускается на землю Летающий мужик. Это — Глазков, без грима, такой, каким был. Я смотрю на него, а когда набегают другие кадры — встаю и ухожу. Я ведь не кино пришел смотреть, а еще раз взглянуть на тебя, мой стародавний друг... Вот и увидел. Прощай, Коля!

Риталий Заславский

* * *

Издайте настоящего Глазкова!
Какого знают наизусть друзья,
Издайте, наконец, его такого,
Какого опасались: мол, нельзя!
Пусть прозвучит его живое слово —
Без троеточий, пропусков, купюр,
С редактора снимите десять шкур —
И с цензора снимите десять шкур —
Издайте настоящего Глазкова!
Издайте молодого, озорного,
И старого. И самых разных лет.
Пусть будет то, чего на свете нет —
Изданье настоящего Глазкова!
Не бойтесь сотрясенья никакого —
За исключеньем сотрясенья душ.
Да отомрет сама собою чушь
При виде настоящего Глазкова!

ПИСЬМА ВОЕННЫХ ЛЕТ

Л. Ю. Брик и В. А. Катанян Н. Глазкову

20.12.42 г.

...Вчера был у нас Миша Кульчицкий. Придет завтра читать Ваши стихи, а пока дал для Вас свое фото. Сейчас он на это фото не похож. Он внешне очень изменился, огрубел,— глаза стали маленькие, зато щеки — огромные. Стихов своих не читал, растерялся оттого, что мы так неожиданно приехали; обещал все прочитать завтра. Показывал свои стихи, напечатанные в фронтовой газете — очень слабые. Мы с Василием Абгаровичем очень-очень ему были рады! Он лейтенант и, очевидно, скоро отправится на фронт в гвардейскую часть. Он очень хороший, очень любит Вас.

Слуцкий был легко ранен, выздоровел и вернулся на фронт, и вот уже два месяца о нем ничего неизвестно. Коган и Смеляков [1] убиты.

30.12.42 г.

...Много новых стихов у Пастернака, Асеева, Кирсанова. Есть хорошие. Но не лучше старых.

Посылаю Вам бандероль кирсановского «Смыслова»... 26-го Миша [2] уехал на фронт. Адрес его пока неизвестен. Я дала ему Ваш. Обещал написать и Вам и мне. Ваши стихи ему очень, очень, очень нравятся.

А вот его последние:

Мечтатель, фантазер, лентяй, завистник!
Что? Пули в каску безопасней капель?
И всадники проносятся со свистом
Вертящихся пропеллерами сабель.
Я раньше думал: «лейтенант»
Звучит «налейте нам».

---

[1] Сведения о гибели Я. Смелякова ошибочны. Сражаясь на Карельском фронте, он попал в окружение и до 1944 года был в финском плену.

[2] М. Кульчицкий.



Михаил Кульчицкий. 1941 год

И, зная топографию,
Он топает по гравию.
Война ж совсем не фейерверк,
А просто — трудная работа,
Когда — черна от пота — вверх
Скользит по пахоте пехота.
Марш! и глина в чавкающем топоте
До мозга костей промерзших ног
Наворачивается на чоботы
Весом хлеба в месячный паек.
На бойцах и пуговицы вроде
Чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
С ежедневными Бородино.

11.12.43 г.

...Посылаю 22 листочка стихов Наровчатова «Лирический цикл» от и до. Два стиха, которые Наровчатов называет «офицерскими», и еще несколько.

6.2.43 г.

...Адрес Наровчатова: Действующая армия, полевая почта 57872А. Адрес Слуцкого: Действующая армия, полевая почта 06478.

Сережа Наровчатов читал нам стихи Львовского.

...Дали Ваши стихи Наровчатову — ему они зверски понравились!! Он взял их с собой на фронт.

24. VIII. 41. Мил-Коля!
У нас с Генриетой усе у порядках. Дом наш цел. Фугас погас и ни фигас. Ась? Как ты богатыришь? Тебе поцелуй.
← это поцелуй.
Пиши многовато разных письм. Настроение бодрое: тушим бомбы из собственной помпы
Мигуэль. Генр 24/VIII.

Письмо Михаила Кульчицкого Николаю Глазкову в Горький от 24 августа 1941 года

С. Наровчатов — Н. Глазкову

4 ноября 1943

Коля, милый!

Твое письмо — хороший подарок к празднику. Жму лапы за него — рад ему сердечно. Спустя два года войны найти друг друга мудреная вещь, но мы должны были вынырнуть из этого коловорота... Интересно, что последнюю мирную ночь перед войной мы провели вместе. Я помню и чтение стихов, и шахматы, и яснополянца, пригласившего нас отолстовиться у него в гостях недели на две... С тех пор много дней прошло, нас разметало войной, но мы не потеряли главного — мы ничего не потеряли. Я был рад прочесть твои стихи — это настоящее и большое. Л. Ю.[1] передала мне, к сожалению, слишком мало твоих стихов — у нее не было дубль-экземпляров. У меня есть «Любвеографическое», «Про сосульку», «Про корову», «Мы в лабиринте», «Глухонемые», «Молитва», 10—15 четверостиший из старого и «Гоген». Вышли немедленно — и как можно больше. Хочу читать тебя.

Расскажу о себе. На фронте с октября 41-го года. Сейчас уже на третьем — был на Брянском и на Волховском. Был бойцом, младшим командиром, офицером. Работаю в военной газете разъездным корреспондентом. Член партии. Награжден двумя медалями — «За оборону Ленинграда» и «За боевые заслуги». Вот анкетные данные, так сказать. Стихи пишу с перерывами, но все время. В Ленинграде, где я бываю довольно часто, их встретили хорошо. Напечатался несколько раз в «Ленинградской правде», видимо, буду напечатан в журналах. Перезнакомился со всей питерской литературой. Тихонов меня встретил хорошо, и я у него теперь бываю в каждый ленингр. выезд. Если б удалось закрепиться в печатании — вытянул бы вслед за своими и твои стихи. Рано или поздно придет время и для них. Популяризую их широко — они хорошо принимаются. Достаточное число, конечно, объявляет их бредом,— но это, в конце концов было и будет, а стихи от этого не становятся хуже...

Среди моих друзей — поэты Мишка Дудин и Георгий Суворов. Оба обильно печатаются. Это талантливые ребята, но пишут традиционные стихи и новую поэзию знают мало.

Прислал мне письмо Дезька Кауфман[2]. Он сержан-

---

[1] Лиля Юрьевна Брик.

[2] Давид Самойлов.

том, где-то рядом с тобой отдыхает после ранения. С ним далеко можно идти — это человек большого дерзания и замаха, с хорошим ощущением нового. Он ставит вопрос о создании новой эстетики. Стихи пишет, но не присылал, пришлет. Я последнее время пишу мало. Летом писал запоем. Скоро снова возьмусь — подпирает под горло.

В Москве был 10 дней... В Литинституте мало что интересного...

Поздравляю тебя с праздником. Желаю всяких хорошестей — стихов и удач по всем линиям. Да хранит тебя Звезда поэтов и бродяг...

Сергей.

3 марта 1944

Дорогой Коля!

Долго ты, брат, не писал мне, но я незлопамятен...

Был у нас не так давно Кирсанов — читали друг другу, был рад ему. Он увез с собой приветы Брикам и тебе. Пропагандирую твои стихи. Заезжал к нам редактор ленинградской военной газеты — Гордин. Едва ли не до утра читал ему себя и тебя — слушал взасос. Стихи твои здесь в(есьма) популярны, что меня радует. У тебя есть шикарные стихи, хоть есть, конечно, и неважнецкие. Но про «хоть» я говорить не буду — оно у всех бывало. Что мне нравится?

Не Дон Кихот я и не Гулливер... (4 строки) [1]

Вхожу я со своим уставом

Во все монастыри... (все ст-ние)

Мои читатели... (все ст-ние)

Поэзия — сильные руки хромого...

и десятки других четверостиший и стихов.

И знаешь что, Коля? Ты часто озоруешь в стихах самым бесстыдным образом, и, по-моему, не стоит тебе особо нажимать на эту линию (я говорю о стихах типа «Про сосульку», «Про корову» и т. д.). У тебя последние годы появилась другая линия, выросшая, может быть, из первой, но очищенная от шелухи и глубокая — развивай ее. Бог тебя наделил редкостным талантом (мне ты можешь поверить, я в этих вещах смыслю), и я хочу, чтоб на Руси был еще один Большой поэт. И ты выиграешь бой с узколобьем — но увлекаться эпатированием чре-

---

[1] Не Дон Кихот я и не Гулливер,
И книгою меня не наградили,
И у меня царя нет в голове.
Так что ж? Там у меня демократи́я!



Сергей Наровчатов. 1943 год. Рисунок М. Гордона

змерно не стоит — это стадия первоначальная, и ты ее уже прошел. Что тебе до славы Саши Черного — мало! «Про сосульку» я помню наизусть и каждый раз хохочу, как ошалелый, но равнять ее с теми стихами, о которых писал вначале, не могу. Кстати говоря, озорные стихи больше всего находят спрос и легче всего усваиваются, как я заметил,— но это еще не главное для нас. А в целом ты молодец и настоящий поэт.

Пишу мало. Трудноватая обстановка для пера. Написал одну вещь в старой своей манере — получилась единым выдохом.

Ты ли нагадала и напела,
Ведьма древней русской маеты,
Чтоб любой уездный Кампанелла
Метил во вселенские Христы?!

И каких судеб во измененье
Присудил мне дьявол или Бог
Поиски четвертых измерений
В мире, умещающемся в трех?

Нет, не ради славы и награды,—
От великой боли и красы
Никогда Взыскующие Града
Не переведутся на Руси!..

Но это — случайное. И со старой линией я развязался — узкая она, и обо всем, что вокруг и в себе, ее словами не скажешь.

Что нового в Москве? Увидишь Нину Бондареву — привет ей, я что-то вспомнил вдруг, как на ее квартире мы всю ночь читали с тобой стихи в обществе Кульчицкого, Бориса Слуцкого и других ребят. Хорошее было время. Привет Брикам и Сельвинскому (коли увидишь).

Счастья и удач.

Расцеловываю, жму лапы.

Сергей.

11 мая 1944

Коля, милый!

...Был в Ленинграде. Спорил с Ольгой Берггольц и пил здоровье поэзии с Мих. Дудиным... Ленинград хорош. Время прошло бурно и разноцветно.

...Пишу стихи.

Когда б
за сердечные раны
судьбой
Нашивки дарились —
мне бы
В красных и желтых —
одна к другой —
Ходить
полосатей зебры.
Но как выздоравливающего
бойца
Из госпитальной палаты,
Тянет туда,
где в разлет свинца
Золотые
идут ребята...

Сергей.

26 августа 1944

Коля, дорогой мой!

Лежу на траве. Кругом парк — разные там столетние липы, вязы, сосны и другие, которых не знаю по имени. Солнце рядом и море рядом — роскошь. До фронта недалеко — слышно, как ухает артиллерия...

Сейчас перелистывал книжку Ольги Берггольц, кото-


Смерть немецким оккупантам!

С новым годом — годом победы!

ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА

Москва
Арбат
д. 44 кв 2

Кому 1 Глазнову Н. И.

Адрес отправителя:

Полевая почта 57872 А

(Указать номер полевой почты)

Наровчатов

(Фамилия, имя и отчество)

Г111341. Воениздат НКО СССР. По заказу Военкниготорга. Цена 10 коп. Типогр. газ. „Правда" имени Сталина. Зак. 3229

привет Реньку, Косне, Юрику.

23.VIII.44

Дорогой Коля!

Неделю назад возвратился в редакцию. Живем в дачном поселке. Не считая командировок — жизнь размеренная и простая. Медленно пишу новые стихи.

Нас приохотили к песням. походы
И песни военных удач и невзгод
Жизнь измеряя упорством пехоты
Славили жизнь, как солдатский поход.

Скоро пришлю. Вчера пришла „Литгазета" с Симоновской статьей о Луконине, Недогонове и мне. С нашими стихами понравились выводы, сильные своей конкретностью. Б. м. что-нибудь и реализуется. В Л-де мне предложили вступить в ССП. Напечатали стихи в „Звезде" и будут еще печатать. А факт появления статьи — в. знаменательно и хорошо. Расскажи мне о моск. новостях. Что пишешь? Присылай — жду. Целую крепко. Пиши. Сергей.

В Л-де читал Шкловскому твои стихи — в восторге.

Фронтовое письмо Сергея Наровчатова Николаю Глазкову от 25 августа 1944 года

рую она подарила мне в Ленинграде. Искал причину ее популярности и, кажется, нашел. А стихи при всей обедненности внешних средств и детского неумения владеть формой попадаются сильные.

Написал стихи. Новые и на новом пафосе.

...Об участи русской, о сбывшемся чуде,
Где люди, как звезды, и звезды, как люди.

...Счастья, удач и гениальных стихов!

Сергей.

2 октября 1944

Коля, дорогой мой!

Все эти дни мы были в походе — гнали немцев в море. Дни были буйные и счастливые — было много риска, вина, поцелуев и верст. Риска — ходил в разведку, одним из первых вошел в город с черепичными крышами, отстреливался от немцев. Вина — в одном городе попал на пивзавод, где ходил по колено в пиве и пил из ведра, и боялся утонуть, потому что разгромленные бочки в полдома величиной грозили затопить подвалы. Поцелуев — прямо с машины расцеловал эстонку, подбежавшую ко мне с букетом цветов, встречая русские войска. Верст — за неделю прошли всю Эстонию и спихнули немцев в море. Жизнь пестрая, неожиданная и непохожая.

Насчет стихов о песнях — согласен. Они мне разонравились еще месяц назад. И не делай скидок на чтение — стихи должны быть хороши или плохи сами по себе...

В Пярну стоит памятник Лидии Койдуле — это национальная поэтесса. Она в хитоне, с лирой и туманной улыбкой. Судя по переводам — это эстонская Ольга Берггольц. Народный цикл о Калеве — мощная штука, но довольно бесформенная... Сейчас мы на отдыхе, поход закончен. Снова пишу — и много, наверстываю упущенное в сентябре. Одно шлю.

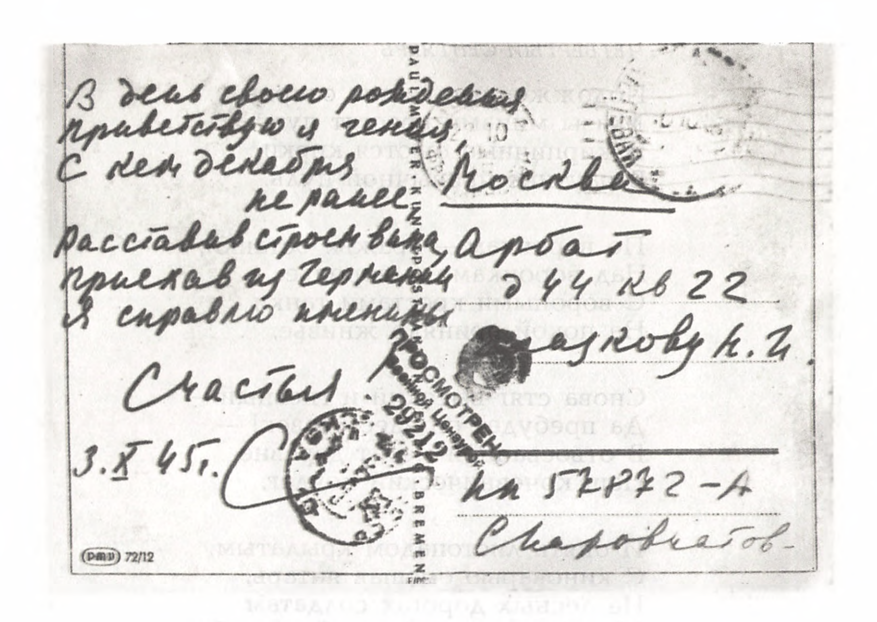
Пиши мне, милый. Стихи, что прислал,— хороши, подробнее о них в следующем письме. Много целую. Счастья!

Сергей.

6 октября 1944

Дорогой мой Коля!

После похода — отдых, и я снова пишу стихи и письма. Из присланного тобой многое понравилось по-насто-



В день своего рождения
приветствую и ценю.
С ней декабря
не ранее
Расставив строки вина
приехав из Германии
я справлю именины.

Счастья

3.X 45 г.

Москва
Арбат
д 44 кв 22
Глазкову Н.И.

пп 57872-А
Наровчатов

ПРОСМОТРЕНО
Военной цензурой
29212

Открытка Сергея Наровчатова Николаю Глазкову от 3 октября 1945 года

ящему, хотя там и неравноценные стихи есть. «На взятие Бреста» — одно из лучших... На память запомнил стихи:

На прощанье прикурили
О сгоревшие дома

и дальше. Но есть и шлак — не нравится мне «Шли мы. Была река», «Немцы ехали на паре» и еще кое-что... Умно сформулировано:

Настало время подводить
Итоги схоженных шагов,
Кандидатуры отводить
Неточно сложенных стихов,—

хотя рифма «подводить — отводить» и псевдорифма, но формулировка ее покрывает.

Посылаю тебе еще стихи. Они не из лучших, но в них есть, как говорится, стержень — за него и ухватись. Написал еще несколько — скоро пришлю.

После похода меня произвели в капитаны и наградили Красной Звездой. Все это произошло в день моего 25-летия — 3 октября, и я был весел и хмелен.

Пиши мне и шли стихи. Крепко целую. Желаю счастья.

Сергей.

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕНТЯБРЬ

Подожженные светят скирды,
Мызы минами крестят путь,
И кирпичные бьются кирки
В паутине привычной пуль.

По воронкам — вражьи останки,
Над воронками — воронье.
С вороными крестами танки
На покой приняло жнивье.

Снова стяг высокий и гневный —
Да пребудет он здесь вовек! —
В отвоеванной метит деревне
Наш кочевнический ночлег.

И опять листопадом крылатым,
С киноварью смешав янтарь,
На лесных дорогах солдатам
Машет вслед четвертый сентябрь.

И застенчивые эстонки,
Не боясь, что скажет молва,
Без оглядки дарят вдогонку
Задыхающиеся слова.

Но, о близком томя просторе,
Запах соли несут ветра...
Привечай же нас, древнее море,
Море Новгорода и Петра!

С.

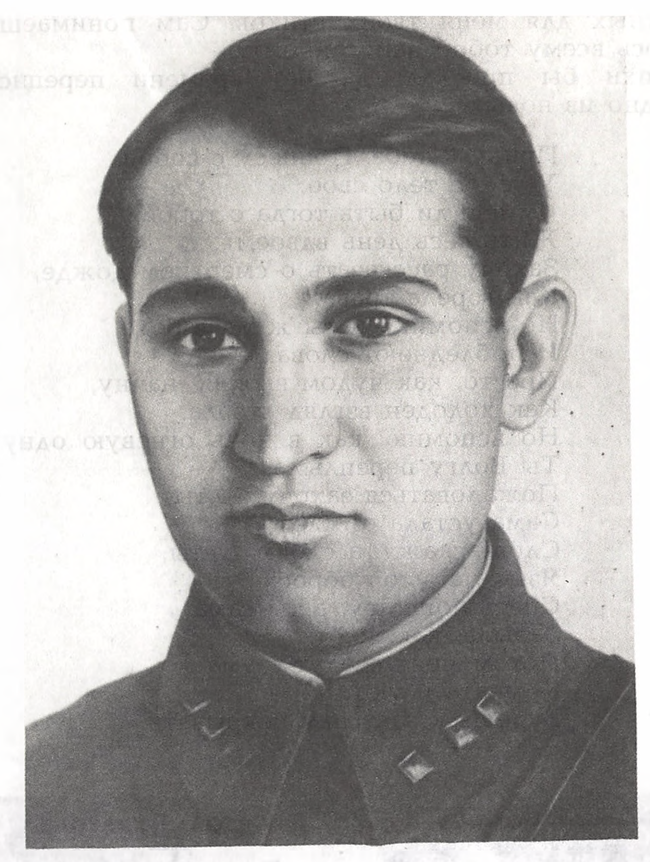
М. Луконин — Глазкову

22 января 1944

Родной Коля!

Только что прилетел на самолете, как твое письмо снова взмыло меня в поднебесье! Открытка и письмо — одно лучше другого. Все дерзко, весело, смело! Да здравствуют хорошие друзья!

Твоя арифметика навела меня на грустные размышления: как мало я сделал! Впрочем, ты всегда писал молниеносно, [...] то есть быстро + хорошо. Друг мой, скоро ли мы снова станем плечом к плечу? А? Ведь все



Михаил Луконин. 1942 год

онемело без нас, и, что еще хуже, раздаются всякие звуки, не родственные поэзии. Да будет наша встреча рождеством настоящего Поэтограда! Главное — не унывать. Главное — «нервы толщиной в палец»! — как говорят наши гвардейцы.

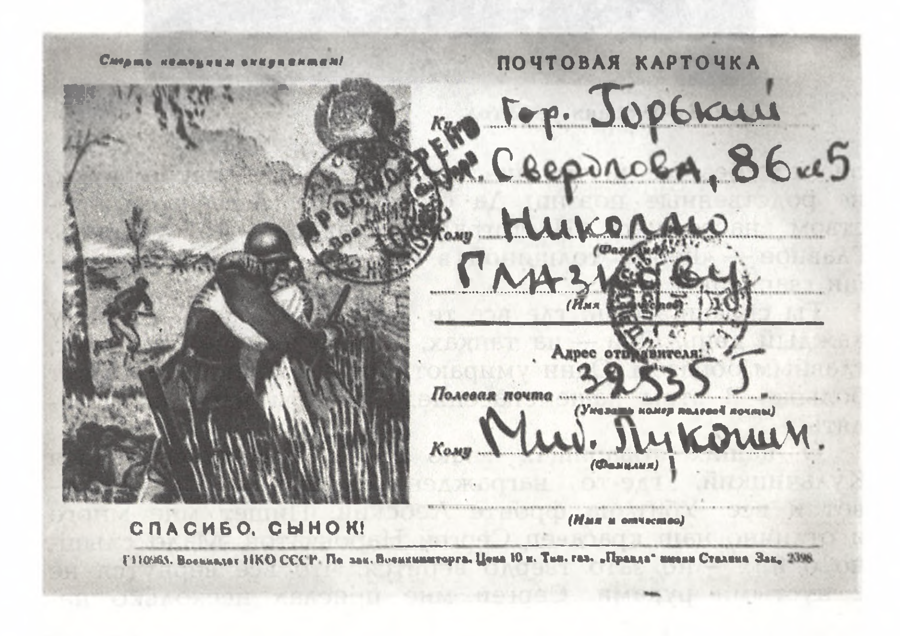
Ты спрашиваешь: где все те, кто за нас? А я их вижу каждый день. Они — на танках, у орудий. Они стреляют, главным образом. Одни умирают, другие живут. Но живут больше. В этом наше спасение. Если бы нам так стрелять!

О наших товарищах знаю мало. Где-то объявился Кульчицкий, где-то награжден «Звездой» Слуцкий — вот и все. Убит на фронте Лебский. Пишет мне много и отлично наш красавец Сергей Наровчатов. Мало слышно о них — но зато твердо верится, что все вернутся не с пустыми руками. Сергей мне прислал несколько не-

известных для меня твоих стихов. Сам понимаешь, что радуюсь всему тобой написанному.

Стихи бы прислал, да нет времени переписывать. Вот одно из новых.

Приду к тебе. Принесу с собой
Усталое тело свое.
Сумею ли быть тогда с тобой,
Жить весь день вдвоем?
Захочу рассказать о смертном дожде,
Как горела трава.
Но вспомню: и ты жила в беде,
И побледнеют слова.
Про то, как чудом выжил, начну,
Как холоден взгляд ствола.
Но вспомню, как в ночь огневую одну
Ты Волгу переплыла.
Пожаловаться захочу. А ты
Сама устала от слез.
Слова скажу, а слова пусты,
Язык чепухой оброс.
Спеть попрошу, а ты сама
Забыла, как поют.
Потом меня сведут с ума
Комната и уют.
Будешь к завтраку накрывать.


Смерть немецким оккупантам!

ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА

Куда: Гор. Горький, ул. Свердлова, 86 кв 5

Кому: Николаю Глазкову
(Фамилия)
(Имя и отчество)

Адрес отправителя:
Полевая почта 32535 Г.
(Указать номер полевой почты)
Кому: Мих. Лукошин.
(Фамилия)
(Имя и отчество)

СПАСИБО, СЫНОК!

Воениздат НКО СССР. По зак. Военмагторга. Цена 10 к. Тип. газ. „Правда" имени Сталина Зак. 2398

25/XII-43.

Коля, далекий мой!

Поздравляю тебя с новым годом. Пусть он воздаст должное всем гениям и богатырям. Да будет в этом году день нашей встречи!

Родной мой, с упоением читаю твои стихи, любезно присланные мне Женей — нашей покровительницей и соседкой по институтскому столу. Наровчатов прислал мне еще несколько других твоих четверостиший. Тем и живу.

Целую тебя, друг мой. Пиши! Не унывай по поводу обстоятельств. Скоро ли вернешься в Москву?

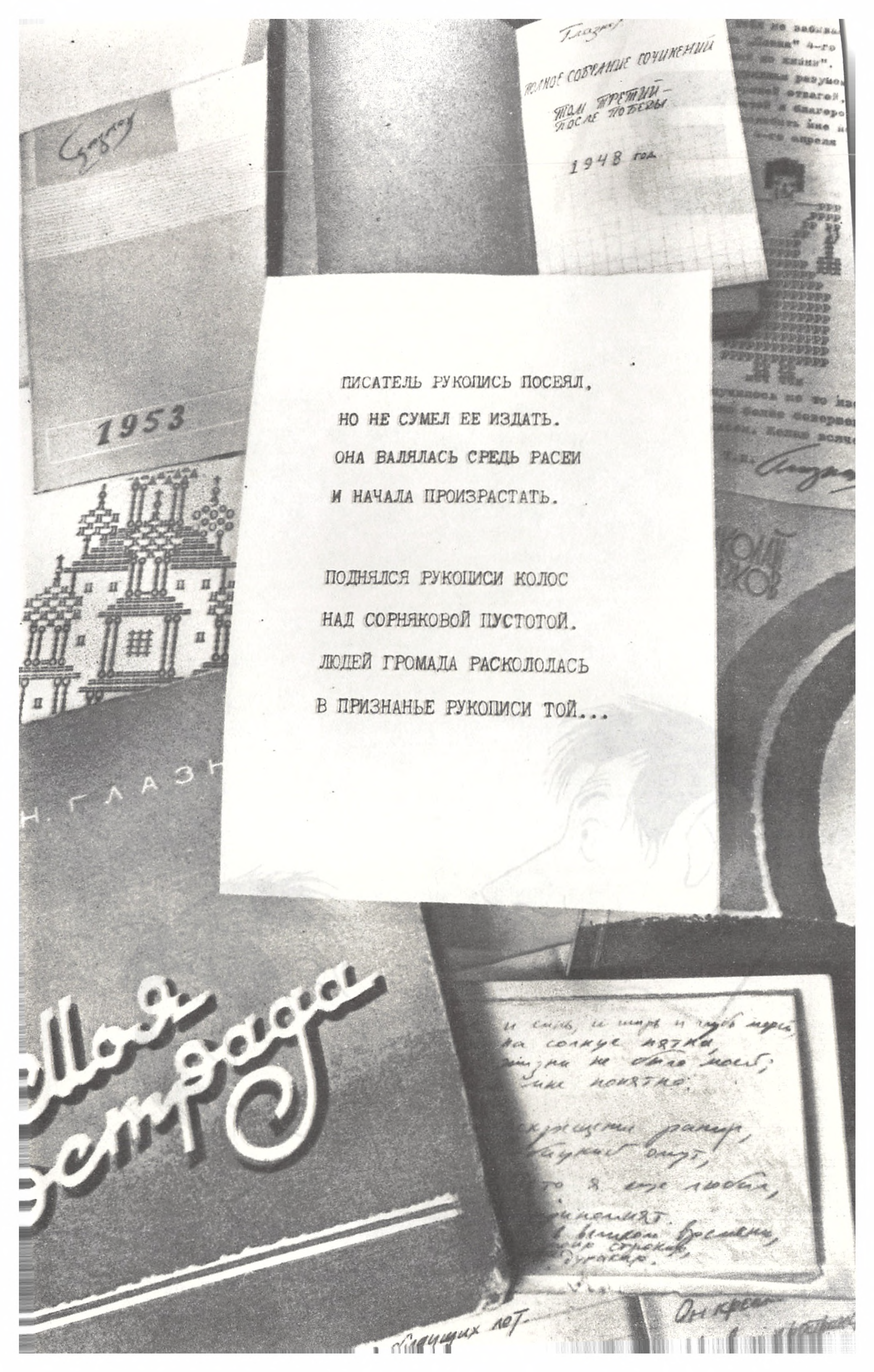
Твой Миша Луконин

Фронтовое письмо Михаила Луконина Николаю Глазкову от 25 декабря 1943 года

А я поем на полу.
Себе, если хочешь, стели кровать,
А я усну в углу.
Меня не уложишь. А если так,
То лучше не приходить.
Прийти, чтоб крепкий курить табак,
В комнате начадить.
Прийти, чтоб дело припоминать,
Жить и главное — жить.
В сапогах забраться в кровать,
Стихи про любовь сложить.
В этом мареве роковом
Выбор тут небольшой:
Лучше прийти с пустым рукавом,
Чем с пустой душой.

Прости, что мало. Прямо нет времени переписывать. Все — для нашей встречи. Целую тебя крепко и жму что есть силы твою руку (хоть жать-то, впрочем, твою руку и не представляется возможным. Но зато сопротивляюсь твоему пожатию!). Будь здоров и пиши! Твой ЛУКОНИН. Будешь в Москве — кланяйся от меня Брикам и всем, кто за нас.


3



ПИСАТЕЛЬ РУКОПИСЬ ПОСЕЯЛ,
НО НЕ СУМЕЛ ЕЕ ИЗДАТЬ.
ОНА ВАЛЯЛАСЬ СРЕДЬ РАСЕИ
И НАЧАЛА ПРОИЗРАСТАТЬ.

ПОДНЯЛСЯ РУКОПИСИ КОЛОС
НАД СОРНЯКОВОЙ ПУСТОТОЙ.
ЛЮДЕЙ ГРОМАДА РАСКОЛОЛАСЬ
В ПРИЗНАНЬЕ РУКОПИСИ ТОЙ...

Лидия Либединская

И ЕГО ЗАЧИСЛЯТ В КНИГУ НЕБЫВАЛЫХ СТИХОТВОРЦЕВ...

С Николаем Глазковым встречались мы не
асто и почти всегда случайно. Бывало, увидишь его
Доме литераторов, подсядешь к его столику, и рас-
таться уже невозможно: сверкают шутки, звучат стихи,
се блестящее, яркое, но нет в этом холодного блеска
енгальских огней — общение с Глазковым согревало
ушу.

А то вдруг совсем уж неожиданная встреча — в изне-
югающем от сорокаградусной жары Абакане, в Хакасии.
два увидев нас, Глазков тут же потребовал, чтобы мы
емедленно, преодолевая палящий зной, отправились
этнографический музей, во дворе которого выставлены
обытые из раскопок древние каменные изваяния. Сам
ызвался быть нашим гидом, подолгу держал возле
аждой фигуры, и рассказ его был так увлекателен и ис-
олнен столь глубоких познаний, что мы слушали, рази-
ув рты, и забывали отирать обильно струящийся по
ицу пот. А когда экскурсия была закончена, Коля,
зглянув на наши красные распаренные лица, сочув-
твенно произнес:

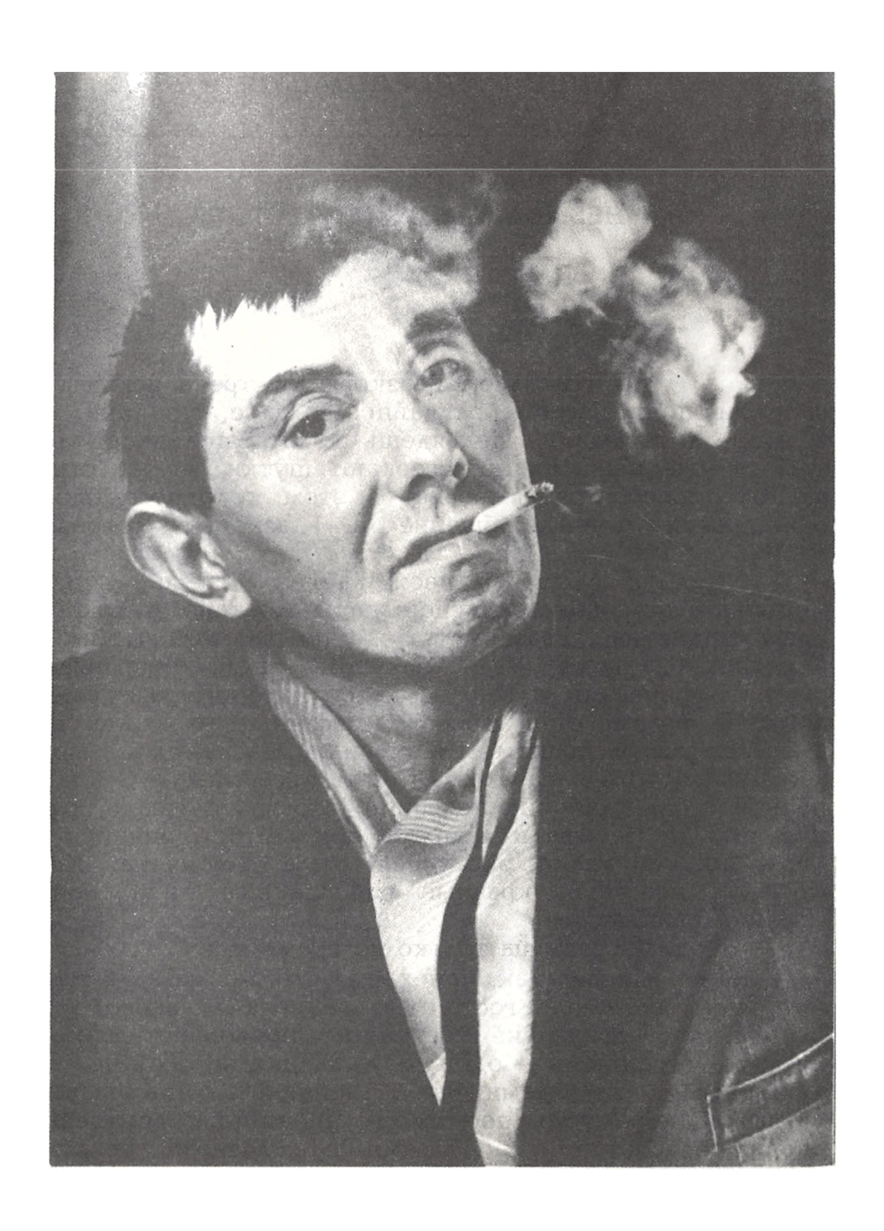
— Прохлада хороша только во время зноя...

Еще вспоминаю, как, приехав много лет назад в Алма-
\ту, я в вестибюле гостиницы увидела Глазкова и за-
етила, что служащие гостиницы провожают его ка-
ими-то странными — одни осуждающими, другие вос-
ищенными — взглядами! Все объяснилось, когда швейцар,
казывая какому-то постояльцу рукой на внутренний
ворик с фонтаном, а глазами на Глазкова, негромко
таинственно произнес:

— А вчера в нашем фонтане этот московский поэт
упался.

Впоследствии фонтан этот превратился в местную
остопримечательность, и каждый, кто возвращался из
\лма-Аты, обязательно рассказывал, что ему демон-
трировали «фонтан, где купался Глазков».

Встречи были редкими и случайными, но я часто
прашиваю себя: почему после смерти Глазкова в жизни



Слушает стихи. 50-е годы

моей образовалась невосполнимая пустота? Да потому, верно, что не так-то много в жизни праздников, а каждая встреча с Колей была именно праздником, овеянным его талантом, своеобычностью, его добротой и бескорыстием.

Глазков был необыкновенно щедр на человеческое общение. «Без всякой видимой причины к таким людям льнут, пристают другие; они согревают, связуют, успокаивают их, они — открытый стол, за который садится каждый, возобновляет силы, отдыхает, становится бодрее, покойнее и идет прочь — другом...» — писал об Огареве Герцен. Эти слова можно отнести и к Николаю Глазкову. Люди, самые разные, его интересовали, он любил говорить: «Ничем нельзя изобразить ничто, даже знак нуля занимает какое-то место». А раз занимает место, есть что разглядывать, изучать. Люди интуитивно чувствовали его интерес к ним и потому «льнули, приставали» к Глазкову.

Сказанное выше, однако, отнюдь не означает, что Глазков был всеяден, что он прощал людям предательство, подлость. Никогда не забуду, как в одной компании некий поэт, хлебнув лишнего, позволил себе антисемитскую выходку. Все растерялись, наступило неловкое молчание. Глазков медленно поднялся — при его сутулости и внешней несобранности он обладал огромной физической силой,— подошел к поэту, молча взял его за шиворот, поднял со стула, вывел в переднюю и, распахнув дверь, спустил с лестницы. Все было проделано быстро, четко, никто и опомниться не успел, а Глазков уже вернулся в комнату, спокойно сел на свое место и, отхлебнув вина, проговорил, ни к кому не обращаясь:

— Вот так-то, ваше писательство!

В наш суетливый век люди почти перестали писать друг другу письма, заменив переписку телефонным общением. А если и обмениваются письмами, то или деловыми, информационными, или выясняют отношения. А вот написать просто так, чтобы порадовать друга или приятеля веселой шуткой, добрым словом,— часто ли нынче такое случается? Увы, не часто! Сваливаем все на занятость, на нехватку времени... А вот у Николая Глазкова времени почему-то хватало. Потому, верно, что обрадовать человека ему самому доставляло радость.

Приезжаешь летом с дачи, открываешь почтовый ящик, вынимаешь конверт, а в нем листок, на котором вырезанная из газеты маленькая репродукция графической картинки, где изображен ярко пылающий костер, а в верхней части листка напечатанные на машинке стихи:

У благородного костра,
Который всем на радость даден,
Проводит Лида вечера —
Ей дым Отечества приятен!

Прочтешь, и сразу весело становится на душе.

А вот весеннее послание:

Люблю весну во всем величье
И славлю милую всегда.
Довольны нынче стаи птичьи,
Отрадна резвая вода,
Что, от седого льва в отличье,
Как радость жизни, молода,
Ее страшатся холода!

А ведь это к тому же и акростих, ну как тут не обрадоваться?! И в день рождения (кстати, до сих пор не знаю, как ему стала известна дата!) обязательно поздравление, вот одно из них:

Мы все отметить можем гордо.
Что в день прекрасный сентября —
Сияющий, двадцать четвертый
Родилась Лида не зазря!
В день этот радостно лучистый.
В великолепный этот день,
Ее приветствует пятнистый
Очаровательный олень!

И снова внизу вырезанная откуда-то картинка, изображающая пятнистого и действительно очаровательного оленя.

Я знаю очень многих людей, которые вот так же, регулярно получали от Глазкова подобные стихотворные подарки!

Так, например, художнику Иосифу Игину Глазков прислал чей-то не очень удачный шарж на себя с такими стихами:

Изобразил профан Глазкова
Неправильно и бестолково:
Глазков, он галстука не носит!..
Рисунок сей поправок просит!..
Кто хочет в шаржах отличиться,
Должон у Игина учиться!

Когда мы познакомились с Глазковым? Теперь это уже трудно вспомнить. Еще до войны мы знали наизусть его стихи, читали их в списках. В те предвоенные годы в Москве было много молодых поэтов — ифлийцы, литинститутовцы, члены литературных объединений. И хотя большинство из них еще не печатались, юные любители поэзии хорошо знали их имена. Я тогда еще учи-

лась в школе, но у нас в десятом классе, то есть на два года старше нас, был ученик, которого мы безоговорочно признавали первым среди нас и настоящим поэтом,— Евгений Агранович. До сих пор помню наизусть его строки, которые мы с восторгом повторяли:

Паровоз летит как шалый,
Распалившийся и злой,
На ошпаренные шпалы
Пышет паром и золой...

Мы еще тогда так писать не умели... Но надо отдать ему справедливость, наши восторги он принимал сдержанно и не уставал повторять, что все это ерунда, а вот есть действительно великие (на эпитеты мы тогда не скупились!) поэты: Павел Коган, Давид Кауфман (будущий Давид Самойлов), Николай Глазков, Михаил Кульчицкий. Евгений Агранович брал меня с собой на литературные вечера, водил в общежитие ИФЛИ, в какие-то перенаселенные коммунальные квартиры, где в тесных комнатах, наполненных сизым табачным дымом, до рассвета звучали стихи. По домам расходились, когда уже было светло, и все не могли расстаться, гурьбой бродили по сонным московским переулкам и снова читали стихи, спорили, объяснялись в любви друг к другу, к стране, к жизни, мечтали о. подвигах, до которых оставалось так недолго...

Ни одна такая встреча, ни один вечер не обходились без стихов Николая Глазкова, самобытных, ни на какие другие стихи не похожих. Особенно часто звучали строки и строфы из поэмы Глазкова «Поэтоград».

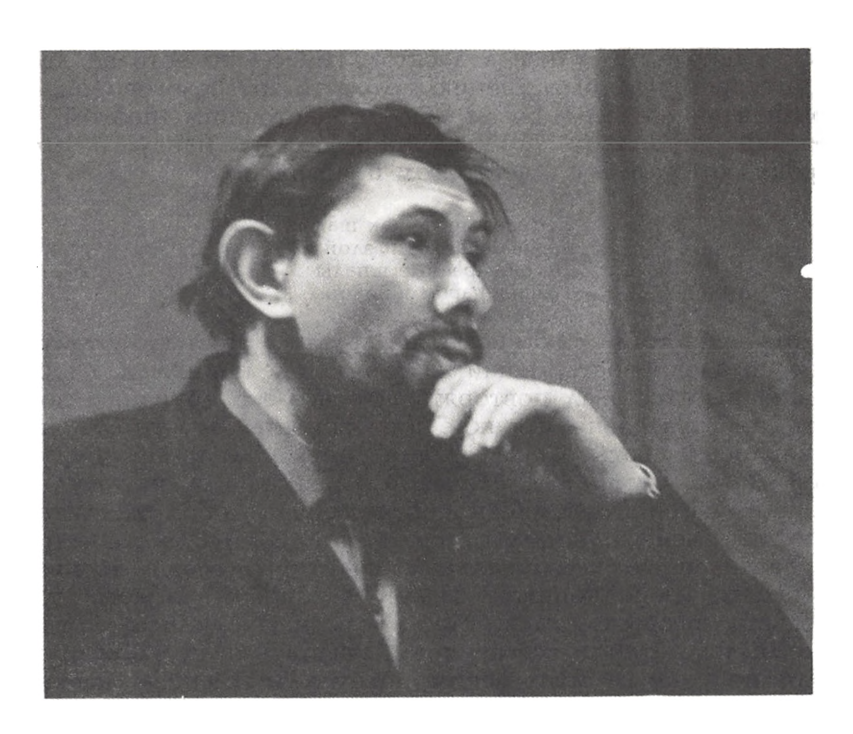
Но самого Глазкова в те годы увидеть мне, по всей вероятности, не пришлось: увидела бы — запомнила.

Случилось это уже в самом конце войны, весной сорок пятого. Поэт-футурист Алексей Крученых предложил мне пойти с ним на занятия литобъединения при издательстве «Молодая гвардия», которым руководил Павел Антокольский. Мы немного опоздали, и, когда вошли в какое-то светлое и просторное помещение, Алексея Крученых шумно приветствовал черноволосый медвежеватый человек и, указав на меня пальцем, довольно бесцеремонно спросил:

— А эта?..

Крученых приложил палец к губам и указал глазами на молоденького паренька, который уже самозабвенно читал стихи. Стихи были гладкие, звонкие и прозрачные, как леденцы, но не запоминались и проскакивали мимо сознания.

Началось обсуждение. Первое слово взяла тогда такая



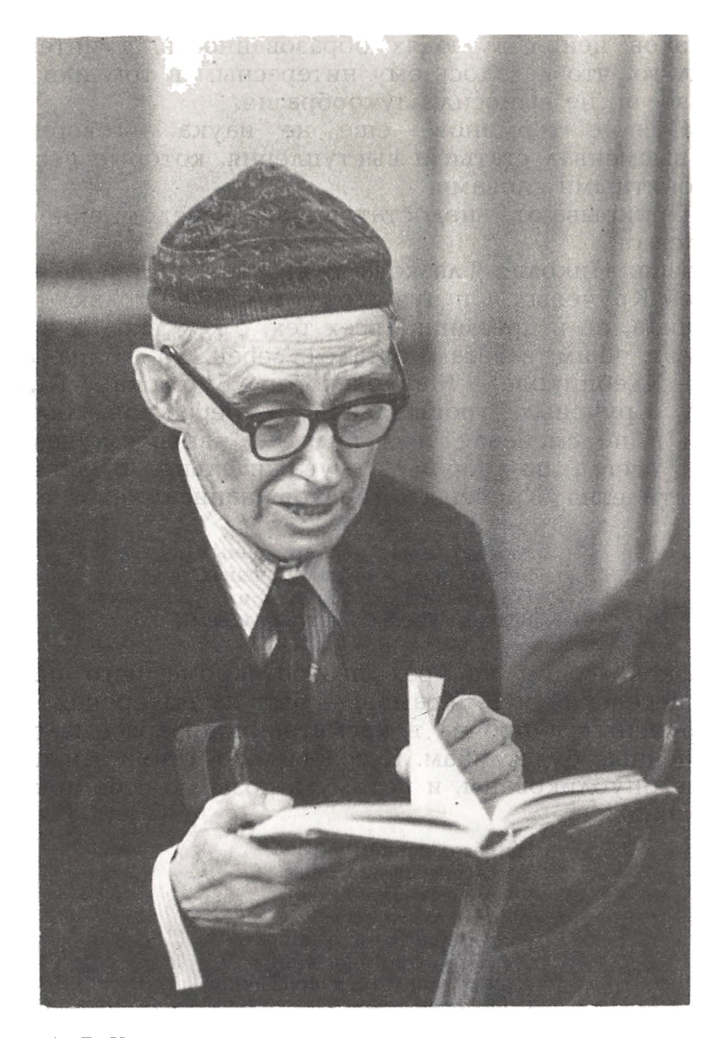
На вечере поэта А. Крученых

молодая и такая красивая Вероника Тушнова. Она произносила доброжелательные слова о зрелости поэта (на вид ему было не больше шестнадцати!), об их музыкальности и отточенной рифме. Выступавшие следом вторили ей. Но вот поднялся Глазков.

— Стихи плохие! — решительно произнес он.— Плохие, потому что без возраста и вне времени. Такие стихи можно писать и в пятнадцать лет, и в девяносто, можно было их написать в начале прошлого века, а можно и в конце нынешнего. Поэта из него не будет!

Глазков оказался прав: ни до этого обсуждения, ни после имени этого поэта я не встречала ни в печати, ни в разговорах литераторов, да и сам он ни на каких литературных мероприятиях не появлялся.

Николай Глазков был человеком образованным. Когда в тот вечер Крученых нас познакомил и Коля узнал, что я окончила Историко-архивный институт, он тут же устроил мне жестокий экзамен по русской истории, и в процессе этого экзамена выяснилось, что он знает почти наизусть весь курс Ключевского. А когда я ему сказала, что предпочитаю Ключевскому Костомарова, он тут же стал говорить о Костомарове, пересказывая целые главы.



А. Е. Крученых

Однажды в Доме литераторов какой-то поэт, вернувшийся из Италии, долго и нудно рассказывал о Риме, Глазков слушал его, потом прервал вопросом:

— Сикстинскую капеллу видел?

— Нет...— смущенно пробормотал поэт.— Она была на гастролях!

Возмущению Глазкова не было предела. С грохотом отодвинув стул, он демонстративно пересел за другой столик и, подозвав меня, стал говорить со мной о живописи с таким глубоким пониманием, что мне оставалось только молчать.

Глазков ценил в людях образованность, с интересом слушал то, что казалось ему интересным в том или ином рассказе, но не выносил наукообразия.

— Обилие терминов — еще не наука! — говорил он и зло высмеивал статьи и выступления, которые пестрели малопонятными словами.

— Прикрывают недостаточную осведомленность,— сердился он.

Поэзию Николая Глазкова и его самого очень любил Алексей Крученых. Он чувствовал в нем не только своего преемника, но и преемника всех тех, с кем входил в литературу и чьим заветам остался верен до конца своих дней,— Хлебникова, Маяковского, Бурлюка. Глазков платил Крученых трогательной и бережной любовью и если и подсмеивался над ним, как, впрочем, над всеми, то всегда по-доброму и уважительно. В день шестидесятилетия Крученых Глазков написал ему в альбом:

Люблю людей неприрученных,
Весьма похожих на Крученых.
И посвятить желаю стих им.
В день юбилея — крученыхнем!

Глазков — один из трех поэтов (кроме него пришли А. Вознесенский и Е. Храмов) — был на похоронах Алексея Крученых и прочел в крематории прекрасные стихи, посвященные будетлянам. К сожалению, стихи эти по сей день не опубликованы, и потому я позволю себе привести их целиком:

На сегодняшнем экране
Торжествует не старье.
Футуристы-будетляне
Дело сделали свое.
Раздавался голос зычный
Их продукций или книг,
Чтобы речью стал привычной
Революции язык.

Первым был отважный витязь,
Распахнувший двери в мир,
Математик и провидец
Гениальный Велимир.
И оставил Маяковский
Свой неповторимый след,
Это был великий, броский
И трагический поэт.
И средь футуристов старший,
Мудрый их наставник-друг,
В Нью-Йорке проживавший
Третьим был Давид Бурлюк.
А четвертым был Крученых
Елисеич Алексей,
Архитектор слов точеных
И шагающий Музей.

Стал прошедшим их футурум,
Ибо времечко течет,
Но умельцам-балагурам
Честь, и слава, и почет.
И на том незнамом свете
Нынче встретились они,
Как двадцатого столетья
Неугасшие огни.
Вместе с ними там Асеев,
Член Литфонда Пастернак,
Будетлянская Россия
О своих скорбит сынах.

Читал стихи Глазков громко, не стараясь скрыть печального волнения. И как это было прекрасно, что в прощальный миг прозвучали над Алексеем Крученых имена его друзей и единомышленников!

Вернувшись из крематория, мы долго сидели в маленькой квартирке художника Игина, куда в последние годы любил захаживать Крученых, благо жил рядом, а Николай Глазков приходил сыграть партию в шахматы. И Коля снова читал нам эти, а потом и другие свои стихи и стихи Хлебникова, Крученых, Маяковского. Как много знал он стихов наизусть!

За окнами была летняя Москва, такая, как во времена нашей довоенной юности, и вечер длился так же бесконечно. И, как в юности, сидели мы долго, до рассвета.

Когда-то, в 1944 году, Николай Глазков написал:

И тебя зачислят в книгу
Небывалых стихотворцев,
И меня причислят к лику
Николаев Чудотворцев...

Не знаю, причислят ли его к лику чудотворцев, а вот в том, что Глазкова зачислят в книгу небывалых стихотворцев,— не сомневаюсь!

Владимир Шорор

В БОТИНКАХ БЕЗ ШНУРКОВ

В годы войны, лейтенантом минометного полка, получал я письма от своего товарища по довоенному институту Юрия Чистякова, служившего в Москве во внутренних войсках. Чистяков был близок к столичной литературной жизни, описывал вечера молодых поэтов, где выступал и он со своими стихами, называл тех, кто подает большие надежды и со временем, конечно же, скажет свое уникальное слово в поэзии.

Я представлял этих ребят, видимо, моих сверстников, и не совсем понимал, почему — в такое-то время! — занимаются они только стихами, а не находятся в армии, как многие признанные поэты. Как бы предвидя такой вопрос, Чистяков писал, что ребята эти начисто забракованы на призывных комиссиях: один совсем плохо видит, другой хромает, а у кого-то еще какая-то беда. В общем, их не зачисляют в наш военный строй по причинам вполне уважительным. И среди тех, кого упоминал Чистяков, я впервые встретил имя Николая Глазкова. Были присланы и некоторые его стихи, показавшиеся необычными, яркими, совершенно непохожими на стихи других поэтов. Хотя бы эти:

Писатель рукопись посеял,
Но не сумел ее издать.
Она валялась средь Расеи
И начала произрастать.

Поднялся рукописи колос
Над сорняковой пустотой.
Людей громада раскололась
В признанье рукописи той...

Имя «Николай Глазков» сразу врезалось в память, оттеснив остальные имена, сообщенные Чистяковым.

И вот в сорок шестом, уже студентом Литературного института в коридорчике, у окна, я столкнулся один на один с громадным человеком в темном пальто и шапчонке, маловатой для его крупной головы. Мы почему-то остановились друг против друга. Я с откровенным любо-

пытством рассматривал его лицо — запавшие, вкось поставленные глаза, крепкие большие скулы, мощные борцовские плечи и ботинки... без шнурков. И он рассматривал мой отутюженный офицерский китель без погон с начищенными пуговицами и красными артиллерийскими кантами. Как теперь понимаю, мы были очень разными, из разных, пожалуй, миров.

— Давай,— сказал он, протянув руку, но как-то странно, не для приветствия, а подняв ладонь вверх и поставив локоть на подоконник.— Давай,— повторил он и отрекомендовался: — Я великий Глазков...

Если бы он сказал просто — «Я — Глазков», может быть, я и не испытал бы острого чувства мгновенной неприязни.

«Нет, каков разгильдяй! Ботинки зашнуровать не может, на пугало похож в этой нелепой шапчонке, а туда же — великий! Его бы в нашу минометную батарею, под начало к старшине Кантыпенко. Он бы враз приготовил из него нормального человека»,— подумал я.

Глазков между тем ждал, весь сосредоточенный на предстоящей борьбе «на локтях». Широкая ладонь его со сжатыми четырьми пальцами и отставленным большим, будто капкан, нацелилась на меня. И хотя со школьных лет я занимался разными видами спорта, включая бокс и классическую борьбу, этой самодеятельной борьбы «на локтях» я терпеть не мог из-за ее примитивизма: никакой техники, никаких приемов тут не применишь. Верх берет грубая физическая сила. Но отказаться от вызова? Праздновать труса перед этим типом? Не в моих правилах.

Я утвердил свой локоть на подоконнике, и мы сцепили руки. Сразу же на меня навалилась непомерная и неодолимая тяжесть и стала гнуть мою руку с многократным превосходством в силе. И как я ни сопротивлялся, вскоре был припечатан к подоконнику. Победа Глазкова была чистой, быстрой и полной, исключавшей возможность реванша. Однако я сказал:

— Давай еще!..

Глазков, великодушно улыбнувшись, как старший младшему, вновь подставил свою ручищу. Если в первый раз я еще как-то сопротивлялся, тужился, мешал ему сразу стать победителем, то в этот раз силы были уже израсходованы. И Глазкову не стоило больших усилий проучить мою заносчивость. Будь у нас хоть какой-то арбитр, он сразу бы прекратил схватку за явным преимуществом моего противника. Но мы были один на один, и я в третий раз, уже из безрассудного упрямства, ни на что не рассчитывая, а просто стремясь как-то досадить

ему, потребовал схватки на левой руке. Глазков посмотрел на меня с явным сожалением, ему уже не интересно было со мной возиться и продолжать предрешенную в его пользу борьбу.

— Давай лучше в шахматы. Играешь? — и, не ожидая ответа, он извлек из глубин своего пальто маленькую складную доску и картонные шахматные фигурки, уложенные в коробочку из-под довоенных леденцов.

В шахматы я, конечно, играл, даже участвовал в турнирах. И получил там четвертую — предпоследнюю категорию. Но все это происходило давным-давно, в моем родном Иркутске, было мне тогда лет четырнадцать-пятнадцать. С тех пор шахматы шли мимо меня, а я мимо них: другие надвинулись дела, интересы и заботы. Не до шахмат было — и в годы студенчества до войны, а уж в войну — тем более. Но в памяти что-то застряло о королевском и ферзевом гамбите, дебюте четырех коней, защите Филидора и так далее. Поэтому я уверенно делал первые ходы, на которые Глазков отвечал молниеносно. Но уже с хода седьмого-восьмого почувствовал: на мои фигуры и пешки наваливается та же непреодолимая сила, которая победила меня и в борьбе на локтях. Куда бы я ни сунулся, на какое бы поле ни пошел, отовсюду грозила опасность. Я оказался скованным, связанным, почти плененным. Пришлось что-то пожертвовать. И тут его ферзь ворвался в мои тылы и пошел громить их напропалую. Партия была обречена, я сдался, не ожидая мата. Реваншную партию Глазков выиграл еще быстрее. Откуда мне было знать, что ввязался я в игру почти что с мастером, натренированным, изощренным, увлеченным шахматами пожизненно. И с моей жалкой, многолетней давности четвертой категорией Глазкову, конечно, делать было нечего. Мы были в разных шахматных цивилизациях. Я — в каменном веке, он — в электрическом, если не в атомном. Претендовать на третью партию было бессмысленно. Да и Глазков уже складывал картонные фигурки в жестяную коробочку. Не очень сильно, но все же огорченный этими проигрышами, я сидел перед Глазковым, не зная, о чем с ним говорить, и уже встал, чтобы уйти. Но тут он остановил меня, сказал уверенно:

— Давай стихи!

— Какие стихи?

— Свои. Читай!

— Да я не пишу стихи, я — прозаик...

Глазков молча поднялся, по его взгляду, обращенному внутрь себя, я понял, что его уже не интересует ни борьба на локтях, ни шахматы, и прежде всего не интересую ни с одной стороны я сам, столь случайно попав-

шийся на его неведомом мне пути. Массивный, охваченный своими мыслями, знающий некую высшую истину, которая недоступна мне, он величественно удалился в полутемную даль институтского коридора, оставив чувство неприязни и усилившегося неприятия его личности — от внешнего облика до манеры поведения.

Однако он запомнил меня и во время редких случайных встреч приветливо здоровался. Сдержанно отвечал я на его приветствия, чувство первоначальной неприязни сгладилось, но неприятие его непогрешимой самоуверенности, небрежности в одежде, в частности, ботинок без шнурков, осталось. При встрече ни он, ни я не задавали даже вопросов обычных, из вежливости: «Как поживаете?» Нас, видимо, это не интересовало. Хотя доносились до меня слухи, что жил Глазков трудно, очень трудно, для заработка вынужден был работать то грузчиком, то дровоколом, стихи его не печатали, хотя многие, в том числе мои товарищи, знали их на память и читали в литературных компаниях и дружеских застольях.

Но пришло время, и в середине пятидесятых Глазкова стали печатать, вышла его книга, потом вторая, он был принят в Союз писателей, появились его газетные и журнальные публикации, о нем, о его высказываниях на литературных собраниях, о происходивших с ним историях, преимущественно комических, ходили, как и прежде, устные рассказы. То говорили, что среди бела дня Глазков купался в чаше городского фонтана не то в Алма-Ате, не то в Ташкенте (была у него страсть купаться во всех водоемах, попадавшихся на его пути), и это купание закончилось для него, естественно, в милиции. То передавались его парадоксальные суждения о поэтическом творчестве...

И, уверен, не стоило бы мне браться за воспоминания, если бы не одна наша встреча, открывшая мне Николая Глазкова с совершенно новой стороны, изменившая наши отношения на теплые и товарищеские, сблизившая нас, несмотря на полное несходство характеров и манеры поведения.

В 1975 году, в августе, я прилетел из Москвы в Магадан, чтобы вместе с местными писателями провести там областное совещание молодых поэтов и прозаиков. В то время работал я в Союзе писателей РСФСР, был ответственным секретарем Совета по работе с молодыми, а также курировал работу писательских организаций Восточной Сибири и Дальнего Востока. Еще в аэропорту встретившие меня магаданские писатели с некоторой тревогой сообщили:

— У нас тут Николай Глазков. Прибыл по команди-

ровке «Нового мира» и хочет включиться в работу совещания, руководителем семинара, конечно. Что делать?..

Оказывается, и в эту дальнюю даль докатились всякие странные истории о Глазкове, и магаданцы опасались, как бы он не отчудил что-нибудь в своем стиле.

— К вам приехал известный московский поэт,— ответил я.— Он прекрасно знает и современную, и классическую поэзию. Он, конечно, большой оригинал, но пригласить его необходимо. Такая сила не может не принести пользы нашему совещанию. И даже как-то странно, неприлично его не позвать.

— Да он все равно придет,— сказал кто-то из магаданцев.

— Тем более. Значит, надо и пригласить, и оплатить ему работу за руководство семинаром.

— Это мы можем,— охотно согласился Альберт Мифтахутдинов, в то время ответственный секретарь Магаданской писательской организации.

На том и решили. Надо сказать, что совещание молодых писателей в областном городе — всегда значительное событие в местной культурной жизни, своеобразный литературный праздник. На открытии его присутствует обычно много людей: руководители города и области, секретари обкома комсомола, корреспонденты радио, телевидения, газет и журналов, работники издательств, и все ждут хоть небольшого чуда — открытия нового, пусть и не очень крупного, но все же таланта, а может быть, и не одного, а нескольких, которые со временем прославят и город, и весь край. Кроме того, интересно же посидеть и на творческих семинарах, послушать, что говорят писатели, приехавшие из других краев, о наших собственных, молодых. Если хвалят — порадоваться за своих, поболеть за них, попереживать. А если ругают, значит — поделом, пусть больше над собой работают и меньше задаются. А то напечатает в газете два стихотвореньица и уже мнит себя знаменитостью.

С Глазковым увиделись мы на другой день в местном Союзе писателей. Там шли последние приготовления к завтрашнему открытию нашего совещания. Глазков был чем-то радостно возбужден и кинулся ко мне, как к старому, доброму товарищу. Рукопожатие его было, как всегда, сильным, лицо освещала доверчивая детская улыбка. Теперь он носил каштановую бородку кисточкой, шея и плечи его стали еще более могучими, их вплотную обтягивал коричнево-пегий пиджак, далеко не новый, воротник ковбойки был распахнут, темные брюки не глажены, а на ногах, мне показалось, были те же самые теплые ботинки... без шнурков! Ботинки, конечно, были

другие, ведь прошло почти тридцать лет после нашей первой встречи. А то, что они были опять без шнурков, меня уже не могло ни удивить, ни тем более возмутить, вызывало лишь понимание и некоторое желание защитить Глазкова от возможных нападок. Да пусть ходит как хочет, взрослый же человек, известный поэт, в конце концов. Но никто и не собирался в чем-то упрекать Глазкова, на детали его костюма в тот день не обратили внимания. Это случилось позже.

Мифтахутдинов объявил Глазкову, что он утвержден одним из руководителей поэтической секции, тут же ему вручили рукописи в картонных папках, и Глазков озабоченно сказал, что сейчас пойдет в гостиницу эти рукописи читать и готовиться к семинару.

Семинар открывался на другой день в десять утра в одном из лучших зданий города. У широкого подъезда возле сплошь остекленных дверей оживленно гудел молодой народ, комсомольцы-дружинники бдительно следили за порядком, строго проверяли пригласительные билеты. Я благополучно миновал двойные заставы контролеров и остановился в вестибюле вместе с Альбертом Мифтахутдиновым, писателями-магаданцами и работниками обкома комсомола. Неожиданно на проходе возникла тревожная толкотня. Кто-то настойчиво рвался через контроль, но его столь же настойчиво не впускали. Я попросил одного из ответственных обкомовских ребят — заведующего отделом — узнать, что там происходит. Он согласно кивнул и ринулся в проход, в самую гущу валивших людей. Через минуту он возник передо мной, сказал:

— Какой-то тип без билета хотел проникнуть: немолодой, а туда же, в литературу рвется. Молодцы дружинники, не пустили!..

Слово «немолодой» почему-то меня насторожило. Я подошел к стеклянной стене и увидел Глазкова. Он что-то тщетно объяснял дружинникам, но те, видимо, не верили. Конечно же, предположил я, по рассеянности он забыл в гостинице и пригласительный билет, и все документы.

— Да это же Николай Иванович Глазков, московский поэт, руководитель семинара! — объяснил я заведующему отделом.— Скажите, чтобы немедленно пропустили!

Симпатичный завотделом, по-военному подтянутый, в отутюженном костюме и новом галстуке, отдаленно похожий своей офицерской аккуратностью на меня давнего, демобилизованного, смущенно улыбнулся и доверительно спросил:

— А вы знаете, в каком он виде?

— Совершенно трезвый,— ответил я уверенно.

— Я не о том,— еще больше смутился завотделом.— Вы видели, какие у него странные ботинки?

— Видел. Без шнурков. Так надо!..

— А это что, простите, в Москве мода такая?

— Нет, не мода. Но я надеюсь, вы понимаете зачем это надо? — Ответил я, нажав на слово «зачем», будто от этих ботинок без шнурков зависела успешная работа всего нашего совещания.

Завотделом секунду непонимающе смотрел на меня, потом просветленно улыбнулся, воскликнул:

— Да, да! Конечно, понимаю! — и вновь побежал к дружинникам.

Тотчас из прохода донесся его командирский голос:

— Ребята, пропустите товарища! Живо пропустите! Проходите, Николай Иванович, мы вас давно ждем!..

Глазков остановился возле меня, протянул руку, в другой держал желтую авоську с рукописями, сказал:

— Едва впустили. Все документы в гостинице оставил. А тут, оказывается, строго...

На открытии семинара Глазков чинно сидел в президиуме, внимательно слушал доклад и сообщения, что-то записывал в книжку. Иногда откидывал назад большую свою голову, и тогда бородка его воинственно вздергивалась вверх, нацеливаясь на докладчика. В такие моменты Альберт Мифтахутдинов опасливо смотрел на Глазкова и шепотом спрашивал:

— Не отмочил бы чего-нибудь... Как думаете, обойдется?..

Я успокоительно кивал: все, мол, будет как надо.

Потом началась раздельная работа семинаров. Мифтахутдинов, я и еще два писателя работали с молодыми прозаиками, а Глазков и три местных поэта возглавили семинар поэтический. Молодых поэтов оказалось куда больше, чем прозаиков, и дня через два, когда наш семинар уже завершился, у поэтов работа шла еще полным ходом.

Я вошел в комнату, где они занимались, и сразу попал на выступление Глазкова. Стихи он разбирал как опытный анатом, умело и точно отделяя один слой от другого, спокойно объяснял, почему то или иное слово «не работает» — не несет необходимой смысловой или эмоциональной нагрузки или, еще хуже, фальшивит. Разобрав строфу, Глазков удачно приводил в пример то широко известные, то никому не ведомые стихи для сопоставления с разобранными, опять-таки отчетливо обнажая самое ткань стиха, показывая его конструкцию, объясняя тот глубинный смысл поэзии, который еще не

всегда улавливали или не слишком отчетливо представляли молодые магаданские поэты. Назвав несколько выдающихся в русской литературе имен, по памяти, слово в слово, процитировав их высказывания о поэзии, о труде самого поэта, он, как само собой разумеющееся, продолжал:

— А вот Глазков учит, что...

И тут следовала остроумная сентенция, подтверждающая, а порой и опровергающая только что приведенную цитату. Слушали его не то что внимательно, а с каким-то даже благоговеньем. Было видно, подобных высказываний никто здесь прежде не слыхивал. И когда занятие окончилось, молодые поэты, тесно окружив Глазкова, долго еще задавали ему самые разные вопросы и получали на них ответы необычные, заставляющие над ними думать и думать. Неожиданно Глазков поднял руку и громко объявил:

— Сегодня в семнадцать часов приходите все в бухту Нагаево. Глазков там будет купаться. Приходите все! — настойчиво и не раз возглашал он.

В бухту Нагаево я, конечно, не пришел. День был пасмурный, накрапывал дождь, и тащиться под этим дождем на берег моря не было никакого желания. Тем более что Альберт Мифтахутдинов позвал меня смотреть картины в мастерскую местного художника, по словам Мифтахутдинова, очень талантливого.

А вечером, едва я вернулся от художника, ко мне в номер пришел Глазков. Он выглядел утомленным и был чем-то огорчен. Рассказал, что купание не очень удалось. Мало того что шел холодный дождь, бухта была грязной, по воде плавал мазут, там и сям стояли катера, баржи, шлюпки. Трудно было найти место для купания, он долго лазил по большим острым камням, поскользнувшись, ушиб ногу, но все же искупался в этой бухте. Огорчался же он больше всего тем, что не было свидетелей его отважного купания.

— Что же вы не пришли? — с обидой спросил он.— Ну, вы, допустим, человек занятой. Да ведь из этих молодых тоже никого не было. А я надеялся, что они придут,— печально закончил он.

Быстро я утешил его в этой совершенно детской обиде. Сели к столу, вспомнили Литературный институт, на душе потеплело от дружеской беседы. Я попросил Глазкова почитать стихи. Он читал в тот вечер свое давнее, довоенное, кое-что из написанного в годы войны и в самое последнее время.

Я слушал его стихи, то философски сложные, то нарочито простоватые или смешные, но всегда оригинальные,

и думал, что еще тогда, в год нашей первой встречи, он был уже сложившимся, ни на кого не похожим поэтом со своим непростым миром, то по-детски открытым, доверчивым, то космически сложным, забегающим в своих исканиях вперед времени, приоткрывающим завесу над дальним будущим. Иначе откуда бы взялись такие, к примеру, строки, написанные в октябре сорок первого года, когда фашисты были почти что у стен Москвы:

Может быть, он того и не хочет,
Может быть, он к тому не готов,
Но мне кажется, что обязательно кончит
Самоубийством Гитлер Адольф.

И подобных провидческих строк Глазков написал не так уж мало. За беседой, за стихами незаметно летело время, расстались мы далеко за полночь.

А утром Глазков уезжал. Нет, не в Москву, а зачем-то по Колымской трассе — в Якутск. Накануне в автохозяйстве он договорился с шофером, и грузовик подошел к гостинице, что называется, ни свет ни заря. Я вышел проводить Глазкова. Он был в коротковатом и тесном для его крупной фигуры летнем плаще, в какой-то шапчонке, ботинки на этот раз он, нет, не зашнуровал, а лишь подвязал сверху на одну петельку, чтобы не свалились в дальнем пути. С лица его не сходила тихая улыбка: вот сейчас, сейчас он поедет в очередное путешествие, поедет в еще не виданный им необъятный мир, будет смотреть на него, познавать, ощущать его новизну и красоту. А что может быть радостней этого? Разве что хорошо написанные стихи. Но, чтобы написать такие стихи, он был убежден, надо путешествовать, надо видеть и знать окружающий мир.

Мы попрощались. Привычным жестом Глазков забросил свой походный мешок в кузов, взобрался туда сам, уселся среди каких-то бидонов и ящиков, постучал в шоферскую кабину — можно, мол, ехать. Машина взяла с места и покатила вперед по Колымской трассе. А я долго смотрел ей вслед и прощально махал рукой. В тот день мне часто виделась эта грузовая автомашина, едущая среди хмурых сопок по Колымской трассе к берегам Лены, а в машине, обдуваемый северными ветрами, едет удивительный человек Николай Глазков, слагающий стихи и, наверно, уже запланировавший очередное свое купание в водах Лены-реки.

...Встретились мы с Глазковым примерно через месяц, в Доме литераторов. Обрадовались, дружески поговорили, но недолго, куда-то оба спешили. Глазков достал из кармана пиджака свою новую книжку и подарил мне

с таким прекрасным авторским посвящением, которое вряд ли я от него заслужил. Но я знал, что в своих чувствах и словах он был беспредельно искренним.

А зимой 1979 года, как-то вечером, в мой служебный кабинет в Союзе писателей зашел поэт Юрий Разумовский, товарищ по Литинституту, и торопливо позвал ехать к Глазкову, на его день рождения. Я ответил, что не приглашен.

— Да ты что? — удивился Разумовский.— Какие приглашения? Это же Коля Глазков! Там открытый дом, кто приедет, всем рады. И тебе обрадуются, он ведь всем рассказывал, как вы с ним в Магадане были. И ты знаешь, он ведь болеет. Сильно болеет...

О болезни Глазкова я слышал мельком, не знал, насколько она серьезна, пожалуй, не придавал этому значения и с Разумовским все же не поехал. Только попросил его передать в подарок Глазкову мою книжку, недавно вышедшую.

Разумовский позвонил на другой день, сказал, что книжке Глазков обрадовался, но очень сожалел, что я не смог приехать.

А осенью Глазкова не стало. И я, вместе со всеми, кто его знал, горько горевал о его преждевременном уходе из жизни. Но всегда, наверно, буду сожалеть еще и о том, что не поехал тогда на его день рождения, лишив себя последнего общения с этим замечательным поэтом и удивительным человеком, любителем ближних и дальних путешествий, ходившим по земле в ботинках без шнурков.

Григорий Шурмак

В ТРУДНОМ СОРОК ШЕСТОМ

Я происхожу из компании киевских ребят, к началу войны еще не успевших окончить среднюю школу, но примерно с пятого класса навсегда увлекшихся русской поэзией и вращавшихся в среде, связанной с литературой. Сначала это был литкружок при газете «Юный пионер», затем — литстудия Дворца пионеров. Из этой компании вышли несколько профессиональных поэтов.

Всех нас разлучила война. Приехав в 45-м году из госпиталя, я, по окончании подготовительных курсов при пединституте, стал студентом. Окопы, ранения не благоприятствовали занятию стихами, все душевные силы уходили на то, чтобы выстоять и победить. О народной трагедии я знал не понаслышке: был ее участником и очевидцем,— и неслыханные события, о которых, понятно, хотелось написать, требовали осмысления, а отбор материала — проверки временем. Тем не менее к лету 46-го года у меня имелось уже десятка полтора стихотворений, пользующихся успехом в узком, правда, кругу студентов и преподавателей, и я с нетерпением ждал приезда из Москвы друга детства, студента Литинститута, с тем, чтобы услышать его мнение о своем творчестве. В июле друг появился наконец в родном Киеве и с ходу забраковал все мои писания, авторитетно посоветовав обратиться к прозе. От неожиданности такого приговора я пребывал в состоянии полнейшей растерянности.

Вот в этот, весьма трудный момент в моей жизни и услышал я впервые о Николае Глазкове. О нем рассказал Риталий Заславский, тогда же вошедший в нашу компанию; он же прочел и многое из стихов Глазкова, блещущих умом, озорством, неожиданностью. Р. Заславский познакомился с поэтом в Горьком, куда их обоих забросила война. Глазковские стихи вызывали неодолимое желание увидеть и услышать самого автора. И вот в двадцатых числах августа я и Марк Бердичевский, ныне видный геофизик, а в то время, подобно мне, за-

рекшийся писать стихи, прилетели во Внуково. Прямо из аэропорта поехали на Арбат.

Нас, киевлян, приветливо встретила мать поэта, пожилая, но подтянутая женщина. Сын отсутствовал. В ожидании мы расположились в его комнате, поразившей нас чистотой и скромностью обстановки, комната чем-то напоминала светелку. Узкая кровать аккуратно заправлена. У окна в углу наискосок стоял письменный стол, за которым помещался высокий книжный шкаф. У дверей — вешалка. Книг в комнате почти не было, зато в шкафу одну из полок занимали самодельные книжечки различных размеров. Это и был знаменитый глазковский «Самсебяиздат», стоивший поэту изнурительного, наверное, кропотливого труда, потому что тогда он еще не имел пишущей машинки.

Забегая вперед, отмечу, что мне доводилось наблюдать, как Глазков часами корпит над бумагой, тоненьким перышком № 86 вновь и вновь переписывая свои стихи, изготовляя книжечки.

Мы взяли с полки одну из самоделок, и первое же стихотворение захватило неповторимой глазковской интонацией:

Святоша на словах, подлец на деле
и в то же время неизвестно кто,
он Пушкина доводит до дуэли
и Маяковского доводит до!..

Обо всем позабыв, углубились в чтение.

А вот и сам автор поразивших меня стихов. В сумерках вошел высокий, широкоплечий парень лет двадцати пяти, с задоринкой в темных, чуть, может быть, раскосых глазах и молча протянул ребром широкую жесткую ладонь. Я тотчас же почувствовал огромную физическую силу этого человека, хотя с его стороны пожатие отличалось предупредительной осторожностью. Голос у Глазкова оказался тихим; вообще сила и кротость в нем гармонично сочетались.

В первые же часы знакомства открылась одна из замечательнейших черт Глазкова: заинтересованность в собеседнике, в выявлении привлекательных граней его личности. В отличие от многих, Глазков при встрече с новым человеком никогда не стремился его подавить силой своего таланта, масштабом своей личности, не старался подчинить своей власти. Демонизм, столь присущий артистическим натурам, ему не был свойствен. Сходясь с людьми, он сознательно как бы уходил в тень, поощрял собеседника выявить себя. И какой же радостью светились глаза, какой милой улыбкой озарялось лицо,

когда он замечал что-то живое, неподдельное в новом человеке!

Так случилось и на этот раз. Почувствовав, что в хозяине нет ни на волос высокомерия и зазнайства, я прочел свое стихотворение, которое он воспринял на удивление всерьез и, более того, попросил еще почитать. Слушал по-глазковски: чуть подавшись вперед, наклонив голову, словно уши — его антенны и в таком положении лучше всего уловят и ритм, и смысл.

Я прочел еще одно стихотворение, после чего он убежденно сказал, что мне надо остаться в Москве.

— А где жить? Да и на что?

— Жить — у меня. И будем пилить дрова,— ответил он, рукой показывая, как это делается.— Да и твоя пенсия инвалида войны чем не подспорье?

Я обещал подумать над его словами. Мы еще долго говорили о поэзии. А мне до того сделалось хорошо и просто, что захотелось спеть Глазкову. С фронта я вынес великое множество песен — народных, фронтовых, воровских; имелась в моем репертуаре и одна собственная песенка. Как только запел, Николай весь превратился в слух и готов был слушать хоть до утра. Вначале мне показалось странным, что такая яркая индивидуальность, такой виртуоз стиха, как он, увлекся песенным фольклором, где форма бесхитростна и наивна и где личностное начало все же растворяется в началах общенародных. Но впоследствии я понял, что Глазков всегда учился не только у блестящей плеяды мастеров поэзии XX века, но и жадно впитывал стихию городского фольклора, ежечасно и повсеместно творимую... С тех пор не проходило дня без того, чтобы Глазков не просил спеть то одну, то другую запомнившуюся песню:

Мать у Сашки прачкою была
И давно в больнице умерла.
Озорной у Сашки был отец:
Он Сашку бросил, спился сам вконец!..

Наступил сентябрь, и нужно было выбирать: либо продолжать учебу в Киеве, либо устраиваться в Москве. Я выбрал последнее. Съездил домой за документами, уложил в солдатский вещевой мешок немудрящие пожитки, в течение двух дней написал рассказ «Винтик» и на «пятьсот веселом» пассажирском поезде, состоявшем из теплушек, вновь добрался до Москвы. Сдал секретарше Литинститута свой опус и, узнав несколько позднее, что приемная комиссия будет заседать лишь на следующий день, под вечер явился к Глазкову.

Николай радушно меня встретил. Сходив на кухню,

принес миску дымящейся картошки, тарелку с мочеными помидорами и попросил спеть. Постель для меня он соорудил на полу под вешалкой.

Когда же под утро я проснулся, он уже ушел. Зато пришел оживленный: наклюнулась работенка. Прихватив с собой топор и пилу, отправились в один из дворов в районе Тишинского рынка. Коля как заправский дровосек мигом сколотил козлы, и работа у нас закипела. Довольные, с выручкой в кармане, мы отнесли домой инструмент и, подкрепившись, сходили в баню. Коля не только поддерживал порядок в своей комнате, но и чрезвычайно был чистоплотен, а это в год послевоенный, голодный требовало от человека самодисциплины. Месяц я жил у Глазкова, и непременно раз в неделю он неумолимо вел меня в баню, не считаясь ни с какими моими «переживаниями».

Однако вернусь к своим абитуриентским заботам. Хотя я смутно чувствовал, что поступаю глупо, отдавая в приемную комиссию не стихи, а сырой, наспех сработанный рассказец, я уже иначе поступить не мог: надо мной довлел приговор друга детства, которому я верил, как самому себе. И конечно же я с треском провалился! Творческая комиссия забраковала мой рассказ, и я, таким образом, оказался за бортом Литинститута. Растерянный, несчастный, сбитый с толку, я не знал, как мне быть дальше. В течение нескольких дней пластом лежал в общежитии — благо нашлась свободная койка...

Как-то утром дверь приоткрылась, и в наш подвал заглянул Николай. Пригнувшись, чтобы головой не стукнуться о притолоку, он озабоченно спросил, здоров ли я.

— Что ж ты не даешь о себе знать? — мягко выговаривал Глазков.— Я ж беспокоюсь.

Его участливые слова согрели душу. Когда же я в самых мрачных красках обрисовал создавшееся положение, Николай заставил меня одеться и привел к себе. Напоил чаем и сказал, что глупо вешать голову, ибо следует немедля проситься на заочное отделение, но на сей раз не валять дурака, а предъявить стихи. Мне ничего другого не оставалось, как, наконец, сознаться, что кое-кто считает мои стихи *головными* и вообще сомневается, состоялся ли я как поэт. И вот тут-то я впервые увидел Глазкова рассерженным. Он гневно мне ответил, что самоуничижение еще никого до добра не доводило. Ответил как отрезал — и сел за работу. Через пару дней он протянул мне новую книжицу со стихами. На первой странице я прочел: Григорию Шурмаку.

Твои стихи, они трава,
Трава, которая не трын.
Но и холодные дрова,
Когда горят, теплы. Аминь.

Признаться, четверостишие меня смутило. В моем тогда воспаленном мозгу «холодные дрова» ассоциировались с «головными стихами» — именно так о моих стихах отзывались в моей компании. Хотя я и чувствовал, что в глазковском четверостишии безусловно содержится некая похвала, я все же никак не мог понять, в чем она состоит, и его подарок, каюсь, не вернул мне веру в свои силы.

В воскресенье зашел его друг детства, и Коля предложил втроем съездить к Дезьке — поэту Давиду Самойлову. Не помню, где он в то время жил, но хорошо помню, что неподалеку находилась толкучка, где Самойлов, страдая от безденежья, в тот же день продал какие-то школьные учебники. Сам поэт, смуглый брюнет в гимнастерке и галифе, отдыхал полулежа на кушетке. В завязавшемся разговоре я из робости не принимал участия. Но вдруг Глазков заявил:

— А сейчас Гриша почитает нам стихи.

Деваться было некуда — прочел.

— Что ж,— задумчиво сказал Самойлов,— в двадцатые годы писателей поставляла Одесса. Вполне возможно, что в сороковые их начнет поставлять Киев.

Глазков, как бы подхватив эту мысль, рассказал о моих затруднениях, и Самойлов вызвался помочь мне подыскать работу. Как и было условлено, я позвонил ему через несколько дней, и он сообщил, что мне следует поехать на «Мосфильм» к его дяде. В большом кабинете полный энергичный мужчина с умными веселыми глазами, прервав служебный разговор, сказал мне, что, выйдет из меня поэт или нет, еще неизвестно, но что он готов немедленно вручить мне синицу в руки: даст возможность поработать на «Мосфильме».

Глазков заранее радовался за меня, торопил ковать железо, пока оно горячо. Но в один из ближайших вечеров меня привели к кинорежиссеру Рошалю. У него собралось множество гостей, артистов, актрис; я был представлен как студент-заочник Литинститута, и мне волей-неволей пришлось хоть что-нибудь прочесть. Глазкова, в присутствии которого я обретал уверенность, со мной рядом не было. Я смутился и не придумал ничего лучшего, как снова обратиться к моему нелепому рассказу. Когда кончил читать, воцарилось неловкое молчание.

Склонный к мнительности, являвшейся (увы, я поздно

это осознал!) гордыней наизнанку, я воспринимал свой провал на вечере у Рошаля как катастрофу, как свидетельство своей бездарности. У меня опустились руки. Я не поехал на «Мосфильм», не наведался и на заочное отделение Литинститута. Но и просто так жить на хлебах у добрейшего Коли Глазкова я, понятно, не мог. Решил уехать в Киев и там зализывать свои раны. Ни с кем не простившись, позорно убыл из Москвы. Глазкову на письменном столе оставил записку: благодарил за все и звал на Октябрьские праздники приехать в Киев.

В ответ Коля прислал открытку — как всегда, лаконичную. В ней он упрекал меня в малодушии. А в Киев приехать отказался.

До сих пор вспоминаю я глазковское бескорыстие, его обаяние, его умение радоваться чужой удаче и разделять чужое горе — качества, столь редко наблюдаемые в художественных натурах!

Муза Павлова

ГЛАЗКОВ, КАКИМ Я ЕГО ЗНАЛА

1952 год. Москва. Кривоколенный переулок, 14. Много соседей. Дверь в мою комнату открывается без стука. Входит Николай Глазков. Он всегда входит без стука. На нем длинное черное пальто, черная шляпа, на шее что-то отдаленно напоминающее кашне. Он вскидывает брови, что у Коли всегда сопровождает улыбку. Здороваясь, с силой жмет мне руку. Я вскрикиваю от боли. Коля не злой человек, он не хочет причинить мне боль, но такая уж у него привычка — с силой жать руку. Он очень сильный и любит сильных.

На этот раз у меня гость из Ленинграда, композитор Георгий Свиридов. Он уже знает и любит стихи Глазкова, я многие ему читала. Знакомлю их. Коля достает из кармана силомер, предлагает нам испробовать силу. У меня сильные руки пианистки. Мой результат восхищает Колю. Он просит меня выжать силомер левой рукой. Он доволен. Он говорит: «То, что ты выжимаешь левой рукой, поэт К. с трудом выжимает правой».

Решаем, что пора ужинать. Коля идет в гастроном. Когда он уходит, Свиридов говорит: «Я сразу понял, что это Глазков». «Как ты догадался?» — спрашиваю я. «Потому, что он — это я»,— отвечает Свиридов.

Коля возвращается. Ставит на стол бутылку вина, хлеб, какие-то консервы. Мы садимся ужинать. Коля замечает на столе селедку. Я уже знаю, что селедку надо ставить от него подальше. Коля говорит: «Зачем ты ешь селедку? Я бы тебе такое мог про нее рассказать, что ты бы в рот ее не взяла». Я прошу Колю не рассказывать мне ничего про селедку. Коля не настаивает. Я спрашиваю, нет ли новых стихов. Коля кладет передо мной целую стопку. Я прошу его почитать стихи. Коля читает. Сначала новые, потом, по моей просьбе, мои любимые: «Вот вам мир, в котором ларчик открывался просто...», «О том, какой я «примитивный человек», «Мрачные трущобы». Коля читает целомудренно-монотонно, без эффектов, именно так, как должен читать свои стихи истинный поэт.

1944 год. Я в гостях у Катанянов на Арбате. Познакомились с ними в 1942 году в эвакуации, в Перми. Еще тогда Лиля Юрьевна Брик и Василий Абгарович Катанян показывали мне стихи Николая Глазкова, которыми были увлечены. И вот я вижу у них самого поэта, он здесь ежедневно обедает после недавно перенесенного воспаления легких. Это по военному времени большая помощь человеку, зарабатывающему себе на жизнь пилкой дров.

Высокий, худой, со скуластым лицом пермского Христа, Глазков произвел на меня большое впечатление. Особенно когда стал читать свои стихи. Стихов он тогда писал очень много, можно сказать, писал с утра до вечера.

Дня через два Глазков пришел к нам (мы с моим мужем Алиханяном жили тогда в чужой квартире, в Фурманном переулке). Вскоре Коля принес первые посвященные мне стихи. За время нашей дружбы, которая продолжалась до Колиной смерти, он написал мне много посвящений, од, касыд и просто четверостиший.

1950 год. В Москву приезжает известный турецкий поэт Назым Хикмет, бежавший из Стамбула, где его за политические убеждения ожидала тюрьма, а может быть, и смерть. Акпер Бабаев, мой близкий друг, известный тюрколог, знакомит меня с Назымом в первые же дни его приезда. Я не знаю турецкого языка, но Бабаев говорит на турецком, по словам Назыма, как истинный стамбулец. Кроме того, Назым отлично говорит по-русски. Я начинаю переводить стихи Назыма Хикмета с помощью Бабаева и самого поэта. Мы решаем привлечь Глазкова к переводам стихов Назыма.

Глазков перевел немало его стихотворений. Назым был доволен его переводами. Но, конечно, особенно он ценил Глазкова-поэта, и нередко за столом Назыма, где собиралось почти ежедневно много народа, читались стихи Николая Глазкова. Несмотря на то что эти два поэта такие разные, Назым, с его необычайным чутьем и влечением ко всему талантливому, сразу понял и оценил поэзию Николая Глазкова.

Переводя стихи Назыма Хикмета, Глазков выбирал его рифмованные стихи, верлибр он не признавал. По этому поводу у нас шел постоянный спор. Назым только посмеивался, а я горячилась. Чтобы убедить Колю, читала ему стихи Владимира Бурича. Глазков дружил с Буричем, писал ему посвящения, дарил свои книги, однако убедить Колю, что верлибр ничем не хуже рифмованных стихов, было невозможно.

1951 год. Издательство «Художественная литература» (тогда Гослитиздат). Много народа, какие-то поэты, уже не помню, кто именно. Входит Глазков. Он показывает нам газету, где напечатаны его стихи. Он, конечно, этому рад. Однако с горечью говорит: «Счастливые вы, вам, чтобы напечататься, надо писать как можно лучше, а мне — как можно хуже». Но все-таки Коля предлагает отметить эту публикацию. Мы охотно соглашаемся.

В 1957 году Калининское издательство выпустило первую книгу стихов Глазкова «Моя эстрада» под редакцией поэта Василия Федорова. По этому случаю Коля собрал нескольких друзей. Я предложила тост за Василия Федорова-первопечатника. Коле понравился этот тост (вскоре он написал на эту тему стихи).

Ко дню моего рождения я всегда получала от Глазкова несколько посвящений, написанных на каких-нибудь красивых обрезках открыток или папиросных коробок с наклеенными на них картинками. Стихи, конечно, тут же зачитывались под шумное одобрение собравшихся. Это были по большей части четверостишия, иногда восьмистишия, тщательно упакованные в какую-нибудь самодельную коробочку, тоже украшенную рисунком или картинкой. Однажды к этому был присоединен маленький бюст Чайковского, сопровождаемый четверостишием, в котором он упоминался.

Приведу некоторые из посвящений. Вот четверостишие на репродукции известной картины Делакруа:

Отважно бились
Храбрые французы
И сохранились
В переводах Музы.

А вот еще одно, написанное позднее:

О Муза,
        в этой бренной жизни,
В Москве или на даче,
В халате люди живописны,
А женщины тем паче!
И не смущайся Бога ради,
А принимай гостей в халате,
Поскольку поступали так
Глазков, Обломов и Бальзак!

Однажды Коля принес мне свою новую касыду, в которой я вижу продолжение нашего спора о верлибре — свободном стихе:

О Муза!
Белый стих, как белый снег,
А холод неприятен, как чеснок,
И я, как благородный человек,
В конце строки рифмую каждый слог.

Но стих без рифмы нынче входит в моду,
Причем скрипит, как ржавая кровать...
И если хочешь, то тебе в угоду
Я напишу касыду или оду,
Которую могу не рифмовать:

Ты церковь Василия Блаженного,
Я христианин, любящий своего ближнего.
Ты Государственная Третьяковская галерея,
Я приехал за десять тысяч верст, чтобы увидеть тебя.

Ты кинофильм «Скандал в Клошмерле»,
Я враг всякого лицемерия.
Ты редактор сборника,
Я — именуемый в дальнейшем «автор».

Я смотрю на облака,
Я смотрю на деревья,
Я смотрю на бутылки,
Я смотрю на тебя.

Ты веселая,
Ласковая,
Добрая,
Умеешь бегать, прыгать и плавать!

Ты подобна утренним лучам восходящего солнца.
Солнце подобно стихам, наделенным рифмой.
Рифма подобна жаркому июльскому дню,
Когда все негодяи идут по теневой стороне улицы.

Так был кончен наш долгий спор о стихах без рифмы.

Можно было бы еще и еще рассказывать об этом замечательном поэте и мудром человеке. Но лучше нас, его современников, расскажут о нем его стихи.

Нина Бялосинская

ТАК ВСЕГДА...

Стихи бежали впереди него. Сталкивались с нами, тоже резвыми — молодыми. Запоминались с ходу, сами — не приходилось выучивать. Растаскивались на поговорки. Иногда услышанные «к слову» строки только потом сходились в целое стихотворение.

То были особенные месяцы. Начало 1945-го года. Дни ожидания победы и послепобедных надежд. Дни первых возвращений с войны и последних, как нам тогда казалось, утрат... Время студентов, роман о которых назывался «Трое в серых шинелях». И поэты, наши ровесники, донашивали еще гимнастерки. А читатели стихов носили любимые книжки в полевых или противогазных сумках.

Среди этих книжек попадались и самодельные — «Николай Глазков. Самсебяиздат». Я видела одну-две такие. У личных друзей Глазкова. У меня такой книжки не было — не была с ним знакома.

Я, как и многие, получила его стихи с голоса. Они жили среди нас, студентов-филологов МГУ, как песни, как притчи, как пословицы. Обрастали вариантами, «бытовали»...

От фольклора их отличала, пожалуй, только небезымянность — имя Глазкова кочевало вместе с его строками. Так неотделимо, что варианты, о которых мы спорили бывало,— так у него или иначе — оказались, как видно теперь из рукописей, его собственными, а не нажитыми в устном быту. Такую привязанность к авторам сохраняли, как я помню, еще только две студенческие песни того времени — «Бригантина» Павла Когана и «Одесса-мама» Всеволода Багрицкого.

С первого слуха строки Глазкова привлекали каламбурностью, радовали веселостью, вовлекали в игру:

Итак, извозчик ехал в гости.
И в то же время гвозди вез.
Дорогой он посеял гвозди,
Как сеют рожь или овес.
С тех пор, хоть это очень дико,
На месте том растет гвоздика!

Или:

В то время не был домовой
Прописан в книге домовой,
Сидел в трубе он дымовой...

Но уже этот игривый домовой занимал не только балагурной рифмой...

В непростом послевоенном быту каждый из нас и все вместе мы, те, кто пришел с войны, и успевшие подрасти за войну, продолжали происходить, складываться, образовываться. И стихи, слова, строки Глазкова — все эти «к слову» приходившие: «кошелек, набитый, как дурак», «Прометей — изобретатель спичек, а отнюдь не спичечный король», или «Так бюрократы каменного века встречали первый бронзовый топор», или «Чем столетье интересней для историка, тем для современника печальней...» — все эти и другие присловья (одно из них: «А я не говорю, что умней я вас, но моё поколенье умнее вашего» — не нашлось теперь ни в рукописях Коли, ни в памяти жены и многолетних близких друзей. Но точно помню — тогда считалось строками Глазкова, и даже говорили, что обращено к Л. Ю. Брик) — все это произносилось не всуе. Оказывалось нравственной опорой, хоть и веселым, но серьезным аргументом.

И был еще «Поэтоград». Тогда для меня не поэма, а только слово. Слово, сразу вошедшее в обиход, встретившееся в послевоенной Москве как свое, как бывшее всегда, как слово Достоевского «стушевался», которое невозможно представить себе неологизмом. Слово, не так привязанное в моем тогдашнем кругу к имени Глазкова, как его стихи. Но жившее в одном с этими стихами мире. Поэтоград — не Парнас и не географическое понятие, не город в городе, как, скажем, Ватикан, не утопия и даже не мечта. Поэтоград — способ жизни и среда обитания. Границы его пролегли между строками Глазкова, тоже «ходившими» в ту пору: «Мне нужен мир второй (заметим, не иной, а второй — реально существующий) — Огромный, как нелепость, А первый мир маячит, не маня! Долой его, долой! В нем люди ждут троллейбус, а во втором — меня!» За его стенами оставался мир, где «смотрят люди с колокольни, той, которая зарплата», или «той, которая квартира».

Конечно, это не рассуждения мои того времени. Это нынешняя попытка объяснить то чувство, которое роднило не меня одну с этим дерзким тогда словом Глазкова. Чувство, напомненное через много лет размышлениями Виктора Шкловского о двух необходимостях:

«Был такой человек, Прибылов, который шестнадцать

раз выходил в море, в океан, искал дорогу к своей необходимости и с неудачей возвращался на берег.

Он открыл острова на востоке Берингова моря на семнадцатый раз. Совершая шестнадцать попыток, Прибылов как бы все время натыкался на какой-то «необходимый» камень, как бы выступающий мыс, препятствие, которое он не мог обойти.

Вот в это время закрепилось название «необходимый камень».

Это необходимость идущего.

Нам необходимо создать новую систему земледелия.

И есть другая необходимость — чтобы не промочить ноги, необходимость надеть галоши...

Эти две необходимости находятся в вечной вражде» [1].

Необходимыми камнями вымощена дорога в Поэтоград.

Тогда, как всегда, взыскующие Поэтограда были заняты и тем, как лучше писать или «как делать» (если по Маяковскому) стихи. И в этих исканиях участвовала не одна только интуиция. Немало было молодого скоромыслия. Тогда и возникла мода на «обратимость образа», а вокруг нее и бурные дискуссии — «Всякий ли образ обратим?».

— Испокон веков пишут «ветвистые рога»,— говорил ровесник,— а я скажу «ветки торчат, как рога оленьи»...

И тут откуда-то явились стихи Глазкова:

— А вот и чайник закипел
Эмалированный, сиреневый.
И он отвлек меня от дел —
Напомнил мне сирены вой.
Все это было, было, было —
Во тьме ночей необычайных
Сирена выла, выла, выла
И не напоминала чайник...

Спор прекратился. Реплика снимала проблему.

Но то была не только реплика. Восемь коротких строчек выносили из плоскости рассуждений в пространство и объемность живого дыхания. В них, выражаясь словами Н. Глазкова, «предмет помещался в мире». В конкретном, узнаваемом. В том самом особенном мире пред- и послепобедной Москвы. Столь конкретном и узнаваемом, столь сиюминутном, какой именно и сообщает стихам долговечность.

Тогда я вспомнила, что впервые слышала стихи Глазкова еще раньше, весной 44-го, на 2-м Прибалтийском фронте, от, кажется, случайно, «проездом», оказавшегося

---

[1] Шкловский Виктор. О теории прозы. М., 1983, с. 64.



За работой. 50-е годы

в нашей землянке корреспондента армейской газеты «На разгром врага».

Сказано было и в тот раз «к слову»:

Гитлер убьет самого себя,
Явятся дни ины,
Будет 9 сентября
Последней датой войны!

Имя прохожего собеседника я сразу запамятовала. А строки, завезенные им, остались...

Потом, в мае сорок пятого, мы сожалели — Глазков угадал только число, а не месяц. Не знали еще, что в августе будет продолжение, что сквозь магический кристалл этой строки 1941 года неясно различались 9 мая и 3 сентября.

Не знала я тогда и того, что катрены и восьмистишия

Глазкова, бродившие среди нас вполне законченными стихами, часто были строфами нескольких его поэм. Я прочла их много позже, в рукописях. Иные читатели — только теперь, когда вышла уже посмертная книга «Автопортрет».

А жаль. В них, этих поэмах, нашли мы не только достоверные поэтические картины тылового быта, равные неприбранной окопной правде. Хотя и этого хватило бы... Отчего, думаю я, не была в свой час опубликована, скажем, поэма «Хлебозоры»? Со всей свежестью этого неординарного заглавного слова. С глубиной и масштабностью несущего образа. Со зрелой народностью отношения к войне, и победе, и миру. С ее полем хлеба и полем боя. С ее пожарами атак и наливными зарницами. Отчего я не прочла «Хлебозоры» в «Правде» или «Красной звезде» в тяжком октябре 1941-го? Тогда, когда она была написана...

Но другие, те, кто ушел на войну из Литинститута, или из педагогического, или из дома 44 на Арбате,— обладатели книжечек «Самсебяиздата»,— те прочли...

Теперь иногда случается услышать, что в отношении к Глазкову поэтов-ровесников, его близких товарищей к восхищению примешивалась и снисходительность. Думаю, что тем, кому так помнится, память изменила. Может быть, подшутили над ней светотени дальнейших судеб. Может быть, их поправит не так давно опубликованная дневниковая запись Сергея Наровчатова. Под новый, фронтовой 1943 год, для себя — не для печати — сокровенно перечисляет он своих соратников. Называет себя рядом с другими четырьмя. Впятером с ними — «получится мощная когорта друзей по ремеслу и жизни...». Среди этих ближайших «Глазков — явление сильное и многообещающее...».

Одни со стихами Глазкова уходили на фронт. Другие приходили к ним с фронта.

Теперь это все более проявляется, проясняется. И хорошо. Без того, что произнес, что вписал Николай Глазков, судьба его ровесников прочитывается неполно.

В первый раз я увидела Глазкова, наверное, в том же сорок пятом. Скорее всего, в «Молодой гвардии» — литературном объединении при издательстве, в старом доме на Новой площади, где собирались по средам говорить стихи и о стихах. Иногда со старшими — Антокольским, Верой Инбер, Луговским... Иногда — одни молодые.

Должно быть, кто-нибудь показал мне — вот Глаз-

ков. Но теперь кажется, что показывать не надо было. Что он узнался. Сам. Как его стихи.

Потом нередко приходилось и приходится слышать, что «с первого взгляда он казался человеком странным». И я понимаю, что имеют в виду. Но точно помню, что на мой первый взгляд ничего странного в нем не было. Конечно, он был ни на кого не похож. Но в ту пору в нашей среде это не считалось такой уж странностью. А главное — он был похож на свои стихи. Знакомый голос привел меня к этому лицу. Вот и всё. Да, в его облике были несоразмерности по неким канонам среднеарифметической эстетики. Но ведь мы встретились не в музее восковых фигур, а в живом собрании молодых поэтов, их подруг, их читателей, вернее, тогда еще слушателей. А живой Глазков был гармоничен до изящества. Как гармоничны были его строфы при частой несоразмерности их стихов с точки зрения схоластического стиховедения. Как гармоничны его поэмы, которые и сам он — на всякий случай — называл «мозаично-фрагментарными осколками поэм».

— Позволь,— возражают мне,— похож на стихи. Но ведь и стихи его странные. Он всегда удивлял...

Да нет, не удивлял он. Встречали мы тогда, встречаем и теперь алчущих удивить. А Глазков не удивлял. Он удивлялся. И более всего удивлялся тому, что мы не удивляемся вместе с ним. Не странны его стихи. Они остраняют. И тогда обнаруживается, хоть на четыре мгновенья, пока говорится строфа,— что не он, Глазков, странный. А странно многое из того, что нам кажется естественным и привычным. Ведь не только в поэзии встречаются стертые образы. Довольно стертостей и в образе нашей жизни.

— Но он играл роль, был не тем, кем старался казаться,— опять спорят со мной.— «Я поэт или клоун?..», «Надо быть очень умным, чтоб сыграть дурака...» Это его собственные признания. Он носил маску. Она приросла к нему.

«Ну, во-первых, не приросла,— думаю я.— Видали его, даже нередко, и без маски. Да и маска ли то была? Неподвижная? Изготовленная по трафарету? Напяленная сверху? Нет. Может быть — лицедейство. Но не маска. Скорее — это было сдирание приросших к нашим лицам масок».

— Но ведь каждый поэт творит свой миф.— Это уже возражение на уровне последних достижений литературоведения.

«На самом же деле,— думаю я,— не поэт творит мифы. Скорее, он расхожие мифы разоблачает».





Рисунки, выполненные Н. Глазковым на пишущей машинке. 1955 год

Он передразнивал обывательские сентенции. Выворачивал наизнанку те из них, что обрели статус поговорок. Доводил такую «мудрость» до ее логического конца. Он хотел вытащить элементарную истину из болота пошлости на небеса простоты...

Потому его бурлески, вопреки нашим привычкам и не в пример его эпигонам (а они уже встречаются в нашей молодой поэзии), его травестирование не снижают высокое, а поднимают низкое. Потому так плавно не вторгалась, а в гибком самодвижении восходила посреди его смеха нежнейшая и возвышеннейшая лирика. Как в поэме «Хихимора» — не поймешь, казалось бы, любовной или лубочной? Чего стоит хотя бы одно это название интимно-лирического стихотворения? Мы посмеиваемся. Но вослед за строками «Она смотрит куда-то глазами и покачивается, как челн» и «Не знаю, в каком я раю очутюсь» нас настигает:

Ищи постоянного, верного,
Умеющего приласкать;
Такого, как я, откровенного,
Тебе все равно не сыскать!

Ищи деловитого, дельного,
Не сбившегося с пути;
Такого, как я, неподдельного,
Тебе все равно не найти!

Так и совсем уж как будто буффонный герой поэмы-клоунады Амфибрахий Ямбович Хореев, предшественник Деточкина из известной кинокомедии, оказывается вовсе не вдруг — и почему-то много проникновеннее иных риторических стихов — призывает нас:

Чтоб выйти
Из заколдованного круга,
Любите
Друг друга.

Чтоб не быть в обиде,
Когда придется вам туго,
Любите
Друг друга.

Во время труда
И в часы досуга,
Всегда
Любите друг друга...

Вы живете на западе
Или приехали с юга,
Помните заповедь:
Любите друг друга!

Это не лирические отступления и не вторжение лирики в сатиру. Это высота и легкость полета, добытые полнокровным, всепоглощающим усилием. Прыжок снизу. Выстреливание собой из ямы. Ярмарочный аттракцион. Иван-царевич, явившийся из Ивана-дурака. Летающий мужик, которого однажды сыграл Глазков в кино. И в котором он был так подлинен, так уместен. И так узнаваем. Так похож на себя и опять-таки на свои стихи.

Я не помню, чтобы Глазков обсуждался там, в «Молодой гвардии», чтобы просто прочел несколько стихотворений (хотя было немало вечеров без заранее объявленной программы, когда читали, кто хотел, «по кругу») или чтобы он выступал с обстоятельными речами. Но присутствие Коли Глазкова (всегда, между прочим, для всех, знакомых и незнакомых, Коли Глазкова,— Николай только на обложках книг), но присутствие его всегда по-своему окрашивало вечер. А то и переосмысляло его. Обычно его участие проявлялось одной-двумя репликами, всегда вызывавшими «общий смех». И всегда волны этого смеха, откатившись, оставляли на душе нечто значительное. Порой значительнее того, что было обозначено в повестке дня.

Так нередко бывало и много позже, когда появились книги Глазкова, когда уже вспоминаются не молодые —

в литобъединениях, а «взрослые» заседания — в Союзе писателей.

Однажды в секции поэтов обсуждались чьи-то стихи. Глазков несколько раз перебивал ораторов репликами. Как всегда, острыми. Наконец председатель взмолился:

— Коля! Выступают твои товарищи. Нельзя же сбивать. Хочешь сказать — попроси слова. Для чего эти реплики?!.

— Хорошо,— сказал Коля.— Тогда я прошу слова в защиту жанра реплики. Когда на Первом съезде Советов, в 1917 году, меньшевик Церетели в своей речи заявил, что сейчас нет такой партии, которая могла бы взять власть, Ленин спокойно, но громко сказал: «Есть такая партия!» Это была реплика с места. Подумайте, что было бы, если бы Владимир Ильич пренебрег жанром реплики...

Его поступки часто казались экстравагантными. Но стоило подойти к ним не с привычными мерками — и обнаруживалась их естественность, противостоящая формальному поведению иных из нас.

Помню, как однажды возмущались в нашем писательском штабе очередного субботника. Все московские писатели получили письмо с просьбой сообщить, в какой форме они собираются участвовать в субботнике: выступление, работа в подшефных организациях района, отчисление гонорара за очередную публикацию и т. п. Глазков прислал в штаб подборку стихов, просил ее опубликовать, а гонорар перечислить в фонд субботника. «Опять Глазков эпатирует!..» — обсуждали члены штаба. Между тем почему бы этим активным и авторитетным писателям ограничивать свою работу рассылкой писем и подсчетом рублей, а не похлопотать, если они уж называются штабом, об этой публикации. Стихи были хорошие. И могли бы украсить полосу любой газеты в день субботника.

Познакомила нас с Колей Глазковым моя близкая подруга, товарищ по литературному объединению «Магистраль» и Колин старый друг — Генриэтта Миловидова. Уже в начале 60-х годов. Мы встретились у нее в гостях на Садово-Кудринской. Было еще несколько «магистральцев»: кажется, Григорий Левин с Инной Миронер, наверняка Виктор Гиленко, еще кто-то... Но в общем небольшая, нешумная компания. Пришли и Коля Глазков с Росиной.

Заговорили. И сразу на «ты». Но это было обычно

тогда. Неожиданным оказалось то, что он уже знал мои стихи, не так много и часто публиковавшиеся. Думаю, не потому, чтобы его, достаточно искушенного, привлекли именно мои стихи. А потому, что он был всегда очень внимателен ко всему и ко всем в поэзии. Как его хватало на всех — это уж другой разговор.

И совсем сюрпризом для меня было то, что он пришел с пародией на довольно новенькое мое стихотворение. Пародия мне понравилась. Она прочитывала не мои огрехи, а меня. Я очень благодарила Колю и только сделала одно шутливое возражение:

— У тебя там: «Пусть у меня не стирано белье, и скатерть вся чернилами залита...» А я хожу на службу. Мне днем писать некогда. И у меня не скатерть, а пододеяльник в кляксах...

— Вот видишь,— очень серьезно упрекнул Коля Росину.— У меня и было «простыня», а Ина сказала, что это неприлично...

Конечно, и в тот вечер читали стихи и говорили о них...

С тех пор мы встречались с Колей знакомыми. Редко дома. Чаще на вечерах и заседаниях. Еще чаще в коридорах и холлах Дома литераторов. Мимоходом, как принято говорить. Но невозможно было пройти мимо него. И мне дорого то, что и он не проходил мимо. Постоим. Поговорим...

Может быть, те, кто слишком прямолинейно прочитывают анакреонтические стихи Глазкова, будут очень смеяться, но я никогда не видела Колю пьяным. Ни на собраниях, ни в коридорах, ни за столиками ЦДЛ, ни на домашних застольях. А случалось мне раза два встречаться с ним и за столом.

Потому, наверное, а главное, должно быть, по неизменному его вниманию к человеку, эти наши короткие беседы были не мимолетны, как часто бывает, и не суетны. А напротив — надолго выносили из привычной суеты.

Случилось мне однажды провиниться перед ним. Я сидела в ЦДЛ, в компании людей не близко знакомых, мнением которых, однако, очень дорожила. Беседа удавалась. Я, видимо, позволила себе несколько залюбоваться собой. И когда кто-то рассказал очередной «анекдот» о Глазкове, я сказала, не задумываясь, для «красного словца»: «Ох, уж эти мне юродивые без креста». Моя реплика понравилась...

И тут в дверях появился Коля.

Я очнулась. Мне стало очень стыдно. Я поторопилась

признаться: «Коля, я сейчас сказала про тебя, что ты юродивый без креста...» Коля ответил невозмутимо, без тени обиды, серьезно, словно поправлял ошибку в тетрадке: «Нет. Я с крестом».

Он оставил суетное вне себя. Его интересовала суть.

И в этой ситуации он умудрился как бы подставить плечо. Мне кажется, я дожила этот вечер точнее и естественней.

Я думаю, во многом из того, что выглядело невозмутимостью, наивностью, простодушием Коли, проявилось его великодушие, масштаб души.

Годы шли. Появилось несколько книг Глазкова. Было два-три обсуждения его новых стихов в творческом объединении поэтов. Товарищи по достоинству их оценили. Он много переводил. Ездил в творческие командировки...

Нам казалось не столь уж важным, насколько полно представляют его эти книги. Мы-то ведь читали и то, что оставалось за их страницами. Не казалось столь важным, что не входил он в «обойму» интересов широкой критики. Ведь книги его не пылились на прилавках — значит, есть и читатели. Не беспокоило нас всерьез, что его место во внешнем литературном процессе не соответствовало истинному его значению. «Рукописи не горят»,— привычно утешались друзья.

«Писатель приходит неузнанным...» Вот и опять память возвращается к Виктору Шкловскому. Но как и не вспомнить их рядом? Того, кто начал свой почти вековой путь с книги «Воскрешение слова» и в последних недописанных листах завещал заботу о том же. И того, кто в каждой своей короткой строчке воскрешал слова. Они шли всегда рядом. Близко.

Но однажды, случайно обмолвившись при Викторе Борисовиче о Коле, я удивленно обнаружила: Шкловский не знает Глазкова. И он был удивлен, заинтересован, услышав какие-то строки. Обещала показать ему свою тетрадку с любимыми стихами Коли. Да не успела. А книга «Автопортрет» вышла, когда Виктора Борисовича уже не было...

А жаль. Что сказал бы Шкловский о слове Глазкова? Никогда не прочтем.

Рукописи не горят. Но жизнь не бесконечна.

— Писатель приходит неузнанным,— говорил Виктор Шкловский,— как Одиссей, возвратившийся в свой дом...

Слава богу, хоть жена узнала.

Теперь — спасибо в первую очередь ей — есть и у читателя, наконец, сколько-нибудь похожий на Николая Глазкова «Автопортрет».

...Театральный разъезд. Только что кончился вечер Глазкова. Теперь вечера его устраиваются чаще, чем при жизни. В Центральном Доме литераторов. В Литературном музее. В Музее Пушкина... Залы всегда полны. В них много молодежи. А на сцене не только писатели — и ученые, шахматисты, кинематографисты — друзья Коли.

Сегодня мы выходим из Дома ученых. Вечер, как всегда, удался.

— Так в чем все-таки загадка Глазкова? — повторяет один из выступавших сегодня поэтов свою ораторскую находку.

Я не знаю, надо ли разгадывать загадки. «Два конца, два кольца, посредине гвоздик» — по-моему, интереснее, чем «ножницы», и «сидит в ложке, свесил ножки» — живее вареных макарон. Но если уж так хочется заглянуть в то, что пишется в скобочках вверх ногами, то, по-моему, феномен Глазкова коренится в недрах и в движении той традиции, которая теперь именуется «смеховой культурой Древней Руси». Вмещающей и скоморошество, и юродство, и ораторский и эпистолярный сарказм начальных времен нашей словесности. А потом — народную драму и мистерию. Балаганы и ярмарочное искусство. И то, как эти культуры развивались в поэзии начала века, в поэзии двадцатых и тридцатых годов... Но тут мы уже добрались опять до самого Глазкова.

— Не будь такой серьезной,— перебивает ровесник.

Ах, хотелось бы мне быть тут побеспечнее. И только резвиться со стихами Глазкова в зубах. Если бы не сам Коля:

А в ночь угрюмую,
Когда темно,
Иду и думаю
Что мне дано?

Что дано? Причитанье причуд,
Неоткрытых открытий высоты,
Мысли, что мудрецы перечтут,
А глупцы превратят в анекдоты...

— Да что же они весь вечер хохотали?! — возмущается ровесница.— Неужели никто не видит, как все это серьезно?..

А ведь и я смеялась. Ведь это пир стиха. Как же не смеяться на пиру? Ведь и сам Коля:

Пусть неуместны здесь смешки,
Но чтоб в глупца не превратиться,
Скажу — «Засмейтесь, смехачи!»,
Как «все-таки она вертится!».

Нас догоняет совсем молодой поэт. Он никогда не видал Глазкова. И совсем недавно впервые прочел его. Но — я заметила — не пропускает ни одного его вечера. И уже раздобыл где-то только что вышедшую книгу Коли.

— Неужели так всегда? — спрашивает он с почти детским отчаянием.— Неужели надо умереть, чтобы тебя услышали?!

— Умирать не надо,— отвечаю.— Умирать приходится. Всем. А услышат ли тебя рано или поздно, наверное, больше зависит от того, как жить.

И как в юности, «к слову», вспоминаю давнюю молодую элегию Коли Глазкова:

Так всегда, как прошли звероящеры,
Мы пройдем, и другие придут.
За такие стихи настоящие,
Что, как кости зверей, не умрут.
А расскажут о том, как любили мы
И какая была суета...
И смешаются с прочими былями.
Так всегда.

Константин Ваншенкин

КОЛЯ ГЛАЗКОВ

Я познакомился с Глазковым в конце сороковых годов. Даже при тогдашнем индивидуальном разнообразии поэтической среды это была на редкость колоритная фигура. Все его, за глаза и в глаза, называли Колей. Коля Глазков. Он это принимал как должное, почти как литературное имя. Одни относились к нему вполне серьезно, даже восхищались им, другие воспринимали его явно скептически. Он же называл себя гением,— трудно было сказать, в шутку или всерьез,— и когда ему дарили книги, требовал, чтобы это определение присутствовало в авторской надписи. Кажется, Винокуров начертал ему на своем сборнике: «Обычному гению».

Уже много лет спустя, размышляя о Хлебникове, я подумал, что для своего поколения Глазков был как Хлебников — для Маяковского и Асеева. Наровчатов, Луконин, Слуцкий, Самойлов, Львов и другие относились к Коле с нежностью и обожанием, но это (может быть, подсознательно) происходило с высоты их положения и успеха. Он тоже был поэтом для поэтов. И он тоже учил — раскованности, свободе выражения, независимости в искусстве. Учил одним своим существованием, сам этого не сознавая.

И в быту он вел себя своеобразно. Любил демонстрировать умение поднимать стулья — за самый низ ножки — высоко над головой. Но еще более — показывать силу рукопожатия. Здороваясь, он норовил поудобнее захватить вашу кисть и начинал медленно сжимать, без отрыва глядя вам в глаза.

Надеюсь, меня не осудят строго за то, что похвастаюсь на старости лет: у меня всегда были сильные пальцы. Луконин сказал мне как-то: «С тобой поздороваться — все равно что физзарядку сделать». А ведь он был настоящий спортсмен. Так вот, протягивая руку Глазкову, я всегда сам встречно стискивал его кисть и вскоре заметил, что он здоровался со мной за руку без особого энтузиазма.

Он был добрым, расположенным почти ко всем. Проявлялось это тоже по-своему. Скажем, в Москве сущест-

вует «Бюро вырезок», откуда за умеренную плату и с претензией на полноту охвата могут по вашему заказу присылать все, напечатанное вами или о вас. Я тоже пользовался этим, скорее из любопытства, пока не надоело.

Коля представлял из себя ходячее бюро вырезок, вполне, разумеется, бескорыстно. Он останавливал в Центральном Доме литераторов то одного, то другого стихотворца, часто неизвестного автора, лез во внутренний карман пиджака и доставал бумажки с их публикациями — из «Московского комсомольца» или отрывного календаря. Сам он получал от этого огромное удовольствие.

«У каждого поэта есть провинция»,— сказал Гудзенко. Но кроме той «провинции», откуда поэт произошел и которая живет в его стихах (ею может быть и столица), почти у каждого существует еще одна: с нею он связан особыми нитями судьбы, дружбы, перевода. У кого это Грузия, у кого Дагестан, у кого Белоруссия. У Глазкова была Якутия. Он летал туда не раз, переводил якутских поэтов. И свои стихи писал тоже.

Однажды он принес на заседание редколлегии «Дня поэзии» целую кипу стихов о Якутии. Он читал их, как всегда, слегка, что ли, размагниченно, отстраненно, даже безразлично, в своей манере, не улыбаясь в смешных местах.

И там было стихотворение о том, как автор встретил в якутской тайге женщину, которая шла на лыжах, будучи совершенно голой. Поэт ничуть не удивляется данному обстоятельству и даже подчеркивает, что это не обман зрения, потому что находившийся с автором фотограф (он назвал по имени и фамилии) «сфотографировал ее».

Зачем я рассказываю об этом?

Затем, чтобы подчеркнуть, что одна из главных его особенностей — склонность к гиперболе, гротеску.

Как-то я сидел в кабинете С. Наровчатова в «Новом мире», там были еще М. Львов и Д. Тевекелян, и зашел разговор о Глазкове, его уже не было. И Наровчатов вспомнил Колины строчки еще их институтских времен:

Я ненавижу те года,
Когда Кульчицкий съел кота.

Никакого кота Кульчицкий, конечно, не ел, но история, однако, существовала. У профессора Л. И. Тимофеева (тогда, как и в мое время, он жил во флигеле, во дворе Литинститута) пропал любимый, пятнистый, яркой окраски кот.

Через несколько дней, придя на лекцию, профессор увидел у одной из студенток меховую муфту. Тогда это было модно. Тимофеев долго смотрел на нее и наконец спросил через силу:

— Откуда у Вас... это?

— Мне подарили,— ответила студентка с гордостью.

— Еще недавно она бегала и мяукала,— произнес он упавшим голосом.

Муфту преподнес ухаживавший за девушкой Кульчицкий.

Глазков же написал приведенные выше строки. Ему это было свойственно: чудовищное преувеличение, подаваемое как обычное явление. Это типичный Глазков.

Он много написал, очень много. В том числе стихи по-настоящему замечательные. Их помнили наизусть — «Ворон», «Стихи, написанные под столом» и другие. Еще во время войны Николай Глазков написал:

Писатель рукопись посеял,
Но не сумел ее издать.
Она валялась средь Расеи
И начала произрастать.

Да, настал момент, и стихи его «произросли». Это все издано, пришло к читателю.

Не могу не вспомнить в связи с этим учившегося в Литературном институте в одни годы со мной Сашу Парфенова, Сашуню, инвалида войны. Он стал потом директором Калининского областного издательства и выпустил первую, если не ошибаюсь, книгу Глазкова. А затем Коля начал печататься шире — в газетах, в журналах, в «Дне поэзии».

А Сашуни Парфенова теперь тоже нет.

Глазкова долго не принимали в Союз писателей — из-за его необычности, непохожести. Кого-то это смущало. (Ксюшу Некрасову ведь так и не приняли.) Но все же Коля стал полноправным поэтом, членом Союза.

Об умерших обычно пишут в некрологах: «Навсегда сохранится в наших сердцах». Не всегда это бывает действительно так. Но здесь-то уж точно.

Хочу закончить стихами. Они называются «Коля Глазков. Штрихи к портрету». Я написал их в 1980 году.

Был он крупен и сутул.
Пожимал до хруста руки.
Поднимал за ножку стул,
Зная толк в такой науке.
Вырезал стихи друзей,
Что порой встречал в газете,
И с естественностью всей
Им вручал находки эти.
Не растрачивал свой пыл
На душевные копанья,

А Якутию любил
И публичные купанья.
Пил грузинское вино —
Большей частью цинандали,—
И еще его в кино
С удовольствием снимали.
...Это беглые штрихи
К бытовому лишь портрету.
Ибо главное — стихи,
Жизнь дающие поэту.
Краткий бег карандаша,
Откровения услада
И — добрейшая душа
Иронического склада.

Александр Межиров

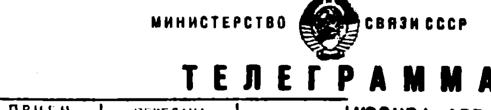
Николай Глазков — большой, неповторимый поэт. Корни его творчества уходят глубоко в народную стихию. Может быть, скоморохи были его далекими предтечами...

Мир его поэзии — многогранный, многомерный, пестрый — не мишура, а волшебство красок, богатство палитры. Язык правдивый, подвижный, не желающий подчиняться нормативному синтаксису, а иногда и грамматике:

...Над Волгой Чкалова, и Разина,
И Хлебникова, и меня,—

писал он о своих истоках. Вроде бы нельзя сказать «над Волгой меня». Но здесь необходимо и потому естественно.

Глазков пришел с Волги, а прожил жизнь на



МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ СССР

ТЕЛЕГРАММА

ПРИЕМ | ПЕРЕДАЧА

Бл. № 21

ТБИЛИСИ 2/20601 38 23 1445=

МОСКВА АРБАТ 44 КВ 22

НИКОЛАЮ ГЛАЗКОВУ=

ДРУЖЕСКИ И НЕЖНО ОБНИМАЮ РОДНОГО КОЛЮ ЛЮБИМОГО ПОЭТА ПЕРВОГО И ЕДИНСТВЕННОГО УЧИТЕЛЯ НАШЕГО ПОЭТИЧЕСКУЮ СОВЕСТЬ НАШЕЙ МОЛОДОСТИ ТЧК ЖЕЛАЮ НЕИСЧЕРПАЕМОЙ БОДРОСТИ ДУХА БОГАТЫРСКИХ СИЛ ВДОХНОВЕНЬЯ С ЛЮБОВЬЮ И ПРЕДАННОСТЬЮ =САША МЕЖИРОВ-

Поздравительная телеграмма от А. Межирова

старой московской улице: «Арбат, 44, квартира 22...» — эту строку помнили все мы, чуть младшие стихотворцы, и этот дом Учителя был нашим домом. Его влияние на всех, кто писал стихи в 40-е годы, было огромным. Луконин, Слуцкий, Наровчатов немыслимы без Глазкова. О целых поколениях поэтов сказал он:

....Неожиданность инверсии
Мы подняли на щиты.

Сквозь лабиринты его поэтических инверсий пролег путь к свету поэзии.

Георгий Куницын

НЕОБЫЧНЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ

В бытность мою редактором тамбовской молодежной газеты «Комсомольское знамя» ко мне где-то в январе-феврале 1953 года зашел ну просто-таки явно не местный, совсем и совсем незнакомый человек. Как позже выяснилось, он и всюду был «не местный», будто пришелец из некоего параллельного мира, о котором сам впоследствии рассуждал, кстати, вполне и вполне всерьез. В нем было вроде бы все то же, что у других, а тем не менее — иное. Мощный, сутулый, но это несло в себе, пожалуй, какой-то вопрос, непонятно чем озадачивало, какие-то были тут особые, неизвестные взаимодействия с пространством. Взгляд исподлобья, удивительно доброжелательный, с затаенным всепониманием. Глаза смотрели на собеседника, но и одновременно мимо него. Трудно было отделаться от впечатления, что видят эти глаза и что-то свое, затаенное.

Случай, когда неповторимость выражения лица — полнейшая. Я более не встретил человека, который имел бы сходство с этим.

— Московский поэт Николай Глазков... Хотел почитать вам мои стихи,— совсем и совсем обыденно сказал мой посетитель.

Я лишь начинал быть редактором. В поэзии специалистом себя не считал. Но почему бы не послушать? То, что имя Глазкова было незнакомо, это меня не смущало: много ли в то время знал я стихотворцев из числа своих современников? Мое поколение любило классику и Маяковского. Из баловней той поры мне были неведомы многие. К Глазкову отнесся соответственно: мол, он из тех, кого я просто не читал.

Ответил я пришельцу, что рад послушать, но неудобно это делать одному. Соберемся редакцией: не частые у нас гости из Москвы.

Спустя более двадцати лет я узнал — от самого Николая Глазкова — о том, что к моменту, когда он появился в редакции нашей газеты, были напечатаны только крохи (да и то нехарактерные) из его стихов...

Суть дела, впрочем, не меняется. Происходил разговор с Н. Глазковым под вечер. До того как собрался редакционный коллектив, приезжий не ушел от меня. Беседа была крайне интересная. Разговорщиком он оказался необычайным. У него, пожалуй, была тактика подобных бесед. Позже я понял, как много пришлось ему пройти редакционных кабинетов, где настораживались из-за того, что он ранее практически почти совсем не публиковался, и... тоже не печатали его!

Это — интересный вопрос. Не таюсь: я лично с особым удовольствием публиковал как раз тех, кто выступал впервые. Николай Иванович мог бы не применять со мною прием умолчания о своей безвестности. Но он его применил именно у нас.

Не буду, однако, торопиться. Идет лишь начальная беседа с поэтом.

— Что привело вас в нашу глушь?

— Какая же глушь? Конец Москвы...

Николай Иванович со всей теплотой говорил в первую очередь о своих друзьях — С. Наровчатове, М. Луконине, Б. Слуцком, Д. Самойлове и многих других. Хотя слушание его стихов должно было состояться несколько позже, в нашей беседе, конечно, не обошлось без стихов. Н. Глазков без них, как оказалось, и говорить-то не мог. Правда, у меня пока обходился без своих — зато наизусть читал любого попавшегося, кого бы ни упоминал. Впечатление: знает буквально всю поэзию... Ну, кто же таких не уважает?

— Не заучиваю я их,— угадал мои мысли собеседник.— Оседают в голове как-то сами.

— А проза?

— И проза тоже. Дайте полстраницы по своему выбору, воспроизведу и прозу после одного чтения. Могу и из «Капитала»,— добавил с задором.

Я переживал восторг от столь захватывающей игры способностями.

— В первую десятку по памяти в Москве войду,— сказал Николай Иванович просто и решительно.

Далее же было как в легенде о выдающемся итальянском шахматисте Ломбарди, жившем в XVII веке: попав к пиратам, он избежал тяжкой участи только тем, что главный пират оказался любителем шахмат, не знавшим себе равных по силе: Ломбарди, естественно, обыграл его и спас себя.

Увидев в моем кабинете шахматы, Н. Глазков спросил с надеждой:

— Играете?

— Так... Запоздал в развитии,— ответил я.

— В каком смысле?

— До войны не пришлось. Учился в госпиталях, после ранений.

Видя, что поэт жаждет показать мне свою силу, я начал расставлять фигуры. В редакции у меня соперников не было.

Были мы молоды, дух состязания главенствовал в обоих. Входили мои сотрудники со срочными делами, а их редактор, сидя за доской перед неизвестно кем, подписывал материалы в набор, не читая их... Будто отмахивался пером.

Матч этот из четырех легких партий при одном моем выигрыше и одной ничьей я, перворазрядник, проиграл. Николай Иванович (оказалось, тоже перворазрядник) мог начинать свое выступление у нас с преотличным настроением. Получил допинг.

Однако имя Глазкова для приглашенных мною его слушать не говорило ничего, поскольку я один успел с ним познакомиться.

По-настоящему талантливый поэт, уже в то время незаурядная фигура советской поэзии, Николай Глазков вышел перед периферийными комсомольскими газетчиками, чтобы непременно им понравиться. За тем приехал. Изъездил ранее немало городов — напрасно.

Мало кто остался ныне из его друзей, поэтическая судьба которых складывалась благополучнее. И все же скажу: многие из них друзьями и гражданами показали себя липовыми. Дотянувшись, в отличие от Глазкова, до самых больших почестей, они ведь раньше любого знали — кто есть кто. Не они Глазкову, а Глазков им расчищал творческие пути в поэзии. Один Б. Слуцкий сказал об этом прямо и честно.

Появление Глазкова, разумеется, стало для нас событием. Это при всем том, что тогда мы еще не ощущали себя фоном, на котором началась иная судьба в высшей степени интересного художника. Событием явился, в первую очередь, сам характер стихов. Их отличала органическая свобода. Такой голос не волновать не может.

(Не лишне сейчас вспомнить: было лишь самое начало 1953 года. Жизнь в «пользу» Глазкова начала меняться после 5 марта того же года.).

Стихотворения звучали одно за другим. Профессиональный уровень их сразу ввел слушателей в состояние почтительного внимания. Одно из стихотворений особенно потрясло. Поэт писал, что сам он «простой человек». Но вдруг — вопрос: «А что он сделал, сложный человек?» Ответ до жути лаконичен: «Бюро, бюро придумал пропус-

ков». Эти слова звучат ныне как опознавательный знак того времени...

Глубокая ирония (и самоирония), слитая с раздумьями о судьбах человека, производила неизгладимое впечатление.

Всегда ли были осознаны автором прорывы в сокровенное содержание эпохи? Если бы они были случайны, Глазков был бы удачливее.

Для «звездной» подборки стихов Н. Глазкова мы отслоили наименее неожиданные для провинциального читателя. Да, получается, что л е г к о й рукой были подписаны они к печати... Велика ли птаха — областная «молодежка» с ее 30 тысячами экземпляров, а «поехал» Николай Глазков в свой космос отсюда.

Много лет спустя после этого дня увидел я, как в фильме об одном из величайших русских художников Николай Глазков, исполнявший там притчевую роль гениального русского самородка, построившего в конце XIV века своего рода воздушный шар и взлетевшего на нем в небо, кричит криком творца Вселенной: «Летю-ю-ю!!!» В этом его возгласе убежденность Прометея, судьба Икара. Навстречу же несется бесконечно прекрасная русская земля...

Таков и есть образ опасности, в коей пребывает первооткрыватель. Создан этот образ человеком, который будто и впрямь хотел раскодировать личную судьбу: сила духа возносит, а бренность плоти готова обернуться паденьем...

Но не оторваться от Земли и покинуть ее стремится разум, а только увидеть ее с независимой высоты, когда он реет как бы рядом с нею на собственной своей орбите.

Поэта действительно волнует именно сама Земля, ее великолепие. С усмешкой человека, более вооруженного знанием опыта, опыта XX века, Н. Глазков сочувствует Бодлеру в том,

...что снизу вверх Бодлер
Смотрел на облака
И их превыше всяких мер
Прославил на века!..

Два века, два мировоззрения. Для Бодлера облака — опоэтизированное небо. Для Глазкова же:

Мне жаль Бодлера — чудака:
Он по старинке жил,
А я на эти облака
Смотрю как пассажир!
На них смотрю я свысока —
Не только с высоты,
Не замечаю в облаках
Особой красоты!..

Мягко посмеиваясь, Н. Глазков бил по стереотипам.

Зря заслоняют облака
Вершины снежных гор!
Зря заслоняют милый лес
И весь земной простор...

Утверждает это человек, который на верхней стороне облаков... Для него они превратились в помеху. Если бы и Бодлер поднялся над облаками, то

...Был бы очень огорчен
Старик наверняка,
Когда б, как я, со всех сторон
Увидел облака!

А однажды мы неожиданно столкнулись с Николаем Ивановичем далеко от Москвы, в Якутском аэропорту: он летел на Алдан, я с Колымы. За спиной радостный вскрик: «Георгий Иванович! И вы здесь...» Услышать это за тридевять земель до дома — какая удача. Еле успели обняться, Николай Иванович уже заковылял походкой хозяина тайги к трапу самолета на Усть-Маю...

Нас каждого чем-то своим тянула к себе Якутия: Н. Глазков переводил якутскую поэзию на русский язык и стал певцом здешних сказочных мест, а для меня-то река Лена — родной край. Плавал в юности тут матросом, а теперь к братьям матросам езжу с лекциями.

Смотрел я на удалявшуюся надежную спину друга, переживая внезапно пришедшую радость. Пригоршней плеснул ее мне этот по-детски открытый человек. Свернул ко мне на миг...

Может, в той поездке родились строки:

Наш самолет летит в Якутск,
Но где тайга, луга
И Лена — дивная река?..
Иллюминатор тускл!
Всё в серо-белой пелене,
Унылой как тоска,—
Увидеть мир волшебный мне
Мешают облака.

Небесный «пассажир» — символ, обозначающий взгляд художника буквально «сверху вниз», на мир, ничем не мистифицированный.

Мы не всегда отдаем себе отчет в том, что в нынешнем взгляде на мироздание, как бы его ни понимать, все соотносимо с «эффектом Гагарина»: летел человек в небо и только оттуда по-настоящему увидел божественную красоту Земли... Но и история человеческого разума может быть расшифрована так: тысячелетиями искали люди в небе бо-

га, а, поднявшись туда, обнаружили божественную природу человека...

Своеобразный космизм сознания проявлялся у Глазкова порой, однако, и в невероятных ситуациях. К примеру, он — в кругу друзей. Беседа, как всегда, перемежается его экспромтами. Обычное его состояние. Но он проигрывает пари и должен по условию лезть под стол. Выйдет оттуда, когда сочинит стихотворение... Каков там его угол зрения, следует из сочинения:

Я на мир взираю из-под столика,
Век двадцатый — век необычайный.
Чем столетье интересней для историка,
Тем для современника печальней.

Возможно, необычность ситуации и помогла поэту «отжать» отдельно беззаботность по отношению к тому, что угрожает самой жизни, а в прошлом уже принесло нам неисчислимые бедствия. Век двадцатый — наследие, доставшееся нам. Подвиг — конечно, привлекателен. Но — как ретроспектива. Для самих подвижников он — жестокая необходимость. С радостью люди не гибнут. Живые герои — редкое исключение.

После Тамбова мы с Глазковым не встречались годы и годы. Хотя меня судьба кинула в Москву, а он, говоря словами Б. Окуджавы, «дворянин арбатского двора», все равно не встречались. Мой «двор» оказался более знатным. Почти забыл я Тамбов, а Николай Иванович, наоборот, сдружился с тамошней газетой, доверчиво протянувшей ему обе ладони. Похоже было, что он стеснялся встретиться со мной в Москве, полагая, вероятно, что я могу воспринять его приход как намек: пора, мол, и здесь дать ему «зеленую улицу»...

Жаль, что он не напоминал о себе. Книжки его выходили. Было ошибочное впечатление, что все у него нормально. Ничего нормального, однако, не было: значительные его произведения так и оставались неопубликованными. Не умел он жаловаться. От него нельзя было услышать даже и самого обычного интеллигентского поскуливания. Думается, он очень верил в посмертную справедливость.

Память сейчас мне помогает понять, сколь высоко ценил Николай Иванович дружбу. Выше всего. Умел он дружить. У него всегда был полон дом людей. Между тем размеры квартиры на Арбате были малы. Но и новое жилище, которое он получил, было не очень удобным, главным образом своей отдаленностью от центра. В общем, это были

обстоятельства, которые мог терпеть только и только он, находивший полнейшую компенсацию за все на свете в общении с наиболее близкими ему по духу людьми. На мыслящих иначе он никогда не злился.

О таком его быте я узнал только тогда, когда уже не имел возможности помочь ему.

Друзьями мы стали, помнится, в 1970 или 1971 году (ранее просто не успели прийти к потребности в постоянном общении друг с другом). К тому времени перестал я быть «начальством». Приняли меня в СП СССР. Начал бывать в Доме литераторов. Вот здесь и увиделись. Это — наш писательский клуб. Писатели — люди общительные, и приходят туда даже те, кто друг к другу относится более чем сдержанно.

Я не узнал Глазкова. Он давно оброс бородой. Узнал меня он: память на лица была у него отменная. Приятно было видеть его искреннюю радость.

Грустным я видел Глазкова только раз: за три или четыре дня до его смерти. У него было философское отношение к невзгодам: если иначе быть не может, то зачем печалиться?

Итак, новая встреча. Сначала схлестнулись в шахматы. Его обычного перевеса на сей раз почему-то не обнаружилось. В поднимании же стула кистью одной руки я почувствовал перед ним свое ничтожество. Николай Иванович поднимал тяжесть без видимых затруднений. А я? Знал, что деревянный стул подниму, но вот металлический отодрать от пола так и не смог... Реванш мне удалось взять лишь в уральской борьбе. И то, видимо, потому, что весовая моя категория оказалась выше.

И это ведь все — на писательской публике! Теперь такое в ЦДЛ не увидишь. А тогда сколько было совсем не шуточных аплодисментов. Нашлись желающие померяться с нами... Это, между прочим, еще больше подняло нас в глазах публики, ведь каждый мнит себя героем, видя бой со стороны...

После этой азартной и веселой встряски неугомонный Николай Иванович потащил меня к себе домой. Останавливаясь и споря, дошли до Арбата, была уже ночь. Сбежать мне оказалось невозможно.

— Да ты представляешь, как будет рада моя жена. Она же тебя никогда не видела,— успокаивал он меня.

И правда: его супруга Росина сразу же нейтрализовала все мои беспокойства своим гостеприимством. Сказала, что она помнит до деталей рассказы о счастливой тамбовской поездке Николая Ивановича, хотя и прошли с тех пор многие годы.

И опять играли в шахматы — почти до утра. Благо

дома меня не ждали, должен был уехать в Переделкино.

После мы встречались нередко.

Человек был Николай Глазков подлинно необыкновенный. Что же мне видится в нем как нечто самое характерное и важное через уже целый пласт прошедшего времени?

Любой истинно талантливый художник — это явление. Николай Глазков пришел в литературу (если иметь в виду только сам факт его творчества) в конце 30-х — начале 40-х годов. Публикация его произведений началась значительно позже. Не закончена она и ныне, поскольку немало значительных его произведений остается все еще в рукописях. В текстах им самим публиковавшихся стихотворений переутомленный неприятием его работ автор с годами становился податливее на различные «пожелания» перестраховщиков. Он собственноручно портил отделанные ранее произведения. В конце концов побеждало желание видеть печатный вариант своих стихов...

Все же осталось самое главное: Николай Глазков, несомненно, опередил сверстников минимум на десятилетие, а остальных — на эпоху. Обладал он чрезвычайно развитым чувством социально-художественной локации. Когда человек кожей видит образный строй и сущность тенденций жизни и искусства, не ощутимых еще для других.

Не имеет значения, осознавал ли поэт в себе такую способность. Может, и ее он ощущал тоже кожей...

Думается мне, что как раз этим редким свойством, свойством истинно талантливого человека, он и вызывал отношение к себе как к «гадкому утенку», настораживал консервативных людей, чувства которых отлажены для одобрения лишь того, что делается в соответствии со стереотипами.

Н. Глазков не был способен преодолевать подобные препятствия на своем пути и вообще не был настроен на нейтрализацию действия таких факторов. В конце 30-х годов, когда шло формирование его как гражданина, он (как в большинстве своем и его поколение) был вне влияния на него примитивной конъюнктуры. Ему претил квазипафос. А с годами чувство нерушимости вечных начал становилось у него все более углубленным.

Ощущение неодолимости течения времени было у Н. Глазкова развито тоже сильно. Как философ, я был удивлен, видя, с какой социологической правильностью оперировал он в беседах законом «больших чисел», объясняя события.

Он был безусловно патриотом. Состояние здоровья ис-

ключило возможность непосредственного участия его в защите Родины. Но он был убежден: выстоит человечество.

Это и делало его беспредельно жизнестойким. Он не верил в «конец мира». Верил в нескончаемость культуры.

Факт, однако, все равно остается фактом: в своих столь благородных качествах поэт оставался долгие годы феноменом «в себе». Были, к сожалению, и те, кто видел тут неоправданные надежды, возлагавшиеся на Николая Глазкова в его молодости, то есть вину самого Глазкова. Один писатель не нашел ничего более достойного, как утверждать (исходя из того, что поэт не публикуется), будто тут самая обычная история: Н. Глазков «вундеркинд», а раз повзрослел, то и способности исчезли...

Это, конечно, курьез. Литературная братия с искренней болью переживала подобный подход к поэзии Н. Глазкова. Каждый истинный ценитель поэзии знал его стихи, даже если они не публиковались. Николай Иванович ведь и сам нашел свой особый путь к уму и сердцу коллег и почитателей. Никак уж не ленился множить машинописные экземпляры своих сочинений.

Судьба Н. Глазкова в чем-то важном напоминает судьбу Хлебникова. Тот тоже не получил сколько-нибудь адекватного своему масштабу прижизненного признания.

Прав Б. Слуцкий: поэтические друзья и сверстники Глазкова не «обогнали», а «обогнули» его (так и оставшегося «на перевале»). Точно сказано!

Да, он тоже не «перевалил». Зато и не спустился вниз... После него лежит поваленный лес просеки «на Полярную звезду». За широким же и обильным столом славы он не искал себе места.

А разве менее важен чисто человеческий аспект? Почему Н. Глазков столь безгранично был расположен к людям, в то время как они ему редко отвечали тем же? Мне больно было не столько за себя, сколько за него, когда много раз видел, как проходили именитые его друзья мимо Глазкова. Ладно, их активное внимание ко мне теперь в прошлом, потому что в прошлом мое служебное положение. Почему же они проходят мимо него, делая вид, что не замечают?

Впрочем, эти вопросы — риторика. Известно — почему.

Тайной остается сам Глазков. Был он к ним неизменно добр. Не злословил, а хвалил их, зная им истинную цену.

Видимо, в том и заключается талант настоящего художника: он слит с уважением к другому. У Глазкова получалось само собой помнить о друзьях. С трогательной внимательностью писал он стихи к их дням рождения,

праздникам, просто так. Разукрашивал адрес на конвертах разноцветными карандашами, выделяя фамилию как-нибудь непременно торжественно. Рассылал их заблаговременно. Придумывал, чем порадовать. К 50-летию мне привез специально им и его сыном изготовленную медаль, в которую вложил и шахматный мотив. Непрерывно пополнял новыми стихами свой альманах «Шахматеж». Однажды получаю от него письмо, а там предложение: подпиши обращение в Верховный Совет СССР, чтобы 64-й день каждого года был объявлен Днем шахматиста...

Обделенный дружеским участием, сам Николай Иванович постоянно за кого-то хлопотал.

И кажется: менее плотным стало тепло человеческой дружбы после его ухода от нас. Мне все время теперь видится какая-то предопределенность в прижизненной и посмертной его судьбе. И, возможно, мнимая, но чудится неизбывная вина моя перед усопшим, как перед всеми друзьями, кто кончил дни. Это чувство, наверное, сродни переживанию, какое живет в нас, когда уже нет более родителей. Гложет мысль: чего-то, наверное, все-таки ты не сделал для них из вполне возможного? А может, и из обязательного?..

На Чебурашку он почему-то походил — вот на кого: взгляд широко открытый, при его взрослости — удивленный, уши оттопыренные, большие... Говорят, у талантливых уши обязательно большие.

Лариса Федорова

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ

Если мне нужно вспомнить, в каком году что происходило, я беру самую верную точку отсчета: 1950-й год — год окончания мною и Василием Федоровым Литературного института имени Горького.

Мы жили тогда в семиметровой комнатке коммунальной квартиры в переулке Садовских. Я писала прозу, Василий Федоров — стихи. Мое сердце плакало по оставленным мною стихам, но мы с мужем так договорились: пока у нас не появится комната побольше — я буду писать только прозу. «Два поэта на семи метрах, ты это представляешь?»

Но любить стихи других поэтов и восхищаться ими — такое право оставалось для меня незыблемым.

В 1955 году я принесла свой очередной рассказ в журнал «Молодой колхозник» (так называлась тогда нынешняя «Сельская молодежь»).

Редакция, как и многие молодежные журналы, помещалась на Сущевской улице — там же, где издательство «Молодая гвардия».

Был вечерний час длинного летнего дня. Я всегда предпочитала приходить в редакцию к концу рабочего дня — меньше посетителей. А если рассказ небольшой, то вполне возможно, что знакомый тебе редактор тут же и прочтет его и скажет, годится он журналу или не годится.

Большая комната, пустая посредине, была заполнена стойким золотистым светом. Так бывает только в больших городах: тут и отсвет близко стоящих кирпичных зданий, и скопившаяся к вечеру пыль, проникающая с улицы.

Близорукая, я остановилась в дверях, выискивая среди столов нужного мне человека.

И вдруг откуда-то из угла ко мне стремительно ринулась высокая сутуловатая фигура, с сильным наклоном вперед. Человек шагал именно ко мне, держа что-то в протянутой вперед руке. Наверное, кто-то из знакомых, которого я, как обычно, по близорукости не узнала. И я тоже протянула руку, почувствовав в ней что-то овальное и железное...

— Сожмите как можно сильнее! — сказал мне незнакомый голос.

Я послушно сжала. И тут же мою ладонь замкнули.

— Ого! Вы молодец! А вот такой-то... (была названа фамилия известного поэта — из молодых) такой-то выжал всего...

Он назвал цифру, которую я не запомнила.

— Вы пишете стихи? — спросил человек, пристально смотря мне в глаза.

— Писала... Теперь пишу рассказы. От поэзии я пока что отключилась.

— Это неправильно. Можно выключить газ на кухне, электричество, воду в водопроводном кране, но выключить поэзию нельзя. Это говорю вам я — Николай Глазков!

Сидящие за столом смеялись. Но сочувственно. Мои рассказы у них печатались редко. Лучше было с очерками на сельскую тему, но для этого требовалось ездить в командировки, а у меня был школьник-сын и муж... Нет, мне не хотелось отлучаться из дому! Я достаточно наездилась, пока работала в штате такого же молодежного журнала «Смена».

Придя домой, я стала расспрашивать Василия Федорова о поэте Николае Глазкове более подробно.

— Отличный поэт,— обычно скупой на похвалы, сказал мой муж.— Совершенно оригинальный поэт. Начитан, образован, отменный шахматист. Поэты его любят, обыватели считают чудаком... А силомер — тоже к разряду чудачеств отнеси. Но лично мне такие чудачества нравятся.

Следующая моя встреча с Николаем Ивановичем произошла в ресторане ВТО, куда мы с мужем и нашим другом Александром Парфеновым, директором Калининского книжного издательства, а в недавнем прошлом тоже студентом Литературного института, зашли поужинать.

Маленький зальчик, как всегда в эти вечерние часы, весело пошумливал. За одним из столов в незнакомой нам компании сидел Глазков. Мы пригласили его к нам. И Николай Глазков был нехотя отпущен из-за соседнего столика. Тут я рассмотрела его получше. Близорукость при первом знакомстве с человеком всегда мне мешала. Человек, больше всех выжимавший на силомере, при ближайшем рассмотрении оказался сухощавым, с ясными вдумчивыми карими глазами. В них часто мелькала добрая усмешка много знающего человека.

Наше застолье тут же превратилось в вечер поэзии. Но читал — по общей нашей просьбе — преимущественно Николай Глазков. Стихи свои он читал, как и положено настоящему поэту, наизусть, всецело доверяя своей феноменальной глазковской памяти. Позднее, когда я стала бы-

вать в его доме на старом Арбате, меня всегда поражала эрудиция поэта. Таких людей обычно называют «ходячими энциклопедиями». Николай Глазков, собравший у себя множество альбомов с художественными репродукциями (художественные открытки шли счетом на тысячи), говоря о художниках любого века, тут же называл две даты: в каком году родился и в каком скончался. Да еще добавлял — где родился и какие самые-самые из его картин наиболее известны... Так же хорошо он знал выдающихся географов-путешественников и естествоиспытателей.

Но в тот вечер в ресторане ВТО он читал нам шуточные стихи. Начатые вроде бы всерьез, но с неожиданными поворотами, они вызывали дружный смех. К ним стали прислушиваться и сидящие за соседними столами... Николай Иванович чувствовал себя как на эстраде. Его выразительное живое лицо с постоянно вопрошающим взглядом — «Ну, как?» — порозовело от волненья.

— Отлично! — чаще всех восклицал Александр Парфенов.— Издай такую книжку — нарасхват пойдет!

— Тебе и козырь в руки! — поймал его на слове Василий Федоров.— Возьми да издай!

— Я? — удивился Парфенов.— Но я же, так сказать, периферия. Разве Коля на такое согласится? — последняя фраза явно выдала неуверенность книгоиздателя.

— Это ничего! — согласно кивнул головою поэт.— Старинный русский город Тверь, именуемый ныне Калининым, прекрасный город...

— А я буду его редактором,— не дав опомниться издателю, заявил Василий Федоров.— Коля, ты не возражаешь?

Глазков не возражал. Но умные, живые глаза его все еще светились недоверчиво.

— Мне уже многие обещали напечатать,— равнодушно заметил Коля.— Скажут — и забудут... А может, и побоятся...

— А я напечатаю! — неожиданно переборов себя, стукнул по столу кулаком бывший фронтовик Александр Парфенов. И совсем уже как небезызвестный царь Федор спрашивал у Годунова, царь он, Федор, или не царь, так и Парфенов говорил Василию Федорову: — В конце концов, если я являюсь директором Калининского книжного издательства...

— Если ты от своего слова отступишь,— перебил Василий Федоров,— я с тобой перестану здороваться.

Поспорили еще чуток, поершились все трое и тут же скрепили деловой союз просьбой к Глазкову как можно скорее представить в издательство рукопись.

— Пиши заявку! — совсем уже разошелся Александр Парфенов.— Одну ногу я потерял на фронте, если второю

споткнусь на Глазкове — партия меня простит за хорошее дело. Давай придумывай название.

Решили, что книжка будет называться «Моя эстрада». Одобрение этому названию последовало даже из-за соседних столов, ставших невольными участниками делового соглашения.

Так было положено начало выходу первой книги Николая Глазкова и начало тройственному союзу Глазков — Парфенов — Федоров. Последнего Николай Глазков после выхода «Моей эстрады» стал называть первопечатником Василием Федоровым.

После выхода глазковской книжки наша дружба с поэтом окрепла. Он стал бывать у нас в доме. Жили мы уже не на семи метрах, а в тринадцатиметровой комнате другого соседнего дома все в том же переулке Садовских. Дом был знаменит тем, что в некие времена в нем было пристанище цыган, которых будто бы слушал Пушкин... Дом состоял только из коммунальных квартир. Коммунальной была и наша. Самое интересное в ней было то, что дверь ее выходила в туннель под брюхом дома. Веснами в туннеле разливалась огромная лужа, и если ночью случались заморозки, то мы, живущие на первом этаже, вылезали в окно с ведром кипятка и оттаивали вмерзшую в лужу дверь... Вот почему Коля Глазков всегда приходил к нам в калошах... После игры в шахматы от долгого сидения за доской Коля разомлевал. Гость и хозяин, пытавшийся ему помочь, изощрялись немало, чтобы вставить Колину громадную ногу в калошу. Мне казалось, что над ними смеется даже наша «подтуннельная» дверь, с огромным — на толщину стены — железным крюком, откованным бог весть по чьему заказу в одной из московских кузниц... Потом оба мы шли провожать Колю до трамвая, что проходил через площадь Пушкина, держа путь в сторону Арбата...

Я знаю многих поэтов. Им почему-то всегда мешали неожиданные гости. Ничего подобного не было в доме Глазковых. Был только уговор — сначала позвонить по телефону. И — пожалуйста!

Мы с Василием Федоровым были рады часок-другой побыть у Глазковых. Арбат, 44 — кому из поэтов был неизвестен этот радушный адрес? Мы даже не замечали, что квартира, в сущности, была полутемной — внутридворовый дом стоял в окружении других, более высоких домов. В те трудные времена — трехкомнатная квартира в центре Москвы! Нет ванной и горячей воды? Да бог с ней, с горячей! Главное — есть телефон! Уют, сотворенный руками хозяйки-художницы Росины Моисеевны! В кабинетике поэта в аквариуме плавали рыбки — черные, красные и золо-

тые. На подоконнике горшки с нетребовательными к свету растениями. Над диваном большая географическая карта.

Рядом — такая же небольшая, как и кабинет, комната сына — Коли Маленького. А «маленький» Коля ростом уже отца догоняет, повторяя в своей юношеской спине его сутуловатость...

А вот столовая-передняя, через которую попадаешь на кухню, с большим столом, рассчитанным на шумные застолья, с громадиной-буфетом старинного фасона, заполненным гжелью, старинным фарфором и хрусталем, привлекала посетителей больше всего. Всегда ярко освещенная, с накрытым белоснежной скатертью столом, окруженным старинными стульями, она как бы взывала к пиру и беседам и осталась в моей памяти чем-то неповторимым... Тут всегда справлялись дни рождений Николая Глазкова, с пирогами и жареными утками, с винегретами. Дни рождения поэта-острослова, когда взрывы смеха гостей фейерверками взлетали над белой праздничной скатертью...

В глазковской квартире на старом Арбате находили себе приют многие бесприютные поэты (в том числе Ксения Некрасова), скульпторы, художники, редакторы, бесчисленные якутские поэты, которых Глазков переводил с поразительной щедростью.

Ежедневное присутствие случайно заглянувших к Глазковым друзей-товарищей, казалось, совсем не беспокоит поэта. Всегда радостно откроет дверь, позовет поздороваться занятую чем-либо жену Росину Моисеевну, попросит накрыть на стол... Типичное московское гостеприимство. Увы, нынче не каждый московский дом столь гостеприимен. Недавно работники Кемеровского областного музея рассказали мне дикий случай: приехав в Москву, три часа они ждали появления назначившего им встречу знатного хозяина, а жена и мать последнего, зная, что они приезжие, да еще из такого далека, даже чашки чая им не предложили... Только жаловались в два голоса, что вот некому у них в доме окна помыть... Потом появился хозяин, нехотя выслушал их просьбу об экспонатах (он был родом из их краев), сунул им какой-то неподъемный кубок и выпроводил, так и не поинтересовавшись, сколько они тут его прождали и были ли они угощены хотя бы чаем... Такое было немыслимо в доме Глазковых.

Прошло еще несколько лет. В начале шестидесятых годов мы с Василием Федоровым получили наконец свою первую отдельную квартиру. На Кутузовском. Глазковы все

еще жили на Арбате. Но вот и у них новость: им предложили квартиру со всеми удобствами, но не в центре, как просил Николай Иванович, а на Аминьевском шоссе...

Как оказалось потом, уклада их жизни нарушать было нельзя. Арбат любили все. И запросто забежать к Глазковым было доступно. Аминьевское же шоссе — и не с руки и не с ноги... Николай Иванович усиленно звал нас к себе, но, каюсь, мы не часто наведывались. Я-то еще наведывалась, а мой супруг чаще приглашал Колю повидаться в ЦДЛ. Тут-то и сказалась разница их характеров: Глазков был прирожденным домоседом. Мы часто ездили в дома творчества: Николай Иванович домов творчества не признавал. Ему хорошо писалось дома.

Но задолго до переезда Глазковых на Аминьевское шоссе, где Николай Иванович вскоре серьезно заболел, была у нас с ним одна любопытная встреча. Произошла она, как это ни странно, на земле Владимирской, в деревеньке под названием Заднее Поле. Там где-то в середине пятидесятых, до вселения в отдельную квартиру, мы приобрели скромный домик, прельстившись недорогой его ценою, красивой местностью и совершенно прелестной рекою Киржач, отделяющей Владимирскую область от Московской. Расстояние — сто километров.

Если бы вам захотелось узнать, как выглядел наш дом, посмотрите на фотографию дома Сергея Есенина. Поразительно, до чего все совпадало! Резные наличники, слуховое окно, чисто российская трехоконность на улицу и продолговатость в сторону двора. Даже палисадник, даже березка у левого окна, где хозяин дома поэт Василий Федоров саморучно отгородил для себя кабинетик-спальню... Только что реки на задворках не было. Реки Оки. А где-то за Борками, прекрасным сосновым лесом, чистой резвой волною намывала река Киржач золотые евпаторийские пески на извилистые свои берега...

Кроме сада-огорода, с пышно цветущей посреди его белой розой, уже воспетой Василием Федоровым, была у нас и живность — пес Джек и пушистая кошка Муська с котятами... Джек тоже попал в стихи хозяина-поэта.

Василий Федоров рассказал Коле Глазкову о нашем приобретении, и тот выразил желание погостить у нас.

Николай Глазков любил «впечатляться» дорогами. Есть такая категория любознательных. Так вот, связав свою творческую судьбу с народом Якутии, во всем верный себе Глазков неоднократно не летал, а ездил в якутские края через всю Россию, жадно впитывая из окна вагона всю ее красоту и разнообразие природы. И на каждой станции он еще бросал в почтовый ящик открытки своим друзьям.

Бесчисленным друзьям! И отнюдь не тешил себя мыслью, что адресаты тут же откликнутся ему в эпистолярном стиле. Уникум! Исчезающее племя представителей изящной эпистолярной словесности.

Якутия Якутией, а Владимирская земля — для Глазкова тоже интересна. Теперь вот и друг его Вася Федоров — его «первопечатник» и заядлый шахматист-пораженец — дом себе приобрел. Как же туда не съездить?!

Личность поэта Николая Глазкова — вообще находка для любого психолога. Мать-природа была щедра к нему. Он, никогда не бывавший за границей, досконально все знал о любой столице мира. В тех бесчисленных альбомах, что наполняли их дом на Арбате, а потом на Аминьевском, были альбомы и с видами тех городов, где он никогда не бывал... Он покупал эти открытки в магазинах или просил путешествующих по заграницам друзей привезти ему в виде сувенира «какую-нибудь главную улицу» той или иной столицы... И ему привозили.

— К нам в гости Коля Глазков собирается,— сказал мне Василий Федоров.

Я искренне обрадовалась. У нас уже и Александр Парфенов побывал, и Владимир Солоухин — этот проездом, когда с женою везли на учебу в Москву из Олепино старшую дочку Лену.

— Съезди за ним сам! — сказала я мужу.— Пусть оба едут — с Росиной.

— Он сказал, что она не может.

— Съезди за ним, съезди. Оба-два побольше вкусненького привезете, да и сложновато нас тут разыскивать: поездом до Орехово-Зуево, да еще на автобусе сорок пять минут, да потом в горку идти, да на пути спрашивать: «Где тут у вас Заднее Поле?..»

— Якутию-то он без меня нашел.

— Так то Якутия!

Василий Федоров на попутном транзите съездил за Глазковым в Москву и привез его в нашу деревеньку.

Коле у нас понравилось решительно все! Это я по глазам его видела. Особенно деревянные стены неоштукатуренного дома и «накат» понравился (то есть на владимирском наречии потолок) — не беленый, не крашеный, а из отполированных временем матицы и плах. И стены и накат как-то мягко светились старинной Русью...

Сходили на Киржач, там они с Василием Федоровым вволю наплавались и нанырялись — опять же в малолюдстве. К нашим животным он никакого интереса не проявил. Чувствовался горожанин... Но вот горожанин тут же себя и опроверг.

После обеда он потребовал лопату.

— У нас там все вскопано,— запротестовал хозяин дома.— Ведь июнь месяц, Коля. Какая сейчас копка?

— Все равно мне необходима физическая разрядка. Перед поездкой сюда я много переводил. Якуты меня утомили... Я окопаю деревья.

— Нет, нет, Коля, деревья окапывать нельзя. Они же цветут!

— Я вскопаю вам новую грядку.

— У нас есть целина. По-владимирски «лужок»... Но он существует для соседской козы... Соседка туда козу привязывает.

— Это хорошо! — как всегда загадочно ответил Коля. В это простое слово он вкладывал что-то свое, глазковское, лукавое...

— Лара, дай Коле лопату, а я после купания и обеда должен передохнуть.

Лопата была выдана. А я занялась мытьем посуды, обдумыванием, что приготовить на ужин... Еду-то я готовила на керосинке!

Коля появился часа через полтора — потный, усталый, видно, что поработал на совесть, и долго мыл руки под рукомойником.

Потом неожиданно сказал:

— Ну, разрядочку я сделал. Теперь я поехал.

— Куда поехал?

— Домой. У меня там еще два якута непереведенных.

— Сейчас вечер, транзитчики по Горьковскому шоссе уже проехали. Придется на автобусе и электричке.

— Это хорошо,— опять загадочно сказал Коля. И улыбнулся. На лице его читалась удовлетворенность всем на свете. Мне показалось, что, побывав на нашем далеко не совершенном саде-огороде, он постиг какую-то удивительную истину. Такую истину, что дальше в нашем доме вроде бы и делать-то больше нечего!

Мы проводили его до Горьковского шоссе, где иногда, заметив отчаянно голосовавшего пассажира, мог остановиться и московский автобус. Коле повезло — именно так мы его и отправили, минуя электричку.

А утром из Москвы возвратилась наша милая домработница Паша. (Поскольку мы часто уезжали в столицу по редакционным делам, то пришлось нам взять домработницу — женщину очень гостеприимную, но с одним недостатком: больно уж любила себя показать при гостях в смысле разговора. Вот почему мы и решили принять Николая Глазкова сами, без Паши.) Вернулась она с нескрываемым сожалением, что от именитого гостя ее как бы отстранили...

— Женатый или нет? — как бы мимоходом поинтересовалась она.

— Женатый, Паша, и даже на всю жизнь сразу,— сообщила я, дабы пресечь о госте всякие иные выспрашивания.— И сын Коля имеется.

Огорченная Паша пошла в огород за зеленым луком и тут же примчалась обратно.

— Батюшки, что у вас делается-то! Только я ворота в огород открыла, а ОН тут и лежит!

— Кто лежит, Паша? — мы чуть не онемели от страха. «Он» в устах Паши звучало так, как будто речь шла о некогда живом существе.

— Камень божий лежит! Вот такой! — развела она в стороны пухлые руки.— Только вот не пощупала я, теплый он или остывший. К нам на Орловщине падал, как раз у соседей,— так аж голубоватый был и теплый... И как же это вы не слышали, как он летел. А ну как бы по крыше вдарил? Так ведь и выскочить не успели б!

Не слушая больше Пашу, мы, опережая друг друга, поспешили на огород. Да, у ворот — со стороны сада-огорода — лежал большой камень. Но какой же он «божий»? Весь в земле. Ясно, что выкопан... И сделал это наш московский гость — Николай Иванович Глазков, уставший от перевода любимых им якутов... (В последнее время нам казалось, что он и личностью стал смахивать на якута, если б только у них были сухощавые лица.)

В те давние годы позвонить из рядовой деревеньки в Москву было невозможно. Надо было ехать для этого или в ближайший город Покров, или в Орехово-Зуево. А нас уже не на шутку разбирало любопытство: откуда он его взял? Ибо под «подозрением» могла оказаться и вскопанная «целинная» грядка, и широкое окружие белой розы... От грядки, возле которой все еще паслась соседская козочка, до ворот, где лежал камень,— метров двадцать пять, от куста белой розы — десять метров. Ни у козы, ни у розы не спросишь... Коза равнодушно пощипывала травку, а над розой, осыпанной белыми бутонами, радостно гудели пчелы... Попробовали поднять камень втроем — куда там! Хоть тракториста с тросом зови!

— Значит, видный собою мужчина? — вопросительно говорила Паша, в надежде, что мы еще разок пригласим к себе этого гостя-богатыря и тем удовлетворим ее ненасытное любопытство к людям выдающимся.

Но Коля Глазков в этой деревеньке больше не бывал. А еще года через три мы этот дом продали, устав дважды в неделю ездить туда из Москвы с заплечными мешками.

Откуда был взят камень — мы, разумеется, потом спросили.



Николай Глазков и Василий Федоров. Конец 50-х годов

— От белой розы. Я подумал, что он ей мешает. От камня я ее избавил. А вот от черных жуков...

— Каких жуков?

— Черных-черных! Они почему-то ползали в каждом ее раскрывшемся бутоне... Такие противные, с цепкими ногами... С ними надо бороться. Конечно, можно вообразить, что она заколдованная красавица. Но какой смысл? Роза должна быть чистой, абсолютно чистой!

— Об этой розе я все сказал что надо! — ответил Василий Федоров.— Я развенчал ее лживую красоту раньше тебя, Коля.

Болел Николай Иванович долго, но вел себя мужественно. Василий Федоров перезванивался с ним, а я раза три навестила. Уже на костылях, в теплом халате, окруженный неустанными заботами верного друга Росины Моисеевны, он неустанно продолжал писать стихи — да такие улыбчивые, такие точные по знанию тех людей, от имени которых писал. Это была серия стихов «Объяснения в любви». Как говорил бы о своей любви сапожник, парикмахер, геолог, фотограф...

В новой квартире нового дома по возможности сохранен колорит квартиры старого Арбата. В большой продолговатой комнате распростерт у стены чуть было не проданный громадина-буфет, любимое кресло поэта, письменный

стол с аквариумом и раскрытый во весь его немалый овал дружище-стол, перевидавший множество друзей поэта...

Пусть дом на Аминьевском шоссе современен — с этажами и магазином-гастрономом. Пусть в квартире сверкает белизною ванна и денно и нощно — только поверни кран — льется горячая вода... И все-таки это не дом поэта Николая Глазкова...

После кончины поэта я вскоре написала стихотворение, посвященное его памяти. Оно называется «Дитя Арбата старого»:

Ушел. Так тихо дверь закрыл.
Как будто не входил.
Дитя Арбата старого,
Он шума не любил...
Квадрат стекла водой наполнен,
Осиротевших рыб тоска,
Тоскует шахматное поле,
И города, которых Коля
Не видел никогда...
Ирония из тех же слов,
Что гимны и молитвы.
Глазковская ирония
Была острее бритвы.
Он был началом из начал
Иронии свечения,
И вот начался час его,
Как летоисчисление.
Ушел... Так тихо дверь закрыл,
К бессмертию готовясь.
Его светящимся следам
Мы кланяемся в пояс.

Лев Озеров

ЧЕМ ПОРАДУЕШЬ МЕНЯ?

Бывает же такое: встретились, не знакомясь.

Как будто друг друга знали давно.

Столкнувшись лицом к лицу на Тверском бульваре вблизи от Дома Герцена, мы с Николаем Ивановичем Глазковым сразу заговорили и стали читать друг другу стихи. Это был еще безбородый Глазков. Мы разговорились. Как это случилось, не знаю. Но, случившись однажды, это продолжалось много лет.

Помнится, я прочитал Николаю вереницу своих двустиший и четырехстиший. Он мне ответил такой же вереницей. Это нас сблизило.

— Назови это краткостишьями.

— Это твой термин, сам и назови.

— Дарю, не жалко.

— Чужого не беру.

У Николая Глазкова в своде его стихов есть теперь уже многим памятные краткостишья.

Мы были строги к себе и к другим. Не хвалили друг друга, а браковали написанное.

Запоминание другого поэта шло построчное. Если не запоминалось — поэт нам неинтересен. У Николая Анциферова о шахтерском труде сказано:

Я работаю, как вельможа.
Я работаю только лежа.

Это врезалось в память.

Лаконичный, острый, эпиграмматический стиль был реакцией на многословие, суесловие, инфляцию строки и образа. Веление времени, необходимость. Деклараций мы не писали, но было у нас негласное решение на малую площадку стиха сгружать побольше материалу.

Иногда Николай просил меня прочитать среди других моих строк четырехстишие, появившееся в печати еще до войны.

На берегу морском лежит весло
И больше говорит мне о просторе,
Чем все огромное взволнованное море,
Которое его на берег принесло.

По этому поводу некомплиментарный, прямой Глазков говорил:

— Здесь не только рисунок, но и принцип изображения.

Глазковские двустишия и четырехстишия надо смотреть не панорамно, не «в общем и целом», а раздельно, поштучно. В них, помимо острой наблюдательности, бьется живая взыскующая мысль современника:

Что такое стихи хорошие?
Те, которые непохожие.
Что такое стихи плохие?
Те, которые никакие.

Это краткостишье вполне заменяет мне иной трактат о стихе и стихотворстве.

Гордясь знакомством и дружбой с Николаем Ивановичем Глазковым, я стал говорить о нем другим людям, показывать его.

Когда я знакомил Николая Глазкова с так называемыми средними интеллектуалами, по слову Пастернака «полуинтеллигентами», они потом по телефону или при встрече недоумевали: «С кем вы меня вчера познакомили? Какой-то странный тип...» Иногда добавляли: «Нормальный ли он?», «Не с приветом ли?», «А не чайник ли он?» Трудно было объяснять таким людям, каков в действительности Николай Иванович Глазков, поэт по призванию, если и одержимый, то воистину одержимый искусством слова, особый, в своем роде единственный и неповторимый человек.

Он не хотел, что называется, «производить впечатление» на нового знакомого, да и на старого. У него не было заготовленных для каждого случая расхожих анекдотов, словечек, приятных для пищеварения благоглупостей. Поначалу он мог показаться неуклюжим, невоспитанным, даже грубоватым, малообразованным, неотесанным, простачком. Да, он был натурой, которая не спешила тут же, тотчас же показать свой ум, свои знания, свою яркость. Напротив, он, как это водится в народе, хотел прослыть простачком — мол, простите, мы без высшего и даже среднего. Его это устраивало. Потом, постепенно и естественно, обнаруживались и ум, и знания, и яркость, и высшее. Но это было действительно высшее в отличие от тех, у кого было (по диплому) высшее, но без среднего. Он презирал тех, кто пытался, не имея на то права, рассуждать о Джойсе и Прусте, но не знал Бальзака и Флобера и конечно же не смог бы рассказать содержание «Капитанской дочки» и «Героя нашего времени».

Он был обладателем серьезной культуры, чуждой внеш-

него, витринного показа, боящейся эстрадной огласки. По виду бравый московский извозчик, он — только пожелает — на тройке увозил «клиента» в любую республику, в любой город, в любой век. Я совершал с ним эти поездки. Увлекательно! Захочет — станет то одноконным лихачем, то колясочником, возившим «парой в дышло», то ломовым. Он знал старый московский, еще точней арбатский быт на стыке старого с новым. По-своему пережил переход немого кино на звуковое. Он стал певцом перехода и перелома. Его чуткий слух уловил все смещения, тряски, грохоты, шорохи этой поры. Некоторые искали социальной, буквальной, сиюминутной пользы в стихе и от стиха. Позиция Глазкова известна:

Все говорят, что твой рассказ
Моих стихов полезнее.
Полезен также унитаз,
Но это не поэзия.

Достойный ответ на недостойный вопрос.

В конечном счете Николай Глазков был по-народному прост и сложен, лукав, артистичен, принципиален, игрив, при внешней доступности скрытен, смел и осмотрителен.

На мякине нельзя было его провести. Много лет мы были знакомы, но я не могу сказать, что знаю его, что познал его, что в силах нарисовать его портрет в полный рост. Да и по плечу ли это одному. Попробую.

Взгляд у него всегда пристальный. И — добрый.

Иногда пронзительно-острый. И — добрый.

Он издали надвигался на вас, как кино- или телекамера. То прямо в упор. То со стороны, приседая. То откуда-то сверху.

Голова подавалась мгновенно и решительно вперед, как объектив.

Глаза — близко-близко. Испугались? Не надо, не пугайтесь. Это я так, шучу. От любви.

И сразу же шаг назад, и тотчас же огромная — разворачивается — рука с мощной кистью. Она тянулась к вам, не угрожая, но спрашивая: «Попробуем?», «Потягаемся?»

Рука подавалась то прямо (реже), то со стороны (чаще).

Ладонь смотрит на вас. Рукопожатие — поначалу нежно-бережное, но с каждым мгновеньем все более сильное. «...Тяжело пожатье каменной десницы...» Глазков-командор. Ваша рука поглощалась его рукой целиком, вписывалась, вплавлялась в нее, появлялась опаска — не хрустнут ли косточки, выдержат ли суставы.

Тут Коля, не выпуская вашей руки, ставил локоть на стол и вынуждал и вас ставить локоть на стол.



Кто кого? Николай Глазков и поэт Дмитрий Смирнов. 60-е годы

— Ну как? Попробуем.

— Не стоит!

И все же — кто кого?

Победив, Николай тихо говорил о себе — уже привычное:

— Сильнейший среди интеллигентов и интеллигентнейший из сильных.

Я встречал его чаще всего в коридорах Литературного института, во дворе его, у Асеева, Кирсанова, Эренбурга, Крученых, Наровчатова, Самойлова, в его квартире на Арбате, в коктейль-холле, реже в Союзе писателей.

Впервые мы встретились в «Молодой гвардии» на Новой площади. Семен Кирсанов вел при журнале литературное объединение. Читали стихи, говорили о них весело и беспощадно.

Задумал Кирсанов выпускать на отходах типографской бумаги небольшие книжки. Должны были выйти Ксения Некрасова, Михаил Кульчицкий, Николай Глазков, пишущий эти строки. Затею осуществить не удалось.

Во время войны и в первые годы после войны Николай Глазков выпускал им самим сброшюрованные и переплетенные книжечки, на которых стояло «том 1946» или «том 1943» (по году, когда выпускались), «Самсебяиздат».

Несколько таких книжек Николай подарил мне:

— Когда-нибудь ты разбогатеешь на этих книжках...

А пока у тебя есть возможность угостить меня рюмкой коньяка.

Любил я короткие его, броские, непринужденные, простые, будто подобранные на дороге, как камешек, четырехстишия, двустишия, микропоэмы, минибаллады.

Некоторые глазковские «мо» становились общедоступными и общезначимыми. Служили чем-то вроде лозунга и пароля.

Один: Я спросил, какие в Чили...

Второй (подхватывая): Существуют города.

Третий (после паузы): Он ответил «Никогда».

Четвертый (печально): И его разоблачили.

Заметим, что третья строка свободно входила в разговор, венчая разные мелодии простой, обиходной речи. «А история покажет, кто дегенеративнее»,— это как бы подслушано в метро или у газетного киоска.

В основе его поэтики народный говор, присловье, присказка, побасенка, крепкое словцо, поговорка, пословица, меткое определение, солдатская шутка, частушка, раек.

Не все сложное —
Ложное.
Не все простое —
Пустое.

Фольклорная экспедиция могла бы взять это в свои своды.

Он бы рад вперед,
Да его страх берет.
Он бы рад назад,
Да у него страх в глазах.

Исчерпывающая характеристика, сделанная простейшими средствами.

Ежели посеешь рожь,
Будут деньги у тебя,
Ежели посеешь грош,
То не вырастет рубля.

Это — Глазков. Но стихи такого рода обычно теряют авторство и воспринимаются как народные.

Николай был завсегдатаем Литературного института. Его знали все — неудивительно. Он знал всех. Построчно, построфно. Долго после него трудно было привыкнуть к тому, что его нет.

Литературный институт в военную и первую послевоенную пору был устной словесностью. То, что читалось и обсуждалось в аудиториях и кулуарах, было на виду. Оценки были строгие. Друг с друга спрашивали по гамбургскому счету. Максималисты были в почете. Николай

Глазков принимался всеми. Некоторые стеснялись говорить, что он им не по душе. Боялись, что прослывут реакционерами. Иногда говорили (в сторону): чудак.

Его ни с кем не хотелось сравнивать. Он плохо приспособлен для аналогий и для параллелей. Единственный в своем роде. Похож на себя. И только на себя.

При встрече иногда спрашивал:

— Чем порадуешь меня?

И, пока я искал ответа, он говорил:

— Вот я тебя порадую. Слушай!

И читал наизусть только что написанное.

Его долго не принимали в Союз писателей.

Николая это раздражало.

Неистовствовали его друзья...

Намытарился, пока приняли.

Любил подойти и ошарашить:

— Не хочешь ли послушать гениальную поэму?

Это было глазковское озорство. Гордыня непризнанности оборачивалась и так. Не жаловался. Искал связи со слушателем и читателем.

Силушка в нем играла.

Физическая, душевная, сочинительская, актерская.

Казалось, он был беспечен. Не любил так называемых «интересных разговоров», этакой интеллектуальной гимнастики.

Он шутил, подчас ерничал, озорничал, отвечал кратко, как бы невзначай, мимоходом, бегло.

Но были минуты и часы, когда он, притихнув и пощипывая бородку, нуждался в доверии, раскрытии, внимании. Были у меня с Николаем Глазковым и такие разговоры. Мало, но были. О Пушкине, Блоке, Хлебникове, Маяковском, Асееве, Пастернаке. Он знал, о ком и о чем говорил. Это прошло через него, застряло в нем.

— Я начну, ты продолжай... «Ты в ветре, ветку пробующем...»

— «Не время ль птицам петь».

— Верно! Еще. «Февраль. Достать чернил и плакать...»

— «Писать о феврале навзрыд».

— Смотри, у нас стали внимательно читать поэтов,— не без иронии говорил он.

Он был острый, странный, одержимый, естественный.

Старшие сравнивали его с Хлебниковым. Да он и сам признался:

Был не от мира Велимир,
Но он открыл мне двери в мир.

Так же, как Хлебников, он был устной словесностью. Его растаскивали — кто как мог.

Он, несомненно, повлиял на наших поэтов — если гово-

рить в современном духе — самых разных. Хотели они того или не хотели, а глазковское начало нахожу у Наровчатова и Окуджавы, Вознесенского и Высоцкого, Самойлова и Шерешевского, Левитанского и Мориц, Евтушенко и Межирова.

Это влияние шло в пределах строки, двустишия, особенно четырехстишия. Глазков разработал в новых условиях традиционный для русской поэзии эпиграмматический стиль.

Много значило для нас признание Глазкова такими людьми, как Лиля Юрьевна Брик и Василий Абгарович Катанян.

В позднюю пору Глазков присылал мне вырезки из газет и журналов, в которых находил мои строки. Я не подозревал в нем педанта. Но это был, конечно, не только педантизм. Это было родственное внимание. Чувство товарищества, дружество.

В основной том «Краткой литературной энциклопедии» на свою букву «Г» он не вошел. Зато в девятом (дополнительном) ее томе заметка о Н. И. Глазкове напечатана. Здесь перечислены его книги, и не без лихости под конец сказано: «При разнообразии эмоциональных оттенков и афористической меткости слова некоторые стихи Г. поверхностны, а путевые зарисовки описательны». Не в эту ли сторону направлена стрела самого Глазкова:

Все, что описательно,
То необязательно!

Так, мы нащупали нерв критической мысли в сухой (четырнадцать строк!) справке КЛЭ. На всем этом четкая мета времени: о Глазкове нельзя было писать, не принято было писать в тонах объективных, его обязательно надо было «поддеть», уязвить, принизить. В этом Глазков разделил общую участь всех настоящих художников.

Суд времени еще не состоялся. Он приближается.

Яков Хелемский

СВИДАНЬЯ НАШИ ДОЛГИ

Мы вспоминаем с нежностью Глазкова и Некрасову,
Приглядываясь пристально к их судьбам и стихам.
Они своею странностью поэзию украсили,
Как это и положено прекрасным чудакам.

Их бескорыстье светится, как вызов деловитости,
В их отрешенной кротости — заряды озорства.
Под маской скоморошеской блестит забрало витязя,
В лоскутной сумке странницы — жемчужные слова.

В кино Глазков снимается и в полынье купается,
О Хлебникове думает, весенних ждет ручьев.
Бездомная Некрасова в чужих пристройках мается,
Но о жилье для Ксении хлопочет Щипачев.

Так бытие работает, нескладный быт отбрасывая,
Смешки непонимания и чьи-то кривотолки.
Мы воскрешаем бережно Глазкова и Некрасову,
Беседы наши вдумчивы, свиданья наши долги.

Друзья с надеждой тянутся к оставленным бумагам.
Пускай листки разрозненны, не сыщешь строк пустых.
Казавшееся б л а ж ь ю, вдруг обернулось б л а г о м:
Верлибры подмосковные, забытый акростих.

И Коля в клубе снова мне жмет ладонь до хруста —
Все надолго рассчитано, отменная силенка.
А Ксюша улыбается недоуменно-грустно,
Лицо почти старушечье и взор, как у ребенка.

Евгений Ильин

СПОРТИВНЫЕ СТРАСТИ ПО ГЛАЗКОВУ

Впервые о Николае Глазкове я услышал в конце 1941 года от молодого, но уже известного в литературных кругах поэта Михаила Кульчицкого, который несколько месяцев жил у меня. Две комнаты в большой коммунальной квартире на углу улицы Воровского и Малого Ржевского переулка (ныне — улица Палиашвили), опустевшие после эвакуации родителей, были по тем временам роскошными апартаментами. А если учесть, что в добротном доме все военные годы работало центральное отопление и — правда, с перебоями,— был газ, то можно представить, каким райским уголком казались эти комнаты моим однокашникам, неустроенным и неприкаянным студентам Литературного института. Почти всегда находился кто-нибудь, кому не хотелось на ночь глядя добираться до своего жилья или у кого вовсе не было московской жилплощади. Кто оставался на ночь, кто на пару дней, некоторые «оседали» на несколько недель, а то и месяцев. Кульчицкий был первым в этой веренице друзей-постояльцев. Заглянул в гости, увидел много свободного места и с присущей ему непосредственностью и обаянием сказал, что здесь ему нравится и он, пожалуй, немного у меня поживет. На следующий день появилась Лена, которую Миша представил: «Моя жена».

Кульчицкий с какой-то южной округлостью читал глазковские строки:

Когда начнут плоды сбирати,
В корзины их валя,
Я изменю Вайраумати
С женою короля.

Так заканчивалось стихотворение «Гоген», открывшее мне увлекательный мир глазковской поэзии. Автора этих стихов в то время в Москве не было: Глазков эвакуировался в Горький и заканчивал там педагогический институт. Но представление о его внешности все же возникало постепенно из рассказов Миши и Лены, из стихов, которые они вспоминали, складывалось по черточке, по штришку. И,

как это часто бывает, оказалось не слишком точным. Через три года, когда Глазков вернулся в Москву, я увидел не веселого задиру и весельчака, каким мне представлялся автор «Гогена», а сутулого, внешне неуклюжего, медлительного человека, исподлобья, как бы с опаской посматривающего на окружающих. Заросший темно-русыми волосами лоб казался низким, маленький подбородок и щербатый рот тоже не добавляли привлекательности скуластому лицу. Нужно было присмотреться, привыкнуть к этому не очень-то уютному человеку, к его странноватому облику, чтобы увидеть, как выразительны его блестящие глаза, как мгновенно вспыхивают в них то живые огоньки понимания, то озорные чертики милого лукавства. Нужно было свыкнуться с непривычным тембром его высоковатого голоса, чтобы оценить своеобразие и полнейшую самостоятельность суждений, обаяние интонаций, внушительные познания в различных областях.

Привел Глазкова ко мне студент Литинститута Володя Репкин, который одно время тоже был моим «ночлежником». Тогда Семен Гудзенко прозвал его «подматрасником», так как теплолюбивый начинающий прозаик укрывался довольно тяжелым тюфяком. Теперь Володя удостоился другого звания: Глазков именовал его своим другом и биографом. Впоследствии жена Глазкова говорила, правда, что «друзьями и биографами» поэт называл многих. Знакомство наше, как это было принято у тогдашних литинститутцев (Глазков не только учился одно время в Литинституте, но и прочно вошел в его летописи и предания как одна из колоритнейших фигур в истории литературного вуза), началось с обмена «визитными карточками» — чтения стихов. Об услышанном высказывались откровенно, без всяких дипломатических тонкостей, на критические оценки и замечания не обижались. Мне в стихах Глазкова нравилось многое, ему в моих — кое-что. Наибольшего его одобрения удостоилась «Пешка», стихотворение, в те годы известное многим. Однако куда большее впечатление произвело на моего нового знакомого известие, что я сносно играю в шахматы и имею первый разряд — в те времена «живой» перворазрядник встречался далеко не на каждом шагу. Тотчас была раскрыта запылившаяся доска и расставлены фигуры. Глазков требовал, чтобы я давал ему фору, но вскоре выяснилось, что сражаться с ним, скажем, без коня невозможно, так как он играл примерно в силу второго разряда. Чтобы развлечь гостя, я несколько партий играл, не глядя на доску,— вслепую. За не совсем благоприятный для него исход наших шахматных баталий Глазков тут же взял реванш, довольно легко положив мою руку в так называемой уральской борьбе, когда

соперники садятся друг против друга, ставят на стол согнутые в локте руки и, сцепив кисти, стараются прижать тыльную сторону ладони соперника к поверхности стола.

Так мы познакомились и — встреча за встречей — постепенно подружились. Общение облегчалось территориальной близостью: от моего дома до старого арбатского двора, где в двухэтажном флигеле жил Николай Глазков, было минут 10—12 пешего хода, это позволяло засиживаться допоздна за шахматами или разговорами. Имело значение, наверное, и то, что Николай довольно напористо излагал свою точку зрения по какому-либо вопросу, а я умел слушать и в спорах, хотя порой и горячился, не ожесточался, а в большинстве случаев понимал или старался понять глазковские теории. Но главное — Глазков знал, что я высоко ценю его поэзию, люблю и охотно пропагандирую лучшие из его стихов. Для поэта, чей путь к признанию был трудным и долгим, особенно важно, наверное, было чувствовать одобрение и увлеченность его стихами окружающих:

Известно, человек культурный
Тем отличается от дурней,
Что мыслит здраво и толково
И признает стихи Глазкова.

Эпитеты «великий» и «гениальный» он употреблял, в том числе применительно и к себе, пожалуй, чаще, чем это принято. Помню его высказывания о молодой поэзии: «Гениев ставлю в следующем порядке: Глазков, Наровчатов, Кульчицкий, Слуцкий». Время от времени появлялись «варианты», но его фамилия неизменно была первой. Многие считали такой способ самоутверждения шуткой, игрой, памятуя, что своеобразная ирония и самоирония характерны для Глазкова-человека и Глазкова-поэта. Сам он писал: «Вы простите, друзья, эту милую странность...» А много лет спустя друзей, пришедших на его пятидесятилетие, встречал плакат: «Глазков великий человек, он превзошел своих коллег». Что касается меня — я охотно прощал своему другу «эту милую странность» и принимал глазковские правила игры. Стихи Глазкова я любил, а как их называть — гениальными или просто прекрасными — разве это так уж важно?

Мы дружили тридцать пять лет. В разные периоды у Глазкова, да и у меня были друзья более близкие, более любимые, более необходимые, но наши отношения всегда оставались добрыми, незамутненными. Первые годы мы чаще собирались у меня, потом, когда вернулись родители и я сам обзавелся семьей, на знаменитой арбатской квартире Глаз-

кова. Квартира была знаменитой потому, что еще задолго до первых публикаций и первых печатных отзывов имя Глазкова было известно многим любителям поэзии. Из уст в уста передавались дерзкие и трогательные, насмешливые и вместе с тем какие-то незащищенные стихи этого необычного поэта, его остроумные афоризмы; ходили по свету и разные были-небылицы об их авторе. Он стал своего рода достопримечательностью старого Арбата, и от гостей, званых и незваных, очень часто просто не было отбоя. Добро бы еще только друзья и знакомые со своими друзьями и знакомыми, а то шли и вовсе посторонние, движимые не столько литературными интересами, сколько просто любопытством. Благо многим оказывалось «по пути»...

Глазков подчас бывал озабочен очередным вторжением: заслышав звонок, он спрашивал присутствующих: «Хороший человек или негодяй?» — и с обреченным видом шел открывать дверь. Впрочем, в большинстве случаев Глазков, мне кажется, гостями не тяготился. Он не был рубахой-парнем или признанным душой общества, жил напряженной внутренней жизнью, скрытой от посторонних глаз, но нуждался в общении, в понимании. Его артистической натуре публика была необходима. От частых нашествий и налетов больше страдали родные — сначала мама Лариса Александровна, потом жена Росина и Коля Маленький. Лишь после того, как Глазковы переехали в новую квартиру на Аминьевское шоссе, поток посетителей резко обмелел — люди предпочитают, наверное, пути покороче.

...Странное дело — чем лучше знаешь человека, тем трудней писать о нем воспоминания. Легче рассказать об одной какой-нибудь запомнившейся встрече, разговоре, совместной поездке, добавить свой штрих к создаваемому коллективной памятью портрету. А если встреч и разговоров без счета? Если съел с человеком пуд соли — о какой крупинке поведать? Вот я и решил не слишком выходить за рамки своего, так сказать, амплуа, оставаясь и на этот раз литератором, пишущим в основном на спортивные темы. Ведь Николай Глазков был в высшей степени спортивным человеком, и в этой области его сложный и противоречивый характер проявлялся довольно полно и интересно.

Да, Глазков был спортивным человеком, хотя на стадион не ходил, не замирал перед телевизором в часы большого футбола или большого хоккея и не вел заинтересованных разговоров о голах, очках, секундах. Природа не обделила Николая физической силой, а жизненные обстоятельства сложились так, что наибольшие «тренировочные на-

грузки» пришлись на его длинные, жилистые руки. В юности Глазков сломал ногу и несколько недель передвигался на костылях, но так стремительно, что легко обгонял здоровых людей. Не тогда ли родились замечательные строки:

Поэзия — сильные руки хромого,
Я вечный твой раб, сумасшедший Глазков.

Впоследствии вторая строка претерпела изменения: появился «гениальный Глазков», но первоначальный вариант мне кажется сильнее, напряженнее — разве добровольное рабство на галерах поэзии удел «нормальных»?

В голодные и холодные военные годы молодой поэт зарабатывал на жизнь пилкой дров. И вновь наливались силой его руки, и вновь он хотел обгонять, лидировать:

Я лучше всех пилю дрова
И лучше всех пишу стихи.

Отважные эти строки кого-то, возможно, коробили своей кажущейся нескромностью. Но не справедливей ли их понимать как приглашение к спору, к соревнованию, не проявлялся ли здесь спортивный характер Глазкова?

Своего рода приглашением к соревнованию было и его могучее рукопожатие. Стискивая своей здоровенной лапой руку приятеля или нового знакомого, Глазков испытующе смотрел ему в лицо, и в выразительных, чуть диковатых глазах поэта вспыхивали лукавые искорки. Поначалу такое проявление внимания озадачивало, и люди, морщась от боли, старались высвободить руку из цепкой глазковской клешни. Но друзья знали, как следует сгруппировать кисть, чтобы церемония приветствия проходила безболезненно. В таких случаях Глазков пояснял, что образовался «параллелограмм силы», и разжимал пальцы.

Любил Николай и «дуэль на стульях». Нет, нет, никто при этом не размахивал угрожающе четырехногим предметом комнатной обстановки. Просто предлагалось поднять стул за переднюю ножку одной рукой, схватившись как можно ниже и не касаясь пола коленом. Если «начальный вес» был взят, на спинку стула вешался глазковский пиджак, в карманах которого всегда было много мелочи и каких-то железок. Опиджаченный стул заметно тяжелел и не каждому оказывался «по руке». Когда же соперник попадался достойный, а количество мебели и высота потолка это позволяли, стулья ставились один на другой в несколько этажей. Соревнование продолжалось, пока «на арене» не оставался один Глазков. Об этой потехе тоже написаны стихи:

Как богатырь ушел недалеко я,
Не жду оваций яростного гула.
Ну, скажем, подниму одной рукою
За ножку лишь четыре венских стула.

Как видим, Глазков не переоценивал своих спортивных достижений. Однако мне довелось быть свидетелем поистине «звездного часа» арбатского богатыря: как-то у меня дома Глазков превзошел самого себя и поднял за ножку старинное дубовое кресло, которое и двумя-то руками оторвать от пола было нелегко. А в другой раз сам Глазков оказался «жертвой» чужого вдохновения. Мой друг детства Коля Савинков, человек спортивный и отнюдь не слабый, все же всегда уступал Глазкову в уральской борьбе. Но однажды он, ощутив неожиданный прилив сил, бросил вызов своему могучему тезке и припечатал руку Глазкова к столу. Тот хотя и удивился, но тут же нашел четкую формулу: «Я тебя кладу в сеансе, а ты меня — в трансе». Пристрастие к чеканным, афористическим определениям, желание объяснить себе и другим все происходящее было характерно для Глазкова. Эта упорная рассудительность, а подчас и рассудочность удивительным образом сочеталась в его личности и его творчестве с интуитивным, стихийным. Мне иногда представляется, что Глазков, подобно канатоходцу, нуждался в балансире. И ощущение своей физической мощи, проявить которую гораздо легче, чем поэтическую силу и правоту, было необходимо поэту, чтобы противостоять превратностям и несправедливостям судьбы.

Конечно, репутация «самого сильного среди интеллигентов» не могла заменить официального признания, широкой литературной известности, но все же различные богатырские потехи помогали, наверное, сохранять крепость духа и жизнелюбие. Кстати сказать, в глазковском утверждении «я самый сильный из интеллигентов» была, по-моему, маленькая хитрость: о человеке, превзошедшем его в какой-либо физическом упражнении, он мог сказать, что это, мол, не интеллигент. Справедливости ради следует признать, что и среди тех, кому отказать в интеллигентности Глазков никак не мог, встречались изредка люди, не уступавшие «самому сильному» в поднимании стульев или уральской борьбе.

Одно время Глазков не расставался с ручным силомером, всем (даже малознакомым людям) предлагал проверить силу рук. Придумал «троеборье» — правой, левой и двумя сразу. В забавы с силомером вовлекал и сотрудников редакций, куда приходил по литературным делам. Поэтому Николаю Старшинову, который всегда был завален рукописями начинающих, Глазков советовал при встрече с очередным молодым стихотворцем давать тому силомер: если

визитер выжимал меньше 50 килограммов, стихи его можно не читать — все равно окажутся бездарными. Не думаю, чтобы Старшинов воспользовался этим советом всерьез.

Николай Глазков уважал физическую силу, ценил ее в людях. Как-то по-детски радовался своим богатырским возможностям, охотно их демонстрировал.

Ярким примером в спортивной биографии Николая Глазкова был его «матч» со знаменитым боксером-тяжеловесом, абсолютным чемпионом СССР Николаем Королевым. Встретились поэт и боксер в начале пятидесятых годов в редакции журнала «Молодой колхозник» (ныне — «Сельская молодежь»). Хотя оба Николая были почти ровесниками, один давно прославился на всю страну, другой все еще ходил в молодых. Королеву фамилия Глазков ничего не говорила, и он не очень охотно принял предложение неуклюжего чудака-литератора померяться силой рук. Надо полагать, чемпион был озадачен, когда почувствовал железную хватку своего визави и не сумел выправить положение. Глазков же популярно объяснял окружающим, что у него просто оказались лучше развитыми как раз мышцы, необходимые для уральской борьбы, да и мобилизовался он лучше.

«Поединок» с самим Королевым запомнился Глазкову еще и потому, что к боксу отношение у него было особое: на Арбате, в соседней квартире, буквально за стеной, жил до войны замечательный мастер ринга, двукратный чемпион страны Николай Штейн. Спортивная слава и высокие человеческие качества талантливого боксера не могли не импонировать его юному соседу. Глазков даже начал заниматься в секции, которую вел Штейн. Боксера из него не вышло, зато впоследствии появилось стихотворение «Мой преподаватель», посвященное погибшему на фронте чемпиону. В нем поэт прямодушно признавался:

Чтоб стали бицепсы сильней,
Я прилагал старанье,
Но в боксе не хватало мне,
Должно быть, дарованья.

Куда больше преуспел Николай в шахматах, игре, которая с детства завладела его воображением. Увлечение было высокого накала, и юный обитатель арбатского двора мечтал ни больше ни меньше (на меньшее, маленькое он никогда не соглашался!) как о лаврах чемпиона мира. Однако делом жизни стала поэзия, и Глазкову уже хотелось быть чемпионом стиха. Но в искусстве добиться признания трудней, чем в спорте, и лавровые венки тут выдают нередко посмертно...

Верность шахматам, трогательную и почтительную лю-



За шахматами. 1960 год

бовь к великой игре человечества Глазков пронес через всю жизнь. Он даже склонен был преувеличивать универсальное значение этой «гимнастики ума», совершенно серьезно говорил, что все руководящие работники и военачальники должны иметь по крайней мере третий разряд. В его глазах каждый сильный шахматист был достоин всяческого уважения, независимо от его человеческих качеств. Глазков верил в логику шахмат, восхищался красотой комбинаций, но, пожалуй, слишком большое значение придавал разрядам, званиям. Тут он впадал в чинопочитание, хотя в жизни это за ним не замечалось.

Однако превыше всего Николай в шахматах ценил справедливость, несколько наивно полагал, что «коэффициент справедливости» в этой игре значительно выше, чем в других областях человеческой деятельности.

Играл Глазков в шахматы довольно прозаически: осмотрительно, методично, избегая рискованных продолжений и неожиданных поворотов «сюжета». Неплохо проводил окончания партий, а вот в дебюте чувствовал себя неуверенно, несмотря на значительный практический опыт.

В так называемых официальных соревнованиях, где каждый за что-то борется — то ли за чемпионское звание, то ли за выход в более сильный турнир, то ли за повышение своего разряда,— Глазков почти не участвовал. Разве что в школьные годы, да еще когда ему было далеко за сорок, сыграл в нескольких турнирах, проводившихся в Центральном Доме литераторов. Здесь он получил вожделенный первый разряд и в составе команды ЦДЛ выезжал в Дубну и Новосибирск на встречи с шахматистами-учеными. Встречи эти не ограничивались шахматными баталиями, а завершались литературными вечерами, собиравшими весьма внушительную аудиторию. Выступления Глазкова проходили с большим успехом, хотя поначалу устроители вечеров высказывали опасения, что на фоне таких асов эстрады, как Аркадий Арканов, мешковатый бородач не будет «смотреться». Однако внешняя «нереспектабельность» оказывалась обманчивой: Глазков очень точно чувствовал публику, знал, на какой аудитории что читать, и, главное, никогда не позволял слушателям скучать. И публика по достоинству оценивала его естественность и своеобразие, находчивость и остроумие.

Много было забавного, милого и на шахматных вечерах, которые Глазков устраивал у себя дома. Конечно, для совершенствования, для наращивания шахматных «мускулов» эти домашние турниры давали меньше, чем официальные соревнования, но зато они дарили радость общения. Потому, услышав в телефонной трубке характерный глазковский голос: «Приходи, будет такой-то и такой-то, устроим

славный шахматеж», многие друзья поэта бросали все дела и спешили на Арбат. Игра есть игра, были и тут и борение страстей, и азарт, и разные мини-стрессы, но минутные обиды и огорчения тут же забывались, преобладали, как теперь говорят, положительные эмоции. Случалось, хозяин дома читал гостям новые стихи. Нередко это были стихи о шахматах, и героями некоторых из них оказывались участники «шахматежей». Рукописный сборник своих шахматных стихов Глазков так и назвал — «Великий шахматеж».

Многие друзья Глазкова были шахматистами-разрядниками. Но самым сильным его партнером был гроссмейстер Юрий Авербах. Авербах в прошлом — тоже арбатский абориген, и когда я привел его в дом 44, оказалось, что у них с Глазковым немало общих знакомых. Поэт страшно обрадовался знатному гостю и посвятил ему экспромт, заканчивающийся строками — «Для всех вы Юрий Авербах, а для меня вы Авербахус!» Мне приятно вспоминать, что гроссмейстер шахмат и гроссмейстер стиха подружились с моей легкой руки, что дружба эта, которой Николай Иванович очень дорожил, оставила, так сказать, материальный след: два славных, искрящихся добрым юмором стихотворения — «Собака гроссмейстера» и «Манила».

Навсегда осталась в памяти и глазковская присказка: «Этот ход — хороший ход, но какой с него доход?» Интонация этой непритязательной присказки оказалась настолько обаятельной и заразительной, что в одном из моих детских стихотворений появились строки: «Этот сон — хороший сон, но во сне остался он». Глазков на меня, кажется, за это не сердился.

Со свойственной ему субъективностью и категоричностью Николай Глазков признавал и любил далеко не все виды спорта. «Самый благородный — спорт, конечно, водный»,— заявлял поэт и с восторгом горожанина, истосковавшегося по общению с природой, по мышечной радости, пускался вплавь или брался за весла. Он понимал, что особыми скоростными качествами не отличается, но в выносливости готов был соревноваться с кем угодно. Ходоком тоже был неутомимым. Солнечные перелески Подмосковья и темно-зеленые своды якутской тайги, золотистые россыпи балтийских дюн и каменистые склоны Крыма или Кавказа — где только не пролегали пешие маршруты этого беспокойного и любознательного человека: побывал Николай Иванович и в знаменитом якутском селе Чурапче, родине многих представителей прославленной школы вольной борьбы, и удивлялся, что знаменитые мастера ковпа отказывались мериться с ним силой в уральской борьбе, гово-

ря, что в этом статичном единоборстве они лишены своих главных козырей — резкости и ловкости.

Глазков был действительным членом Всероссийского географического общества и очень этим гордился. Во время дружеских встреч он неизменно предлагал тост «за великого путешественника». Однако еще большее удовлетворение принесла ему победа над своей прямо-таки болезненной «морозонеустойчивостью», над необычной для уроженцев средней полосы России боязнью холода. Странно было наблюдать, как даже легкий морозец заставлял этого здоровяка поднимать воротник теплого пальто и опускать уши меховой шапки. При этом он еще больше сутулился и казался каким-то обиженным, затравленным. Николай Иванович тяготился своей слабостью и, собравшись с духом, объявил ей войну. О том, как это происходило, рассказывают шуточные стихи-загадка:

Кто такой, хороший сам,
С благородной бородой,
Брызгается по утрам
Весь холодною водой?

Кончилось тем, что поэт стал принимать почти ледяные ванны и купаться, когда температура воды в реках едва поднималась до 6—8 градусов. Он любил, чтобы при этом присутствовали друзья, которые должны были им «восхищаться». Еще лучше, если находился человек с фотоаппаратом.

Милые странности, у них тоже была неповторимая глазковская интонация...

Юрий Авербах

ГРОССМЕЙСТЕР НЕ ОБИДЕЛСЯ

Мы оба были с Арбата, Глазков и я,— обыкновенные арбатские мальчишки тридцатых годов. Только я жил в самом начале улицы, в первом переулке слева, а он в конце, с правой стороны. На Арбате у нас было достаточно возможностей встретиться — у аквариумов зоомагазина, в «киношке» «Юный зритель» или в книжных лавках. Там, где всегда толпились мальчишки. Наверное, мы не раз сталкивались с ним, но проходили мимо.

Впрочем, с поэзией Глазкова я познакомился уже в то далекое, довоенное время. Было это, кажется, в 1938 году. Не помню уже по какому случаю, у меня возник спор о поэзии с моим товарищем, рыжим, веснушчатым Венькой Левиным.

— А ты знаешь, что сказал по этому поводу поэт Николай Глазков? — спросил он и, не дожидаясь ответа, разразился четверостишием:

Что такое стихи хорошие?
Те, которые непохожие.
Что такое стихи плохие?
Те, которые никакие.

И с тех пор, читая стихи, Левин нередко добавлял:

— Как сказал поэт Николай Глазков.

Стихи, с которыми меня знакомил мой товарищ, были в самом деле не похожи на другие. В них угадывался настоящий, талантливый поэт. Однако поэта Николая Глазкова я не знал. Зато мне было хорошо известно, что сам Венька самозабвенно увлечен поэзией и занимается в литературном кружке под руководством Ильи Сельвинского. Венька был большой выдумщик и мистификатор, поэтому читаемые стихи я воспринимал как его, Левина, собственные, а Николая Глазкова считал его псевдонимом.

...Прошли годы. Не вернулся с фронта Венька Левин. Как-то раскрыл я газету. Кажется, это была «Комсомольская правда». На четвертой странице стихотворные строчки и подпись: Николай Глазков. Я глазам своим не поверил. Мелькнула надежда: неужели Венька Левин жив?

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ СССР

ТЕЛЕГРАММА

ПРИЕМ
— го — час. — мин.
Бл. № 6
Принял

ПЕРЕДАЧА:
— го — час. — мин.
№ связи
Передал:

МОСКВА Г-2 АРБАТ 44
КВАРТИРА 22 ГЛАДКОВУ

АЛМА-АТЫ 10103 26 30 1200 мин.

Служебные отметки:

=УЧАСТНИКИ ВСЕСОЮЗНОГО ЧЕМПИОНАТА ПОЗДРАВЛЯЮТ
ИЗВЕСТНОГО ПОЭТА-ШАХМАТИСТА ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ ТЧК ЖЕЛАЕМ
СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛВЕКА ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЯДА ЗПТ ПОБЕД ПОЭЗИИ.
АВЕРБАХ ПОЛУГАЕВСКИЙ ТАЛЬ-

Поздравительная телеграмма от Ю. Авербаха, Л. Полугаевского и М. Таля

Все оказалось проще: поэт Николай Глазков действительно существовал. А через некоторое время мой товарищ, поэт Евгений Ильин, познакомил меня с Глазковым. Мою руку как будто бы сжали железные клещи. Это было рукопожатие очень сильного человека.

Бывшим арбатским мальчишкам было о чем поговорить, что вспомнить, кого помянуть. Помянули мы и Веньку Левина.

Незаметно мы с Глазковым подружились. Встречи с ним стали для меня необходимостью.

Что нас сблизило — поэзия, шахматы или страсть к путешествиям? И то, и другое, и третье...

Глазков был интересным собеседником — умным, острым, ироничным. Будь это задушевная беседа или веселое застолье.

Николай Иванович по-особенному, очень трогательно относился к шахматам. Как только расставлялись деревянные фигурки, у него на лице появлялось особенное выражение, какое, видимо, бывает у гурманов в предвкушении любимых яств. Он любил и ценил шахматы. Было заметно, что сам процесс игры доставляет ему наслаждение. Глазков с детства мечтал стать сильным шахматистом. Он действительно неплохо играл в шахматы, но не настолько, чтобы его самолюбие было удовлетворено. И он совсем по-детски, очень непосредственно это переживал, что, кстати, нашло отражение и в его стихах.

Отвергнутый Каиссою, бедняга,
Не смог достичь я шахматных высот...

— Коля,— однажды сказал я в шутку,— какой же ты поэт, если у тебя нет стихов, посвященных собаке.

— Меня в детстве сильно покусала собака,— серьезно ответил он.— И я не могу их воспевать.

Однако для одной собаки — для моего черного пуделя — он сделал исключение.

Произошло это так: как-то, придя ко мне домой, Глазков увидел, что я сижу за шахматами, а на коленях у меня пудель, который внимательно наблюдал за тем, как я передвигаю фигуры на доске. Это, видимо, произвело на него впечатление.

Прошло некоторое время. Признаться, я забыл об этом случае. Вдруг получаю от Глазкова письмо. В нем стихи, копия письма в «Литературную газету» с предложением их напечатать на 16-й странице и ответ редакции: «Мы бы напечатали, да гроссмейстер обидится». Тут же рядом характерным Колиным почерком выведено: «А почему обидится?» Вот эти шуточные стихи, которые Глазков позднее включил в свою последнюю, предсмертную книгу:

У гроссмейстера Авербаха
Проживает в доме собака,
Он сажает ее с собой рядом,
Угощает ее рафинадом,
Говорит ей о шахматных битвах,
О красивых ходах самобытных,
О концовках и о находках,
Об этюдах и трехходовках.

И собака все понимает,
Только в шахматы не играет!

Прочитав эти стихи, гроссмейстер, конечно, не обиделся. Я воспринял их как знак дружеского внимания, подтверждающего: Николай Глазков умеет ценить друзей, их доброе отношение к нему, стремится отвечать тем же...

И последнее — противоречивое и горькое,— что осталось в памяти.

За годы нашей дружбы я привык к ненавязчивому Колиному вниманию, привык получать от него шутливые стихи, которые он присылал по поводу и без всякого повода. Иногда его открытки со стихотворными поздравлениями начинали приходить по крайней мере за месяц до моего дня рождения. Его теплые, трогательные послания всегда были полны юмора, улыбки, жизнелюбия, надежности. Казалось, такому человеку жить да жить...

И вдруг...

Колины стихи, присланные в 1979 году. Думаю, из последних:

Желаю стать таким опять,
Каким я был лет в двадцать пять,
Когда сложил немного строк,
Но бегать мог и прыгать мог.

Мечтаю, впрочем, я о чем?
Я не был лучшим силачом:
С простуд чихал, от стужи дрог,
Но драться мог, бороться мог.

Себя счастливым не считал.
Чего желал? О чем мечтал?
Мечтал, что буду я велик,
Желал издать десятки книг.

О чем мечтал, того достиг,
И с опозданием постиг,
Что я неправильно мечтал,
И потому устал и стар.

Творю печатную строку,
Но бегать, прыгать не могу
И стать желаю, как балда,
Таким, каким я был тогда!

Эти строки больно резанули. Они насильно заставляли поверить в то, чему я отказывался верить: Коля неизлечимо болен. И это Коля, «самый сильный из интеллигентов», жизнелюбия которого хватило бы на многих? «Бегать мог и прыгать мог...» Всё в прошлом?

Отмахнуться от тревожных ощущений было нельзя. Стихи говорили сами за себя. Но сознание продолжало сопротивляться горькой правде: Николай Глазков уходил из жизни...

Михаил Шевченко

«ОН НЕ СТОЛЬКО ЗНАМЕНИТ...»

Имя его впервые я услышал в самом конце сороковых годов, когда был первокурсником Литературного института имени А. М. Горького в Москве. Рассказывали о чудачествах его. Как-то в университетском студенческом общежитии на Стромынке был вечер одного стихотворения. Перед студентами университета выступали студенты нашего института. Все шло как должно идти.

Подошла очередь выступать Николаю Глазкову. Он вышел на сцену и сказал:

— Я прочитаю вам самое короткое стихотворение.

И прочитал:

Мы —
Умы!
А вы —
Увы!..

Сначала зал был в шоке. Мертвое молчание. Потом, когда поэт удалился со сцены, разразились шумные аплодисменты.

Однажды в чьих-то руках я увидел маленькую тетрадочку с орнаментом на обложке. Орнамент был сделан пишущей машинкой. Это были отпечатанные самим Николаем Глазковым его стихи, многие из которых позже были опубликованы. Вот кое-что из запомнившегося тогда:

Сорок первого газету прочти
Или сорок второго.
Жить стало хуже всем почти
Жителям шара земного.
Порядок вещей неприемлем такой,
Земля не для этого вертится.
Пускай начинается за упокой,
За здравие кончится, верится.

Это тогда, в сорок девятом, воспринималось как сбывшееся уже детское пророчество с его чистой верой в хорошее.

В тетрадке были и другие по-глазковски оригинальные вещи.

Я стихи могу слагать
Про любовь и про вино.
Если вздумаю солгать,
Не удастся все равно.
На поэтовом престоле я
Пребываю весь свой век.
Пусть подумает история,
Что я был за человек.

Многие стихи его — как бы ответ в споре, ответ тем, кто когда-либо упрекал его в том, что он «не от мира сего»:

Был не от мира Велимир,
Но он открыл мне двери в мир.

Иногда он озорно и свободно играл словами:

Ночь Евья,
Ночь Адамья.
Кочевья
Не отдам я.
Табун
Пасем.
Табу
На всем!

Он ценил людей, которые его принимали таким, каков он был.

Да здравствуют мои читатели,
Они умны и справедливы:
На словоблудье не растратили
Души прекрасные порывы...

Его стихов в печати появлялось в то время очень мало. Фамилия Глазкова чаще всего стояла под переводами с самых различных языков.

После института я оказался в Тамбове, работал в областной газете. Как-то по редакции пронесся слух: в отделе культуры — московский поэт Глазков.

Гости столицы неизменно в почете в провинции. Интерес к ним велик. И на сей раз в отделе культуры собрались стихотворцы, работавшие в газете, и многие сотрудники.

Я увидел человека необычного. Чтоб он запомнился на всю жизнь, его надо было один раз увидеть и услышать. Сидел в кресле крупный, как бы раскрылившийся человек. Взгляд пристальный, немного исподлобья. Протянул растопыренную пятерню, потом крепко

пожал руку, по-ребячески улыбаясь: какова, мол, сила, а!..

Снова сел в кресло и снова перед нами — загадочный человек. Не то скоморох явился вдруг из русской истории. Не то юродивый из «Бориса Годунова». Не то Иванушка из русской сказки. В нем было все это одновременно. И не только это. Говорил он медленно, глядя тебе прямо в глаза, ожидая, жаждая, чтобы ты сразу же откликнулся на то, о чем он говорит, и радуясь, если ты понял его. Говорил с лукавинкой, порой грубовато, но умно, или с издевкой, с иронией. И всякий рассказец, устную новеллу сводил на наивную похвалу себе. У него это получалось настолько искренне и по-детски, что ты принимал это не противясь, как обычно бывает, когда иной собеседник хвастает перед тобой.

Он был в какой-то мере себе на уме. И часто доказывал это остроумной репликой, неожиданным стихом. Позже, бывая с ним подольше, я ловил себя на мысли, что некоторые его остроты и афоризмы далеко не экспромтны, а готовятся заранее. Но он преподносил их как экспромты и радовался, что этому верят, что впечатление неожиданности получается. И опять же радовался по-детски.

Иногда он делал такие вещи. Брал, например, известные некрасовские стихи:

Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель...

И вдруг — дальше глазковские строчки:

В длинной очереди не стоял...
Все кричат: за чем очередь?
А я говорю: зачем очередь?..

Сиял, видя, как это било в цель и, конечно же, запоминалось.

Однажды я спросил у него, кого он считает наиболее значительным поэтом своего поколения. Он совершенно серьезно сказал:

— Не считая меня, Вася Федоров.

Тут же метнул в меня взгляд и с едва заметной улыбкой закончил:

— Между прочим, он мне на своей книжке написал: «Николай Глазков — пиит в нашем идеале. Он не столько знаменит, сколько гениален».

Прочитал стихи и откровенно и радостно засмеялся.

— А когда выйдет ваша книжка? — спросил кто-то.

— Не скоро.

— Почему?

— Нет бумаги,— сказал грустно.— И не скоро будет...

— Что так?

— Что? — он помедлил и неторопливо, как бы вслух раздумывая, продолжал: — Идет бумага не туда... Вот человек купил себе велосипед. Ему надо его зарегистрировать в милиции. В милиции ему говорят, чтоб он принес из домоуправления справку о том, что у него есть велосипед. А зачем такая справка, спрашивается? Какой дурак пойдет регистрировать велосипед, если у него нету велосипеда?.. Если бы отменить вот такие справки, то тогда бы можно было издать на ту бумагу мою книжку...

В Тамбове у Николая Ивановича были друзья. Редактор молодежной газеты «Комсомольское знамя» был большой поклонник таланта Глазкова, изредка печатал его оригинальные стихи. Николай Иванович бывал этому несказанно рад.

В дружеских отношениях был он с приветливой семьей талантливого художника-любителя Николая Ивановича Ладыгина. У него часто собирались и художники, и литераторы. Оба Николая Ивановича были хорошими шахматистами, и их баталиям не было конца. Глазков, выиграв, радовался, как ребенок, сыпал шутками, сочинял на ходу остроумные двустишия.

Дружил Николай Иванович Глазков и с коллекционером Николаем Алексеевичем Никифоровым, с удовольствием давал ему автографы, дарил публикации.

Санчо Пансо Глазкова в Тамбове был Ульян Ульев. Николай Иванович ласково называл его Ульяночкой. Что бы когда бы ни понадобилось Глазкову или всей компании, он говорил:

— Ульяночка сейчас добудет...

К этим людям Глазков относился с нежностью и вниманием. Я знаю, что у каждого из них не было праздника без шутливого стихотворного поздравления Глазкова. Он умел радоваться успеху товарища. Я никогда не замечал у него ни малейшей зависти.

Николай Иванович любил Тамбов. Не случайно, едва вышла у него первая книжка — «Моя эстрада»,— он поспешил с ней к тамбовским друзьям.

Наезжая в Тамбов, он подарил мне книгу «Зеленый простор». Книга — не самая лучшая у него. Но он радовался выходу ее. Его ведь тогда не баловали выпуском книг. Мне дорога его надпись на книге.

Шевченко Миша — видно сразу —
Напоминает мне Тараса,
И для него совсем не плохо,
Что он живет не в ту эпоху.

26 июля 1961 г.

Еще у него была одна прекрасная черта. Он на всю жизнь помнил сделанное ему добро.

В конце шестидесятых годов я стал работать в правлении Союза писателей РСФСР. Однажды зашел ко мне Николай Иванович и попросил послать его в Якутию. Он много и хорошо переводил якутских поэтов. Мне удалось убедить руководство предоставить ему командировку. Он удачно слетал туда и был страшно доволен. Вернувшись, сразу же зашел, охотно рассказывал о поездке. Вскоре он занес новую книгу стихов — «Творческие командировки».

Он охотно ездил по стране. Строчки «Кочевья не отдам я» — это суть его натуры. Кочевье питало его музу. У него немало стихов про Тамбов, есть стихи, посвященные и Ладыгину, и Никифорову. Он не забывал их добра. А мне вместе с подаренной книгой досталась еще одна, опять же шутливая надпись.

В 1979 году мы одновременно с ним отмечали свои юбилеи. Мы родились в один и тот же день, но с разницей в десять лет. Он — в 1919, а я — в 1929 году.

Вместе с телеграммами друзей и товарищей пришло письмо от Николая Ивановича. Я знал, что он болен, и это особенно взволновало меня. Он остался верен самому себе. Опять же, как мальчик, он вырезал картинку с часами — символ времени, наверное,— и сделал надпись в своем духе:

Дорогой Миша!
Поздравленье
Прими же!
Желаю
счастья,
здоровья,
удач!

В один день мы собирали гостей. Я позвонил Василию Федорову и пригласил его на свой праздник.

— Знаешь,— сказал он.— Не обижайся. Но я иду сегодня на вечер к Коле Глазкову. Он очень плох...

— Что вы! Никакой обиды! Обнимите его и за меня!

Вскоре Николая Ивановича не стало.

Как-то на обсуждении очередного «Дня поэзии» Евгений Евтушенко, добро писавший о Николае Глазкове как о замечательном, самобытном поэте, сказал:

— Если бы мне поручили издать все лучшее, что есть у Глазкова, я представил бы его как очень, очень большого поэта!..

Такого издания, к сожалению, пока нет. Евгений Александрович сам много работает, и, видно, руки не доходят до составления такого сборника, хотя он, повторяю, сделал хорошее дело, написал о поэте с любовью и уважением. Может быть, ему не удастся составить такую глазковскую книгу. Ничего. За него это сделает Время.

Леонид Нестеренко

О МОЕМ ДРУГЕ

С Николаем Ивановичем Глазковым я познакомился в 1950 году, когда после демобилизации из Советской Армии стал работать редактором в Гослитиздате. Но подружился позже, уже в 1954 году, и полюбил его не только как самобытного, одаренного поэта и талантливого переводчика, но и как жизнерадостного, остроумного, очень милого, наивно-откровенного и по-детски добродушно-доверчивого человека.

В это время мы готовили к изданию большой сборник «Поэзия Советской Якутии». Я был редактором этого сборника, и Николай Глазков пришел ко мне с целой кипой своих переводов из якутских поэтов. Я отобрал большую часть из них, а остальные, возвращая Николаю Ивановичу, сказал: «Переводы на эти стихи у меня уже есть». Он поинтересовался: «Чьи?»

— Анны Ахматовой, Владимира Луговского, Вероники Тушновой и Павла Железнова,— ответил я.

— А можно их посмотреть? — спросил Николай Иванович.

Я дал ему несколько переводов, Николай Иванович очень внимательно прочитал их и сказал:

— Мои переводы — гениальные! — энергично качнул головой, подкрепляя свои слова.— Но их переводы — лучше!

Мне понравилась такая откровенная объективность.

Увидев на окне шахматную доску, на которой была недоигранная в обеденный перерыв моя партия со старшим редактором Ваней Ширяевым, он спросил:

— А вы, Леонид Лукич, «зверски» играете в шахматы?

Я сознался, что играю довольно посредственно, но играть люблю.

— Тогда приходите в субботу ко мне поиграть в шахматишки. У меня проходит турнирчик. С премиями. Премия в складчину.

В первую же субботу я побывал на «шахматном турнирчике» у Коли Глазкова (так по-дружески запросто все его называли) и с той поры часто бывал в доме Глазко-

вых на старом Арбате, потому что много интересного и поучительного можно было там услышать, со многими людьми познакомиться. Здесь давались квалифицированные, объективные оценки литературным новинкам, да и не только литературным; в дружеских беседах и спорах умно и правдиво высказывались о современной живописи, скульптурных произведениях, о кино и театре, о проводимых в Москве различных выставках. Среди друзей Глазкова и его жены были ведь и художники, и скульпторы, и театральные критики, и работники издательств и редакций московских журналов. В субботние вечера у Глазковых немало говорилось и о литературных делах в наших республиках, так как на них часто можно было встретить якутских поэтов и литературоведов — Леонида Попова, Семена Данилова, Баала Хабырыыса, армянского поэта Ашота Граши с друзьями, туркменского поэта Миршакара, произведения которых выходили на русском языке в добротных переводах Николая Глазкова.

Шахматный турнир у Коли Глазкова на старом Арбате проходил по олимпийской системе: проигравший выбывает и вносит небольшую мзду в общий котел. А чтобы турнир проходил интересно и справедливо уравнивались силы участников, сильный давал фору более слабому. Николай и некоторые другие разрядники играли отлично, но не ровно, я играл посредственно, но ровно, и меня сделали своеобразным шахматным эталоном. Силу игры участника турнира определяли, например, так: Николай играл в силу полтора Лукича, старший редактор Гослитиздата Анатолий Старостин — в силу Лукича плюс одна пешка, Василий Дмитриевич Федоров в силу Лукича минус две пешки, Юра Разумовский — в силу одного Лукича, а «Староарбатский гроссмейстер» Володя Юньев — в силу двух Лукичей. С шахматными часами (их было двое) играли только «зубры», а так называемые аутсайдеры, по обоюдному согласию, могли играть и без часов.

В доме Глазковых не было телевизора, танцев, но никто никогда не скучал, каждый легко находил себе интересного собеседника, всегда кто-нибудь рассказывал веселую забавную историю, да и сам хозяин великолепно умел прочесть какое-нибудь из своих сатирических стихотворений.

Однажды мы с Николаем поехали в Сочи. Я по путевке, Николай — «дикарем». Был август, самый разгар сезона, и койку вблизи моря найти было невозможно. Но Николай во что бы то ни стало хотел найти комнатушку, хотя бы



Николай Глазков и армянский поэт Бабкен Карапетян. 1959 год

конуру. Он взял с собой переводы и думал поработать. Целый день мы бегали, обливаясь потом, в поисках этой злополучной «конуры», и все без толку. Уже вечером, после ужина, мне посоветовали обратиться к уборщице тете Ксении; она, мол, как справочное бюро.

Тетя Ксеня, прищурившись, пытливо оглядела нас, с сожалением сказала:

— Освободилась давеча одна комнатушка, тут неподалече, но Христина Петровна не пустит вас. Она, ребята, хоть и правильная старуха, но с перцем.

— Но почему же не пустит? — удивился я.— Друг мой идол рогатый, что ли?

— Мужики вы крепкие, курите и баб будете водить.

Коля хотел что-то сказать, но я опередил его и заверил тетю Ксеню, что все будет в ажуре. Курить Коля будет во дворе, а «баб» на пушечный выстрел не допустим.

Уже совсем стемнело, когда мы предстали перед высокой, ширококостной нахмуренной старухой, которая молча минут пять подозрительно прощупывала нас взглядом любопытным и колючим.

Николай вынул пачку «беломора», хотел закурить. Я одернул его.

— Ну вот, я как в воду глядела,— развела руками старуха, с укоризной глядя на нашу «протеже».

— Упреждала я их, упреждала! — поспешила оправдаться тетя Ксеня.

— Стал быть, не выйдить. Потому как обратно дыми-

ще, обратно вынай окурки из цветочных горшков, обратно же бабы.

Я прямо остолбенел, не зная, что ответить, а Николай спокойно сказал старухе:

— Окурки в цветочных горшках тушить не буду, «бабы» — исключено, а курить — буду!

Я даже крякнул от досады: «Вот идолище проклятый, провалил все. Ночь на дворе, где ночевать?»

Христина Петровна вдруг хохотнула, сказала с хрипотцой:

— Ладно! Пущаю его на жилье. Такой, ежели разобьет вазу, не станет черепки засовывать под диван.

Николай хорошо плавал, любил далеко заплывать. У нас на санаторном пляже, да и на городских, дальше чем за буек заплывать не разрешали. И мы, доезжая до остановки «Пристань Мацеста», сходили с автобуса и шли через мост по направлению к Хосте с полкилометра, там в то время можно было найти безлюдный берег. Заплывали мы далеко в море и, как говорил Николай, «подельфиньи зело резвились в окиян-море».

Николай был любознателен и большой непоседа. В Сочи мы обошли и осмотрели все чем-либо знаменательные места, ездили и в Хосту, в Самшитовую рощу, побывали и на Ахун-горе, откуда нам пешком пришлось возвращаться в город, так как последнюю «денежку» с нас содрали в ресторане. Хорошо, что у меня завалялась трешка. Своих дам мы посадили на такси, уплатив за них шоферу, а сами, гордо заявив, что решили прогуляться пешком, чтобы подышать горным воздухом, уныло зашагали по извилистому шоссе в непроглядную темень.

К санаторию добрались мы только под утро. Олю, медсестру-москвичку, которая из «солидарности» сошла с такси и тоже топала с нами пешедралом, мы пересадили через ограду (ей обещала подруга открыть окно и впустить в комнату), а я пошел ночевать к Николаю в «конуру».

Оля оказалась не только «спортивным в доску своим парнем», но и интересной, умной девушкой. С Николаем она подружилась, и после Сочи они не раз встречались в Москве. Как-то она сказала: «Коля сперва мне не понравился. Самодовольный тюфяк, думала я, и даже какой-то чудаковатый. А потом я поняла, что Коля — просто душа! Здорово пишет стихи, умный, добрый и исключительно порядочный человек».

Это верно. Ольга точно подметила основное в Николае

Глазкове. Но это далеко не полный перечень его достоинств.

Летом я часто бывал у Глазковых в Перловке на «даче». Не дача, а две комнаты с кухней в общем деревянном доме, которые ЖЭК выделил наконец-таки художнице — жене Николая Ине. Там был и крохотный участок. Николай очень любил копаться на нем, сажать овощи, цветы, ухаживать за деревьями. Но больше всего ему нравилось поливать свой участок ледяной водой из шланга. В этом занятии самым активным, звонко хохочущим и от восторга визжащим был Коля Маленький — шестилетний кареглазый, кудрявый сынишка Николая. Он был забавный, не по годам мудрый и страшно любопытный.

На участке Николай соорудил что-то вроде беседки, поставил там самодельный вкопанный стол и скамейки. Здесь мы с ним часто засиживались до темноты. Он читал свои новые стихи, переводы.

После того как Николай запустил бороду, бросил курить и съехал со старого Арбата, я несколько раз бывал у него на новой квартире, но чаще всего мы встречались с ним в ЦДЛ.

Болезнь уже давала себя знать, но Николай мужественно боролся с недугом, был по-прежнему приветливым и остроумным.

Таким он мне и запомнился.

Михаил Козаков

ТОТ АВГУСТОВСКИЙ ДЕНЬ

В летней Москве августа 1957 года гулял, переливался всеми оттенками спектр Всемирного фестиваля молодежи... Мы с молодым тогда поэтом Женей Евтушенко шлялись по улицам праздничной столицы. Когда тебе 22 года, и год назад ты закончил Школу-студию при МХАТе, и приглашен Н. П. Охлопковым в театр имени Маяковского, когда на экранах идет твой первый фильм «Убийство на улице Данте», снятый М. Роммом, тогда все интересно, даже суета радует, охота всюду успеть, все увидеть.

А посмотреть было на что! Прямо на улицах шли необычные концерты, на наскоро сколоченных подмостках играли джазовые (!) составы, звучали конголезские тамтамы, а где-то молодежь в джинсах (сенсационная новинка!) отплясывала рок-н-ролл...

Много, много было соблазнов! Оттого предложение Евтушенко навестить поэта Глазкова было принято мной с недоумением. Зачем? Он ведь постоянно живет в Москве, никуда не денется... И все-таки пошли на Арбат и оказались в темной квартире. Может быть, она мне показалась особенно темной по контрасту с летним и солнечным фестивальным днем. И была тишина. И был хозяин квартиры, показавшийся мне тогда очень немолодым и не очень здоровым со странной внешностью.

Но пошли стихи, и все словно изменилось. Даже энергичный Евтушенко притих и уступил площадку поэту. Известно, что талантливый человек всегда делается красивее, когда играет, музицирует или читает стихи: начинает проступать его душевная суть, и человек преображается на глазах... Так произошло и тогда. Фестивальная суета отступила, а затем исчезла вовсе... И была сосредоточенность, стихи и их автор Николай Глазков.

Тот августовский день 1957 года был единственным днем, когда я видел и слышал живого Глазкова. Теперь остались книги, а в книгах стихи. Но ведь это, наверное, и есть самое главное для поэта, когда его стихи переживают его самого и по-прежнему, а часто и с новой силой нужны людям, любящим истинную поэзию.

Булат Окуджава

* * *

Тот самый двор, где я сажал березы,
был создан по законам вечной прозы
и образцом дворов арбатских слыл;
там, правда, не выращивали розы,
да и Гомер туда не заходил...
Зато поэт Глазков напротив жил.

Друг друга мы не знали совершенно,
но, познавая белый свет блаженно,
попеременно — снег, дожди и сушь,
разгулы будней и подъездов глушь,
и мостовых дыханье,
неизменно
мы ощущали близость наших душ.

Ильинку с Божедомкою, конечно,
не в наших нравах предавать поспешно,
и Усачевку, и Охотный ряд...
Мы с ними слиты чисто и безгрешно,
как с нашим детством — сорок лет подряд;
мы с детства их пророки...
Но Арбат!

Минувшее тревожно забывая,
на долголетье втайне уповая,
все медленней живем, все тяжелей...
Но песня тридцать первого трамвая
с последней остановкой у Филей
звучит в ушах, от нас не отставая.

И если вам, читатель торопливый,
он не знаком, тот гордый, сиротливый,
извилистый, короткий коридор
от ресторана «Прага» до Смоляги,
и рай, замаскированный под двор,
где все равны: и дети и бродяги,
спешите же...
Все остальное — вздор.

Валентин Кузнецов

СОСЕД И ЗЕМЛЯК

Я до сих пор себе не представляю Арбата без Николая Глазкова. По Арбату мы с ним земляки, почти соседи, жили бок о бок, только я поближе к Большой Молчановке. В пятидесятых — шестидесятых годах встречались почти ежедневно.

Он был коллекционером, собирал открытки. Однажды сидели в скверике возле церкви, запечатленной В. Д. Поленовым на картине «Московский дворик». Николай сказал, глядя на стрельчатую красавицу в камне: «Всю Москву обыскал, а открытки с видом этой церквушки не нашел. Попадется — купи!» Я пообещал.

«Знаешь,— продолжал он,— я бы хотел жить наверху этой церкви, под самым куполом!» — «Высоко»,— сказал я.— «Арбат лучше видно! Арбат — моя река. Пойдем побродим». По тесному, шумному, пестрому старому Арбату мы могли гулять весь день, до ночи. Николай знал свою улицу наизусть.

Как-то он предложил: «Давай поспорим».— «Зачем?» — «Завяжи мне глаза, я пройду весь Арбат из конца в конец, не задев никого из прохожих!» — «Но это невозможно, смотри какая толкотня».— «Вполне возможно. Есть платок?» — «Нету. Только шарф».— «Завязывай!» — «А на что спорим?» — «На «Риони» (так называлось кафе на Арбате, где можно было вкусно пообедать). Если я проиграю, я плачу. И наоборот. Только давай сначала найдем палку».

Мы вошли во двор зоомагазина, огляделись — ничего похожего на палку не было. Стояли прислоненные к стенке забора пустые ящики. «Может, сломаем ветку с клена»,— предложил я. «Нет. Жалко дерево»,— сказал Николай.

Мы обшарили еще три двора, в одном из них нашли ломик, тонкий, но тяжелый, из витого железа. «Вот в самый раз!» Николай взял лом. Мы пошли под арку. Но тут нас грубо окликнул дворник: «Эй, мужик! Положь. Не твое,— дворник подбежал и вырвал у Николая лом.— Небось квартиру взламывать идете!» Я хотел было ему

объяснить в чем дело, но он повернулся и, вскинув на плечо ломик, сказал: «Врете все, знаю вас... жулики. Приходил тут один в шляпе, сцапали! Генерала ограбить хотел...»

После этой встречи спор наш остыл, настроение испортилось. Поначалу Николай огорчился, но немного погодя повеселел и даже прочел мне стихи о дураках. Меня все же подмывало спросить: «Как это он смог бы пройти весь Арбат, никого не задев, да еще и с ломиком в руках?» И я спросил. «Слепого все встречные обходят. Понял?»

Николай Глазков много писал, но мало печатался. Издавал себя сам, переплетая стихи в толстые обложки. Неприхотливо жил, скромно одевался, но был очень отзывчивым, делился последним. Как-то встретил его у Литфонда на Беговой, он получал деньги по бюллетеню. Я тоже. Но у меня случилась какая-то неувязка. Не дали ни рубля. Пообещали через неделю. Я огорчился. Николай, видя, что я приуныл, сказал: «Хочешь возьми половину,— и протянул мне сколько-то денег.— В следующую выплату отдашь». Зная, что у него дома не сыр в масле, я отказался. Он настаивал: «Если тебя не устраивает взять деньги у гения, то считай себя великим! А все великие жили на чердаках в нищете, но их спасали меценаты. Представь — я меценат!» — «Представил».— «Тогда поехали!» — «Куда?» — «За город, на пляж».— «Купаться?» — «Купаться тоже».

Дело кончилось тем, что мы поехали в ресторан «Прага». Наверху, на летней веранде, я сказал Николаю: «Смотри, вот твоя река — Арбат, вон бульвар в зелени, трава на клумбах. Зачем куда-то ехать? Тут всё рядом». Он глянул вниз: «А сколько женщин! И все красивые. А знаешь, почему они красивые? — И после небольшой паузы добавил: — Потому что они идут по Арбату!..»

Арбат он любил как никто. Об этом — и написанное позднее мое стихотворение «Арбат Глазкова»:

Так неуклюже,
Так рисково
Никто вовеки не писал.
Перечитал стихи Глазкова
И карандашик обкусал.
Строка ломается и бьется,
Кудрявится,
Шмелем жужжит.
И сразу в руки не дается,
Она ему принадлежит.

Кому был мил,
Кому несносен.
Кому-то враг,
Кому-то брат.
Как Пушкина когда-то осень,
Глазкова окрылял Арбат!..

Он был человеком своеобразного мышления, человеком неожиданным. Жил в дружбе с шуткой. За кажущейся простоватостью, напускной дурашливостью таился глубокий ум. Много читал, знал классическую философию.

Глазков прекрасно разбирался в живописи. В Доме литераторов часто проходили выставки, вывешивались картины различных художников. Иногда пробегаешь, не замечая, что висит на стенах. Серенькие, блеклые, однообразные полотна не привлекали внимания. «Ну, как? — спросил я однажды у Николая, рассматривающего одну из сереньких картин.— Нравится?» Он помолчал, затем сказал: «В посредственности есть что-то привлекательное!» — «Что же именно?» — «А то, что, видя заурядность художника, стараешься избежать серости в своей работе».— «Заурядность, но с претензией». Николай печально улыбнулся: «Я думаю, что настоящий художник в каждой картине должен отказываться от себя, то есть он должен быть разным, сохраняя свою индивидуальность».— «А здесь что?» Он скаламбурил: «Разно-однообразно!»

Его юмор, беззлобность, открытость — обезоруживали.

Никогда я не видел, чтобы он расплывался в улыбке и подхалимажно тянул руку, встретив какое-нибудь высокопоставленное лицо, будь то редактор солидного издательства или критик — лев, от которого несло непереваренным Белинским. Глазков с достоинством держал себя в любом обществе. Ему органически были чужды интриганство, корысть, нетворческая зависть, и уж никогда по своей природе он не мог опуститься до мелких сплетен о своих собратьях по перу, до мещанского снобизма, эдакого похлопывания по плечу младших.

Известна прописная истина: время венчает достойных! Стихи Николая Глазкова прошли горнило времени и на прочность, и на разрыв, убеждая в своеобразии и неповторимости голоса поэта.




НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ
БОЛЬШАЯ
МОСКВА
НИКОЛАЙ
ГЛАЗКОВ
ГОДЫ ОТХОДЯТ В СТОРОНУ,
НЕТ ОСТАНОВОК И ПРИСТАНЕЙ.
ВСЕ ГЕНИАЛЬНО УСТРОЕНО,
ЕСЛИ ВСМОТРЕТЬСЯ ПРИСТАЛЬНЕЙ.
НИКОЛАЙ
Н. ГЛАЗКОВ
ПОЭТОГРАД

Николай Панченко

СУДЬБА НИКОЛАЯ ГЛАЗКОВА

Многие знают Глазкова по нескольким стихотворениям и даже по нескольким строчкам. И на вопрос, знают ли они Глазкова, отвечают утвердительно.

Капли воды недостаточно, чтобы крутить турбины, но ее довольно, чтобы определить состав воды.

Состав души Николая Глазкова жил в каждой его строке. Особенно в тех, что «ушли в народ» и существуют почти фольклорно.

Его узнаваемость не от повторяемости, но от неповторимости.

Он не только поэт, он — явление поэзии, которая не просто прекрасна, но всякий раз прекрасна по-новому.

Мое знакомство с Глазковым началось давно. И тоже с нескольких строк. Потом в Калугу, где я тогда жил, один москвич привез рукопись Николая Глазкова. Состоялась встреча с поэтом. Рукопись читалась непрерывно.

Глазков никогда не был «поэтом для поэтов» (как, впрочем, и Хлебников). Его узкое «поэтство» — выдумки стихотворцев, страдающих острой поэтической недостаточностью. Поэты, по-глазковски, «не профессия, а нация грядущих лет».

Николай Глазков — поэт-открыватель. На его открытия опирались многие поэты, его современники, заимствуя у него не только интонации и приемы, но и отдельные строки.

А Глазков не заботился о приоритете, давал без отдачи, и многое из того, что он дал современной поэзии, еще не воссоединилось с его именем.

Он умел дружить.

О людях знал больше, чем они предполагали. Как-то в ЦДЛ, на одном из поэтических вечеров, я выступил против конъюнктурных стихов. Через неделю я получил от Николая вырезку из старого журнала — мое стихотворение «на тему».

Я и досадовал, что он напомнил мне об этих стихах, и радовался, что есть человек, которому не лень это сделать. Еще через неделю Николай прислал мне поздрав-

ление с днем рождения в обычной для него форме — акростиха.

Не знаю, за что я ему был больше благодарен: за слова поздравления или за чувство стыда перед ним. Хорошо, когда есть человек, перед которым может быть стыдно. В дружбе он был проницателен (в самом лучшем смысле этого слова), внимателен и великодушен.

Круг его друзей был чрезвычайно широк.

Он никогда не был старшим или младшим среди поэтов. Всем, с кем совпал во времени, был современником. Старшие это принимали. Младшие — гордились. Глупые считали, что это равенство получают по праву.

Остерегались его чиновники от литературы (не по должности, а по складу характера) и сочиняли в целях самозащиты легенды о «глазковских странностях». А он был просто естествен, как многие из нас давно не умеют, и имел полное право сказать:

...Такого, как я, неподдельного,
Тебе все равно не найти!

Как-то в конце апреля мы встретились в издательстве «Советский писатель» (еще в Большом Гнездниковском), и Николай позвал меня купаться на Москву-реку. Я стал отказываться. «Ладно,— согласился он,— ты не будешь купаться. Ты будешь сидеть на берегу». Нужен был зритель.

Еще одна «странность». В том же издательстве (а может, в другом) я услышал крик из приоткрытой двери:

— Тебе нельзя, а мне можно! — кричал Глазков.

— Почему? — тускло спрашивал редактор. Он тоже писал стихи.

— Потому что я поэт, а — ты...— Дверь прихлопнули.

Это была чистая правда: есть поэт — и все можно, нет его — и ничего нельзя.

...Такого, как я, откровенного,
Тебе все равно не найти!

Кстати, о поэтах.

О больших поэтах. Не побоимся слова — о гениях. Кто-то (не помню сейчас), размышляя о глазковском поколении, придумал некоего «коллективного гения» этого поколения. За отсутствием якобы просто гения. Но тот же Глазков сказал — не исключено, что по этому поводу:

Из тысячи досок
Построишь и дом и шалаш;
Из тысячи кошек
И льва одного не создашь!

Да и кто знает сейчас в полном объеме творчество хотя бы одного поэта военно-послевоенной поры?

И вот раскрывается перед нами творческое наследие Николая Глазкова. Еще не раскрыто — раскрывается только. И когда к читателю придут многие, еще неизвестные глазковские шедевры, он воочию убедится, что перед ним стихи большого поэта, личности яркой и *крупной*.

А «коллективный гений» не нужен.

Не нужна в поэзии уравниловка под общей престижной вывеской.

И если одни поэты — независимо от их успехов или неуспехов,— уходя из жизни, уносят с собой и память о своем творчестве, то другие оставляют живые стихи и вместе с жизнью уходят к внукам и правнукам свидетельствовать о своем времени. Такова судьба Николая Глазкова. Жизнь кончилась, а судьба только началась...

Станислав Рассадин

ЧЕЛОВЕК, РАЗГОВАРИВАЮЩИЙ С ДОЖДЕМ

Помню, как я читал в «Юности» рецензию на книжку Глазкова и обрадованно споткнулся. Рецензент (боюсь ошибиться, но, кажется, это был Валентин Проталин) цитировал старое стихотворение «Памяти Миши Кульчицкого»:

В мир иной отворились двери те,
Где кончается слово «вперед»...
Умер Кульчицкий, а мне не верится:
По-моему, пляшет он и поет.

И в конце — сильное, эффектное: «Стихами сминая немецкую проволоку, колючую, как готический шрифт».

Цитируя, рецензент замечал между прочим, что последнее, как ни хорошо это сказано, не Глазков. Не в его стиле, не в его духе.

Я-то уже знал, что это просто-напросто из самого Кульчицкого, и Николай Глазков вживил раскавыченное двустрочие друга в собственные стихи... Да нет, не вживил, потому что и правда ведь — не вживилось, не прижилось. Я всего лишь знал это (невелика такая заслуга); критик же почувствовал — хвала его чутью, которое может быть выше знания. И, главное, хвала поэту, чья поэтика отторгала даже удачи, если они были чужими.

Когда он писал по-глазковски, а это, как у всех людей, пишущих безостановочно, разумеется, не всегда получалось, он был похож только на себя самого. Нет, не то. Так бывает с любым поэтом, если он (скромное условие) настоящий; глазковская похожесть на себя оборачивалась какой-то наиподчеркнутой, через край берущей непохожестью на кого бы то ни было.

Году, что ли, в шестидесятом, ранней его осенью я жил с товарищем в Тамани. Как нарочно, незадолго до того мне попались стихи Глазкова, в ту пору еще не напечатанные, и я их мгновенно затвердил наизусть: «Никакой я женщины не имел и не ведал, когда найду. Это было на озере Селигер, в тридцать пятом году... А вокруг — никого. А я — ничего. Вот каким я был идиотом»,—

да, среди прочего затвердил и твердил эти нежнейшие, чистейшие строки, так неловко притворяющиеся исповедью чуть ли не циника...

Словом, жили мы в Тамани, шли однажды по пыльной главной улице и увидали сутулого верзилу, который легко нес в длинных — почему-то хочется сказать: протяженных — лапах тяжелый чемодан (впрочем, это минутой спустя выяснилось, что он тяжелый). И мгновением прежде, чем мой товарищ, хорошо и давно его знавший, заорал: «Коля!!!» — я неожиданно и безошибочно успел подумать:

«Глазков?»

Хотя и на фотографии его не видал никогда.

Вспоминаю многое, всякое, серьезное и смешное — от восхитившей меня образованности Глазкова, его проницательного, проникающего ума, который он защитно маскировал дурашливостью (а то вдруг переставал маскировать), до его подчас эпатажных поступков. Однако отчего-то перед глазами встают прежде всего эта, первая встреча и тогдашнее расставание.

Он, люто ненавидевший зиму, которую не уставал проклинать и в стихах, оставался на юге, собирался даже двинуться еще южнее, продлевая, как говорил, лето. Мы уезжали, и он поехал проводить нас до Керчи, где мы втроем еще прожили пару дней. Опять вижу его на прогибающемся трапе катерка «Пион» (рейс Тамань — Керчь), долгую его фигуру и плечо, на котором надежно-легко покоилась огромная наша бутыль молодого вина, которым мы собирались порадовать московских друзей.

Не хочется превращать в символы эти бесхитростные воспоминания. Но что делать, если они сами превращаются? А может, когда я думаю, как сейчас, о его жизни, не зря именно это и вступает в ум?

Глазков Николай Иванович, Коля — он с такой видимой легкостью нес свою судьбу, что она подчас и казалась легкой. А была — иной. Оттого-то, вероятно, он с такой настырностью шутил и играл, что сознавал это, и, неотступно сознавая, случалось, будто начинал злиться на эту свою игру:

Я сам себе корежил жизнь,
Валяя дурака.
От моря лжи до поля ржи
Дорога далека.

Вся жизнь моя — такое что?
В какой тупик зашла?
Она не то, не то, не то,
Чем быть должна.



Н. И. Глазков. 1961 год

«Гений Глазков», как вспоминают многие, мог он представиться, а уж в шутку, всерьез или вполусерьез, понимай как знаешь. И с детским простодушием (слова штампованные, но в применении к Глазкову я не страшусь их повторить — он возвращает им первородную свежесть) требовал похвал.

«Меня не изучал Рассадин,— недвусмысленно начал он надпись на одной из дареных книг. И продолжил еще недвусмысленнее: — Был этот факт весьма досаден! Заполнить надо сей пробел, хочу, чтоб он меня воспел. 25 мая 1961 г.». А когда я «воспел»-таки, напечатавшись, помнится, в «Неделе», сказал, встретив меня в ЦДЛ: «Качеством я доволен. Количеством — нет!»

Что было за этим? За наивно-надрывным его хвастовством?

Если верить стихам, боль непризнанности и даже — решусь сказать — прячущаяся застенчивость. Да и чего так уж отчаянно решаться? Я же говорю: если верить стихам.

Если не им, чему верить?

Я люблю его стихотворение «Дождь»: «И я сказал: — Дождь! Не иди! Ты видишь: я иду! С любимой я, а не один, Имей ее в виду!» Про то, как дождик, вроде бы покорившись, прекратился.

Тогда любимая, смеясь,
Спросила вдруг:
— Какая связь
Между дождем и словом?
А я хотел ответить ей,
Что я, поэт, сильней дождей...
Но дождь закапал снова.

Тут все глазковское — вернее, становится глазковским в сочетании. И несомненная детскость, ибо приказ Дождю сродни ребяческим, языческим заклинаниям: «Дождик, дождик, перестань, я поеду в Аристань!» И то, что «я, поэт, сильней дождей» («Гений Глазков»). И неожиданная — да нет, ожиданная — самоирония: эти как бы сокрушенно разведенные в стороны глазковские грабли. Не вышло. Закапал, зараза...

Свою судьбу он знал. И понимал.

Руки разные на белом свете,
И у всех различные названья.
У меня рука, как у медведя...

Вот уж точно. Подтверждаю сердито и нежно: любил, здороваясь, как истинный медведь, сказочный «всех давишь», утверждать силу своей пятерни так, что, бывало, с минуту потом трясешь посинелой кистью.

...А у Вас предмет для целованья.

Но своей руки не обменяю
На такую, как у Вас,— красивую.
И своей судьбы не променяю
На такую, как у Вас,— счастливую!

Это он женщине говорит, нет, Женщине — той, ради которой хотел остановить дождь. Но дождя не остановил — хотел, да не смог. А судьбу променивать не хочет.

И не променял.

Андрей Вознесенский

Николай Глазков — московитянин-сюрреалист.

Глазкова ни с кем не спутаешь, он ни на кого не похож, точнее, похож сам на себя! У него все афористически просто, стих не захламлен эпитетами и метафорами.

В нем усмехается черный юмор и дохристианская непосредственность.

Ее кусали муравьи,
Меня кусали комары,—

так мог бы Шекспир написать.

Он и жизнь свою играл как черные шутейные стихи. Страшное время виновато, что дар его во многом растрачен попусту и ради хлеба. Социальный юмор его повлиял на Е. Евтушенко и А. Аронова. Ко мне он был добр — писал письма мелким аккуратным почерком, поздравлял с праздниками, присылал стихи, шутки, вздохи и вырезки из печати, где меня поносили или признавали.

Стихи Николая Глазкова в любой его книге, в любой его подборке говорят сами за себя. Надо только уметь читать: надо уметь читать стихи. Это тоже искусство, которым, к сожалению, не все овладели.

Вера Строева

И ПОЭТ, И АКТЕР

...Было раннее солнечное утро одного из радостно-победных дней 45-го года. Раздался звонок. Я открыла дверь и, охваченная трагическими предчувствиями, смотрела на тяжело дышащего человека,— вероятно, он бежал не останавливаясь на наш пятый этаж. Передо мной стоял Николай Глазков.

Последние месяца три он был секретарем у Владимира Николаевича Яхонтова.

Одно время он, знаменитый автор строчек:

Я отщепенец и изгой,
И реагирую на это
Тоской
Поэта,—

довольно часто бывал у нас в доме, приносил им самим переплетенные рукописные поэтические книжечки. Некоторые из стихов я тут же переписывала в блокнот; блокнот этот хранится у меня по сей день.

Теперь передо мной стоял уже не тот несуразный, обросший щетиной и длинными волосами Коля Глазков 44-го военного года, а совсем другой человек. Он был взволнован и растерян. Все еще задыхаясь, с трудом сказал: «Вас просила прийти Еликанида Ефимовна. Он выбросился с шестого этажа». (Речь шла о В. Н. Яхонтове.)

Мы почти бежали по Полянке, мимо Александровского сада, потом по Воздвиженке, через Арбатскую площадь в тот мрачный двор, где когда-то умер Гоголь. На ходу Коля отрывисто говорил, что еще не знает всех подробностей, что последние дни Владимир Николаевич был очень нервным, был дико переутомлен, отрабатывая по нескольку концертов в день, чтобы погасить свой долг за танк «Владимир Маяковский».

Я не бывала в этой квартире, куда Яхонтовы переехали сравнительно недавно, в этом старом доме, уходившем в землю так, что квартира их казалась полуподвальной. Ступени, ведущие вниз, небольшие комнаты...



Николай Глазков (второй слева) среди друзей и близких Владимира Яхонтова. Третья слева — жена В. Н. Яхонтова Е. Е. Попова-Яхонтова. Вторая половина 40-х годов

Нас встретила сестра Лили. Лиля лежала совсем убитая в соседней комнате с окном, выходящим во двор. Я провела у нее и день и ночь. Я ничего не знала о них в последнее время, ведь была война, эвакуация...

Я положила к его гробу полевые цветы... Как забыть этот день?! Цветы, венки, друзья, люди, любившие Владимира, просто знакомые... Их оказалось бы намного больше, если бы о случившемся знали все.

Я стояла с Ираклием Андрониковым перед крематорием. Он был в длинной военной шинели и опирался на костыли. Подошел Сергей Владимирский.

Сергей Владимирский, Владимир Яхонтов! Они нашли друг друга в школе Вахтангова. Шли выпускные экзамены. Перед умирающим Евгением Багратионовичем была разыграна «Снегурочка» в условно-балаганном решении, где все роли исполнял Яхонтов, а Снегурочкой, совершенно необычной и очаровательной, была Верочка Бендина. Все получилось высоко-театрально и обаятельно в оригинальной постановке Сергея Владимирского и так понравилось Вахтангову, что он даже произнес: «Это я сделал».

И дальше маячили замыслы необычайные...

Задолго до «Современника» сегодняшнего Яхонтовым

и Владимирским вместе с пришедшей к ним Лилей Поповой создавался свой «Современник» — театр одного актера. Невозможно забыть удивительно поставленный Владимирским и сыгранный Яхонтовым «Петербург»! А поразительная страница в истории кино — «Как писался «Медный всадник», где консультировал Сергей Бонди! Это талантливейшее постижение Пушкина надо хранить как драгоценность...

Мы тихо переговаривались. Сколько трагического произошло в последнее время! Сергей рассказал о том, каких сил стоило Яхонтову каждое выступление на зрителях. Да, эти голодные годы войны не прошли для него даром, у него появилась пиорея. Он не мог говорить с протезом, так как не узнавал и не слышал своего голоса. И отказался от протеза. Какая сила воли! Какая мучительная боль! Лишь бы никто из зрителей ничего не увидел, ничего не заподозрил!

Ираклий Андроников вспоминал, как недавно Яхонтов навестил его в госпитале, как, в окружении последних раненых войны, тот читал Маяковского, Хлебникова, тогда полузапретного Хлебникова. «Он читал целый день, читал вдохновенно, как самый счастливый человек на свете»,— рассказывал Ираклий Луарсабович.

Не знаю, почему Ираклий Андроников нигде об этом не написал, ведь Яхонтов читал Хлебникова удивительно, как никто другой!

Был здесь и Коля Глазков. Он стоял и слушал рассказ Андроникова об этом чтении Яхонтова — внимательно, не пропуская ни одного слова. Да, Яхонтов с его глубинным проникновением в Хлебникова и Маяковского не мог не затронуть сердца Глазкова.

В моем блокноте с глазковскими стихами есть и такие строки:

Не растворяя двери в мир,
В миру своей фантазии,
Был не от мира Велимир,
Великий гений Азии.

На другой день Коля Глазков пришел ко мне. Мы больше молчали, обмениваясь лишь короткими фразами воспоминаний. Тихим голосом Коля говорил, что встреча с Яхонтовым сделала его другим человеком.

Он так читал любимого поэта,
Что для него хотелось мне писать стихи,—

почти прошептал он. Я потом записала эти слова. И, конечно, мы говорили, и не могли не говорить, о трагедии Маяковского и его певца — Владимира Яхонтова. Сердце Глазкова навсегда осталось пронзенным этими двумя обра-

зами. И то, что Глазков читал мне тогда, прозвучало для всех уже после его собственного ухода от нас:

Зал рукоплескал
И схватывал стихов слова,—
Владимир Яхонтов читал
Владимира Маяковского.

Несправедливо и нелепо
Шагает смерть, одна и та ж...
Нет! Не хочу бросаться в небо,
Забравшись на шестой этаж!..

Потом мы несколько лет не встречались...

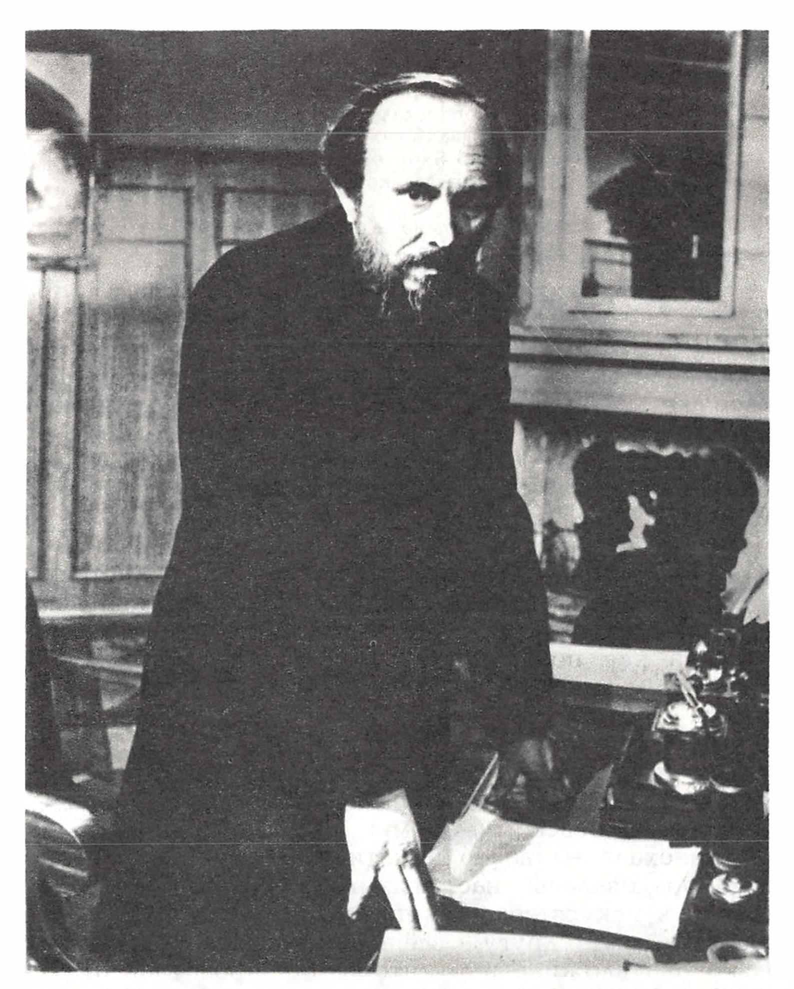
Однажды на каком-то заседании, проходившем в Доме Союзов, ко мне подошел Коля Глазков, опять-таки новый и незнакомый, но со своей прежней нерешительной детской улыбкой. И, застенчиво протянув мне маленькую изданную книжицу, сказал, что много путешествует.

И опять прошли годы... Я мало сталкивалась с его творчеством. Правда, еще в материалах к фильму «Андрей Рублев» я с удивлением узнала Глазкова в обросшем бородой мужике, что, забравшись на колокольню, взмахнул огромными крыльями и полетел над русской землей, рухнув на нее после полета в небо. Мужицкий гений, духовно слившийся с внутренней темой поэта Николая Глазкова. Я очень хвалила Николая за этот эпизод, мне было ясно, что, несмотря на почти два прошедших десятилетия, он остался тем же человеком чистых мыслей.

Я снимала большую эпопею «Мы, русский народ» по Всеволоду Вишневскому. Съемки шли не в Москве. Только раз я приехала на вечер памяти Яхонтова. Лиля Попова очень обрадовалась: нас связывала дружба единомышленников в искусстве, нам никогда не надо было ничего объяснять друг другу, всё понималось сразу. Боже, сколько она вложила в то, чтобы так прозвучал этот незабываемый вечер! Какое чудо, что она разыскала инженера-любителя, записавшего, сидя в зале, огромный фрагмент Яхонтова «Борис Годунов»! Он записал даже песню юродивого. Сейчас эта запись, потрясшая нас, вошла в фильм Эфроса «Борис Годунов» и во многие пушкинские композиции.

Я не могу не поклониться низко Наталье Крымовой за ее талантливейшие передачи о Пушкине и Яхонтове, за ее книги, посвященные Яхонтову,— это как бы скромная, но незабываемая работа, ибо до сегодняшнего дня никто не поднимался так на уровень постижения буквально великого прочтения великого Пушкина...

Он так читал любимого поэта,
Что для него хотелось мне писать стихи...



Николай Иванович Глазков в роли
Федора Михайловича Достоевского.
Январь 1968 года,
фото Владимира Уварова.

Николай Глазков в роли Достоевского

На этом вечере я встретила Катаняна. Василий Абгарович заканчивал сценарий о Чернышевском, и студия предложила мне, зная о моей еще довоенной долгой, с поражениями борьбе за Чернышевского, включиться в эту работу.

Фильм предполагался в постановке не нашего творческого объединения, а в группе «Юность», где главным редактором был писатель Александр Хмелик, худруком — Александр Зархи. С Василием Абгаровичем дружески участвовал в работе поэт Михаил Львовский. Сценарий назывался «Особенный человек, или Роман в тюрьме». Доработка велась дома у Катаняна. Там впервые от Лили Юрьевны Брик я услыхала о любви Маяковского к «Что делать?» Чернышевского, о его словах: «Жить и любить надо по заветам Чернышевского».

Мы вступили в полосу режиссерского сценария и обсуждали кандидатуры актеров. Я сделала несколько проб известных и талантливых актеров на роль Достоевского. Но все было не то. Исполнитель Достоевского должен был нести с экрана весь трагизм трудной биографии творца гениальных романов. И мы единодушно заговорили о Николае Глазкове.

Прекрасным Некрасовым на экране оказался Хмелик. Ольга Сократовна — Светлана Коркошко; это было прямым попаданием — тогда она была еще актрисой Киевского театра, юная, темпераментная, с огромными темными глазами, заразительно-задорная и непосредственная. На роль Чернышевского мы взяли только что окончившего студию МХАТа Сергея Десницкого, актера мыслящего. Панаева — юная Евдокимова. Костомарова играл Эдуард Марцевич. Родион Щедрин писал музыку.

Мы отсняли в Москве декорации.

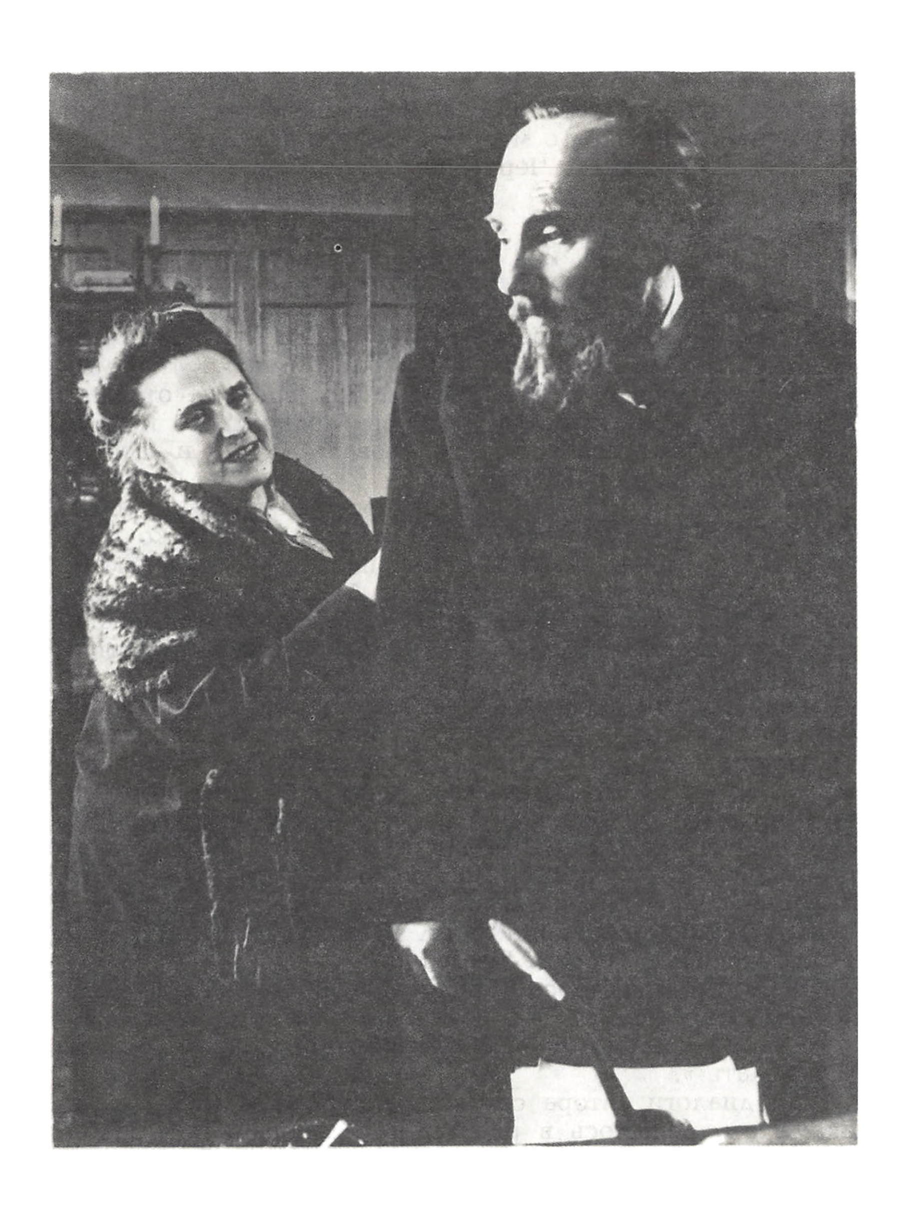
В цвете шли все воспоминания... Юный Чернышевский и Ольга Сократовна... Они возникали в занимавших большую часть фильма сценах писания в тюрьме романа «Что делать?».

Шли диалоги автора со своими персонажами. Художниками это решалось в рисованных декорациях — задолго до подобных решений на нашем и западном экране.

Мы отсняли декорации квартиры Некрасова, Алексеевского равелина Петропавловской крепости в сценах написания романа, кабинета Достоевского в редакции его журнала.

Отсняли сцену с Достоевским и пришедшим к нему после гражданской казни Чернышевского Костомаровым. Николай Глазков был так выразителен, так весом, и таким рядом с ним пигмеем, ничтожеством стоял Костомаров!

Эта встреча с Николаем Глазковым мне очень до-



Николай Глазков и режиссер Вера Строева на съемках фильма «Особенный человек». Январь 1968 года

рога. Редко можно установить такое понимание с полуслова, увидеть такую самоотдачу. И дело было не во внешности, а в глубокой значительности образа гениального писателя, переданной Глазковым.

Я жалела, конечно, что мы еще не снимали первой его встречи с Чернышевским в дни знаменитых питерских пожаров, когда, как безумный, Достоевский прибежал к Николаю Гавриловичу и почти на коленях умолял его остановить пожары...

Но мы сняли предпоследний кадр в сценарии: медленный наезд на глаза Достоевского... За кадром звучал колокольчик тройки, среди снегов увозящей осужденного. Это был очень длинный наезд — то, что вряд ли смог бы выдержать профессиональный актер. Николай Глазков пронес в своих глазах такую глубину мыслей и чувств, что те, кто видел его на экране, до сих пор не могут об этом забыть.

В отношении фильма, переехавшего в Ленинград для съемок с натуры, было совершено преступление, не раз случавшееся в истории кино. Чиновные бюрократы усмотрели в фильме о Чернышевском какую-то неожиданную для нас связь с происходившим в то время судебным процессом над двумя литераторами, опубликовавшими свои произведения за границей,— А. Синявским и Ю. Даниэлем. Руководящие перестраховщики, повинуясь взмаху руки тогдашнего заместителя председателя Госкино В. Е. Баскакова, приостановили съемки и закрыли наш фильм. Не менее ловкие и расторопные исполнители на студии буквально в 24 часа свернули экспедицию.

Я пробовала бороться почти в одиночку, показала снятый материал фильма специально присланному инструктору ЦК партии. Ничего политически вредного в этом материале не было, а такие сцены, как больной Некрасов и Чернышевский, читающие манифест об освобождении крестьян и видящие в этом новое их закрепощение, так же, как и образ Достоевского, конечно, производили сильнейшее впечатление.

Один известный актер театра Вахтангова, как-то зашедший посмотреть нашу работу, сказал о дебютировавших актерах-писателях: «Они играют не по-нашему. Но это, наверное, намного выше того, что делаем мы».

Не буду говорить о внутреннем потрясении для всей съемочной группы, как и для многих, понимающих наши задачи на студии. Николай Глазков был просто убит бессмыслицей произошедшего. Я не говорю о себе, эта рана кровоточит до сегодняшнего дня.

Не прошло и недели, как какой-то выслужившийся чиновник без моего ведома отдал на смыв весь отснятый

материал и даже пробы актеров. Мы не успели ничего сохранить, потому что узнали об этом с большим опозданием.

Я снова смотрю на фотографии Достоевского-Глазкова, Некрасова и Чернышевского...

Не так давно в юбилейную дату мне звонили из ЦК партии, из Дома литераторов: не сохранилась ли хотя бы часть отснятого материала о Чернышевском? Как нелегко давать ответ, что ничего нет. Почему же мы все с такой душой готовились и работали над фильмом, очень трудным фильмом? Потому что считали, что по-настоящему понять Ленина и его единомышленников невозможно, если не будет истинного понимания всей эпохи Чернышевского, не убитого школой, подлинного Чернышевского.

Я получила через два-три года поздравительную открытку от Николая Глазкова, где он со свойственной ему грустной иронией вспоминает печальный финал нашей, так успешно начавшейся совместной работы.

А передо мной всегда стоят его глаза, огромные глаза, полные грусти, детской чистоты, больших мыслей и чувств о России.

Владимир Бурич

АНТИГЕРОЙ

Впервые о Николае Глазкове я услышал в 1953 году в большой компании на дне рождения молодого архитектора Аллы Грум-Гржимайло. Ее коллега (впоследствии театральный режиссер) Евгений Завадский, большой шутник и выдумщик, устроитель капустников в институте, прочел знаменитое тогда четверостишие «Я на мир взираю из-под столика»; только несколько лет спустя я узнал от Музы Павловой, что это строфа большого стихотворения под названием «Стихи, написанные под столом»:

Ощущаю мир во всем величии,
Обобщаю даже пустяки.
Как поэты, полон безразличия
Ко всему тому, что не стихи.

Лез всю жизнь в богатыри да в гении,
Для веселия планета пусть стара.
Я без бочки Диогена диогеннее,—
И увидел мир из-под стола.

Знаю, души всех людей в ушибах,
Не хватает хлеба да вина.
Пастернак отрекся от ошибок —
Вот какие нынче времена.

Знаю я, что ничего нет должного.
Что стихи? В стихах одни слова.
Мне бы кисть великого художника,
Карточки тогда бы рисовал.

Продовольственные или хлебные,
Р4 или литер Б.
Мысли удивительно нелепые
Так и лезут в голову теперь.

И на все взираю из-под столика.
Век двадцатый — век необычайный.
Чем столетье лучше для историка,
Тем для современника печальней!

Я мудрец и всяческое дело чту,
А стихи мои нужны для пира.
Если ты мне друг, достань мне девочку,
Но такую, чтоб меня любила.

Увидел Колю я впервые в 1957 году в «коридорах Госиздата», в котором работал редактором редакции литературы народов СССР. Познакомил меня с Колей мой университетский товарищ Дмитрий Николаевич Голубков, тогда еще не поэт и не прозаик, а редактор издательства «Советский писатель», бывший сотрудник Гослита, на место которого я пришел из Госфильмофонда.

В издательстве Колю знали и любили все, от главного редактора Александра Ивановича Пузикова до заведующей гонорарной группой Вали Масленниковой.

Работу Коля получал в нашей «славянской» редакции. Чаще всего, пожалуй, у Анатолия Васильевича Старостина. Чадолюбивый полиглот, лысый блондин, добродушный толстяк Старостин был восторженным поклонником Глазкова. Его работа с Глазковым напоминала хорошо отрепетированный скетч: вся редакция озарялась фейерверком их острот и шуток.

В редакцию Коля приходил обычно под вечер и сразу атаковывал всех предложением сыграть, выжать, поднять, отгадать, послушать. Потом принимался за дело. Поправки домой никогда не брал, а многочисленные варианты придумывал тут же, выйдя в коридор покурить.

Папок и портфелей Коля никогда с собой не носил. Страницы переводов и рецензий, сложенные пополам, он доставал из карманов пиджака, но чаще всего — из рукава, свернутые трубочкой и перевязанные ленточкой. Тексты печатал собственноручно, очень аккуратно, иногда заголовки красным цветом, на отличной бумаге в двух экземплярах. В правом нижнем углу стояла его похожая на художническую палитру подпись.

После работы избранные и бессемейные шли к Коле. Сказочный зимний Арбат. Дом 44, подворотня, флигель во дворе, второй этаж, налево, трехкомнатная квартира в обшарпанной коммуналке, а в квартире маленькая седенькая мама, преподавательница немецкого языка, жалующаяся на Колю как на маленького мальчика.

Колю постоянно угнетала его «несоюзность», почти полная невозможность печатать свои оригинальные стихи, не говоря уже об отсутствии собственного сборника. Все друзья по Литинституту «вышли в люди».

Наконец в 1957 году каким-то чудом в Калинине вышла его первая книжка «Моя эстрада». Первая книга Глазкова не была авансом начинающему автору. Никто, включая его самого, не знал, что пик его творчества прошел, что все самое гениальное было уже написано и лежало в письменном столе, дожидаясь своего часа.

На этом кончилась эпоха «Самсебяиздата» и начался период довольно интенсивного печатания. Кстати, каждая строка творца «Самсебяиздата» конструктивна и патриотична.

Как попал Коля на съемки «Рублева», я не знаю. Во всяком случае, это не заслуга помрежа. Андрей Тарковский сам неплохо знал современную русскую поэзию и ее творцов. Жажда самовыражения, склонность ко всякого рода чудачествам и «авантюрам» заставили Колю согласиться попробовать себя в кино в качестве актера.

В «Рублеве» Коля играл Летающего мужика. Полет с колокольни был эффектным, но неудачным: при приземлении Коля сломал ногу.

Идея снимать в фильме о Чернышевском писателей в ролях писателей принадлежит автору его сценария Василию Абгаровичу Катаняну. Поэта Некрасова играл драматург Александр Хмелик, Достоевского — Николай Глазков, Панаева — пишущий эти строки. Исключение составлял только сам Чернышевский, которого играл актер МХАТа Сергей Десницкий [1].

Изобразительно фильм был задуман очень интересно — в трех цветовых гаммах: настоящее должно было быть черно-белым, прошлое — вирированным, а сны Веры Павловны — цветные.

Прекрасно помню первый день съемок. Директор картины положил на пол тарелку и предложил Строевой и Катаняну разбить ее на счастье. Потом стоя все выпили по бокалу шампанского. Так весело начавшееся предприятие имело печальный конец.

Однажды мне позвонил Коля и предложил поехать на «Мосфильм», получить причитавшийся нам гонорар. Съемки затягиваются. Возникла какая-то неясность. Картину, скорее всего, закроют.

Получив гонорар, мы пошли в артистический буфет.

---

[1] «Особенный человек». Режиссер-постановщик В. П. Строева, оператор Ю. С. Васильев.

Кого здесь только не было! За одним столиком сидел Орджоникидзе, два царских генерала и какая-то барынька. Коля оценил комичность ситуации: рот расплылся в улыбке, а брови быстро-быстро заходили вверх-вниз...

Картину действительно вскоре закрыли, усмотрев в ней какую-то аллюзию. В один из летних дней 1973 года вся съемочная группа собралась на похороны картины (что это было так, знали не все). Перед тем как ее смоют, Вера Павловна Строева решила сделать просмотр уже на две трети отснятого материала. С болью в сердце мы прощались с мгновениями нашей жизни, запечатленными на кинопленке. А когда на экране появился в роли Достоевского Коля и произнес свой монолог перед провокатором Костомаровым, у многих сидевших в зале на щеках блестели слезы. Впечатление от игры Глазкова было ошеломляющее. Мертвенно-бледный, статичный, он как бы воплощал в себе самого Достоевского и его литературного героя одновременно.

Шли годы. Укреплялось переводческое дело. В литературу приходили люди со знанием иностранных языков. Все реже можно было получить работу по подстрочникам. Ожидая заказы, Коля частенько сидел без работы. Счастливый случай свел его с якутами. К скуластому Глазкову стали ходить люди с лицами из обожженной глины. Занятость его резко поднялась. Начались частые вояжи в республику, пошли стихи на якутскую тему. В Коле проснулся турист и пловец.

Летом 1969 года я поступил на штатную работу в издательство «Физкультура и спорт». Спустя некоторое время я вспомнил о Коле и предложил ему подумать о сотрудничестве. Сначала Коле захотелось написать очерк о своем довоенном тренере по боксу — знаменитом боксере Николае Штейне, погибшем во время войны. Но затем, поскольку я вел серию стихотворных и прозаических книг для детей, Коля написал рассказ о русском мальчике, который полетел к своему отцу-геологу в Якутию. Там якутские ровесники научили его якутской народной борьбе. Принцип этой борьбы был прямо противоположным классической: один из борющихся должен был лечь на лопатки, а другой должен был сдвинуть его с места. В этом было что-то символичное для Глазкова: победитель, лежащий на лопатках.

По неизвестной причине книгу Глазкова на стадии



Николай Глазков. Рисунок В. Бурича

верстки остановила курирующая издательство чиновница Госкомиздата Октябрина Н. В бешенстве, минуя все инстанции, бросился я к ней в Госкомиздат за разъяснением. Не услышав ничего вразумительного, я пошел к главному редактору главной редакции художественной литературы Сергею Павловичу Емельянникову, который хорошо знал и ценил Глазкова.

— Поздно,— сказал Сергей Павлович.— Я вчера сдал дела и завтра улетаю на три года в заграничную командировку.

...Все чаще наши встречи с Колей происходили не за дружеским столом, а возле писательской поликлиники, во дворе которой я жил. Коля тяжело болел. Было ли тому причиной моржевание и холодные ванны — кто знает?

Однажды, уже не будучи в силах выходить из дому, Коля пригласил Музу Павлову, Василия Абгаровича Катаняна и меня послушать свое новое сочинение — пьесу-сказку в стихах. Мы поехали к нему уже на новую квартиру, не совсем точно себе представляя, где находится это Аминьевское шоссе. Через полчаса мы увидели стандартный дом, стандартный подъезд, стандартную квартиру, где даже характерная арбатская мебель из-за небольших габаритов комнат выглядела иначе.

Нездоровая полнота сделала Колю неузнаваемым. Потухший взгляд, в котором можно было прочитать немой вопрос: «Что со мной?»... Мы прошли в Колин кабинет. Читать пьесу Коля попросил Музу...

Это была последняя встреча с Николаем Глазковым. После его кончины я написал стихотворение «Антигерой» и посвятил его Коле:

АНТИГЕРОЙ

Эпоха
прошла по нему
как танк по тазу
выдавив наизнанку

Он смог не построить то
чего не мог не построить

Он смог не написать того
что выстрадал
бессонными ночами

Он сжег себя
оставив у дороги
своего пятимесячного сына

Это над ним курганом
воронка от снаряда

в его честь
опоки монументов

Это ему наградой
обратная сторона
вашей
медали

Сергей Поликарпов

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПОЭТОГРАДА

Редкая судьба — при жизни стать легендой. Николай Глазков был как раз из числа тех немногих поэтов, имя которых всегда было окружено облаком-ореолом загадочности и неподдельного интереса к ним не только обширного круга знакомых, но и куда более многочисленной окололитературной среды, которая всегда была, есть и будет и любопытство которой находится в десятикратном соотношении с числом возможных слухов о ком-либо, как правило, ею же самой и рождаемых.

А личность эта была действительно незаурядной, через всю жизнь пронесшей «первородную» непосредственность восприятия мира. Осмысливая самобытность стиля Глазкова, убеждаешься в справедливости изреченного уже до нас: стиль — это человек. Ничто, кроме стихов, поскольку автор всегда тяготел в них к предельному самораскрытию своего внутреннего мира, не высветлит со всей очевидностью истинный облик этого самобытного поэта, развеивая все, что наводит какую-либо «тень на плетень», то бишь досужие мысли-домыслы, связанные с его жизнью и творчеством. Пусть именно стихи — «свидетели живые» — говорят об их авторе. А стихов разных им написано много: и серьезных, и шутливых, и философских, и детских, и исторических, и сатирических,— словом, как назвал сам творец их, Поэтоград, огромный поэтический город, в котором мирно уживаются рядом постройки высокого общественного звучания с «частными» строениями, вроде дружеских посланий и автопародий.

Вот одна из таковых — «Предсказание», запечатлевшее некоторые его раздумья о роли своей поэзии в современном ему литературном процессе и о своем месте в нем:

Через пять или шесть веков
Грядущий ученый нахал
Объявит, будто писатель Глазков
На свете не существовал.

— Стихов не писал сей человек,—
Заявит ученый тот.
Но кто-нибудь из его коллег
Докажет наоборот.

Такому я руку пожать готов,
Такого мы признаем.
И станут спорить семьсот городов
О месторожденье моем!

Не берусь предрекать с такою же обезоруживающей смелостью, как именно «грядущий ученый нахал» отзовется о нынешнем литературном времени и о ком-либо конкретно из его представителей. И отзовется ли об этом кто-нибудь вообще в столь далеком будущем — «через пять или шесть веков», куда устремлялся взгляд поэта?..

С уверенностью могу утверждать лишь то, что самого себя внутри своего времени, в органической связи с ним Глазков никогда не терял из вида. Он говорил о себе с ошеломляющею непосредственностью:

Я лучше, чем Наполеон и Цезарь,
И эту истину признать пора:
Я никого не убивал, не резал,
Напротив, резали меня редактора!

Глазков, мне думается, как и другие его товарищи-поэты, по части насущных «житейских дум» был вполне от мира сего, кровным дитем своего времени, но куда откровеннее других в своих публичных признаниях об этом. И это стало одной из ярких особенностей его поэтического «я».

Иные, мало знавшие его, склонны были непосредственность и предельную открытость многих глазковских стихотворных признаний относить к разряду чудачеств и его якобы природной простоватости. Но вот строки из его стихов, посмертно опубликованных в «Дне поэзии» 1984 года, не оставляющие, как говорится, камня на камне от подобных скороспелых умозаключений:

Глупцы вели со мной беседы,
Совсем не то вообразя...
Должны существовать все беды,
Чтоб познавались все друзья.

В искусстве ценят древность либо
Безоговорочное новое.
Все, что друзья сказать могли бы,
Я беспощадно зарифмовываю.

И еще стихи, взятые оттуда же, являющиеся по сути, на мой взгляд, образным отображением одного из основных положений диалектики о единстве противоречий применительно к человеку вообще и к художнику в частности:

Живу, стихов не издавая,
Зато поэзию творю.
Не важно, как я поступаю,
А важно, что я говорю.

Что говорю, тем обладаю,
А издаваться не спешу.
Не важно, что я там болтаю,
А важно то, что я пишу.

Пишу, что станет жизнь иная,
Поэтоградной наяву.
Не важно, что я сочиняю,
А важно то, как я живу.

Не важно, что поэт обманут
Несогласившимися с новым.
А важно, что его помянут
Великолепным добрым словом.

То, что Глазков был нов в утверждаемом им своем, несомненно, по-моему, оригинальном стиле поэтического самовыражения, достаточно наглядно прослеживается в его стихах.

Вера Н. Глазкова, что «его помянут великолепным добрым словом», его не обманула. Вот и я хочу сказать свое слово о нем, и вызвало к жизни это слово мое искреннее желание помянуть поэта добром.

С Николаем Ивановичем меня впервые свел случай году, видимо, в шестидесятом в стенах издательства «Молодая гвардия», где я тогда работал, а у него готовилась к печати книга его стихов. Знакомство наше с ним какой-то период носило характер «коридорного», или, если сказать привычнее, шапочного. И хотя к тому времени мы уже являлись невольными «компаньонами» по переводу на русский язык книг некоторых национальных поэтов, по-настоящему познакомила нас и подружила поездка в Якутию на Дни литературы и искусства России.

Нашу писательскую делегацию разместили в местном доме творчества — во вместительной бревенчатой хоромине, стоявшей близ небольшого пруда в сосновом пригороде Якутска. И лучшего нельзя было желать: глубинная Сибирь встретила нас тридцатипятиградусной июльской жарой. А я-то, по неопытности, убряхтался в поездку — словно на зимовку за Полярный круг!..

Поистине, не узнав броду, полез в воду. Моя молодая беспечность по отношению к местным климатическим особенностям не осталась безнаказанной: я угораздился в этакую жарынь подхватить сильную простуду, перешедшую в острый бронхит, грозивший мне больницей...

Легко догадаться, что настроение мое было не из

лучших. И вот тогда-то я вдруг получил дружеское послание Николая Ивановича, оказавшееся для меня куда целебнее прописанных медиками антибиотиков. Начиналось оно со строк: «Сережа Поликарпов На травке возлежал, Коварства недр якутских Он не подозревал...»

Потребность в уединении при работе над своими рукописями отдаляет писателей равно как от своих домочадцев, так и друг от друга. Это труд надомников-отшельников, отчего и представление у них о большинстве своих коллег — книжное, то есть составленное главным образом на основании оценки уровня художественных достоинств создаваемых ими книг. Хорошо, коли есть места непосредственного общения, вроде гостеприимных редакций или Дома литераторов, где можно время от времени потолкаться между своими на каких-нибудь обсуждениях или «производственных» собраниях. А то ведь, не ровен час, можно и одичать вконец в своем «скиту», хоть бы и ультрасовременной он был постройки и располагался бы в самом центре огромного города.

Так что групповые писательские выезды, кроме того, что они обогащают в известной мере новыми наблюдениями и впечатлениями, способствуют еще и завязыванию новых знакомств среди коллег и углублению тех, что именуются шапочными.

Не иначе как более тесному дорожному нашему общению с Глазковым я и обязан был получением упомянутого стихотворного послания. К сожалению, автограф его потом затерялся, и в памяти моей удержались лишь некоторые разрозненные строки этого чисто глазковского, по-доброму назидательного стихотворения, в котором заботливо разъяснялось на основе своего опыта, как непрост якутский климат, с коим новичкам нужно держать ухо востро. Помнится, были в нем и такие строки, обращенные уже не к «пострадавшему», а к народному поэту Якутии Элляю, возглавлявшему тогда республиканскую писательскую организацию:

Элляй, хоть мудр, но, видно,
Забыл наставить ты:
Под травкой безобидной —
Слой вечной мерзлоты!..

Якутия подружила нас с Николаем Ивановичем. И хотя встречались мы потом по возвращении в Москву не намного чаще обычного, но общение наше от встречи к встрече становилось все сердечнее. Иногда, как знаки его дружелюбия и внимания к моей работе, я получал от него письма с вырезками моих стихов или переводов, встреченных им в каком-либо республиканском или

областном периодическом издании, о чьих публикациях я чаще всего не ведал.

Чувствуя искреннюю расположенность к себе Глазкова и стремясь не остаться у него в долгу, по возвращении домой я тоже засел за дружеское послание ему, которое — то ли по ленности, то ли по более уважительным причинам — так и осталось набросанным вчерне. Но, молвят, долг и заем не стареют.

Забыть ли, что когда-то,
В лихом моем году,
Ты пожалел собрата,
Попавшего в беду?

Ты не был бы собою,
Ты по нутру таков —
Болеть чужой судьбою,—
Ты — Николай Глазков!

Не соглядатай праздный,
Не прожигатель лет,—
Своеобычный, разный,
Всем существом поэт.

За стих садясь ли на ночь,
Быт ладя ль по утрам...
Свет-Николай Иваныч,
Мы — тезки по отцам.

Мы отчеством созвучны
И ремеслом своим —
Пожизненно в подручных
У Слова состоим.

И податью подушной
Обложены судьбой —
Блюсти неравнодушно
Всех, что идут с тобой.

Увесистая ноша —
Не всяку по плечу...
И разный, и хороший,
Чем бог послал плачу

За истое участье
Твое в туге моей,—
Друг, что согрел в ненастье,
Всех родичей родней.

На пустозвень не падок,
Я знаю наперед:
Нам все мерило —
Память,
Что нас переживет!

Твоей — не источаться,
Пока друзья в живых,
Ей вдаль в их душах мчаться,
Как на перекладных.

Странная штука — наше нынешнее бытие: живем порою на соседних улицах, а знаем о жизни друг друга, будто иногородние, большею частью по запоздалым слухам, почерпнутым мимоходом где-нибудь в редакции или ЦДЛ. Как-то вдруг узнаю, что Глазков снимается в фильме «Андрей Рублев» в роли Летающего мужика. Через какое-то время встречаю его густо обородевшего, патлатого, похожего на старого ворона на ветродуе. Подходит, тяжело опираясь на палку, но с прежнею хитроватой усмешечкою.

— Где это ты ухитрился покалечиться, Иваныч? Трамваю ножку, что ли, подставил?..

— Нет, я человек воспитанный, и такое развлечение не по мне. У меня занятие было посерьезнее — прыгал с колокольни...

— Но мог же ведь и убиться до смерти!..

— Не мог: у меня были крылья...

— И все-таки разбился?..

— Искусство требует жертв...

Впрочем, я не удивился его согласию сниматься в фильме о Рублеве. Образ гениального русского художника поры отечественного Предвозрождения был всегда притягателен для Николая Глазкова, раздумья о котором нашли отражение в его поэме «Юность Рублева», увидевшей свет в 1969 году в его книге «Большая Москва».

Эта тема, в те годы не менее занимавшая меня, тоже стала одной из связующих нашего взаиморасположения, как и братство-соперничество в переводе, например, якутских поэтов.

По свежей памяти, как по грамоте. Явственно вижу его, точно расстались каких-нибудь две-три недели назад, ширококостного, крупного, с лукавою улыбкой «примеряющегося» при встрече к твоей руке так, чтобы, захватив ее поцепче, вызвать восхищение у знакомого силой его рукопожатия. О крепости его духа и физического здоровья свидетельствовали и неоднократные приглашения Глазкова съездить искупаться на Москву-реку. И ко-



Н. Глазков выступает на литературном вечере в Каминной Центрального дома литераторов. Слева направо: Е. Исаев, Я. Смеляков, И. Кобзев. Начало 60-х годов

гда! — в дни, когда только успевала развернуться первая весенняя листва или в пору установившейся уже осени...

— Что ты, Иваныч,— отбивался я обычным, самым веским своим доводом,— я же, не в пример тебе, не из племени «моржей». Купание в такую пору чревато для меня якутским вариантом. Помнишь?..

И Глазков, довольный напущенным им испугом, тут же вспоминал: «Сережа Поликарпов на травке возлежал...»

Лично мне редко приходилось видеть его в плохом настроении. Но случалось. Однажды, году, кажется, в семьдесят втором, увидев его непривычно скучным, я спросил напрямик:

— Что, Иваныч мой, не весел, что головушку повесил?..

Ответ его не был особо неожиданным для меня. Я знал, что, несмотря на безусловное признание самобытного поэтического таланта Глазкова большей частью видных наших поэтов, стихи его, особенно в столичной периодике, печатают все же лишь от случая к случаю. Похоже, что редакторов сбивала с толку известная ироничность взгляда на окружающее в некоторых его стихах. К внут-

реннему рецензированию издательства привлекали его редко. А у него была семья!..

Я предложил ему подготовить большую подборку стихов для журнала «Октябрь», где работал тогда в отделе поэзии, пообещав выйти с ними прямо на главного редактора В. А. Кочетова. Тот очень участливо отнесся к его рукописи и одобрил несколько стихотворений Глазкова, которые вскоре же и были напечатаны.

После этого случая количество приглашений Николая Ивановича на купания с рыбалкой и ухой еще более возросло. Но воспользоваться ими, к сожалению, так и не представилось случая...

Если непоэтов, когда мы хотим составить о них определенное представление, характеризуют в первую очередь их поступки, а не слова, то поэтов — и поступки, и слова (их стихи), поскольку они, думается, тоже являются их поступками, выраженными словом.

Николай Глазков был неустанным проводником правдивого слова в поэзии, возвышающего душу и побуждающего человека задуматься над своим бытием и взаимосвязями с окружающим миром:

Настанет день, не станет ночи,
Настанет ночь, не станет дня.
Так жизнь становится короче
Для всех людей и для меня.

Но проживу чем больше дней я,
Тем лучше зазвенит строка.
Так жизнь становится длиннее
И глубже, так же, как река!

Пусть и поэтам будет весело
В дни испытаний и побед.
Поэты — это не профессия,
А нация грядущих лет!

Николай Глазков, мне видится, в лучшей части своего творчества был суть от сути этой «нации грядущего»: без камня за пазухой и кукиша в кармане по отношению к людям, его слово было зеркалом его души, самобытной, искренней и человеколюбивой.

Арсалан Жамбалон

ДРУЖБА, СКРЕПЛЕННАЯ ТВОРЧЕСТВОМ

С Николаем Ивановичем Глазковым мы познакомились заочно, по переписке. В 1964 году в издательстве «Детская литература» он получил подстрочник моих стихотворений и начал переводить их. Через два года в Москве вышла моя книжка для детей «Маленький чабан» в переводе Н. Глазкова. Это событие закрепило нашу дружбу.

Наша переписка стала регулярной. Он писал мне о творческих делах, о путешествиях по Якутии, присылал свои новые стихи и очередные стихотворные сборники.

Когда же я встретился с ним у него дома, на Аминьевском шоссе, то меня поразила не только его простота в обращении, его остроумие и оригинальность суждений, а прежде всего — красота его души, обаяние, внимание к людям. Я увидел в нем беспокойного труженика, беспрестанно ищущего и находящего то, что нужно нашему обществу, людям.

Дружба наша помогла еще одному большому свершению. Я собирал материал для документальной повести о Герое Советского Союза Базаре Ринчино, погибшем в 1943 году под Житомиром. Мне нужно было проехать по боевым местам, найти место гибели и захоронения героя, а затем добиться увековечения его имени на земле Украины. В 1978 году я выехал в дальний путь. Предстояло много встреч, и я написал приветственное стихотворение. Но ведь надо было перевести его.

Приехав в Москву, звоню Николаю Ивановичу, обращаюсь к нему с просьбой.

— Какой разговор, друг мой? Обязательно переведу. Вези.

Так появился перевод еще одного моего стихотворения. Вот он:

ПРИВЕТ ТЕБЕ, УКРАИНА!

Украина, прекрасная, здравствуй!
Я агинский бурятский поэт,
О легендах твоих и богатствах
Много слышал со школьных лет.

Города твои помню и веси,
Хороши они без прикрас,
И стихами Тараса и Леси
Я зачитывался не раз.

Вспоминаю седые былины,
Соловьиные вечера...
А сегодня, твой гость, Украина,
Выхожу я на берег Днепра.

Вспоминаю былую войну я.
Здесь с сынами страны заодно
Показал свою мощь боевую
Земляк мой Базар Ринчино!

Говорили на кручах днепровских
Про его удалые дела —
И не зря, Украина, по-свойски
Ты Назаром его назвала.

Помянем его дважды и трижды.
Наш герой и твоим стал теперь.
— Здоровеньки булы! — говоришь ты.
— Сайн байну,— отвечаю тебе.

Принимай, Украина червонна,
Край великих и славных побед,
От Аги голубой и Онона
Мой горячий бурятский привет!

Поездка увенчалась успехом. На месте гибели героя в селе Бильковцы открыт обелиск. И повесть о Базаре Ринчино написана. К сорокалетию Победы вместе с родными Ринчино я снова побывал в Киеве, Житомире, Коростышеве и Бильковцах. Память о бурятском герое свято чтут на Украине. А украинские школьники читают переведенные Николаем Ивановичем стихи «Привет тебе, Украина!».

Николай Иванович очень хотел побывать в Забайкалье, у нас в Агинском Бурятском автономном округе. Не удалось. И теперь уже не удастся.

Остались его самобытные книги. Остались переводы. И никогда не умрет в моем сердце наша дружба, скрепленная творчеством.

Михаил Мусиенко

УРОКИ ПОЭТА-ПЕРЕВОДЧИКА

Судьба меня свела с Николаем Глазковым в начале 60-х годов. Он переводил для издательства «Детская литература», где я в то время работал редактором, детские стихи якутского поэта Баала Хабырыыса.

Я уже не помню, с кем был первый разговор Глазкова о возможности издания детской стихотворной книги Баала Хабырыыса: со мной или с Каримовой, заведовавшей редакцией литературы народов СССР. Запомнилось только, что Николай Иванович как-то очень быстро стал своим человеком в нашей редакции, заглядывал к нам часто, казалось, без видимой причины. Появлялся неожиданно. Войдет, наклонив голову, протянет руку. Крепкое рукопожатие и одновременно — кивок головой. И улыбка какая-то очень характерная: застенчиво-открытая, скуповатая и одновременно щедрая, очень располагающая, глазковская.

Редакция, особенно наша, где в одной небольшой комнате сидело шесть редакторов вместе с заведующей, меньше всего подходила для приема авторов и переводчиков. Обычно редактор, как только его посетитель показывался на пороге, вставал из-за стола и тут же выходил с ним в коридор, чтобы не мешать остальным. Поэтому так понятно было наше общее веселье, когда Анна Караваева однажды позвонила в редакцию и спросила: «Это кабинет редактора товарища Мусиенко?»

В таком же тесном коридоре стоял в одиночестве старый, скрипучий диван с белым несвежим чехлом. Свободен он был далеко не всегда. Если удавалось захватить на диване местечко, беседовали сидя. Но чаще приходилось общаться стоя. А рядом бубнит редактор из другого отдела, что-то настойчиво объясняя автору, чуть подальше — художники заполонили угол, тоже работают. Резиновый у нас был коридор, всех вмещал.

С Глазковым никто не «уединялся» в коридоре, он приходил сразу ко всем, просто так, из желания пообщаться с редакторами, которые были ему, очевидно, чем-то приятны. Он охотно говорил женщинам комплименты,

выдавал веселые экспромты или читал стихи, конечно же улыбчивые, иронические. Чаще всего — о каком-нибудь собрате по перу. Это были не эпиграммы, а нечто более значительное, по-своему очень любопытное, в них объект средствами иронии, добродушной подначки как бы превозносился поэтом, а не принижался. Обидеться на такие стихи мог только человек, начисто лишенный юмора.

И кто не принял бы и на свой счет эти строки:

Я замечаю не впервые:
У каждого из нас, который дюж,
Нет первых, но имеются вторые —
Свои вторые части «Мертвых душ».

Живет писатель где-то на Памире
Иль облюбует подмосковный Клин,
Ему нужна квартира, а в квартире
Быть должен, как у Гоголя, камин! —

тот навечно пал бы в глазах тех, кто чувствует юмор и уважает истину.

Один цыпленок славу приобрел
И тотчас заявил, что он орел!

Всего две строки, а бьют и в бровь и в глаз. И не хочешь, так увидишь, что не орел, то — цыпленок.

Кто-кто, а Глазков умел разрядить обстановку, поднять настроение, отвлечь, развеять собеседника после неприятности.

Помню, однажды с самого утра я искал в шкафах и столах папку с перепиской. Один из авторов пожаловался в ЦК партии. Нужно было освежить в памяти содержание письма, отправленного настырному пенсионеру, сочинение которого не годилось для публикации, и ответить. Как тут соблюсти продолжительность рабочего дня, если затерявшаяся папка никак не обнаруживалась? По этой причине Глазков и застал меня на работе, когда все уже ушли домой.

Уселся в новое кресло (нам только-только поставили в комнаты новую мебель), точно пробуя его на прочность, обратил внимание на стулья с клетчато-серой обивкой. Встал, наклонившись, взял один из стульев за самый кончик передней ножки, медленно поднял его вверх на вытянутой руке, подержал над головой, медленно, плавно опустил на пол.

— Рассохнутся. Дерево не досушили. Венские стулья не пробовали поднимать? — вдруг спросил он.— Надо начинать с венских. Они полегче. Эти тоже нетяжелые. Попробуйте.



Николай Глазков и Анатолий Жигулин. 60-е годы

Я знал, что не подниму, поэтому не стал пробовать.

Пряча в бороде улыбку, Глазков сообщил, что один его старинный приятель (он назвал фамилию малоизвестного поэта) начал делать успехи по части стульев. Со стихами у него похуже.

— Мускулатура — тоже дар божий,— заметил я, яростно втискивая в шкафы папки, раскиданные на столе и на полу.

— Древние тоже так считали,— согласился Николай Иванович и вдруг, без перехода: — Поехали ко мне, посидим.

Я не мог не оценить предложенный выход из столь дурацкого состояния. Нужно быть Глазковым, чтобы так незатейливо вывести человека из расстроенных чувств, вытеснить их предвкушением удивительной беседы за дружеским столом.

А темы для бесед у Глазкова всегда находились: Эйнштейн и его теория относительности, парадоксы истории ислама и влияние этой религии на цивилизацию, перспективы развития ядерной физики и климат, пятна на солнце и кардиология, индийские йоги и долгожительство, поэтическое мышление в доисторическую эпоху и Пушкин — оригинальность его мышления и глубина разнообразных познаний не могли не поражать. Любая область

знаний в изложении и трактовке Глазкова как бы поворачивалась своей неожиданной, часто парадоксальной стороной и благодаря этому становилась особенно интересной и притягательной.

Глазков знал наизусть таблицу Менделеева. Смешно было бы даже подумать, что поэт взял и заучил ее. Он просто разгадал ее и проследил за ходом мыслей великого ученого, во всей глубине и последовательности вник в его логику, разумом, чувством, интуицией, во всех тонкостях и сложностях постиг смысл и значение гениального открытия.

Помню, однажды Николай Иванович пригласил меня на заседание Географического общества, членом которого он состоял. Нам показали цветные диапозитивы. Эти фотоснимки опрокинули мое прежнее представление о тундрах. Тундры, оказалось, по-своему очень привлекательны, чарующие, наполненные солнечным светом и удивительным разнообразием красок. Однако то, что я узнал о ландшафте тундр из рассказа Глазкова по дороге домой, меня еще больше увлекло. Тундры кустарниковые, моховые, кочкарные, дриадовые. Так называемые арктические тундры, пятнистые тундры — поразительно разнообразное изобилие тундр на нашей территории! И что не тундра, то золотое дно. Это необозримые пастбища для северного оленя, летние и зимние; обширные пойменные луга тундровых рек. Достаточно расчистить их от кустарника — и получишь сказочные сенокосные угодья. А какой там неисчерпанный резерв для заполярного земледелия! Есть к чему приложить руки! А сколько там ягод! Голубика, черника, брусника!..

— Жалко, купаться в тундре нельзя — реки холодные, а то бы я поехал туда на лето,— шутливо заключил Николай Иванович свой рассказ.

Была у Николая Ивановича Глазкова одна странность — холодной воды он не боялся, но не переносил холодного воздуха. Имеются в виду зимние холода средней полосы. Однако климат Якутии противопоказанным для себя даже в зимнюю пору не считал. Привязанность Николая Ивановича к алмазному краю, его обширные литературные связи с якутскими поэтами известны.

Со многими якутскими поэтами Глазков общался лично и переводил их на русский язык. В этом я убедился, когда, выполняя поручение редакции литературы народов СССР издательства «Детская литература», составлял сборник стихов якутских поэтов для детей младшего школьного возраста. Подавляющее большинство переводов стихов якутских поэтов, вошедших в сборник «Песни

тайги», принадлежит Николаю Глазкову. Книга вышла в 1979 году.

Переводя стихи якутов, Глазков, естественно, пользовался подстрочником. Однако он не добился бы столь высокого художественного уровня своих переводов, если бы не чувствовал душу якутского языка, его живой пульс, песенную стихию. Глазков не расставался со словарями, самоучителями, не ленился лишний раз заглянуть в них, дотошно расспрашивая о том, чего не находил ни в словаре, ни в самоучителе.

Право, трудно удержаться, чтобы не поставить в пример Глазкова-переводчика если не всем, то многим из тех переводчиков, с которыми мне приходилось работать в мою бытность редактором.

Вот что рассказал сам Глазков, встретившись при работе над переводом с затруднением, казалось бы, элементарным, но весьма показательным. Сразу видно, с какой мерой ответственности перед читателем и национальным поэтом Глазков относился к переводческой работе:

«Припоминается такой случай. 1964 год. Перед отъездом в санаторий Баал Хабырыыс оставил мне подстрочники своих стихов и изданную на якутском языке книгу. Я перевел стихи на русский язык и послал ему переводы.

Через несколько дней получил от него письмо. Баал Хабырыыс одобрил все мои переводы, за исключением одного. Стихотворение про снегирей ему почему-то не понравилось:

Март настал, и дни ясны.
Блеском солнца, снег, гори!
К нам, как вестники весны,
Прилетели снегири.
У домов, и у хлевов,
И в загонах для коров
Снегири снуют, снуют,
Зернышки клюют, клюют.

В своем письме Баал уверял меня, что «туллуктар» вовсе не снегири, а пуночки.

Тогда я заглянул в «Самоучитель якутского языка», где «туллук» значился как «снегирь». Я сообщил об этом Баалу и получил от него ответ:

«Автор «Самоучителя» в птицах не очень разбирается! Туллуктар — пуночки!»

В письме к Баалу я сослался на иллюстрацию к его же собственной книге. Получил от Баала ответ:

«Художник в птицах ничего не понимает! Туллуктар — не снегири, а пуночки!»

Я решил проконсультироваться с тремя пребывавшими в то время в Москве якутскими писателями. Первый и второй сообщили мне, что туллуктар — это снегири, третий утверждал, что туллуктар— пуночки. Наконец сам Баал Хабырыыс возвратился из санатория.

— Дорообо, Баал! — сказал я ему, что означало: «Здравствуй, Баал!»

— Туллуктар — это пуночки! — ответил он на мое приветствие.

— Хорошо,— согласился я с Баалом,— возможно, что туллуктар — это пуночки. Но какое значение имеет это для читателя? Не все ли ему равно, какие птицы склюют зернышки — пуночки или снегири?

— Совсем не все равно! — возразил Баал и объяснил мне, в чем дело: пуночки появляются в Якутии в марте, а снегири — в мае.

— Тогда можно изменить первую строку,— предложил я.

Май настал, и дни ясны...

— Так будет правильно,— согласился Баал: его смущали не снегири, его раздражала строка об их преждевременном, не соответствующем природе прилете в марте».

Из этого эпизода, рассказанного не без юмора, явствует: Глазков и Хабырыыс — не просто два поэта, из коих один перевел другого, они еще — друзья. А поди же, какая взаимная требовательность. Один требователен к своему переводчику и никаких скидок, другой — проявляет прямо-таки удивительное, редкостное внимание к единственному замечанию.

Уже будучи неизлечимо больным, Глазков продолжал работать до последнего дня без тени торопливости, без суеты, основательно и результативно.

Помню, приехал я к Николаю Ивановичу домой с версткой стихотворной книги якутов, чтобы он еще раз посмотрел свои переводы перед тем, как подписать сборник в печать. Глазков был дома один. У меня застрял в горле соленый ком, когда я увидел Николая Ивановича у порога с костылем. Какой-то весь высохший — кожа да кости, черты лица, изможденного болезнью, обострились до неузнаваемости.

Ждал я, наверно, более часа, пока Глазков, отодвинув на письменном столе раскрытую рукопись, сосредоточенно читал верстку с карандашом в руке.

По опыту я знал: стихи Николая Глазкова не нуждались в редактуре. И в верстке, где все гораздо виднее,

чем в рукописи, он редко правил строки. Поэт доводил стихи до высшей кондиции в рукописи. Никаких хлопот, бывало, с Николаем Глазковым. Все в высшей степени аккуратно, качественно, надежно. А тут, похоже, собирается что-то исправить. Положил карандаш, взял ручку.

— Автору не успеем показать? — спросил он своим обычным голосом.

— Кому? — спросил я, желая уточнить.

— Леониду Попову. Нужно бы переписать одну строфу. Успеем?

Я сказал, что времени у нас нет. И тут же подумал: «Какой же тогда смысл в чтении верстки, если ничего нельзя исправить».

Глазков, видимо, так не считал, внимательно продолжал читать. Вижу, опять взял ручку, что-то исправил в верстке. Потом еще. Перелистнул полосу обратно, вчитываясь. Опять исправил. Что-то вписал.

Прочитав верстку, Николай Иванович взял чистый лист бумаги, своим отчетливым, неторопливым почерком переписал авторов и названия переведенных им стихов — не из содержания выписал, а пролистав заново верстку. Тогда только проверил: нет ли путаницы в содержании?

Я потом сравнил правку Глазкова с корректорской правкой — обе правки были абсолютно тождественны. У Глазкова так же все опечатки были исправлены, пропущенная строка вписана, отбивки между строфами в трех местах восстановлены — полный ажур!

Книга эта вышла уже после смерти Глазкова.

Я не знаю никого другого, кто был бы так постоянен в своих человеческих привязанностях, в дружбе, как Николай Глазков. И так внимателен. Напечатаешься, бывало, где-нибудь в газете и тут же получаешь от Глазкова вырезку. Да что вырезки — Глазков посылал друзьям по почте их новые книги. И свои книги Николай Иванович любил дарить друзьям. А какие дарственные надписи сочинял! Остроумные, веселые, добрые. Часто — акростихом.

Нет-нет да и подумается: вот бы собрать все надписи, вышедшие из-под пера Глазкова и запечатленные на подаренных им в разные годы книгах,— получилась бы целая поэтическая книга, сверкающая золотыми блестками юмора, иронии, остроумия, душевной интимности, теплоты, откровенности, щедрости, радушия.

Никто другой, кроме Глазкова, не смог бы так коротко, просто и вместе с тем так исчерпывающе объяснить своему читателю кто есть — поэт:

Говаривал наивно многим,
Когда мне было двадцать лет:
— Не стану серым педагогом,
Я по призванию поэт.

Теперь, когда мне трижды двадцать,
Я подвести могу итог:
Поэт — не баловень оваций,
Учитель он и педагог!

Джемс Паттерсон

ПАМЯТИ ПОЭТА НИКОЛАЯ ГЛАЗКОВА

Для чьей-то приземленности опасен.
О, сколько раз беседовали с ним!
И в чем-то был поистине прекрасен,
На языке простом необъясним.
Фантазия поэта — сила взлетная!
Ограниченья были ей тесны.
Он жить умел! И чувство безотчетное
Прихлынет наподобие волны.
А может, избавляясь от бессилия,
За горизонт по-птичьи заглянуть
И, смастерив размашистые крылья,
Как он в том фильме,
                    с крыши сигануть?!
Но он, как мне казалось,
                    видел дальше,
Земное притяженье поборов,
Не выносивший подлости и фальши
И ясноглаз, как наших дней
                    Рублев.
Бурлил наш век,
                    работали радары,
В ковшах чугунных
                    плавился металл.
И словно брал меня
                    себе в Икары
Он, бородач,— мифический Дедал.

Теодор Вульфович

С УТРА ДО ВЕЧЕРА

(Всего одна встреча с поэтом)

Как и договорились, я приехал к нему с утра, после завтрака, и чувствовал, что скоро отсюда не уйду, ну, разве почувствую, что мешаю или надоел... Ведь я знал стихи поэта уже двадцать пять лет, и все эти годы его стихи неизменно были в моей памяти: его стихи читали вслух (да-да, было такое время, 60-е годы, когда ни одно мало-мальски нормальное гостевание не обходилось без чтения стихов), отдельные строки повторяли как присказки, шутили стихами Глазкова, зачастую и не зная автора, а в спорах его афоризмы приводились как весомые поэтические доводы. Но вплоть до этого утра мы ни разу не виделись...

Наше общение носило вполне свободный характер, хотя дело у меня к нему было, но я его все откладывал и откладывал на потом. Мне пришлось так много слышать о нем рассказов, баек, легенд, что я отчетливо представлял себе поэта, а сейчас только сличал, что сходится, а что является неожиданностью.

Наш киносценарий Николаю Глазкову доставили заранее и просили прочесть с прицелом на роль старика-балагура и сторожа в Алма-Атинском краеведческом музее. А музей тот был не совсем обыкновенный, во-первых, потому что размещался в соборе в центре городского парка и являл собой замечательный памятник архитектуры города Верного, а, во-вторых, описан тот музей был писателем Юрием Домбровским, которого Николай Глазков знал и чтил.

Мы не садились, бродили по довольно просторной комнате — не то столовой, не то рабочему кабинету хозяина квартиры. А скорее, как у нас часто бывает, эта комната была и тем и другим. Бродили, говорили о том, о сем и откровенно приглядывались друг к другу.

Навоевавшись до одури и непроходящей оскомины, я вернулся в страну и в Москву не сразу — Польша, Германия, Чехословакия, Австрия, Венгрия... А когда летом

1947 года все-таки вернулся, то вскоре обнаружил, что по городу и в молодых компаниях витают поэтические строки, двустишья, четверостишья и стихи по тем временам не совсем обычные своей свободой, непринужденностью и даже озорством.

Завещаю вам необузданность
Хоть Земшар-Шарзем не арбуз для нас.

Хорошо с тобой пошляться,
Но притом (в пути) не опошляться.

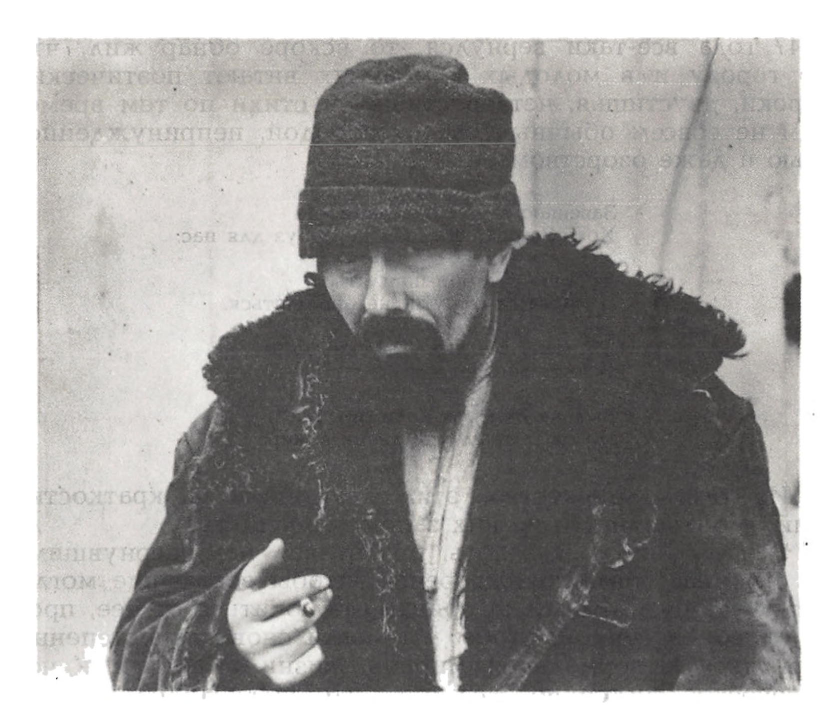
...У меня все дни — воскресенья.
И меня не заела среда.

Был не от мира Велимир,
Но он открыл мне двери в мир.

Их было множество, этих двустиший и краткостиший, и большинство из них запоминались сразу.

Это он — поэт, казалось, приготовил нам, вернувшимся с войны, сонм стихотворений, чтобы воевавшие могли хоть чуть-чуть отойти от войны, отключиться от нее, прожорливой и цепкой, чтобы мы могли снова и постепенно вернуться к нормальной мирной жизни и прийти в человеческое состояние. Казалось, что поэт Николай Глазков назначил себя хранителем подлинной, не искалеченной войной жизни, дезинфектором, чистильщиком молодых и уже немолодых человеческих душ — тех душ, что не успели до конца окаменеть или отлететь в заупокой.

У нас в доме тогда еще установилось, если хотите, некое подобие культа поэта Николая Глазкова — его стихи цитировались по всякому поводу, произносились как притчи, как присловья, иногда стихами Глазкова угощали гостей, и почти всегда это было для людей открытием, радостным праздником... Да какой там культ — это была любовь к поэту и его стихам. И неспроста моя, тогда еще совсем маленькая дочка однажды призналась, что она влюблена! И по-настоящему!.. Я не стал расспрашивать. Я набрался терпения. Лет через пятнадцать она сказала: «Это был поэт Николай Глазков». А она его и в глаза не видела. Ее любовь к поэту была и остается самой настоящей — все стихи Глазкова, какие ей попадались на слух или на листочках бумаги, напечатанные самим поэтом на пишущей машинке, и уж совсем мало в печати, она з н а л а н а и з у с т ь. Не заучивала, а впитывала как чистый воздух. Она естественно и просто свою любовь вместе со стихами поэта передает другим своим сверстникам и сверстницам, которые тоже довольно быст-



Николай Глазков на съемках фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Вторая половина 60-х годов

ро становятся взрослыми. У них скоро появятся на свет свои дети, а то и появились уже... Значит, и дети наших детей будут знать и любить поэта, потому что стихи Глазкова всегда современные, всегда словно только что напечатаны или вот-вот должны быть напечатаны. Вылупил глазенки младенец, смотрит в беспредельное пространство, видит и слышит:

Я иду по улице,
Мир перед глазами
И слова стихуются
Совершенно сами!

Это яркий, выразительный и свободный мир Николая Глазкова.

— Я очень люблю кино,— говорил Николай Иванович Глазков.— Очень!.. Вы знаете, и сниматься люблю, и смотреть фильмы люблю, и писать стихи для фильмов!.. Я все это люблю. Очень! Потому что потом все это оживает, и можно сидеть в зале и смотреть.



В роли Летающего мужика

Только из документально-достоверного стиха Николая Глазкова (а у него все стихи, даже самые лирические, документально-достоверны) мы узнали, что поэт начал свое прямое сотрудничество с Большим Кинематографом не как-нибудь обиняком, а сразу в съемках фильма великого режиссера Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»:

...Мне дни боевые
Познать суждено,
Когда я впервые
Снимался в кино.
Когда с дерзновенным
Сражался врагом
В году довоенном,
В том тридцать восьмом.

И ведь не на периферии фильма, а в центральном эпизоде «Ледовое побоище на Чудском озере» — вот как!.. И размах сразу воистину глазковский — в гуще сражения. И место в бою у него было самое глазковское:

Простой и высокий —
Не нужен мне грим —
Я в русской массовке
Служил рядовым...

Ратник с деревянным мечом в руке — и псы-рыцари наваливались на него, а он их разил!.. И увлечен-

ность, и вера, и историческое понимание всей значимости происходящего, и своего места во всесветном сражении:

Себя на экране
Найти я не смог,
Когда поле брани
Смотрел как знаток.
Себя было сложно
Узнать со спины...
Все сделал, что можно:
Спасал честь страны.

...А сейчас, рассказывая о кино, Глазков открыто и не моргая смотрел своими темными бусинками глаз, и в них был тот восторг, который я уже однажды видел. Видел в фильме «Андрей Рублев». Роль Летающего мужика в этом фильме исполнял Николай Глазков. Как и моя дочка, там, на экране, я впервые увидел Летающего поэта... Он пристроился на колокольне церкви, похожей на Спас на Нерли, наполнил горячим воздухом шитый из старых шкур пузырь, пригляделся к округе, где работали в полях люди... Решился, оттолкнулся от тверди кирпичной кладки и... не упал... а полетел... полетел... самому себе и миру на удивление.

— Лечу!.. Лечу!.. Лечу-у-у!! — кричал Летающий мужик на всю округу, словно не верил, что действительно летит.

А со всех сторон бежали к Летающему мужику обуреваемые не радостью, а суеверным страхом соотечественники с одним неукротимым стремлением: как можно скорее и как можно жестче покарать дерзновенного — уничтожить! Стереть с лица Земли и Неба! Стереть и долго просить прощения за то, что он был.

Так вот, мужик-поэт, мужик-изобретатель и мужик-первопроходец, первым вышедший в открытое пространство мира,— все три в одном лице — это и есть поэт Николай Глазков.

Неспроста именно его попросили исполнить эту трудную роль в кинофильме. Это был Летающий поэт, ему суждено было взлететь, и он летел и кричал и чуял, что дальше будет хуже...

...Мужик велик, как богатырь былин,
Он идолищ поганых погромил,
И покорил Сибирь, и взял Берлин,
И написал роман «Война и мир»!

Правдиво отразить двадцатый век
Сумел в своих стихах поэт Глазков,
А что он сделал, сложный человек?..
Бюро, бюро придумал пропусков!

Через два-три дня ему позвонили, и воркующий голос ассистентки сообщил:

— Пропуск будет заказан. Позвоните, Вас встретят в проходной... Сделаем хорошую фотопробу...

А пока мы продолжали беседу:

— Мне сценарий понравился,— сказал поэт,— и старик славный. Давайте попробуем. А вдруг?.. Кстати, там у вас про археологов, а у меня и про археологов стихи есть,— он стал разыскивать в папках.

Искал долго, а потом произнес: «Вот!» — он даже чуть взмок разыскивая, в руке было три листика — это был подробный и восхитительный по простоте рассказ золотого барса о его странствиях по свету, от древних времен рождения «звериного стиля» до стенда нашего современного музея, где обрел покой и пристанище золотой барс. Он сам прочел мне все стихотворение и был рад такой возможности (а какой поэт не любит читать свои стихи?).

— Давайте я вам песню сочиню про археологов или про золотых зверей? Гимн какой-нибудь?.. А?!.

Все остальное, что касается кино и технических перипетий, мало интересно и больше относится к нелепостям и административным играм:

— Как можно снимать поэта, когда столько актеров у нас не работают?!

— Вот этих двух замечательных актрис вы не берете, а ведь они обе честь вам делают, что дают согласие сниматься в вашем фильме.

— Да, но они обе женщины, а здесь нужен мужчина, и особенный.

— Вы не хотите понимать наших нужд, мы не будем понимать ваших!

Скучно, и к художественному творчеству никакого отношения все это не имеет. Но поэт Глазков в этом фильме так и не снимался. А вот фотопробы мы сделали (спасибо ассистентке), и я рад, что хоть приличные фотографии поэта сохранились.

Мы словно плаваем в его столовой-кабинете и продолжаем разговаривать обо всем на свете.

— Вот и выходит,— сказал он,— дудуктива — это вся наша жизнь, а любовь к кино у меня никогда не проходит. Я его л ю б л ю о ч е н ь.

...Поэт в этот день тоже никуда не торопился. Он был тих, радостен, читал по нескольку строк из стихотворения, если это приходилось к слову да и просто так,— он всю жизнь был активным пропагандистом своих так редко и мало издаваемых стихов и делал вид, что не уставал. А то доставал откуда-то, но каждый раз из другого укромного места, листочек с напечатанными на машинке стихами, читал стих целиком и довольно торжественно дарил этот листочек. Всегда со своим автографом — «Н. Глазков». Насколько мне известно, он всегда дарил друзьям и знакомым свои стихи, и всегда это были замечательные подарки. Это был своеобразный ритуал, он как бы обволакивал собеседника поэзией «глазковского университета», шуткой «глазковской таверны», четверостишьем «Омара Хайяма XX века», а глаза его то грустнели, то посмеивались, то жадно впивались в собеседника, даже немного таращились, словно от удивления.

Было время обеда...

— Бурундучок!.. А, Бурундучок?! — так Глазков прокричал несколько раз, ласково вызывая из какой-то таинственной норы какого-то не совсем обычного бурундучка. И я никак не мог сообразить, из какого угла этот бурундучок должен появиться, потому что, выкликая, Глазков все время поглядывал по разным углам — начиналась вроде бы новая мистификация. И так продолжалось довольно долго. Голос все утончался и утончался, а бурундучок становился все меньше и меньше...

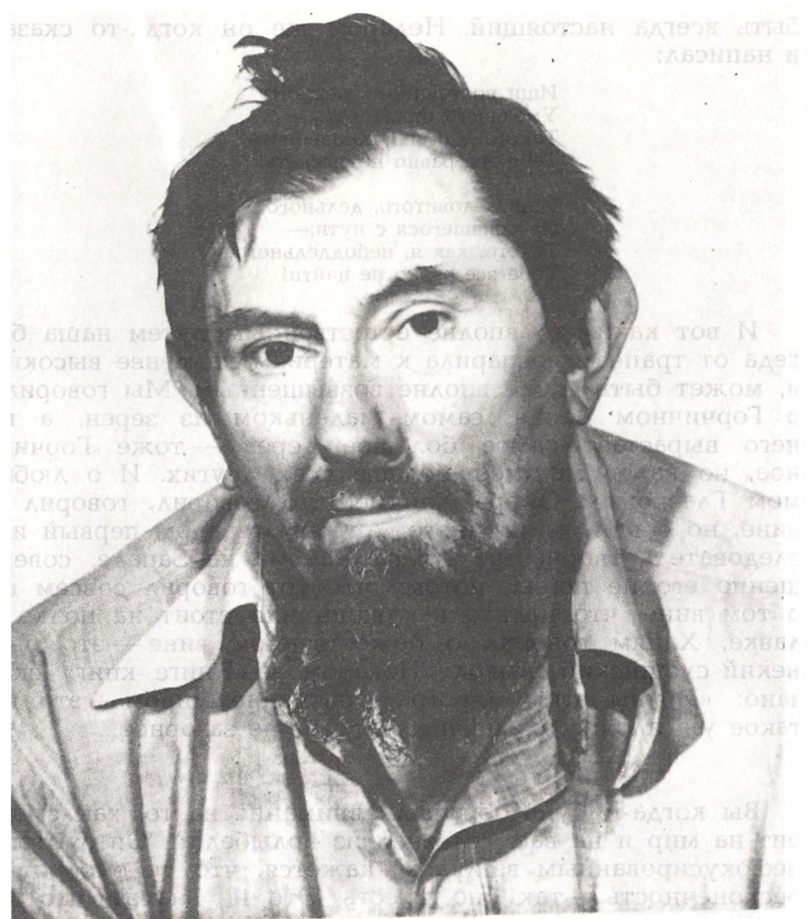
— Бурундучок!.. А, Бурундучок!!.

Но вот, довольно торжественно, появилась крупная женщина со своим именем и отчеством, своей повадкой и степенностью, это была жена поэта. И было непонятно, в каких тайниках этой сравнительно небольшой квартиры она могла так долго скрываться и заниматься своими делами, и еще было непонятно, почему она так долго не откликалась, а потом все-таки вот так взяла и появилась.

Мы познакомились. Оказалось, что она только пришла с работы.

Обед был неторопливый, нормальный, и наша беседа продолжалась.

Он говорил о натуральной закуске и ее преимуществах, о борще, о простоте и рациональности питания, и все потому, что мы сидели за столом и было время обеда. Все у него было как-то своевременно и с удовольствием. Без этих рассуждений о пользе и вреде Глазков был



Фотопроба (без грима) на роль деда в фильме «Шествие золотых зверей». 1977 год

бы немножечко не тот, более выдуманный. А он должен быть всегда настоящий. Недаром же он когда-то сказал и написал:

Ищи постоянного, верного,
Умеющего приласкать,—
Такого, как я, откровенного,
Тебе все равно не сыскать!

Ищи деловитого, дельного,
Не сбившегося с пути,—
Такого, как я, неподдельного,
Тебе все равно не найти!

И вот каким-то вполне естественным путем наша беседа от трапезы воспарила к материям не менее высоким и, может быть, даже вполне возвышенным. Мы говорили о Горчичном Зерне, самом маленьком из зерен, а из него вырастает самое большое дерево — тоже Горчичное, но какое могучее, больше всех других. И о любимом Глазковым Омаре Хайяме, что говорил, говорил о вине, но о вине мира иного. А Фицджеральд, первый исследователь творчества Омара Хайяма на Западе, совершенно его не понял, потому что тот говорил совсем не о том вине, что налито в кувшин или стоит на полке в лавке, Хайям говорил о божественном вине — это был некий суфийский символ. Недаром в «Книге книг» сказано: «Пьяны этим миром». Опьянение миром — это не такое уж плохое опьянение. И вовсе не зазорное...

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как смотрит на мир и на вас младенец из колыбели?.. Он смотрит нефокусированным взглядом, кажется, что он смотрит в бесконечность — так оно и есть. Это не значит, что он вас не видит — видит. Видит он вас, но сквозь бесконечность пространства. Или он видит вас плюс бесконечность пространства. Вот так же смотрел на окружающий и теснящийся вокруг него мир поэт Глазков. И на собеседника он смотрел так же.

Некогда английский писатель и жизнелюб Гилберт Кит Честертон написал: «Дети серьезны, потому что дивятся миру, и в удивлении этом нет мистики, но много здравого смысла. Детская прелесть кроется в том, что с каждым ребенком все обновляется и мир заново предстает на суд человеческий».

Так вот, под взглядом настоящего поэта с миром происходит то же самое. Все это надо знать тем, кто хочет еще раз и заново, воочию увидеть, как смотрел на мир замечательный, самый открытый поэт нашего времени

Николай Глазков. Но рядом с этой настоящей детскостью было ощущение подлинной взрослости и завидной для современной поэзии зрелости — ни малейшего признака инфантилизма или приспособленчества и редкая для поэзии подлинная, а не изображаемая мужественность.

Дальше мы уже шутили и мимоходом говорили о делах.

Время обеда подходило к концу.

Я вышел из подъезда с дверью, залатанною фанерным листом. Не спеша шел вдоль широкого окраинного проспекта, где почти не было пешеходов. Проспект еще ничьим именем назвать не успели, и было странно, что поэт живет не на своем любимом и воспетом старом Арбате со знаменитыми переулками, а на каких-то совсем новых выселках — зато в отдельной, а не в коммунальной квартире.

Сумерки и пустой проспект располагают к размышлениям. Дети не любят поэзию потому, что многого в ней не понимают и им становится скучно (и взрослым иногда становится скучно по той же причине), а в стихах Глазкова невиданное раздолье — ни одного непонятного слова, ни одного непонятного образа, и все светится внутренним светом и шуткой. И это всегда, даже в ту пору, когда люди почти совсем переставали шутить. На расстоянии он казался то блестящим гусаром, то повесой и гулякой, то рыцарем-защитником... Но всегда абсолютно честным. Его честность и честь не подлежали сомнению. Это он сказал и написал:

Бездарный человек не может быть хорошим,
Хотя бы потому, что он бездарен.

У него всегда так: шутит, клоунствует, дурачится — и вдруг суть, сгусток смысла, истина.

Со стороны виадука, что перемахивал через проспект, подул резкий ветер. Там я поверну за угол и сяду в троллейбус. Начали зажигаться фонари. И я уже думал словами поэта, что меньше чем через 200 лет какой-то проспект, хороший московский проспект, все-таки назовут проспектом поэта Николая Глазкова. Мне всегда казалось, что он всю жизнь писал одно свое стихотворение. Что у этого стихотворения не было конца, оно никогда не кончится, и называется это стихотворение — Ж и з н ь. Наверное, он всю жизнь ведет одну и ту же замечательную игру в одной и той же мистерии. А то, что это была прозрачная и веселая детская игра,— это уж было его личное дело. Его детская игра неизменно была лишена

какой бы то ни было, даже детской, жестокости и всегда была преисполнена открытой любви к людям своей страны и, как следствие, всего з е м ш а р а.

Он очень любил людей и не мог скрыть, да и не скрывал, своей трогательной надежды на взаимность. Он всегда нуждался в ней и терпеливо ждал.

Мне хочется, чтобы слово о поэте заканчивалось не моими, а его словами:

...Но и мои друзья не верят,
Что я великий гуманист.
И хорошо, что ветер веет,
И хорошо, что зелен лист.

А если б не было деревьев,
То был бы ад со всех сторон.
Счастлив, кто, в счастие поверив,
Уверовал, что счастлив он.

Пусть и поэтам будет весело
В дни испытаний и побед.
Поэты — это не профессия
А нация грядущих лет.

Всему придет такая смена,
Что будет все прекрасно.
Оно, конечно, несомненно,
Но многое неясно.

Владимир Цыбин

ОЩУЩАЮ МИР ВО ВСЕМ ВЕЛИЧИИ

Так сказал о себе чуть иронично и, значит, грустно в одном из своих лучших стихотворений поэт Николай Глазков. Его ирония — с точным чувством дистанции. Ирония — удел романтических, рвущихся вперед личностей. И не зря Андрей Тарковский избрал Николая Глазкова на роль Летающего мужика в свой фильм «Андрей Рублев».

Летающий мужик — русский Диоген, который если уж бросил свою «бочку», то ради полета:

Лез всю жизнь в богатыри да в гении,
Для веселия планета пусть стара,
Я без бочки Диогена диогеннее —
И увидел мир из-под стола.

Так мог написать только Летающий мужик, человек недомоседской мечты. Сиднем сидел тридцать лет на печи ли, под стожком, сидел и думал и с места стронуться не хотел...

Помню Николая Глазкова после съемок. В ЦДЛ он был при костыле: словно забыв на съемках, что он актер, сбросил себя сверху, потому что поверил, что может летать, и сломал ногу.

Для меня остались в вечной сказке с тех пор: Диоген — Летающий мужик — Николай Глазков — Дон Кихот.

Кто такой Дон Кихот? Диоген, забывший о своей бочке. Человек одной думы сердца. Когда мы думаем, мы не замечаем, что это мы мечтаем...

Николай Глазков всю жизнь был мечтателем, не зря его крохотные комнатки на Арбате походили на старые каюты — ничего лишнего. Круглый стол, диван, в который, казалось, вмонтированы клавиши — так отзывчиво он скрипел. Скрипели и старые громоздкие стулья — их тоже укачивала жизнь. Вещи похожи на своих хозяев. Скрипка назвучивается звуками, а вещи Глазкова — его стихами, иронией, добротой. Он никого не мог обидеть, хотя не любил чинуш. Это для него были последние

люди. Все это он сказал в стихах, сказал по-глазковски внятно и горько.

И действительно, старый Арбат — родина глазковского творчества — походил на узкий пролив между скал, где «текли» люди и машины, плескались детские голоса, мелькали деловитые авоськи, но не было ни «парадных», ни праздных людей. Старая, уютная Москва создала поэта и человека Николая Глазкова. И когда он получил по нерадению начальства, он, коренной москвич, квартиру в Кунцеве, где не было никакой Москвы,— это стало, по моему глубокому убеждению, одной из причин его смертельной болезни. Старое дерево поздно пересаживать.

Николай Глазков на отшибе, без привычных друзей, речей и вещей — это трудно представить!

Перед моими глазами стоит первая встреча с замечательным поэтом и человеком. В редакцию издательства «Молодая гвардия», в отдел поэзии, зашел человек в поношенном кривоватом костюме, сутулый, похожий на странника. Я в детстве таких людей видел — их привечала моя бабушка Пелагея Петровна. Он долго, смеясь глазами, как-то исподтишка смотрел на меня и на двухпудовую гирю, которая стояла возле письменного стола.

— Я — Глазков,— то ли подначивая, то ли гордясь, сказал он и подал мне руку. Ладонь была тяжелой и «растоптанной». Такие только у силачей. Потом он выжал передо мной несколько раз гирю.

До этого, признаюсь, я о Николае Глазкове знал смутно.

— Учти, я — великий поэт! — сказал он, кладя мне на стол свою рукопись.

Я не удивился: великий так великий. В литературном институте к такому привык. Удивился я рукописи: на обложке, нарисованной рукой самого поэта, он, Глазков,— голый под струями душа. А сама рукопись состояла из каких-то листков разного размера и цвета — преобладал застарелый желтый цвет. Эти клочки бумаг были похожи на листовки.

— Из какого архива? — спросил я великого поэта.— Что-то смахивает на довоенный папирус.

— Из самсебяиздата! — торжественно произнес Николай Глазков.

— Нужен первый экземпляр.

— А зачем? — несказанно удивился он.— Все равно не напечатаете.

Это была рукопись одной из лучших книг Н. Глазкова «Поэтоград», которую принес в 1961 году поэт в нашу редакцию.

Бывают книги-домоседы, когда поэт «обкашивает» поле вокруг себя; бывают книги-путешествия. «Поэтоград» — книга-путешествие. Но не по морю, не по земле, а — в сердце, столько было в ней встреч с необыкновенным.

Я читал его стихи, вернее, читая, привыкал и думал, что у всех больших русских поэтов были двойники. Но глазковский двойник не стоял у него за плечом, не являлся из зеркала, а сам Н. Глазков был двойником. Но кого? Может быть, утерянной души? Случается, что человека покидает его душа — так бывает в зулусских сказках,— где-то бродит, а человек всю жизнь живет, ожидая ее обратно. Это не значит, что человек остается без души — просто он далеко отпустил ее от себя. Душа в странствии — человек будет богаче ее странствиями. И вот ожидание чуда:

Ночью трава холодна,
Иду босиком по траве,
Луна на небе одна,
А лучше было бы две!

Но это уже не земное, а какое-то марсианское небо.

Книга «Поэтоград» вышла. От комсомольского начальства я получил нагоняй, зато подружился с замечательным поэтом и человеком. И с тех пор получал либо по почте, либо при встрече очередную «самсебяиздатовскую» книжицу от Николая Глазкова, обыкновенно 15—20 страниц, в том числе — прозаическую «Похождения Великого гуманиста». Они у меня хранятся как дорогой раритет.

Две вещи еще сильнее сблизили нас: шахматы и книги. В шахматы мы с ним в его квартире на Арбате играли до одури. Я — по вдохновению и плохо. Он — хорошо и лукаво.

Шахматных досок у него было несколько, и все старые, вытертые, с колченогими фигурами,— ни одной целой, и все из разных комплектов.

В его арбатских комнатенках было темно, тесно — окна загораживали другие дома, во дворике сидели староарбатские старухи. В раскрытое окно был слышен быстрый шелест их разговоров — что-то деревенское было в их облике, хотя одеты они были по-городскому и говорили быстро, «ходко».

«Вот откуда и Николай Глазков,— не раз думал я, проходя по дворику и видя их спокойные лица,— здесь, должно быть, родилась его творческая душа».

Книги Николай Иванович любил и собирал, но у него выходило так: то собирает, то, когда с деньгами туго,



Николай Глазков и Георгий Санников. 60-е годы

относит их в букинистический магазин. Но ни одну непрочитанную не отнес. Книги у него стояли в огромном, закрытом наглухо шкафу, так что о библиотеке, о составе ее я ничего не знаю. А те книги, что стояли на полках,— не в счет. Хотя порой при разговоре Глазков и вынимал из шкафа книги и даже цитировал. Помню, это были умные книги — путешествия, стихи, справочники, особенно по городам. Вот почему, приехав с ним в Красноярск, я не удивился, как хорошо он знает город. А в Алма-Ате он меня первым делом потащил посмотреть уникальную деревянную церковь...

Так жил и путешествовал Н. Глазков. И хотя он ездил немало (я знаю только о совместных поездках — Ярославль, Красноярск, Тула, Рязань, Алма-Ата...), ему этого не хватало. Земля всегда казалась ему очень большой, не «шариком», а большим и противоречивым миром.

К концу жизни он говорил:

— Не люблю зиму. Посмотри на карту — сколько на ней зимы — все северное полушарие.

— Как? — удивился я.— А Греция, Тунис?

— Все равно север. А в южном — только море. Грустная картина.

Он мечтал увидеть дальние, экзотические страны, но ни разу за границей не был — не посылали...

Должно быть, жил в нем великий путешественник (пользуюсь глазковским определением — иного, кроме «великий», определения он не признавал). Отсюда и такая «странность» в его стихах. Он все видит действительно впервые, а не как бы впервые. Мне кажется, что ни к одной вещи в мире он так и не привык. Привыкший человек — ничего не видит. А он видел. Как-то шли мы по Воровского, и он показал мне на вяз — этому вязу 250 лет — его видел Петр I...

Дальние страны, новые миры — и у великого путешественника нашелся такой край — Якутия. Съездил он туда первый раз как переводчик и, вернувшись, тут же переименовал свою жену в Росину-хатун. И, право слово, сам чем-то стал походить на якута: борода стала не такой раскидистой, как ранее, острей, в глазах появился прицельный прищур (словно он годами смотрел на ослепительно белый снег), походка раскованней, легче и по-охотничьи вкрадчивой. Теперь он даже здоровался на якутском языке. И при этом долго и тщательно жал руку. Потом вызывал на борьбу — чья рука положит другую. Не победа была нужна Глазкову, а молодечество. Это уж чисто русское, казачье — молодечество: весело показать свою силу, чтобы не усомниться в себе. Я эту черту в Николае Глазкове глубоко понимал — у него была жажда испытать все и не обмануться. Не было в этом ни капли бравады, а было ироническое добродушие, означавшее — вот, мол, какой я, Николай Глазков, недотепа: гири подымаю шутя или кресла.

Все мы, его друзья, знали, что он — воистину большой поэт, но его чудачества заслоняли от многих подлинный серьезный облик Глазкова.

На Руси любят человека с чудинкой. Он герой А. Платонова и В. Шукшина. Он человек одной идеи, которой служит истово и влюбленно, иногда доводя это служение до грани абсурда, и тогда появляется «чудак». Ведь и Иванушка-дурачок в русских сказках не дурак, а чудак. Так прочесть себя может только сам русский человек — изнутри.

Что-то от этого было и в Николае Глазкове. Мы, М. Луконин и я, летели с ним в Алма-Ату. Росина-хатун предупредила меня: «Коля не переносит самолета». И действительно, ему было плохо, он сидел в кресле понурив голову и о чем-то сосредоточенно думал. Стали играть в шахматы — чуть-чуть развлекся. «А все-таки пустыня лучше, чем небо»,— сказал и умолк до конца полета.

У латино-американского поэта Рубена Дарио есть новелла о поэте, в голове которого жила синяя птица. Такая вот синяя птица была и у Николая Глазкова. Он

жил, писал стихи, переводил в состоянии какой-то своей, особой, постоянной действительности, где вещи и явления теряли свои обычные свойства и приобретали черты характера самого Николая Глазкова.

Я позволю себе вернуться еще раз к Глазкову-якуту. Но уже с точки зрения того, что Якутия дала ему как поэту. Я помню его, когда он приехал из первой поездки туда. Он, к моему изумлению, поприветствовал меня, как я уже говорил, на якутском языке. Я растерялся и ответил ему на киргизском, настолько он захватил меня своим перевоплощением.

Именно перевоплощение — главная характерообразующая черта большого, неповторимого таланта Николая Глазкова. Он перевоплотился в якута, оставаясь русским поэтом. Москва и Якутия стали для него неразделимыми родинами. Вот почему его переводы из якутской поэзии — это как бы заново воссозданные из «праха» подстрочников русские стихи, в которых зазвучали в органичном согласии русская и якутская души.

Отпечаток суровой, интонационно насыщенной поэзии земли якутской навечно лег и на стихи самого Николая Глазкова, посвященные Северу, людям тундры и бескрайних снегов. Здесь Николай Глазков выступает как поэт, умеющий писать серьезно и глубоко и тут же, вторым планом, как бы пародируя себя самого, свои строки, создает тем самым несокрушимое «фламандское» двуединство прекрасного и обыкновенного, сильного и нежного.

Николай Глазков любил и умел в стихах не только угадывать мир и себя, сколько отгадывать себя в мире и мир в себе самом, отгадывать вечную тягу синей птицы, живущей в поэте, к простору, к неведомому, новому. Может быть, для него в последние десятилетия стала страной этой синей птицы Якутия, не зря с такой радостью и непреклонностью он всегда готовился к встрече с якутской землей, и ради этой встречи, должно быть, он полюбил так не любимые им прежде перелеты на самолете.

Все привлекало его в этом далеком северном крае: и крики птиц, и след оленьих упряжек, алмазные переливы огней якутских городов, но больше всего, конечно, душа народа, умеющая любить и беречь деревья и все живое на земле:

Очень хорошо, что их не рубят,
Очень хорошо, что их не губят,
Потому что уважают, любят,
Украшают, всячески голубят.

(«Священные деревья»)

Любовь, по существу,— увеличенное во много раз чувство благодарности. Николай Глазков любил смело и благодарно Москву, Подмосковье, Красноярск, мир, землю веселых и неукротимых людей везде, где он побывал. Он доверчиво относился к своему читателю, потому что всегда жил перед ним открытым и искренним человеком, готовый делиться собой, именно своей духовной лиричностью с другими. Он знал: неискренней правды на земле не бывает, как не бывает без искренности и любви, и поэзии. Он знал, что есть на земле правда, жизнь, мечта, и все это едино, и дано было ему однажды и навсегда.

Свою синюю птицу носят в себе поэты и чудаки, но никогда — птицеловы и домоседы. Я знаю, синяя птица Николая Глазкова еще не раз посетит и всех нас, всех, любящих его поэзию, его слово, не гасимое и временем...

Ирина Волобуева

В ОДНОЙ ИЗ ПОЕЗДОК

— Оторваться от письменного стола и отправиться в путешествие я всегда готов! Очень трогательно, что ты мне позвонила! — раздался в телефонной трубке обрадованный голос Николая Глазкова — в ответ на мое предложение поехать в составе писательской группы на Дальний Восток.

— Есть у нас поэты,— продолжал он,— которые уверяют, что даже Великий океан можно себе представить сидя дома, но я — великий путешественник Николай Глазков — предпочитаю окунуться в океанскую волну при любой погоде, ибо сам я сродни снежному человеку! — И в его словах прозвучала знакомая мне хитринка.

Обсуждать план поездки мы с Владимиром Гордиенко приехали к Глазкову на Арбат.

Мне впервые пришлось побывать в этом необычном доме. В то сентябрьское утро он был залит солнцем и по-летнему благоухал яблоками. Сорванные вместе с веточками, они были разложены на столе, красовались во всех вазах и, лоснясь на солнце, казалось, соперничали с бесчисленной керамикой, расставленной и развешанной по всему дому.

Вопреки нашим уговорам, Глазков категорически настаивал на поездке поездом, уверяя, что при посадке самолета у пассажиров «глаза вылезают из орбит», и для пущей убедительности прочел нам свое стихотворение «Отказался я от скорости». Но когда через пару дней я сообщила ему по телефону, что Бюро пропаганды приобрело нам билеты на самолет, он, помолчав, произнес обиженно: «А может, их можно сменять на железнодорожные?»

Девять часов лету дались ему трудно. То и дело нервно поглаживал свою рыжеватую бородку, которая делала его похожим на мужичка-странника из русских сказок, он ерзал в кресле, тщетно пытаясь вздремнуть, с неохотой брался за еду, подаваемую стюардессами. И оживился лишь тогда, когда в окно самолета неожиданно среди ночи глянуло солнце.

Упершись бородкой в толстое круглое стекло, он уже не отрывался от него до конца пути.

— Вон Амур! — счел он своим долгом объявить близсидящим и снова стал с ребячьим любопытством рассматривать широченную, с множеством рукавов реку, похожую на огромного, сверкающего серебром дракона.

Устроившись в хабаровской гостинице «Дальний Восток», я мечтала отоспаться после утомительной дороги. Но не прошло и часа, как у меня за дверью раздался голос Глазкова:

— Мы давно тебя ждем, пора знакомиться с городом!

Шагая чуть впереди, Глазков глядел по сторонам с таким видом, словно попал на другую планету. Особенно его привел в восторг густой, как лес, приамурский парк. Но вдруг, увидев в одной из аллей гипсовые бюсты известных русских ученых, густо покрытых бронзой, он остановился и произнес с досадой:

— Вот как вас, братцы, обронзовели!

И тут же утратив интерес и к парку, и к речному пляжу, о котором мечтал всю дорогу, поспешно направился в сторону сопок. Не успели мы опомниться, как он, с ловкостью кошки, взобрался по скалистым уступам вверх.

Нагнав нас у здания Амурского судоходства, он стал пробовать свою силу, пытаясь сдвинуть с места огромный чугунный якорь, и был явно огорчен, не справившись с ним.

Николай Глазков действительно обладал большой физической силой и очень гордился этим.

В аудиториях, где нам приходилось выступать во время поездки, он обычно долго и пристально вглядывался в лица сидящих любителей поэзии, не спеша направлялся к трибуне и, отодвинув рукой микрофон, чуть вскинув привычным жестом подбородок, без тени улыбки читал свои пародии и юмористические стихи.

Вечером в гостях у дальневосточных поэтов Глазков, как всегда, был в центре внимания. Будучи в ударе, он охотно рассказал одну из своих автобиографических новелл. Однажды, прибыв в Сочи, он никак не мог устроиться в гостинице. Придя в редакцию местной газеты, он положил на стол редактору рукописный сборник своих стихов и сказал на полном серьезе:

— Вы можете все это не печатать, но гостиницу предоставить мне обязаны.

Редактор тут же уладил дело с гостиницей.

В течение всей поездки Глазков нас развлекал всяческими историями. По пути к молодому городу Амурску он рассказал следующее: «На озере Па́дали издревле жили нанайцы. Когда приехали люди строить город, они

обратились к шаману с просьбой — отшаманить строителей. Те вскоре, правда, уехали. А когда прибыли вновь с нужными им материалами и машинами, хитрый шаман убедил нанайцев в том, что он сам призвал их в эти края, так как ему был дан знак свыше о том, что нанайцы должны жить в новых удобных домах.

Такого рода рассказы, в которых правда зачастую была перемешана с вымыслом, мы всегда слушали с интересом.

Помню, нас тронуло, что жители Амурска при застройке своего молодого города стремились, где только было возможно, сохранить деревья таежного леса.

— Все это хорошо,— со вздохом сказал Глазков,— но привязывать бельевые веревки к деревьям!...

И он, нахохлившись, вобрал голову в воротник.

На обратном пути, достав из кармана потрепанный блокнот, он записывал названия поселков, которые попадались по дороге, с изумлением произнося их вслух:

— Заевка. Тигрово. Соболево. Котиково. Роскошь!

От названия «Роскошь» он пришел в неописуемый восторг и делал самые невероятные предположения по поводу его возникновения.

На пограничной заставе нас принимали отлично. Особенным успехом пользовались пародии Глазкова на своих товарищей по перу.

После выступления Глазков своими вопросами незаметно втянул пограничников в общую непринужденную беседу, и вскоре они стали делиться с нами своими мыслями и делами, как добрые старые друзья.

Слушая своего собеседника, Глазков обычно не сводил с него пристальных глаз, чуть приподняв брови, с любопытством следя за ходом его мысли. Может, благодаря этому умению слушать и вникать в переживания другого, у него была редкая способность разговорить любого, вызвать на откровенную, дружескую беседу.

Во Владивостоке дул пронзительный ветер. Глазков заметно скис. На него всегда удручающе действовал холод. К тому же исчезла его шерстяная фуфайка, которую он, видимо, забыл в поезде, на котором мы ехали из Амурска.

Прислушиваясь к завыванию тайфуна, надвинув шляпу с обвисшими полями на самые глаза, он с укоризной поглядывал на беспросветно-серое небо и наотрез отказался ехать с нами в оленеводческий совхоз.

Однако по возвращении мы не застали его в гостинице. К вечеру он явился вымокший и счастливый с авоськой, полной... морских звезд!

— Я вошел в океан за этим кладом! — объявил он и,

чтобы высушить их, стал налепливать свою добычу на абажур настольной лампы.

Одной из излюбленных тем Николая Глазкова были воспоминания о его неоднократных поездках по Якутии, в которой он переводил стихи якутских поэтов. Рассказывая о них, он для шика вставлял фразы на якутском языке, лукаво следя, какое впечатление производит это на нас. При этом фантазии его не было предела. Однажды он сумел убедить одну из писательских жен, что он, Николай Глазков, не кто иной, как чучуна — дикий таежный человек, что вызвало в глазах его почитательницы испуг и восхищение.

Еще запомнилась одна из наших встреч с литературным объединением в Биробиджане. Прослушав стихи одной из молодых девиц, Глазков, приподняв подбородок, с расстановкой изрек:

— Истерично и вторично!

Всем было известно, что главный его девиз в жизни — оставаться неповторимым в своем творчестве, не дублировать никого из своих «уважаемых коллег».

К концу поездки, когда зашел разговор об отъезде в Москву на самолете, Глазков восстал самым решительным образом:

— Ни за что! Я должен увидеть Байкал вблизи, а не с небесных высот! — упрямо повторял он и в знак протеста взобрался на ближнюю скалистую сопку, предоставив нам самим возвращаться в Москву самолетом.

— Но твои деньги на билет у меня, слезай немедленно! — пробовала я его образумить.

— Ерунда! Положи их под камень. После возьму! Я не намерен прерывать удовольствие любоваться этими красотами! — преспокойно ответил Глазков и, скрестив свои огромные руки на груди, снова погрузился в созерцание залива.

Рассердившись, мы даже не оглянулись. Но, сев в самолет, с удовольствием вспоминали нашу поездку и Николая Глазкова и знали, что встречи с этим интересным человеком еще не раз доставят нам радость, что будут его новые стихи и эпиграммы и что гениальный Глазков, как полушутя величал себя сам поэт, встретится с нами в Москве как ни в чем не бывало...

Петр Вегин

ЦАРАПИНА

Его любимым словом было — «царапнем». Он выбрал его — оно звучало по-свойски, доверительно и несло в себе какую-то легкую, одинокую боль. И что-то от детства — оцарапанного, беззаботного...

«Давай с тобой царапнем,— предлагал он заговорщицки.— Хотя бы кофейку».

На бегу, на лету, в суматохе неизбежных дел, встретившись в цэдэловском кафе, можно было обняться быстрым объятием, обменяться улыбкой, соленой шуткой, царапнуть и бежать дальше. А вечером, валясь от усталости, ощутить едва заметную, но настойчиво царапающую боль от мимолетности, от того, что поговорить, пообщаться толком не успели.

«Ты не пропадай, звони!..»

«Позвоню...»

Мы научились разобщенно дружить — новая, странная форма дружбы. Полгода, год можно не видеться, неожиданно трах-бах встретиться — и два-три слова возвращали дружбу, ощущение, что остаемся по-прежнему своими...

Он любил якутов, и якуты его обожали. Его детскость и непосредственность были созвучны их мировосприятию. И, наверно, еще потому, что чувствовали алмазность его стихов. В его стихах много алмазов, они оставляют царапину в душе навсегда.

Его любили многие. Многие считали, что он юродствует, скоморошествует. Простим близоруких, хотя такая близорукость окружающих небезопасна для художника. Она-то своим равнодушием и вынуждает порой надевать защитные маски. Но у Глазкова детская непосредственность и остроумие, скоморошество не были маской.

Сейчас у нас поэта такого типа нет. Не по таланту — по непосредственности поведения, естественности, детскости. Рядом с Глазковым была Ксения Некрасова. Они как сестрица Аленушка и братец Иванушка.

Что значит видеть мир по-детски? Видеть чисто, ярко, остро и честно. Так видел Глазков.

Дети — мудрецы. Глазков был мудр по-детски, а не старчески или академически.

В поэте должен жить ребенок — всю жизнь.

Взрослый мир часто относился к его непосредственности, как к ребенку, который поцарапал мебель. «Мебель нельзя царапать». Можно! Нужно царапать мир мебели, чтобы он не поглотил человека и не превратил его в шкаф. Это делал Глазков.

«Детское» в художнике не означает упрощенного, поверхностного. По-детски неожиданно — вот что такое «детское». До «детской» глубины и «детской» изобретательности многих стихов Глазкова миру еще расти и расти.

Я люблю его книгу «Поэтоград». Чудесное слово! Если когда-нибудь будет журнал поэзии, лучшего названия не сыскать.

Он подарил мне ее неожиданно и с неожиданной надписью: у меня была какая-то удача, он неожиданно появился, склонил надо мной свою бороду, высыпал из нее на меня слова похвалы. Спустились в кафе, он достал «Поэтоград», медленно сделал надпись и протянул мне.

Он знал, что такое цена успеха. Сам, как большинство истинных поэтов, недополучавший всю жизнь, знал, чем и как дается этот успех, удача...

Слуцкий его, по-моему, боготворил. С лица его в момент исчезала комиссарская строгость, когда появлялся Глазков, и Слуцкий розовел и нежнел не то как дед при внуке, не то как отец при дите своем.

Слуцкий председательствовал на вечере, устроенном по случаю пятидесятилетия Глазкова. Большой зал для этого не дали, и мы проводили вечер в так называемой «восьмой комнате» в нашем писательском доме. Восьмая комната была набита под завязку. Пришло много поэтов, не только почитателей, а это показатель.

Глазков пришел, как приходят дети на собственные именины, сгорая от нетерпения и одновременно смущаясь выйти к гостям. Он был при галстуке, в торжественном темном костюме, в котором он великолепно и естественно держался, и это еще раз доказывало, что художнику к лицу не только рубище, но и фрак по плечу, не только в тяготах судьбы художник чист, но и в славе.

Жалею — сколько раз прежде и потом! — что не записал хотя бы вкратце выступление Слуцкого. Он говорил о Глазкове с гордостью и большой ответственностью, говорил о большом поэте. Коля слушал его стоя, опустив голову, словно его отчитывали, и когда Слуцкий закончил, зааплодировал первым. Слуцкому — не себе. Точности мысли, лаконизму и четкости другого Художника. И потом с удовольствием и много читал...

Он любил читать. Поэт должен уметь и любить читать свои стихи. Одному человеку или большому залу — все равно. Слово должно звучать.

Однажды мы читали в Мединституте, на Пироговке. Много лет назад. Глазков, Бурич, кто-то еще и я. Читали все хорошо, и принимали всех очень хорошо. Но Колю — лучше всех. Он вышел и сказал, что любит читать и хочет читать много. И залу это очень понравилось.

Потом поехали к нему домой, в его арбатскую квартиру. С какими-то ребятами из Суздаля, которые фотографировали, но до сих пор не прислали фотокарточек.

Долго еще читали друг другу и суздальцам — царапали арбатские потемки своими строчками.

...Умер он как-то для меня неожиданно. Несмотря на злую болезнь. Неожиданно — потому что в нем была большая энергия, большая витальная сила. И вдруг эту энергию из жизни выключили. И этим опять царапнули — резко и глубоко.

Но в памяти моей другая царапина — та, с которой хорошо, расставаться с которой нет охоты, пусть не заживает она, светящаяся царапина от его поэзии, похожая на тот полет на самодельном шаре, когда Глазков по-детски непосредственно кричит небу, земле и времени: «Лечу-ю!.. Лечу-ю... Лечу-ю...»

Марк Лисянский

НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ

Есть у нас такой поэт —
Николай Глазков.
Есть, хотя его уж нет,
Жил и был таков.

Позади легли года,
Впереди — века.
Есть и будет он всегда
Жить наверняка.

Званий нету никаких,
Орденов, увы,
Но его глазковский стих
На устах Москвы.

Он в поэзии своей
Жить, как прежде, рад.
Из-под пасмурных бровей
Плутоватый взгляд.

Через всю Москву пешком
Любит он шагать.
Борода торчит клинком,
В сердце — благодать.

Шепчет он свои слова
На виду у всех.
Да простит ему Москва
Этот малый грех.

Он проходит не спеша,
С думой на челе.
И распахнута душа
Небу и земле.

— Здравствуй, Коля-Николай! —
Говорю ему.
...Позади и ад и рай,
Видно по всему.

Будто он уже постиг
Воду и огонь...
Ощущаю в этот миг
Жесткую ладонь.

У него хитрющий вид.
Вертит головой:
— Вот любуюсь, говорит,
Золотой Москвой!

Строчку песни повторив,
Улыбнулся мне:
— Петь люблю я сей мотив,
Но... наедине!

У Никитских у ворот
Мы расстались с ним.
Вижу: он Москвой идет,
Временем храним.

Он еще в расцвете лет
Держит груз веков,
Потому что он поэт,
Николай Глазков!

Олег Дмитриев

В ГЛУБИНЕ ДВОРА, НА АРБАТЕ

Строение, в котором много лет прожил поэт Николай Глазков, как-то скромно стояло за спиной старого дома, выходящего фасадом на Арбат и хорошо вписавшегося в ансамбль этой знаменитой столичной магистрали. Улицы, проулки, дворы всегда мне казались одушевленными. И, верю, что окрестность не без печали восприняла переезд на новую квартиру человека, у которого так много связано с нею. Он был немного странен, даже экстравагантен в своей манере ходить, одеваться — трудно было сказать, сколько лет этому московскому пешеходу с негустой бородкой клинышком, типичному уличному чудаку, которых сейчас почти уж и не встретишь...

Далеко уехала семья Глазкова — за Кутузовский проспект, на дальний запад Москвы. Как деревья нередко не приживаются на новой почве, поэт недолго прожил там. Наверное, в те годы, когда он еще был жив, Арбату не хватало его. А сейчас, когда эта улица стала заповедной, трудно поверить, что по ее брусчатке не пройдет, не отразится в окнах первых этажей Николай Глазков — в шляпе с повисшими полями, в старомодном долгополом пальто...

Я несколько раз был у него дома, и каждый раз при одинаковых обстоятельствах: мы сталкивались нос к носу у одного и того же прилавка поэтического отдела «Дома книги», потом покупали кое-что из пищи духовной и, не забыв захватить по дороге одну-другую бутылку сухого грузинского вина, шли по Арбату в сторону Смоленской.

Жил Глазков интересно: в том «отсеке» квартирки, который принадлежал ему, светился аквариум, как-то хаотично лежали и стояли на полочках книги, кажется, попадались на глаза минералы и, точно уж,— поделки северных умельцев из пушнины и кости. Хозяин этого кабинета давно и прочно был связан с Якутией — переводил ее лучших поэтов, дружил с ними. У него было немало стихотворений, навеянных этим своеобразным таежным краем. Помню, одно из них называлось «Чу-

чуна» и повествовало о недобром то ли духе, то ли существе, которое крало женщин и утаскивало их в глухую чащу. Мне его показала в издательстве «Советский писатель» тогдашний секретарь редакции русской поэзии Лена Аршаруни. Ожидая кого-то, я минут за двадцать написал пародию:

Страшен волк, рысь страшна.
Только страшен не меньше
Н. Глазков — Чучуна,
Похищающий женщин...

Не помню, как там дальше развивались события, а концовка была примерно такой:

Он ведет их не в чащу,
Безрассуден и смел,
А под мышками тащит
В ресторан ЦДЛ!

Я оставил листок с текстом у Лены, а она потом перепечатала пародию для Глазкова, которая ему понравилась, и он, даря мне свои книги, почти всегда сочинял рифмованные посвящения.

Человек бесконечно добрый и отзывчивый, он, я знаю, не только мне присылал вырезки из календарей, газет и журналов с нашими творениями. Конечно же, Глазков знал, что мы купили или получили по почте эти издания, но, конечно же, он знал и то, сколь приятно будет его адресатам получить знак доброго внимания!

Возвращаясь к глазковским коллекциям, я хочу сказать о его настоящем хобби. Поэт всерьез коллекционировал водоемы: реки, моря, озера и т. п. Выходя к водному пространству любой категории, Глазков (если, конечно, оно не было покрыто льдом и градус тепла был не слишком близок к нулевой отметке) обязательно совершал в нем омовение или плавал. Причем заносил в свой реестр географическое название, дату и температуру. Каждый раз при встрече со мной — а я тогда тоже, правда, без фиксации на бумаге, увлекался освоением новых рек, морей и озер, считая своим долгом даже во время наших писательских поездок, так сказать, на бегу в них искупаться,— Глазков обстоятельно рассказывал мне, чем пополнило его список новое путешествие.

1966 год. Мы с одним литератором были в командировке в красавице Алма-Ате. Жили в новой шикарной гостинице. Стеклянные стены ресторана на первом этаже выходили во внутренний двор, середину которого занимал соблазнительный бассейнчик с фонтаном. Дело было в марте, и, естественно, эпитет «соблазнительный» я от-

ношу к жаркому южному лету. «Не может такого быть,— сказал я как-то своему коллеге,— чтобы летом сюда никто не нырнул!»

Слова эти оказались пророческими. Вскоре после нас в столицу Казахстана прибыла и разместилась в этой гостинице группа московских поэтов во главе с Михаилом Лукониным. К немалому удивлению и восторгу постояльцев и посетителей предприятия общепита в один из теплых деньков к бассейну невозмутимо подошел бородатый человек в плавках и погрузился в его зеленоватые воды. Конечно, у Глазкова потом были небольшие неприятности, но, думаю, он все же с гордостью занес в свои анналы и маленький пригостиничный водоем...

Часто Николая Глазкова хотят представить человеком благостным, надмирным. Он порою и выглядел таким на поверхностный взгляд. Однако его хитрющие глаза говорили об ином характере — надо было лишь приглядеться.

В начале шестидесятых годов я привез из Сибири цикл стихотворений о молодых городах и о молодежи, которая их воздвигала. Глазков посмотрел на мои творения под совершенно неожиданным углом: он укорял меня в том, что я слишком оптимистично смотрю на отношение человека к неповторимой сибирской природе, не думаю об ущербе, который нанесет ей рвение и самоотверженность моих героев. Он был сердит и даже гневен. А я, человек тогда еще весьма юный, был переполнен иными мыслями и впечатлениями. Право же, первый и единственный раз в жизни мне захотелось остаться на строительстве Байкальска, бросив любимую Москву, интересную работу! Жить в палатке на «диком бреге» среди своих одногодков, ежечасно борясь с каверзами дикой, не сдающейся на милость победителям природы!

Потом основа Байкальска — целлюлозный комбинат — стала приносить «славному морю» ощутимые бедствия. Забила тревогу пресса. Значит, раньше всех Глазков почувствовал эту опасность! Но чем же были виноваты энтузиасты, мои «арбатские сибиряки», если тогдашние руководители комбината халатно отнеслись к проблемам экологии: не продумали лесосплав, сэкономили на очистных сооружениях? Мой товарищ по этой сибирской поездке Владимир Костров тогда написал: «Создавая величье, мы рушим величье»,— имея в виду и Ангарск и Братскую ГЭС... Вероятно, в том давнем моем споре с Глазковым истина была посередине. Человек, осваивая новые края, не может не принести ущерба природе, но он обязан свести его к минимуму. Пусть Глазков был далек от реальности в раздумьях об этих необходимо-нужных деяниях — его тревога была, к сожалению, прозорливой.

Я очень смутно помню своего отца, погибшего в московском ополчении. Родившийся в 1937 году, я всегда неосознанно делил своих старших собратьев по перу на две категории: мог этот человек или не мог быть моим отцом? Думаю, что вся «безотцовщина» околовоенной поры смотрела на старших точно так же. Мне и в голову не приходило обратиться на «ты» к Смелякову, Светлову, Луконину, Слуцкому или назвать их панибратски: Яра, Миша, Боря... А вот Глазков своей, я бы сказал, детскостью снимал это «табу» — не помню, чтобы мои ровесники и более младшие по возрасту литераторы обращались к нему по имени-отчеству. Для всех он был — Коля. Его стихи, даже не опубликованные, мы знали на память. Если в этом — счастье поэта, то Николай Глазков познал его в огромной мере.

То ли замедленный, то ли протяжный говор, добродушная улыбка... Не знаю, запечатлен ли образ поэта в живописи, которой «единственной дано души незримые приметы переносить на полотно». Но в душах тех, кто его знал не только по стихам, он запечатлен — это точно. Вопреки известному утверждению, незаменимые люди всегда были, есть и будут.

Ни старому Арбату, ни мне никто не заменит Николая Глазкова — поэта божьей милостью. Наша общая доля — помнить о нем. На любимой улице москвичей я буду негромко читать стихи Глазкова, и пусть арбатские ветерки понесут их дальше — по столице, по Руси, по свету...

Давид Самойлов

У ВРАТ ПОЭТОГРАДА

Я познакомился с Николаем Глазковым в тридцать девятом году во дворе Литинститута. Был с ним в тот раз Юлиан Долгин. Они вместе составляли группу «небывалистов». Это было литературное направление, состоявшее, по сути, из двух человек. Но оно очень скоро раскололось на «небывалистов Востока» (Глазков) и «небывалистов Запада» (Долгин).

Я сразу же запомнил стихи Глазкова — те, которые он тогда читал.

Это самые ранние его стихи:

Там, где в северном сиянье
Меркнут северные льды,
Прилетели марсиане
И поставили шатры.
....Некий царь из тех династий,
Что боятся гнева масс,
Со своей царицей Настей
Улететь решил на Марс...

Здесь уже явственны глазковские черты — парадоксальность, естественность и ирония.

В раннюю пору, когда хочется скрыть в стихах швы ученичества, Николай Глазков (у которого швы эти не ощущались) во многом подчеркивает свою близость к Хлебникову. И парадоксальностью замыслов, и манерой держаться, и идеей Поэтограда — города поэтов, и названием «небывализм», придуманным им для обозначения избранного им направления.

В конце тридцатых годов мы вращались в каких-то смежных компаниях, и стихи Глазкова всегда были у меня, что называется, на слуху. И позднее, во время войны, не прерывалось мое соприкосновение с его поэзией. Сергей Наровчатов присылал мне стихи Глазкова, в том числе вот эти:

Я бродил по зоопарку,
Сунул палку в клетку с львом.
Лев набросился на палку
В озлобленье мировом.

Он изгрыз ее на части
В дикой ярости глупца.
В том и есть людское счастье,
Что у палки два конца.

Потом:

Люблю тебя за то, что ты пустая,
Но попусту не любят пустоту —
Мальчишки так, бумажный змей пуская,
Бессмысленную любят высоту.

Я знал, что он был в эвакуации в Горьком, окончил там пединститут, работал учителем. Будучи в Горьком после ранения, пытался разыскать Глазкова, но, видимо, адрес был неверный, и я его не нашел.

Регулярно мы с ним начали встречаться уже после войны. Когда я жил в Москве, на улице Мархлевского, Глазков приходил ко мне очень часто, искал обычно партнера по шахматам (Коля считал себя великим шахматистом). Я сам в шахматы не играл, но среди моих гостей находились те, кто готов был сразиться с ним.

Заходил к нам иногда академик Ландау. И однажды он встретился с Глазковым. Было это в начале 50-х годов. Ландау обычно называл себя «Дау», так и представился Коле.

— А я сегодня был на Ваганьковском кладбище и видел там могилу генерала Дау,— сказал Глазков, предварительно сообщив, что он «Г.Г.», что значит «Гений Глазков».

— Это не я,— отозвался Ландау, ничуть не удивившись, что перед ним гений.

— Я самый сильный из интеллигентов,— заявил Глазков.

— Самый сильный из интеллигентов,— серьезно возразил ему Ландау,— профессор Виноградов. Он может сломать толстую палку.

— А я могу переломить полено.

Так произошло знакомство двух гениев. Они дико понравились друг другу и сели играть в шахматы. Кажется, и стихи Глазкова, как и их автор, понравились Ландау.

В то время, в начале 50-х годов, Коля писал поэму «По глазковским местам». Мою жену звали Ляля, и он приписал к поэме такую строфу:

В Москве есть переулок Лялин,
На Курский он ведет вокзал.
Глазков, который гениален,
Его бы Ляλиным назвал.

Глазков очень долго жил на Арбате. Как и Окуджава, он был в общем-то арбатский человек, очень тактичный, мягкий, очень добрый. И очень хороший товарищ.

С середины 50-х годов Глазков начал печататься достаточно регулярно. В это время, однако, жизнь нас несколько развела. Но в 70-е годы мы все чаще и чаще вспоминали друг друга, начали постоянно переписываться. С тех пор, как я живу в Пярну, я, кажется, научился писать письма и считаю их одним из важнейших средств общения.

Последние пять лет его жизни мы много переписывались (самое последнее письмо Глазкова я получил, когда он уже умер). Я просил Колю, чтобы он присылал мне некоторые свои старые стихи. И он их регулярно присылал. Так составилась у меня «большая Глазковиана».

Трудно писать о Николае Глазкове, потому что и в поэзии редко встречаешься с необычным. Его стихи не просто известны двум поэтическим поколениям, но в творчестве многих он оставил свой след, много от него позаимствовали. Есть поэты, которые целиком происходят из Глазкова, из отходов Глазкова...

«Глазковское» всегда узнаваемо в чужих стихах. Впрочем, не назовешь прямых учеников и последователей Глазкова. Как трудно назвать и его учителей.

Он явился в конце тридцатых годов «готовым поэтом». Значительная часть написанного им тогда еще не известна читателю. Между тем ранний Глазков необычайно важен для понимания его образа и пути, достаточно протяженного, отнюдь не однолинейного. Его творчество развивалось на протяжении более сорока лет, он издал при жизни двенадцать книг, хотя «самой его» книги он так и не выпустил.

Наверное, проще всего выводить Глазкова из Хлебникова, с которым сближает его словотворчество, полное отсутствие «усилий стиля» и постоянное устремление к новаторству. Но, идя по пути очевидного, легко впасть в ошибку.

Глазков рано впитал в себя многие слои русской поэтической культуры и является одним из законных ее наследников. Он создал стих естественный и органический.

«Небывализм» — игра, первая из литературных игр Глазкова. Он вообще склонен к игре в самых разных значениях этого слова (шахматы, актерство). Игра составляет одну из сущностей его поэтической натуры.

Первый, «игровой» образ Глазкова — «юродивый Поэтограда», поэт хлебниковского толка. Но этот образ



На встрече с читателями 16 марта 1965 года

недолговечен, ибо Глазков, в отличие от Хлебникова,— поэт быта, жизненной фактуры. Поэтому, незаметно отходя от «небывализма», образ героя приобретает на некоторое время черты литературной богемы.

Герой Глазкова выступает чаще всего от первого лица и благодаря своей подлинности и высокой артистичности накладывается на образ автора — для читателя и как будто для него самого. Но это только впечатление от естественности игры и ее поэтического воплощения.

О том, что поэт ощущает «зазор» между собой и своим созданием, свидетельствует его знаменитая ирония. Он всегда видит себя со стороны и «снимает» слишком пафосные или слишком самоуверенные утверждения.

За строкой «Я юродивый Поэтограда» следует: «Я заплáчу для оригинальности...»

Как великий поэт
Современной эпохи,
Я собою воспет...

Но тут же:

Хоть дела мои плохи.

Самоирония — одно из самых частых проявлений «всеобщей» иронии Глазкова.

Ирония — чуть ли не первое, что отмечают пишущие

о нем. Она действительно и наглядна, и загадочна. Она многолика и всегда идет по какому-то опасному краю. Краю мудрости? Краю банальности?

Иронию часто определяют как вид насмешки, которой присущи спокойствие, сдержанность, видимость серьезности при несерьезном отношении к предмету. Спокойствие и сдержанность действительно присущи поэту, но дальше следует нечто противоположное: видимость насмешки при серьезности отношения. У Глазкова есть ирония пафосная, горькая, гневная, легкая, добрая. Назвать все ее оттенки — значит процитировать всего Глазкова.

Общая черта глазковской иронии — простодушие.

В рассуждениях о Глазкове любое определение может оказаться неполным. Он не только поэт-дитя, но и поэт-мудрец.

Он не только принадлежит себе, но и кровно связан с поколением. И для него важнейшей гранью жизни оказалось

Двадцать второе июня —
Очень недобрый день.

По особенностям биографии у него нет стихов батальных. Но стихи военных лет (хотя бы «Памяти Миши Кульчицкого») и поэма «Дорога далека» полны напряжения, глубокого переживания судьбы народа и Родины.

Образ жителя Поэтограда входит в противоречие с суровым бытом военных дней, и поэт с иронией (уже беспощадной) говорит о себе:

Я сам себе корежил жизнь,
Валяя дурака.
От моря лжи до поля ржи
Дорога далека.
Вся жизнь моя такое что?
В какой тупик зашла?
Она не то, не то, не то,
Чем быть должна!

Военные и ближайшие послевоенные годы были самыми трудными в жизни поэта. Но именно тогда созданы многие лучшие его вещи — поэмы «Одиночество», «По глазковским местам».

Интересно, что поэт не настаивал на публикации стихов того периода. Почему?

К середине 50-х годов в творчестве Глазкова происходит заметный перелом, обозначенный его первой книгой «Моя эстрада» (1957). В самом названии автор как бы объясняет принцип отбора стихов для этого сборника. Однако то, что было за гранью «эстрады», не вошло

и в последующие книги. Эстрадный момент (шуточность) оттесняется не прежним, а новым Глазковым, новым образом, новой игрой.

Автор из «великого поэта» постепенно превращается в «великого путешественника». Страстью его становятся путешествия — от самых малых до самых больших, героем — землепроходец, геолог, охотник, житель тайги и тундры. Там располагается теперь Поэтоград. В его стихи входит Природа, не игравшая роли в начальные, «урбанистические» периоды творчества.

Его причудливые сюжеты заменяются притчами, баснями с немалой долей нравоучительности. (Не влияние ли путешествий по Востоку?) Парадоксалист становится певцом здравого смысла.

Как это объяснить? Поисками ли более широкого читателя? Поисками ли истины и «правильной» жизни? Поисками ли новых жанров? Наверное, все это плюс еще множество других факторов, действующих в таинственном сознании поэта.

Основой всего, как мне представляется, было следующее важнейшее свойство поэзии Глазкова. При всей условности своих поэтических игр Глазков — поэт «фактуры жизни». Он тесно связан с современностью, но не в сфере абстрактных обобщений, а «снизу», в сфере жизненных факторов, и по-своему чутко отражает изменения в самом фундаменте жизни общества и государства. Перемена героя и объекта творчества означает новое ощущение «фактуры жизни» у поэта, всегда избегавшего лобовых решений темы.

Стихи не всякий разумеет,
Их проглотить не торопись.
Бывает, что стихи имеют
Еще второй и третий смысл.

Не будем и мы торопиться, определяя смысл изменений, произошедших в Глазкове зрелом по сравнению с Глазковым ранним. На этом поиске завершился его жизненный путь, и уже нам предстоит свести воедино, в единый портрет поэта все противоречивое, но уже закончившееся в нем.

При всех изменениях Глазков по-особому остается верен себе. К примеру, его парадоксальность. Она не исчезает вовсе. Поэт ищет ее в сопоставлении банальных истин со здравым смыслом. Результаты бывают вполне неожиданные.

Обычному романтическому восхвалению донкихотства он противопоставляет необычную формулу: «Но ветряная мельница сильнее Дон Кихота».

Здесь нет видимой печали, нет осуждения цивилизации, нет и сетований по поводу судьбы мученика идеализма. Вывод, который делает Глазков, полон здравого смысла: машина сильнее человека, но не может быть благородной и возвышенной. А дальше:

Мы благородней
                    и блаженней
Останемся, покуда
Компьютер самый
                    совершенный
Не причинит нам худа.

Поэзия здравого смысла всегда менее эффектна, чем поэзия алогизма и самовольных ассоциаций. Поэтому стихи зрелого Глазкова порой проигрывают на фоне его раннего творчества. Заметнее его срывы, особенно тогда, когда ироническая мудрость притчи оборачивается поверхностной шутливостью фельетона.

Поздний Глазков иначе, чем прежде, обозначает свою эстетическую позицию, соответственно новому поэтическому опыту.

«Небывалист» когда-то писал:

Славен, кто выламывает двери
И сквозь них врывается в миры...

Реалист пишет:

Авангардистов нынче многовато,
Лавина их выходит на дорогу.
Есть среди них хорошие ребята,
Которых, к сожалению, не много.

Впрочем, поэт не навязывает никому своих точек зрения. Он сторонник разумного отношения к разным точкам зрения, предполагает возможность их сосуществования.

Андрей Рублев прекрасен и толков,
Но не предатель Симон Ушаков:
И тот и тот достойны восхищенья.

Диалектика разумного и умеренного всегда лежала в основе глазковского миропонимания. Теперь она становится одним из принципов его поэтики.

При всех существенных изменениях, произошедших в поэте за несколько десятилетий его творчества, остается все же нечто, позволяющее говорить о единстве его образа и непрерывности пути. Глазков всегда остается самим собой, как нравственная личность. Меняется отношение поэта к социальной ситуации, к окружающему, меняется расположение его по отношению к жизненным ори-

ентирам, меняется способ применения поэтических средств. Но Глазков остается поэтом веры в добро, в развитие, в разум человека, в разумные основания жизни.

Глазков — поэт не события, а глубинного процесса. Он ищет органику жизни и всегда ощущает ее образно. Главными своими достоинствами в ранних стихах он называет откровенность и неподдельность. Это приложимо и к поздним его стихам. Добавим: откровенность иронии и неподдельность поэтической игры.

Размышляя о Глазкове, ощущаешь незаурядный масштаб этого поэта, его многогранность и сложность.

Довольно много сказано о глазковской иронии и почти ничего — о его патетике. Точные слова о патриотизме Глазкова, о его ощущении истоков («Волгино Верховье») сказаны Николаем Старшиновым в его предисловии к прижизненной книге поэта «Избранные стихи». Но ничего пока не написано об историзме Глазкова. Много сказано о его любви к природе, но ничего — о его понимании цивилизации и культуры. Отмечены его автопортреты, но не оценены его портреты современников.

Много еще предстоит узнать и сказать о Глазкове.

У меня костер нетленной веры,
И на нем сгорают все грехи.
Я поэт неповторимой эры,
Лучше всех пишу свои стихи.

Он действительно был предан «нетленной вере». И действительно лучше всех писал свои, глазковские, стихи.

Евгений Евтушенко

СКОМОРОХ И БОГАТЫРЬ

Существует определение «поэт для поэтов». Обычно так называют человека, не снискавшего громкой известности среди широких читательских масс, но тем не менее оказавшего влияние на коллег по перу более известных, чем он сам. Но в этом определении есть логическая неточность. Влияя на коллег, такой поэт через них оказывает влияние и на широкого читателя и, следовательно, уже не является «поэтом для поэтов».

Так называли когда-то Хлебникова. Действительно, в течение долгого времени Хлебников доходил до широкого читателя в основном преломленно — через Маяковского, считавшего его своим учителем и творчески разработавшего открытия «дервиша русской поэзии». Сейчас у Хлебникова все больше и больше прямых читателей, и все реже в статьях о нем употребляется эта сомнительная формула «поэт для поэтов».

В «поэтах для поэтов» долгое время ходил и Николай Глазков. Кстати, он в юношеские годы декларировал родство своей судьбы с судьбой Хлебникова.

Куда идем? Чего мы ищем?
Какого мы хотим пожара?
Был Хлебников. Он умер нищим,
Но Председателем Земшара.

Стал я. На Хлебникова очень,
Как говорили мне, похожий:
В делах бессмыслен, в мыслях точен,
Однако не такой хороший...

Пусть я ленивый, неупрямый,
Но все равно согласен с Марксом:
В истории что было драмой,
То может повториться фарсом.

Не проводя никакой аналогии между Хлебниковым и Глазковым, я все же замечу, что некоторые обстоятельства жизни у них были действительно сходны. Глазков еще с довоенных литинститутских времен был своеобразной знаменитостью — правда, кулуарной,— отчасти по

собственному пренебрежению к печатанию, отчасти по другим причинам. К читателю он прорывался опять-таки преломленно — через творчество своих товарищей — Кульчицкого, Луконина, а позднее Слуцкого и Межирова. Не случайно первая книжка стихов Межирова называлась «Дорога далека» по одноименной строчке Глазкова.

Я сам себе корежу жизнь,
Валяя дурака.
От моря лжи до поля ржи
Дорога далека.

Помню, как однажды во время разговора о силе интонации в становлении личности поэта Луконин вдруг озарился улыбкой, процитировав мне стихотворение Глазкова о футболистах, которое кончалось так:

Бегут они без друга, без жены...

И действительно, какая чистая, лукавая и в то же время грустная интонация. Так мог написать только Глазков.

Когда мне впервые попали в руки стихи Глазкова, то я буквально бредил его строчками, сразу запомнившимися наизусть,— так покоряюще они входили в душу. В них было то чудо естественности, когда прочтенное тобой немедленно становится частью тебя самого, и уже навсегда.

У молодости на заре
Стихом владели мы искусно,
Поскольку были мы за ре-
Волюционное искусство.

Я лез на дерево судьбы
По веткам мыслей и поступков.
Против меня были рабы
Буржуазных предрассудков...

Оставить должен был ученье,
Хоть я и так его оставил.
Я исключен, как исключенье,
Во имя их дурацких правил!

Ухудшились мои дела.
Была ученья карта бита.
Но Рита у меня была,—
Рита, Рита, Рита...

Студенты хуже школьников
Готовились к зачетам,
А мы всю ночь в Сокольниках...
Зачеты нам за чертом?

Зимой метель, как мельница,
А летом тишь да гладь.
Конечно, разумеется,
Впрочем, надо полагать...

Какие плавные ритмические переливы! Полное отсутствие профессиональной натуги. Написано как бы играючи, с веселым ощущением собственной силы. Иногда читаешь чьи-нибудь стихи и видишь, что они заранее как бы кибернетически вычислены. Но даже если такие стихи говорят о радости, то это не передается, ибо самая оптимистическая информация, переданная роботом, не заменит живую улыбку на лице живого человека.

Или так начинается повесть,
Или небо за тучами синее.
Почему ты такая — то есть
Очень добрая и красивая?

Необыкновенно простые, «миллионажды» повторявшиеся слова, но в каком обаятельном порядке они поставлены! И может быть, секрет поэзии не в изобретательстве «потрясных» метафор, а именно в обаянии порядка слов? Именно обаяние порядка слов, то есть поэтическая интонация, и дарит нам счастливое ощущение поэтической свободы. Ей-богу же, в глазковском шутливом четверостишии, написанном во время войны:

Живу в своей квартире
Тем, что пилю дрова.
Арбат, 44,
Квартира 22,—

больше воспетой Пушкиным «тайной свободы», чем в какой-нибудь дурного вкуса высокопарной оде на тему свободы, где автор находится в дохристианском рабстве у слов.

Поэтическая свобода начинается с освобождения от слов. Поэтическая свобода начинается с того, что поэт не вычисляет стихи, а выдыхает их, и его слова — это лишь часть его дыхания. И мы ведь не думаем, изящно мы дышим или нет, а просто дышим, иначе умрем. Но естественность дыхания — это лишь первое условие поэзии. Второе ее условие — естественность мышления, а естественность мышления — это уже мастерство. Только мастерство позволит отлить в строгие формы ту расплавленную хаотическую массу бушующих внутри нас маленьких и больших мыслей.

А счастья нет, есть только мысль,
Которая всему итог,
И если ты поэт, стремись
К зарифмованью сильных строк.

И одно из удивительных качеств Глазкова — это, не теряя естественности, в то же время уметь быть властелином хаотичности жизни, бросая на стол времени полновесные отливки афоризмов. «Чем столетье интересней для историка, тем для современника печальней», «Тяжела ты, шапка Мономаха, без тебя, однако, тяжелей», «Испугались мы не пораженья, а того, что не было борьбы», «Всем смелым начинаньям человека они дают отпор. Так бюрократы каменного века отвергли первый бронзовый топор», «Поэзия — сильные руки хромого», «Жил и был один кувшин. Он хотел достичь вершин, но не смог достичь вершин, потому что он кувшин». Какое редчайшее сочетание грубоватой маяковской обнаженности интонации и одновременно омархайямовской тонкости. Становится даже странно, что до Глазкова никто не написал этих строк, так они, казалось бы, сами напрашиваются на ум. Но это и есть мастерство. Поэт так накрепко вколачивает в наше сознание строки, что они кажутся выношенными нами лично.

У Глазкова нет придуманного лирического героя — гомункулуса, которого выводят в своих колбах безликие стихотворцы. Его герой — это Николай Иванович Глазков, 19-го года рождения, живший по указанному им арбатскому адресу.

Кто же такой — этот Николай Иванович Глазков?

Полнокровный, сильный человек, любивший жизнь, хотя и не умилявшийся ею и не баловавший ее сентиментальными излияниями. Таким он запомнился мне,— истинно русский человек, в котором было что-то и от скомороха, и одновременно от хитроумного богатыря Алеши Поповича. Он любил природу и любил людей. Ненавидел все проявления «мировой дури». Иногда придуривавшийся, иногда беспощадно к самому себе откровенный. Он мог хитро прищурить глаз и сказочку рассказать:

Решил господь внезапно, сразу:
Поотниму
У большинства людей по глазу
По одному.
Циклопы, вырвавшись из сказок,
Входили в моду,
И стали звать они двуглазок:
«Уроды»...
Двуглазки в меньшинстве остались,
И между ними
Нашлись, которые пытались
Глядеть одними.
Хоть это было неудобно
Двуглазым массам,
Зато прилично и подобно
Всем одноглазым...

И вдруг скоморошья дудочка превращается в богатырскую палицу:

Мужик велик. Как богатырь былин,
Он идолищ поганых погромил,
И покорил Сибирь, и взял Берлин,
И написал роман «Война и мир»!

И опять в руке скоморошья дудочка:

Прекрасно отразить двадцатый век
Сумел в своих стихах поэт Глазков,
А что он сделал, сложный человек?
Бюро, бюро придумал... пропусков!

Можно легко упрекнуть поэта в преувеличении вакхических мотивов: «В Поэтограде так же вот работает винопровод». Но Пастернак в вольном переводе Леонидзе точно сказал когда-то: «Не разлучайте песен с веком, который их сложил и пел». По иным рациональным меркам и лицейские стихи Пушкина печатать не стоит... Не будем ориентироваться на неблагожелательных читателей — их, слава богу, меньшинство. Надеюсь, что самый широкий, благожелательный читатель увидит в стихах Глазкова главное: его преданность, беспредельную преданность поэзии, его надежду на то, что его стихи сослужат добрую службу людям. Надеюсь также, что читатель оценит богатырскую силу этого поэта со скоморошьей дудочкой в руках, и никто не назовет его «поэтом для поэтов». В его жизни многое не свершилось, как того он хотел, но в наследии Глазкова есть строки, которые навсегда останутся в памяти тех, кто любит русскую поэзию.

Юношеские опасения Глазкова были напрасны: фарса не получилось, ибо скоморох и богатырь в одном лице — это фигура поистине драматическая, то есть истинный поэт.

Эдуардас Межелайтис

В каждой литературе есть люди, призванные открывать новые возможности языка, новые грани слова. Это — пролагатели путей, прорубатели просек. Слава и признание приходят к ним чаще всего поздно — но приходят!

Таким был в нынешней русской поэзии Николай Глазков. Его неповторимые интонации, его умение придать слову многозначность, его стремительный и летучий стих — все это станет неотъемлемой частью поэтического арсенала великой русской литературы.

Я не часто встречался с ним, но каждая встреча с человеком оригинального и глубокого ума, острого и яркого таланта — запомнилась. Я надеюсь на новые встречи с Николаем Глазковым на страницах его будущих книг.

Бенедикт Сарнов

ВЕЧНЫЙ РАБ СВОЕЙ СВОБОДЫ

1

Как все москвичи, я и дня, даже часа не могу прожить без телефона. Если и уезжаю куда,— сразу к телефону: звонить в Москву. Но есть на Земле одно место, где такая потребность почему-то даже не возникает. Лишь только вздрогнет привычно сердце, когда полоснет по глазам слепящая синева моря и мелькнут вдали четко вырезанные в густой синеве неба очертания горы Сюрюк, вся московская жизнь со всей ее суетой мгновенно вырубается из сознания. И лишь недели две спустя после приезда вдруг возникает ленивое, как сквозь сон: позвонить, что ли?

Так было и на этот раз. Поплелся на почту, сунул в автомат пятиалтынный. Услышал далекий голос приятеля.

— Ну, что нового? — спросил, ожидая получить в ответ привычное: «Да ничего». Так тоже бывает всегда: тебе кажется, что прошло уже бог весть сколько времени, а там, в Москве, эти две недели промелькнули, как миг.

Но вместо ожидаемого «да ничего» или «ничего особенного» — голос из Москвы ответил:

— Умер Коля Глазков.

Мы не только не были близкими друзьями, но и знакомы-то были не близко. Знали друг друга, как все бывшие литинститутцы, вот и все. Но оказалось, что слова эти — «Умер Коля Глазков» — значили для меня гораздо больше, чем сообщение о смерти знакомого человека, к тому же почти сверстника.

Нечто похожее я почувствовал, когда узнал о смерти Михаила Светлова и Ксении Некрасовой, которых знал уже совсем мало. И он и она принадлежали к числу московских достопримечательностей. С их уходом жизнь моего города стала беднее: навсегда ушла еще одна краска, без которой м о я Москва была уже не той Москвой, что прежде.

Но смерть Глазкова значила для меня больше. Го-

раздо больше. Чувство было такое, словно от меня оторвался и уплыл навсегда какой-то кусок моей собственной жизни.

Так оно, в сущности, и было.

Из всей моей литинститутской жизни (а там было много всякого, и хорошего, и плохого) ярче всего мне запомнилась лестница и подоконник. На этом подоконнике, возле этого подоконника шла главная наша жизнь. Если я и научился чему-нибудь в Литинституте, так именно вот здесь, на этом подоконнике.

Конечно, и на лекциях я узнал много важного и интересного. Да и могло ли быть иначе, если лекции нам читали С. М. Бонди, А. А. Реформатский, В. Ф. Асмус... Но все это я бы мог узнать, если бы учился и в другом каком-нибудь институте, скажем, на филфаке МГУ. А вот то, что происходило на подоконнике...

Здесь читали стихи. Нет, даже не стихи: строфы, строчки. Осколки, обрывки чьих-то стихов. Смысл (тем более контекст, из которого вырывались эти строки-осколки) был почти не важен. Важны были строки сами по себе. Их плоть (плотность). Строки пробовались на вкус: их повторяли, отчаянно воя, как это делают почти все поэты, воем стараясь заглушить не самые обязательные, не самые точные слова. Но как бы ни завывал очередной чтец, почему-то сразу было ясно, какие строки бездарны, а какие талантливы.

Я думаю, что именно эти сборища возле подоконника сделали так, что я до сих пор ощущаю себя и своих коллег, кончивших университет, людьми разных профессий. Для литератора, получившего нормальное филологическое (а не литинститутское — на подоконнике) образование, поэтический текст существует как единство, как нечто целое. А мы сразу начинали постигать существо поэзии на клеточном, молекулярном уровне. Некоторые «молекулы» запомнились с того времени на всю жизнь:

Нас хоронила артиллерия...

Здесь прошелся загадки таинственный ноготь...

...И в кибитках, снегами,
Настоящие женщины
Не поедут за нами...

Легкой жизни я просил у бога,
Легкой смерти надо бы просить...

А пока мы не в Поэтограде
И проиграна наша игра,
Вы наденете платье
Цвета черного бутылочного стекла...

Некоторые из строк, запомнившихся с тех времен, стали потом знаменитыми, вошли в однотомники и двухтомники. А иные так и остались навек безымянными. Например, вот это:

Мой товарищ! В смертельной агонии
Не зови ты на помощь друзей.
Дай-ка лучше погрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.

И не плачь ты от страха, как маленький.
Ты не ранен. Ты только убит.
Дай я лучше сниму с тебя валенки:
Мне еще воевать предстоит.

Солдат, греющий руки над кровью убитого товарища... Какой неестественный, эстетский, даже кощунственный образ! Но мы были молоды. Нам нравилось все резко необычное, ошеломляющее своей неожиданностью.

Мелькали имена поэтов. Иногда известные. Чаще — неизвестные. Но некоторые имена, которые мне решительно ничего не говорили, другим, видно, говорили многое. И вот, помню, когда я спросил про какие-то особенно поразившие меня строчки: «А кто это?» — мне ответили: «Глазков». Тон ответа был такой, что спросить: «А кто он, этот Глазков» — было совершенно невозможно. Так говорят о поэте, известность которого не вызывает сомнений.

Я промолчал. Может быть, даже промямлил понимающе: «А-а». Знаю, мол. Но кто-то из старожилов подоконника сжалился над моим невежеством, и на меня обрушился поток стихов и не менее мощный поток легенд, вспоминать которые сейчас не имеет смысла, поскольку они уже давно разошлись по свету и известны отнюдь не только избранным.

А потом я увидел Глазкова.

Это, надо сказать, тоже было впечатление не из слабых.

Описать это впечатление я, вероятно, не смогу: нету у меня такого изобразительного дара. Но худо-бедно передать его попытаюсь.

Главное в этом впечатлении было то, что передо мной — человек во всех отношениях необыкновенный. Не такой как все. «Не от мира сего»? Пожалуй... Как все настоящие поэты, которых мне посчастливилось видеть: Пастернак... Самуил Галкин... Ксения Некрасова... Резкая печать необычности лежала на каждом из них. Разве только Борис Слуцкий производил впечатление полной, абсолютной нормальности. Даже заурядности. Но впоследствии выяснилось, что он лишь казался таким. А на деле тоже был странным, как всякий истинный поэт.

Просто странность его была другого рода. Он *притворялся* заурядным.

Глазков не притворялся. Может быть, только в его железном рукопожатии и вообще в том значении, какое он придавал своей физической силе, угадывалось тайное желание опровергнуть собственное горделивое утверждение, будто бы он, Глазков, «кроме стихов ни на что не годен».

Это свое первое впечатление о Глазкове как человеке необычном, не таком как все я вспомнил много лет спустя. Вот при каких обстоятельствах.

На Мосфильме должен был сниматься фильм о Чернышевском. И режиссер решил (в порядке эксперимента) на роли Некрасова и Достоевского пригласить не профессиональных актеров, а писателей. На роль Некрасова пробовался драматург Александр Хмелик, а на роль Достоевского был приглашен Коля Глазков.

Фильм этот был запрещен чиновниками из Госкино, и работа над ним прекращена. Судить о том, что вышло бы из этого начинания, если бы оно было доведено до конца, крайне трудно. Одно могу сказать: сценарий был интересный. Но даже хороший сценарий, как известно, не может служить гарантией, что на его основе будет снят действительно хороший фильм: литературная основа определяет многое в будущем фильме, но, увы, не все. Но как бы то ни было, вспоминая об этих пробах, я до сих пор испытываю острое сожаление, что фильм этот не был завершен и не вышел на экран. Один коротенький эпизод, в котором появлялся Глазков-Достоевский, оправдал бы существование этого фильма, даже если бы в остальном режиссера-постановщика постигла полная неудача.

Достоевский в показанных нам кинопробах действовал там лишь в одном эпизоде. Но эпизод этот был очень важный, пожалуй, даже ключевой. Если не ошибаюсь, именно этим эпизодом должен был начинаться будущий фильм.

В основу эпизода сценарист положил известный факт, описанный в мемуарной заметке Н. Г. Чернышевского «Мои свидания с Ф. М. Достоевским». События, о которых идет речь в этой заметке, происходили в самом начале июня 1862 года. Обстановка в Петербурге была тогда крайне напряженная, даже тревожная. Страшные пожары, начавшиеся 16 мая и продолжавшиеся две недели, совпали с появлением прокламации «Молодая Россия». Прокламация эта призывала к беспощадному, полному разрушению социального и политического строя России, истреблению «императорской партии» и царской

фамилии. По городу были пущены слухи о причастности к поджогам революционной студенческой молодежи.

Именно это и побудило Достоевского нанести Николаю Гавриловичу Чернышевскому свой, мягко говоря, экстравагантный визит.

Вот как рассказывает об этом необычном визите сам Чернышевский:

«Через несколько дней после пожара, истребившего Толкучий рынок, слуга подал мне карточку с именем Ф. М. Достоевского и сказал, что этот посетитель желает видеть меня. Я тотчас вышел в зал; там стоял человек среднего роста или поменьше среднего, лицо которого было несколько знакомо мне по портретам. Подошедши к нему, я попросил его сесть на диван и сел подле со словами, что мне очень приятно видеть автора «Бедных людей». Он, после нескольких секунд колебания, отвечал мне на приветствие непосредственным, без всякого приступа, объяснением цели своего визита в словах коротких, простых и прямых, приблизительно следующих: «Я к вам по важному делу с горячей просьбой. Вы близко знаете людей, которые сожгли Толкучий рынок, и имеете влияние на них. Прошу вас, удержите их от повторения того, что сделано ими». Я слышал,— пишет далее Чернышевский,— что Достоевский имеет нервы расстроенные до беспорядочности, близкой к умственному расстройству, но не полагал, что его болезнь достигла такого развития, при котором могли бы сочетаться понятия обо мне с представлениями о поджоге Толкучего рынка. Увидев, что умственное расстройство бедного больного имеет характер, при котором медики воспрещают всякий спор с несчастным, предписывают говорить все необходимое для его успокоения, я отвечал: «Хорошо, Федор Михайлович, я исполню ваше желание». Он схватил меня за руку, тискал ее, насколько доставало у него силы, произнося задыхающимся от радостного волнения голосом восторженные выражения благодарности мне за то, что по уважению к нему избавлю Петербург от судьбы быть сожженным, на которую был обречен этот город...»

Примерно так все это и происходило на экране [1]. С той только разницей, что зрителю не было ничего известно об обстоятельствах, предшествовавших этому

---

[1] Из воспоминаний режиссера-постановщика этого фильма В. Строевой читатель узнает, что описываемый мною эпизод в фильме не снимался. Но это не противоречит моим воспоминаниям. Тут все дело в том, что В. Строева рассказывает о *съемках* фильма, я — о *кинопробах*, которые *предшествовали* началу съемок. В процессе уже начавшейся работы над фильмом до съемок этого эпизода дело не дошло. Но в кинопробах этот эпизод был снят (разумеется, вчерне).

странному визиту (прокламации, слухи, распространившиеся по городу, и т. п.), отчего вся ситуация становилась еще более драматической и эксцентричной.

Я прошу извинить меня за это несколько затянувшееся отступление, но мне хотелось, чтобы читатель как можно яснее представил себе всю сложность актерской задачи, стоявшей перед Глазковым,— задачи, которая могла бы оказаться не по плечу и актеру-профессионалу даже самого высокого класса.

Но Глазков-Достоевский был так убедителен в этой роли, он был так искренно одержим своей «сверхценной» идеей, так естественно сочетались во всем его облике и поведении огромная сложность проделываемой им душевной работы и наивное простодушие, так трогательно верил он в свою миссию, так был естествен, так органичен и по-своему привлекателен, несмотря на очевидное безумие завладевшей им идеи, что совершенно покорил немногих зрителей, сидевших в просмотровом зале. А зрители эти (члены художественного совета), надо сказать, были люди весьма искушенные в делах актерских и поначалу относились весьма скептически к сомнительному эксперименту режиссера, решившего поручить столь сложную роль непрофессионалу.

Не могу сказать, чтобы Глазков на экране был внешне так уж похож на Достоевского. По-моему, его почти не гримировали: только борода напоминала о том, кого он изображал. (В жизни, кажется, он тогда еще был безбородым.) Но ощущение у меня было такое, словно я увидал живого Достоевского. Достоевский, думается, был внешне более благообразен. Но это было как бы живое воплощение самого д у х а Достоевского, его исключительной нервной энергии, его уникального сознания. И главное, было ощущение, что перед вами человек — совершенно необыкновенный и безусловно гениальный.

Можно ли «сыграть» гениальность?

Не знаю. Вероятно, можно. По крайней мере, мне часто случалось видеть актеров, которые в жизни были не бог весть какого ума, а играли мыслителей, мудрецов, и в мудрость созданных ими персонажей безусловно верилось.

Но Николай Глазков не играл гениального человека. И он не пытался сыграть необыкновенного человека. Он сам был необыкновенным человеком, поэтому ему только и оставалось, что быть самим собой. Что он и делал.

Александр Константинович Гладков, вспоминая о Михаиле Светлове, высказал сожаление, что почти во всех

попытках нарисовать портрет Светлова — «...исчезла его внутренняя некоторая загадочность, которая была ему свойственна и которая не определяется «чудачеством» и многими жизненными привычками, для которых традиционное слово «богемность» является самым пристойным эвфемизмом. Сама эта «богемность» на фоне самой антибогемной действительности была чем-то удивительным и едва ли не вызывающим».

К Николаю Глазкову это можно отнести, пожалуй, даже с большим основанием, чем к Светлову. Вот только слово «вызывающим» тут не совсем подходит. Может быть, человеческий облик Глазкова и некоторые особенности его жизненного поведения и выглядели вызывающими. Но в них не было и тени сознательного вызова — того, что принято называть эпатажем. Просто он был таким, каким был, и ему трудно было бы — просто невозможно! — стать другим.

Я не смогу сказать об этом лучше, чем сказал тот же А. К. Гладков в тех же своих воспоминаниях о Светлове:

«Настоящий поэт живет так, как это ему нужно, чтобы хорошо писать стихи».

2

Сам Глазков сформулировал такой критерий «качества»:

Что такое стихи хорошие?
Те, которые непохожие.
Что такое стихи плохие?
Те, которые никакие.

Вот этим критерием и будем руководствоваться.

Южносахалинская тайга
Разрослась по сопкам и ущелью —
И печаль познала и веселье
Южносахалинская тайга.

Поезда не ведают безделья,
А над ними падают снега.
Называясь иногда метелью,
Кружится свирепая пурга.

Радуют от снега загражденья,
А вокруг веселые растенья,
Тронутые зимней сединой.

Осень золотая отступила,
В чаще леса грустно и уныло
Улюлюкнет ветер ледяной.

И по части содержания, и по части формы тут все в порядке. Нарисована картина. Неплохо нарисована. Рифмы, размер, «склад и лад» — это все есть. А начальные буквы строк, из которых состоит четырнадцатистишие (сонет), складываются в посвящение: ЮРИЮ ПАНКРАТОВУ.

При всем при том стихи эти, по меткому слову самого Глазкова,— никакие.

Они вполне профессиональны, и литконсультант, разбирая их, вероятно, отметил бы даже какие-то поэтические (а не только формальные) их достоинства. Скажем, строчку: «Улюлюкнет ветер ледяной».

Но для того чтобы сочинить такое стихотворение, не надо быть Глазковым. Такое может сочинить любой грамотный версификатор.

А вот такое мог сочинить только Глазков. Только он, и никто другой:

Лез всю жизнь в богатыри да в гении,
Небывалые стихи творя.
Я без бочки Диогена диогеннее:
Сам себя нашел без фонаря.

Знаю: души всех людей в ушибах,
Не хватает хлеба и вина.
Даже я отрекся от ошибок,—
Вот какие нынче времена.

Знаю я, что ничего нет должного...
Что стихи? В стихах одни слова.
Мне бы кисть великого художника:
Карточки тогда бы рисовал...

Или даже — такое:

И неприятности любви
В лесу забавны и милы:
Ее кусали муравьи,
Меня кусали комары.

Превыше всего на свете ценит Глазков простодушную откровенность, непринужденность, полное отсутствие не только что лицемерия или ханжества, но даже такой, в общем простительной формы зависимости, как зависимость от некоторых общепринятых условностей:

«Аз тебе хоцю!» — писал писалом
На берёсте грамотный мужик.
Был, наверно, откровенным малым
И в любви желанного достиг.

Так непринужденно, откровенно
И нелицемерно хорошо
На берёсте до него, наверно,
Милой не писал никто еще!

Это удивительно похвально,
Что сумел он грамоту постичь
И сказать так просто, гениально,
Чтоб в любви желанного достичь:

— Аз тебе хоцю!..—
Здесь взлет отваги,
Честное влечение души...

Мой коллега-лирик, на бумаге
Попытайся лучше напиши!

Поистине такой совет легче дать, чем исполнить. Легко было ему, этому едва постигшему грамоту новгородскому мужику, быть таким простодушно-естественным! А современному поэту, пишущему не на бересте, а на бумаге, да еще помышляющему о ротационных машинах, обращающемуся не к одному единственному корреспонденту (женщине, любви которой он домогается), а к читателю,— ему разве под силу такое! О таких пустяках, как зависимость от мнений и вкусов редактора, я уж и не говорю. Помимо этих, *внешних* форм зависимости хватает и других: скажем, зависимость от груза литературных приемов и традиций, от моды, от общепринятых норм и правил «хорошего тона», наконец.

Не то что написать *лучше*, чем сделал это безымянный новгородец, но даже просто достичь того, чего с такой легкостью достиг он, современнику нашему, да еще сделавшему *писание* своей профессией,— немыслимо. Невозможно.

Но Глазков сумел справиться с этой, казалось бы, недостижимой задачей. Он написал примерно на ту же тему, может быть, и не лучше того неведомого новгородца, но во всяком случае *не хуже*. По крайней мере так же безыскусственно и откровенно:

Ни одной я женщины не имел
И не ведал, когда найду.
Это было на озере Селигер
В 35-м году.

Тиховодная гладь, байдарка и прочее,
Впрочем, молодость хуже, чем старость,
А была очень умная лунная ночь,
Но дураку досталась.

Эта ночь сочетала прохладу и зной,
Тишь, безлюдье, в байдарочном ложе я,
И чудесная девушка вместе со мной,
Изумительная, хорошая.

А вокруг никого, кто б меня был сильней,
Кто бы девушку мог увести,

И я знал, что очень нравился ей,
Потому что умел грести.

А грести очень я хорошо умел,
Но не ведал, что счастье так просто.
А весло ощутило песчаную мель
И необитаемый остров.

Это ночь не моя, это ночь его,
Того острова, где был привал.
А вокруг никого, а я ничего,
Даже и не поцеловал.

И такие хорошие звезды висят,
Вместе с девушкой на берегу я,
Мне хотелось облапить ее и взять,
Незабвенную, дорогую.

Мне бы лучше не видеть ночью ее,
А ходить одному по болотам,
А вокруг никого, а я ничего —
Вот каким я был идиотом.

2 сентября 1908 года Лев Толстой написал письмо Леониду Андрееву, в котором высказал, как он сам выразился, свои «мысли о писательстве вообще».

«Думаю,— говорил в этом письме Толстой,— что писать надо, во-первых, только тогда, когда мысль, которую хочешь выразить, так неотвязчива, что она до тех пор, пока, как умеешь, не выразишь ее, не отстанет от тебя. Всякие же другие побуждения для писательства, тщеславные и, главное, отвратительные денежные, хотя и присоединяющиеся к главному, потребности выражения только могут мешать искренности и достоинству писания. Этого надобно очень бояться. Второе, что часто встречается и чем, мне кажется, часто грешны особенно нынешние современные писатели (все декадентство на этом стоит), желание быть особенным, оригинальным, удивить, поразить читателя. Это еще вреднее тех побочных соображений, о которых я говорил в первом...»

Процитированные выше стихи Глазкова о том, что «было на озере Селигер»,— это как раз те стихи, «которые непохожие». Но желания быть особенным, оригинальным, поразить, удивить читателя — этого ненавистного Толстому, но, увы, и по сей день свойственного многим поэтам желания, в них нету и в помине. Особенность, непохожесть на что бы то ни было и кого бы то ни было возникает у Глазкова непроизвольно, как естественный результат простого желания поэта сказать т о, что ему хочется, и т а к, как ему хочется.

Лирическое обаяние этого стихотворения в том, что поэт не боится быть самим собой, не стыдится своих

чувств, какими бы «неприличными» они ни казались. Говоря проще, он не боится быть искренним.

Эта предельная (иногда даже запредельная) искренность многим казалась — а кое-кому, быть может, и сейчас покажется — граничащей с цинизмом.

Но такой вывод был бы глубоко ошибочным. Он может быть рожден лишь полным непониманием самой сути художественного мышления Николая Глазкова.

Чтобы как можно нагляднее, даже контрастнее продемонстрировать особенности этого художественного мышления, приведу отрывок из стихотворения одного забытого поэта, в опыте которого те особенности художественного мышления Глазкова, о которых я говорю, были доведены до последнего предела:

Пышны юбки, алы губки,
Лихо тренькает рояль...
Проституточки-голубки,
Ничего для вас не жаль...

Кто назвал разгул позором?
Надо думать, что — дурак!
Пойте, девки, песни хором!
Пейте, ангелы, коньяк!..

Все на месте, всяк за делом,
И торгует всяк собой:
Проститутка статным телом,
Я — талантом и душой!

И покуда мы здоровы,
Будем бойко торговать!
А коль к нам ханжи суровы,
Нам на это наплевать!

Стихотворение принадлежит Александру Тинякову и взято из его «Третьей книги стихов» («Аз, есмь сущий»), вышедшей в 1925 году в Ленинграде.

Эта книжка возмутила многих своим откровенным цинизмом. Про стихи Тинякова говорили: «Это он — о себе». Автор возражал: «Конечно, я писал и о себе (что бы я был за урод, если бы мне чужды были переживания, изображенные в моей книге!) — но все же больше я писал о тебе, читатель-современник».

Как бы то ни было, от стихов Тинякова несомненно веет цинизмом. В иных из них словно бы заговорил сам, собственной персоной — человек из подполья Достоевского. Тот самый, который откровенно сказал о себе: «Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить!»

Глазков, при всей обнаженной откровенности своих лирических высказываний, циником отнюдь не был. В его

возгласе — «Вот каким я был идиотом!» — больше целомудрия, чем цинизма.

Почему же, говоря о Глазкове, я вдруг вспомнил Тинякова?

Ну, во-первых, иногда бывает полезно пояснить свою мысль противопоставлением, а не сопоставлением. А кроме того, отнюдь не будучи циником, Глазков иногда заходил очень далеко на пути озорного эпатажа, беспощадного, насмешливого саморазоблачения:

От врага не надо ждать добра,
И во времена царей Гвидонов
Богатырь дубовую дубину брал,
Чтобы в чистом поле бить тевтонов.

Он садился на добра коня,
В кабаках девчонок всех покинув,
А потом, тевтонов прогоня,
Возвращался в стольный город Киев...

Лучше всех был Муромец Илья.
За зело разбойные подвохи
Он сгубил злодея-соловья...
Это было при царе Горохе.

Богатырь поэт Н. И. Глазков!
Что твердишь про времена боярства?
Почему не едешь бить врагов?
Али забоялся?

Забоялся.

Поди угадай, чего тут больше — искреннего самоуничиженья или лукавой усмешки, веселого озорства.

У Глазкова эта грань сплошь и рядом неуловима. Да он и не скрывает этого:

Я поэт или клоун?
Я серьезен иль нет?
Посмотреть если в корень,
Клоун тоже поэт...

Трудно в мире подлунном
Брать быка за рога.
Надо быть очень умным,
Чтоб сыграть дурака.

Сплошь и рядом Глазков делает вид, что «валяет дурака», в то время как на самом деле он — глубоко серьезен:

Струился дождь неутомимый
По головам и крышам,
Когда я с женщиной любимой
Из дома вышел...

И я сказал:
— Дождь! Не иди!
Ты видишь: я иду!
С любимой я, а не один,
Имей ее в виду!

Поэта дождь послушался
И капать перестал,
Лишь ручейки да лужицы
Омыли тротуар.

Тогда любимая, смеясь,
Спросила вдруг:
— Какая связь
Между дождем и словом? —

И я хотел ответить ей,
Что я, поэт, сильней дождей...
Но дождь закапал снова.

Казалось бы, шутка. Непритязательная и не слишком глубокая. Добродушная насмешка над наивной детской верой в то, что «поэт сильней дождей».

На самом деле шутка эта горька. В ней — глубинная, неизбывная тоска по тем временам, когда

Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

С виду такой невинный вопрос спутницы поэта:

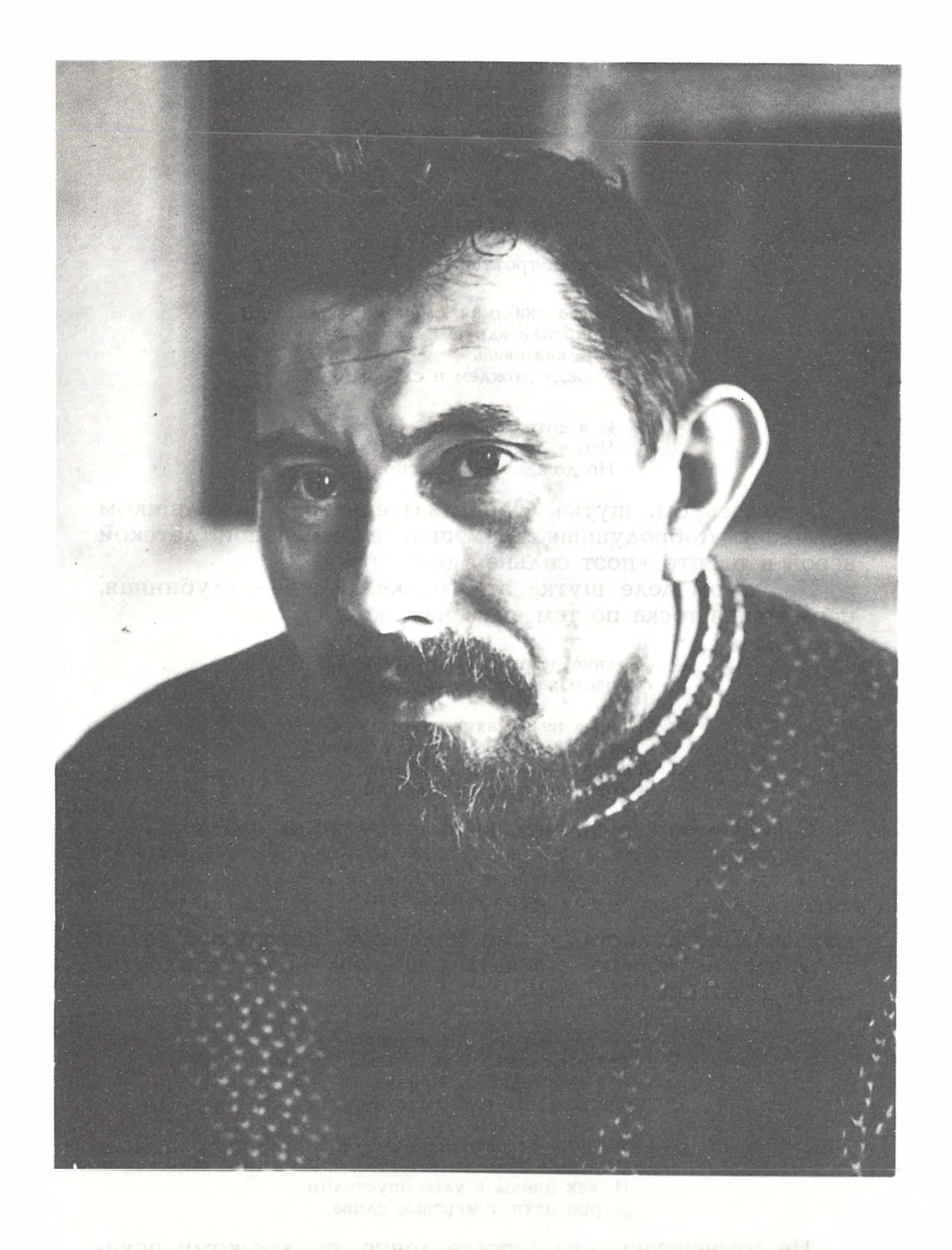
— Какая связь
Между дождем и словом? —

выразил, в сущности, ту же коллизию, которую с такой поэтической мощью запечатлел в этом своем стихотворении Николай Гумилев:

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангельи от Иоанна
Сказано, что слово это Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

Не сомневаюсь, что сопоставление это кое-кому покажется натяжкой, быть может, даже кощунственной. Но Глазков, словно бы нарочно предупреждая сомнения та-



Николай Глазков в Тамбове. Конец 1960-х годов

кого рода, вновь вернулся к той же теме, на сей раз не «валяя дурака», а всерьез. И выразил ее если не с той же силой, что Гумилев, то, во всяком случае, с той же определенностью и страстью:

Слово — мир особый и иной,
Равнозначный названному им.
Если слово стало болтовней,
Это слово сделалось плохим.

Это слово пагубно стихам,
Это слово — дом, который сгнил.
Лучше бы его я не слыхал,
Не читал, не знал, не говорил.

Не исключено, что уподобление пустого слова «дому, который сгнил», прямо связано с гумилевским уподоблением мертвых слов дурно пахнущим (то есть сгнившим) пчелам в омертвелом улье. Не исключено также, что «волшебство» заклинания («Дождь, не иди!») в стихотворении Глазкова не подействовало потому, что в основе этого возгласа лежал неподлинный, ложный стимул: кокетство перед любимой женщиной, желание поразить ее, произвести впечатление, доказать, что «он, поэт, сильней дождей». «Солнце останавливали словом», повинуясь другим, более насущным и более мощным стимулам.

Как бы то ни было, пафос у Глазкова — тот же, что у Гумилева: слово становится смрадной болтовней, «гнилым домом», если в основе творчества поэта лежат неподлинные, ложные стимулы.

Из тех разнообразных форм зависимости художника от ложных стимулов творчества, о которых говорил Толстой в своем письме Леониду Андрееву, едва ли не самый распространенный — желание отвечать вкусам и требованиям большинства читающей публики в данное время. «Это,— говорит Толстой,— особенно вредно и разрушает вперед уже все значение того, что пишется».

Вкусы и требования читающей публики могут быть весьма разнообразны. Вожделения одной категории читателей складываются в знаменитую формулу мадам Мезальянсовой: «Сделайте нам красиво!» Другие, напротив, жаждут всякого рода откровенностей, грубостей, натурализмов и антиэстетизмов. Третьи хотят чего-нибудь позаковыристее, дабы, разгадав поэтическую метафору как некий ребус, тешиться своим уменьем ориентироваться в мутном поэтическом тумане. Есть, правда, и другие читатели, претензии которых звучат на первый взгляд более осмысленно и даже разумно.

Скажем, так:

Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит,
Как своенравный чародей?
Как ветер, песнь его свободна,
Зато, как ветер, и бесплодна:
Какая польза нам от ней?..
Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев исправляй...
Гнездятся клубом в нас пороки,
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.

Николай Глазков в совершенстве владел стихом и для него не составило бы большого труда с тою же легкостью, с какой он сочинял свои стихотворные посвящения друзьям-приятелям, а то и просто случайным знакомым, срифмовать что-нибудь в духе этих, между нами говоря, довольно скромных требований. Вместо странноватых рассуждений о том, что он «Диогена диогеннее» и «сам себя нашел без фонаря», сочинить что-нибудь более осмысленное и полезное. Ну, хотя бы в таком роде:

Товарищи люди,
Будьте культурны!
На пол не плюйте,
А плюйте в урны.

А вместо «скоромных» стишков о неприятностях любви в лесу,— что-нибудь назидательное в духе известных поучений:

Любовью дорожить умейте,
С годами дорожить вдвойне...
И т. п.

Почему же он этого не делал?,

3

Простой вопрос этот он сам задавал себе неоднократно.

Соблазны такого рода то и дело возникали в его воображении. Но ответ неизменно был один и тот же:

— Не считаясь с тем, что говорят,
Ты нуждаешься в насущном хлебе.
Хочешь — и не будет звезд на небе.

Дам тебе за это миллиард.
Все откроются перед тобой пути,
И тебя признает вся страна,

— Отойди
От меня сатана.

Этот диалог поэта с дьяволом (стихотворение так прямо и называется: «Поэт и дьявол»), по правде говоря, сперва озадачивает. То, что поэт, отчаянно нуждающийся в насущном хлебе, отказывается даже и за миллиард отступиться от своих художественных прихотей,— это нас в конце концов не слишком удивляет. Другое дело — всенародное признание. Какой поэт не хочет признания, да еще не какой-нибудь там кучки избранных ценителей, а всей страны.

Были, конечно (в прежние времена), и такие чудаки, откровенно пренебрегавшие признанием народа:

Люблю людей, люблю природу,
Но не люблю ходить гулять,
И твердо знаю, что народу
Моих творений не понять.

(В. Ходасевич)

Но Глазков — не из их числа. Он признанием народа пренебрегать отнюдь не склонен. Просто он убежден, что этого самого признания можно достичь лишь одним-единственным способом:

Рассчитывая на успех,
Желая отразить эпоху,
Поэт сложил стихи для всех.
Жена прочла, сказала: — Плохо!

Тогда одной своей жене
Поэт сложил стихи другие.
И оказалось: всей стране
Потребны именно такие.

Может быть, это шутка. Но в каждой шутке, как известно...

Впрочем, вот стихи, в которых та же мысль утверждается уже отнюдь не в шуточной форме:

Но если путь к иным победам
Я предпочту иным дорогам,
Тогда не буду я поэтом,
Тогда не буду я пророком.

Я обрету людей степенность,
Я принесу немало пользы,
Меня признает современность;
Но обо мне забудут после.

Все опять-таки было бы довольно просто, не таило бы в себе никаких загадок, если бы поэт пренебрегал лишь соблазнительной возможностью «обрести степенность». В конце концов, что такое — эта самая пресловутая степенность? Положение в обществе, социальный статус... То есть в конечном счете — те же материальные блага, только в несколько ином выражении.

Куда удивительнее, что поэт столь же решительно и категорично отвергает другую открывающуюся перед ним, более благородную возможность: принести своим трудом «немало пользы».

Но тех, кто помнит стихотворение Пушкина, отрывок из которого мы только что прочли, это обстоятельство удивит не слишком. Пушкин об этой самой «пользе» отзывался еще пренебрежительнее.

Тебе бы пользы всё — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь,—

презрительно кидает у него поэт, обращаясь все к той же «толпе».

Поистине трудно было найти слово более ненавистное Пушкину, чем то, которое некогда было начертано на его памятнике: «Что прелестью живой стихов я был п о л е з е н». Заменив вариант Жуковского на подлинный, пушкинский, восстановили истину и справедливость не только потому, что вместо «прелести живой стихов» пушкинскому «Памятнику» было возвращено священное для Пушкина слово «свобода», но еще и потому, что ушла, канула в небытие столь чуждая самому духу пушкинской философии искусства идея п о л е з н о с т и. Надо ли говорить, что альтернативой этой самой «полезности» для Пушкина была не «бесполезность», не создание каких-нибудь там красивых безделушек, а нечто совершенно иное: высокий и грозный дар п р о р о ч е с т в а.

Извлекать из пророческого дара поэта практическую, в фунтах и дюймах измеряемую пользу — это для Пушкина, пожалуй, было даже еще нестерпимее, чем осуждаемые поговоркой попытки скрипкой заколачивать гвозди.

Глазков и тут почти дословно совпадает с Пушкиным:

Тогда не буду я поэтом,
Тогда не буду я пророком.

Возвращаясь к любимой мысли Глазкова, на которой он так упорно настаивает (о соблазнах, которым поэт не должен поддаваться), следует отметить, что она является для него не только предметом постоянных его размыш-

лений, но и точкой приложения самых глубоких и мучительных душевных переживаний:

Ты побывал в огне, в воде
И в медных трубах, но
Майоров где, Кульчицкий где
Сегодня пьют вино?

Для них остановились дни
И солнца луч угас;
Но, если есть тот свет, они
Что думают о нас?

Они поэзию творят
В немыслимой стране.
Они, наверно, говорят
Сегодня обо мне.

Что я остался в стороне
От жизненных побед...
Нет! Нужен я своей стране
Как гений и поэт!..

Я предавался пустякам,
Как будто графоман,
А вот сегодня по стихам
Не выполняю план.

Но я поэт, и я таков,
Что выполню свой долг:
Я сам рабочий у станков
И сам себе парторг!..

Стихотворение это примечательно тем, что поэт в нем судит себя самым страшным для себя судом. На роли прокуроров и судей приглашаются погибшие друзья — Николай Майоров и Михаил Кульчицкий. И именно они предъявляют ему свой суровый счет, обвиняют его в том, что в грозный час войны он «остался в стороне от жизненных побед». Но даже за ними, заплатившими кровью за право судить его, он не признает этого права. Вернее, даже перед ними он готов отстаивать *свою* правоту, *свой собственный* способ служения стране и народу.

Он подчеркнуто, демонстративно *уравнивает* себя с теми, кто вынес все тяготы фронтовой жизни:

Пусть ложная скромность сказать не велит,
Мы все говорить вольны.
Я не был на фронте, но я инвалид
Отечественной войны.

Печальнее мне не придумать итога...
Что толку, что стал я умней?
За эти три года моя дорога
В тупик зашла и на мель.

Но мель не мель, и тупик не тупик,
И есть для меня места,
И голову не размозжу о бык
Какого-нибудь моста.

И сколько бы ни было всех тех ран,
Дороги мои верны...
Я не был на фронте, но я ветеран
Отечественной войны!

Твердое убеждение, что он нужен своей стране «как гений и поэт», никогда не оставляло Глазкова. Слова «гений», «гениальность», отнесенные к себе, мелькают в его стихах постоянно:

Не хвалю я себя,
Просто сам в себя верю:
Откровенность любя,
Не терплю лицемерья...

Согласиться я рад
Даже с первого раза,
Что историю творят
Не герои, а массы.

Но в искусстве царит
До сих пор необычность,
И искусство творит
Гениальная личность.

Как великий поэт
Современной эпохи
Я собою воспет,
Хоть дела мои плохи...

Тут, положим, еще ощущается легкий привкус самоиронии. Но во многих стихах Глазкова видно, что мысль о собственной гениальности волнует его всерьез:

Отдаюсь борьбе течений,
Что идет в теченье лет.
Гений я или не гений?
Все равно мне это? Нет!

Тут уж нет ни самоиронии, ни эпатажа. Тут всё всерьез. Нескромно? Что поделаешь! Только нищий скромен, говорил Маркс, повторяя любимое изречение Гёте.

Эта нескромность, этот яростный пафос самоутверждения роднит Глазкова с Маяковским. Тот тоже, как известно, любил настаивать на своем величии, не стеснялся поминать свою гениальность.

Но есть у Глазкова в этом его пафосе самоутверждения одна черта, не только отличающая его от Маяковского, но делающая его в некотором смысле прямым его антиподом.

Маяковскому, отнюдь не обладавшему ложной скромностью, был в то же время свойствен некий загадочный комплекс. Впрочем, не такой уж и загадочный... В полном соответствии с традициями старой русской литературы (Лев Толстой!), он стыдился своего странного занятия, не свойственного, как ему казалось, мужчине:

Столбовой отец мой
                    дворянин,
кожа на руках моих тонка.
Может,
        я стихами выхлебаю дни,
и не увидав токарного станка.

Иногда этот стыд доходил у него до самых крайних степеней самоуничижения:

Был я сажень ростом.
                    А на что мне сажень?
Для таких работ годна и тля.
Перышком скрипел я, в комнатенку всажен,
вплющился очками в комнатный футляр.

Маяковский сокрушается, что оказался годен лишь для такого «немужского» занятия, как писание стихов. При своих физических данных (рост, телосложение) он ведь мог бы сгодиться для чего-нибудь более путного. Он, пожалуй, готов признать профессию поэта заслуживающей уважения. Но лишь при условии, «чтоб поэт и в жизни был мастак».

Глазков смотрит на это дело прямо противоположным образом:

За то, что Глазков
Ни на что не годен,
Кроме стихов,—
Ему надо дать орден.

По правде говоря, было бы гораздо понятнее, если бы поэт более или менее извиняющимся тоном доказывал, что, будучи ни на что не годным, кроме стихов, он тоже, так сказать, имеет право на свое место под солнцем. Но чтобы именно вот за эту самую непригодность к другим делам и занятиям требовать орден?..

Что это? Полемический задор? Эпатаж?

Ни то, ни другое.

Глазков, как всегда, говорит именно то, что хочет сказать.

Нет нужды доказывать, что Маяковский заблуждался, утверждая, что «для таких работ годна и тля». На самом деле для тех «работ», о которых он говорил, нужны некоторые качества, которыми тля не обладает. Не только

тонкий слух, благодаря которому можно услышать «дольней лозы прозябанье». И не только «вещие зеницы» и «жало мудрыя змеи». И даже не только «угль, пылающий огнем», вместо сердца... Помимо всех качеств, обозначаемых этими пушкинскими метафорами, производитель тех «работ», о которых с таким самоуничижением говорил Маяковский, должен обладать еще одним свойством, отличающим его от представителей других, более «ординарных» профессий.

4

Это свойство — мужество.

В опубликованных недавно записках о своей встрече с маршалом Жуковым писательница Елена Ржевская приводит такой примечательный эпизод:

«— Вы читали Еременко? — спросил о воспоминаниях, в которых тот пишет, что в разработке Сталинградской операции, в руководстве боевыми действиями участвовали только Хрущев и он, Еременко.— Это неправда... Я его спросил: «Как же ты такое написал?» А он: «Меня Хрущев попросил». А мне кто бы ни сказал, я бы не написал неправду.

В это верилось.

Он был полон решимости стоять на своем. Сказано это им было 2 ноября 1965 года, когда он уже заканчивал мемуары, а подписаны они к печати лишь 24.XII.1968 г. Между этими двумя датами Жуков намытарился с книгой. И, больной, мучимый страстным желанием увидеть при жизни свою книгу опубликованной, уступил настояниям, советам, замечаниям. Что-то ушло из книги, что-то переакцентировалось, что-то добавлялось. К примеру: «Героики» у меня не будет,— говорил он с каким-то даже вызовом: — Пишу о том, что было в моей сфере...» Но «офицеры с пулеметами» и отличившиеся рядовые, присутствие которых в мемуарах военачальников в ранге командующих фронтами он осудил как материал, взятый напрокат, заимствованный из книг, а не тот, первородный, которым владеет мемуарист и ради которого лишь берется за перо,— чьим-то усердием появились кое-где в его книге, похоже, из раскавыченных донесений политотделов.

Он не соразмерил барьер выносливости с такой катастрофой, как неразрешение на выход книги.

Вот и подумаешь о писателях: природа сотворяла их не из такого крепкого материала, и по роду дарования они и хрупки, и чувствительны, и лабильны, а нередко выстаивают. Может, стойкость входит в состав этой про-

фессии» (Е. Ржевская. В тот день, поздней осенью.— «Знамя», 1986, № 12, с. 174).

Редкая стойкость и редкое мужество необходимы писателю, поэту. («Писатель с перепуганной душой — это уже потеря квалификации»,— обронил однажды М. Зощенко.)

Эти свойства души необходимы писателю не только — и даже не столько — для защиты написанного от чьих бы то ни было посягательств, но — прежде всего — в самом процессе творчества.

Художнику (писателю, поэту) то и дело приходится оказываться в положении того несчастного прапорщика, который убежден, что вся рота идет не в ногу и только он один шагает в ногу.

Даже Маяковский, у которого, казалось бы, не было, да и быть не могло такого чувства («Я счастлив, что я этой силы частица...»),— даже он временами ощущал себя этим злосчастным прапорщиком:

Может,
критики
знают лучше.
Может,
их
и слушать надо.

Но кому я, к черту, попутчик!

Ни души
не шагает
рядом.

Глазков этим «прапорщиком» ощущает себя постоянно.

Эту свою особенность он осознает не как минутную слабость, а как некое постоянное свойство души, как свою органическую природу. И именно эту вот самую неспособность «шагать в ногу» он рассматривает как главное свое достоинство:

Мне, пожалуй, и не легко,
Но я не мыслю, как раб.
Я больше всего похож на линкор,
На линейный корабль.

Пока еще бури нет роковой,
Эсминцы волненью в такт
Качаются. Если сделать рукой,
То будет примерно — так.

Какой-нибудь ялик безумно кружим
От обыкновенной волны,
И только линкор стоит недвижим,
Поскольку ему хоть бы хны.

Но если буря поставит рекорд,
Хотя не в рекордах счастье,
Тогда раскачивается и линкор.
И станет линкор качаться.

Вдруг все закончится в мире волн,
И скажешь, что в море их нет,
Однако будет качаться линкор,
Хоть море надолго стихнет.

И не побежит ни одна волна
В тот самый штиль после шторма.
Какой-нибудь ялик, как статуя на
Крыше большого дома.

И будет очень заметно, как
Эсминцы качаться кончают.
Однако буре минувшей в такт
Линкор все равно качает.

И в этот самый текущий момент,
Когда успокоится море,
Какой-нибудь ялик-интеллигент
Заговорит о линкоре.

И скажет ялик: каждый из нас,
Когда было нужно, падал.
Да здравствует, скажет, советская власть,
А линкор — мракобес, консерватор.

Он, конечно, гордится тем, что так разительно отличается от этих «яликов-интеллигентов». Но в то же время он отнюдь не склонен рассматривать это свое отличие от них как проявление какой-то личной доблести. Какая там доблесть! Он просто не может иначе, даже если бы и захотел:

Я стихи могу слагать
Про любовь и про вино.
Если вздумаю солгать,
Не удастся все равно.

При этом он вовсе не предполагает, что обладает своего рода монополией на правду. Больше того! Он готов даже допустить, что прав не он, а те, кто не устает обвинять его в том, что он заблуждается:

...Но писатели не кассиры!
Не мешайте им ошибаться,
Потому что в ошибках сила!

Он не настаивает на своей правоте, но лишь отстаивает свое право быть самим собой:

Никого не надо эпатировать,
Пишите так, как будто для себя.
И неважно, будут аплодировать
Или от негодованья завопят.

И, наконец, самое поразительное: он убежден, что «в ошибках сила», даже если речь идет всего-навсего об ошибках против общепринятых законов и правил стихосложения:

Ты пишешь очень много дряни:
Лишь полуфабрикат-руду,
Но ты прекрасен, несмотря ни
На какую ерунду.

В рубцах твоих стихов раненья,
Которые в огне атак.
А те, кто лучше и ровнее,
Писать не выучатся так.

У них стихи круглы и дуты,
Хоть и металл, а не руда,
И никакие институты
Им не помогут никогда.

Эти строки, обращенные к «Другу из Поэтограда», с равным основанием могут быть отнесены и к нему самому.

Итак, органическое неумение «солгать» распространяется Глазковым не только на содержание стихов. Изменить своему способу выражения мысли для истинного поэта так же невозможно, как и изменить самой мысли. (Собственно, иначе и быть не может: мы ведь уже условились, что поэзия — это особый способ мыслить, а не воплощать готовую мысль в слова.)

Говоря об оригинальности Глазкова, о непохожести его стихов на чьи-либо другие, я вовсе не собираюсь отрицать глубокую, кровную его связь с целой плеядой предшественников. С ранним Заболоцким, с Олейниковым, с другими обериутами. И прежде всего, разумеется, с предтечей их — Велимиром Хлебниковым.

На близость Глазкова Хлебникову указывали не раз. Указывали и самому Глазкову, о чем он прямо говорит в одном из своих стихотворений:

Куда спешим? Чего мы ищем,
Какого мы хотим пожара?
Был Хлебников. Он умер нищим,
Но председателем Земшара.
Стал я. На Хлебникова очень,
Как говорили мне, похожий;
В делах бессмыслен, в мыслях точен,
Однако не такой хороший.

Быть может, тут речь о сходстве не столько поэтическом, сколько бытовом и даже физиологическом. О схожести поведения, способа жить, а не способа творить. Но в лирической поэзии, как известно, эти категории неразделимы. «Почерк» поэта, лексика, ритм и син-

таксис его стихов прямо обусловлены не только его образом жизни, но даже такими сугубо внешними приметами, как рост, походка, жестикуляция, мимика. Стихи Маяковского не могли быть сочинены человеком маленького роста. Потому-то так комичны его эпигоны, наивно заимствующие «приемы» Маяковского, не понимая, что «приемы» эти родились как естественное выражение только ему свойственных движений и жестов — внешних и внутренних.

Как я уже говорил, стихи Глазкова не спутаешь ни с чьими другими. На них как бы отпечатался узор его папиллярных линий. (Тот самый узор, на неповторимой индивидуальности которого основана дактилоскопия.)

Именно этим *узором* Глазков сразу заставляет вспомнить Хлебникова. Вот несколько примеров, почти наугад взятых мною из разных книг Глазкова:

Луна на дереве висела,
Ей было весело висеть;
Она, как рыба, там блестела,
И было дерево как сеть!

Дождь лился и стекал по стеклам,
Куда ему угодно;
Но женщина под ливнем мокла
Довольно неохотно...

Я лез на дерево судьбы
По веткам мыслей и поступков...

Потом война была убита
И труп ее валялся в мире...

Юрий Олеша в своих заметках об Александре Грине обронил: «Иногда говорят, что творчество Грина представляет собой подражание Эдгару По, Амбруазу Бирсу. Как можно подражать выдумке? Ведь надо же выдумать! Он не подражает им, он им равен, он так же уникален, как они».

Такая высокая оценка Грина, пожалуй, содержит в себе преувеличение. Но в одном Олеша прав. Есть явления, которым подражать невозможно.

Глазков не подражает Хлебникову. Он так же неповторим, так же уникален, как Хлебников. Если воспользоваться им самим изобретенным антонимом, он *творитель*, а не *вторитель*. (Кстати, сам неологизм этот тому порукой, он ничуть не уступает знаменитым хлебниковским противопоставлениям: изобретателей — приобретателям и «творян» — «дворянам».)

Сходство Глазкова с Хлебниковым не имеет ничего общего с похожестью актера, удачно загримировавшего-



В своем кабинете на Арбате. 1965 год

ся и талантливо перенявшего жесты и мимику человека, которого ему предстояло сыграть. Глазкова нельзя даже назвать учеником Хлебникова. Он похож на Хлебникова просто потому, что таким уродился. Такое сходство дается лишь кровным родством.

Впрочем, есть у Глазкова одна особенность, которая резко отличает его от всех его предшественников, начиная с Хлебникова и Маяковского и кончая Олейниковым и Заболоцким.

Поэтический дар его по самой природе своей эпиграмматичен. Я имею в виду не особое его пристрастие к той легкой «кавалерии острот», о которой говорил Маяковский, хотя и этому пристрастию он тоже отдал щедрую дань.

Речь о другом.

Разные русские поэты оказались в разной степени чувствительны к той ломке стиховых форм, которой характеризуется русская поэзия начала нашего века. Но одно так или иначе коснулось всех: вторжение в стихию стиха нового синтаксиса, живых форм речи. Синтаксис старого русского стиха был скован границами строфы, чаще всего — четверостишия. Вот эта граница и оказалась нару-

шенной — высоким косноязычием Хлебникова, ритмами Маяковского, длинным дыханием Пастернака, цветаевскими «переносами».

Глазков, не сохранив (в отличие от более консервативных своих современников) приверженность классическому стиху, сохранил эту границу. И синтаксическая, и логическая, и эмоциональная, и музыкальная фраза у него, как правило, замыкается рамками четверостишия. Четверостишие у Глазкова даже в большом лирическом стихотворении, даже в поэме обнаруживает тенденцию к самостоятельному существованию. Знаменитый его «Поэтоград» словно бы сам собой распадается на такие «осколки»-четверостишия. Но каждый «осколок» при этом сохраняет некую внутреннюю завершенность, при желании может рассматриваться как самостоятельное произведение, как законченная и цельная лирическая эпиграмма:

Я на мир взираю из-под столика.
Век двадцатый — век необычайный.
Чем столетье интересней для историка,
Тем для современника печальней!

Многие из этих осколков-четверостиший сразу зажили самостоятельной жизнью, повторялись, переходили из уст в уста:

Я сам себе корежил жизнь,
Валяя дурака;
От моря лжи до поля ржи
Дорога далека.

Иные из них оказались в полном смысле этого слова пророческими. Например, вот это, сочиненное в октябре 1941 года:

Может быть, он того и не хочет,
Может быть, он к тому не готов,
Но мне кажется, что обязательно кончит
Самоубийством Гитлер Адольф.

Чеканность поэтической мысли у Глазкова обладает такой резкой определенностью, что порой даже какое-нибудь незарифмованное двустишие, оторвавшееся от предшествующих строк, живет в памяти как нечто цельное, законченное:

Тяжела ты, шапка Мономаха!
Без тебя, однако, тяжелей...

Или:

И пятилетний план войны
Был выполнен в четыре года...

На примере Глазкова особенно ясно видно, что для истинного поэта необходимость отказаться от *формы* выражения своих мыслей и чувств так же нестерпима, как необходимость отказаться от самой сути их, то есть от того, что мы привыкли называть *содержанием* поэтического произведения.

5

Что же это за «высокая страсть», что за странная, необъяснимая сила, из века в век заставляющая поэтов «для звуков жизни не щадить»?

«И звуков, и смятенья полн», как говорит Пушкин, поэт погружен в себя, он занят собою.

Что же так властно побуждает его к этому странному занятию? И почему это его погружение в себя в конечном счете так важно для человечества?

«Книга,— отвечает на этот вопрос Борис Пастернак,— есть кубический кусок горячей, дымящейся совести — и больше ничего.

Токование — забота природы о сохранении пернатых, ее внешний звон в ушах. Книга — как глухарь на току. Она никого и ничего не слышит, оглушенная собой, себя заслушавшаяся.

Без нее духовный род не имел бы продолжения. Он перевелся бы. Ее не было у обезьян».

Силу, побуждающую каждое человеческое существо стремиться к упорядоченности, к тому, чтобы все было «хорошо», можно назвать инстинктом духовного самосохранения.

В таком случае силу, побуждающую поэта к его странной деятельности, я бы, следуя за Пастернаком, назвал *инстинктом продолжения духовного рода*.

Этот инстинкт связан с инстинктом духовного самосохранения. Но он в то же время существенно от него отличается, ибо по самой своей сути предполагает прочную связь поэта с *будущим*.

Что ценит истинный поэт превыше всего?

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит...

Какой из видов самопожертвования представляется ему наивысшим?

...Умри, мой стих,
умри, как рядовой...

Какая перспектива страшит его больше всего на свете?

Меня признает современность;
Но обо мне забудут после.

Этот инстинкт продолжения духовного рода, владеющий душой поэта, так же мощен и неистребим, как биологический инстинкт, побуждающий рыб совершать во время нереста тысячи километров гибельного пути.

Высокое нравственное назначение искусства состоит не в поучениях и прописях, которые время от времени изрекает художник, но именно в этой непреодолимой потребности художника извлекать из себя правду своей души, в его непобедимом стремлении вопреки любым препятствиям делать свое странное, казалось бы, «никому не нужное» дело, и делать его — «хорошо».

Время от времени поэт выступает с теми или иными нравственными проповедями («Быть знаменитым некрасиво», «Никого не надо эпатировать...»). Но эти проповеди он обращает не столько к читателю, сколько к себе самому. И произносятся они, так сказать, в порядке самозащиты. Поэт тем самым как бы говорит людям: дайте мне делать мое дело, не заставляйте тратить себя на пустяки, дайте исполнить главное мое предназначение.

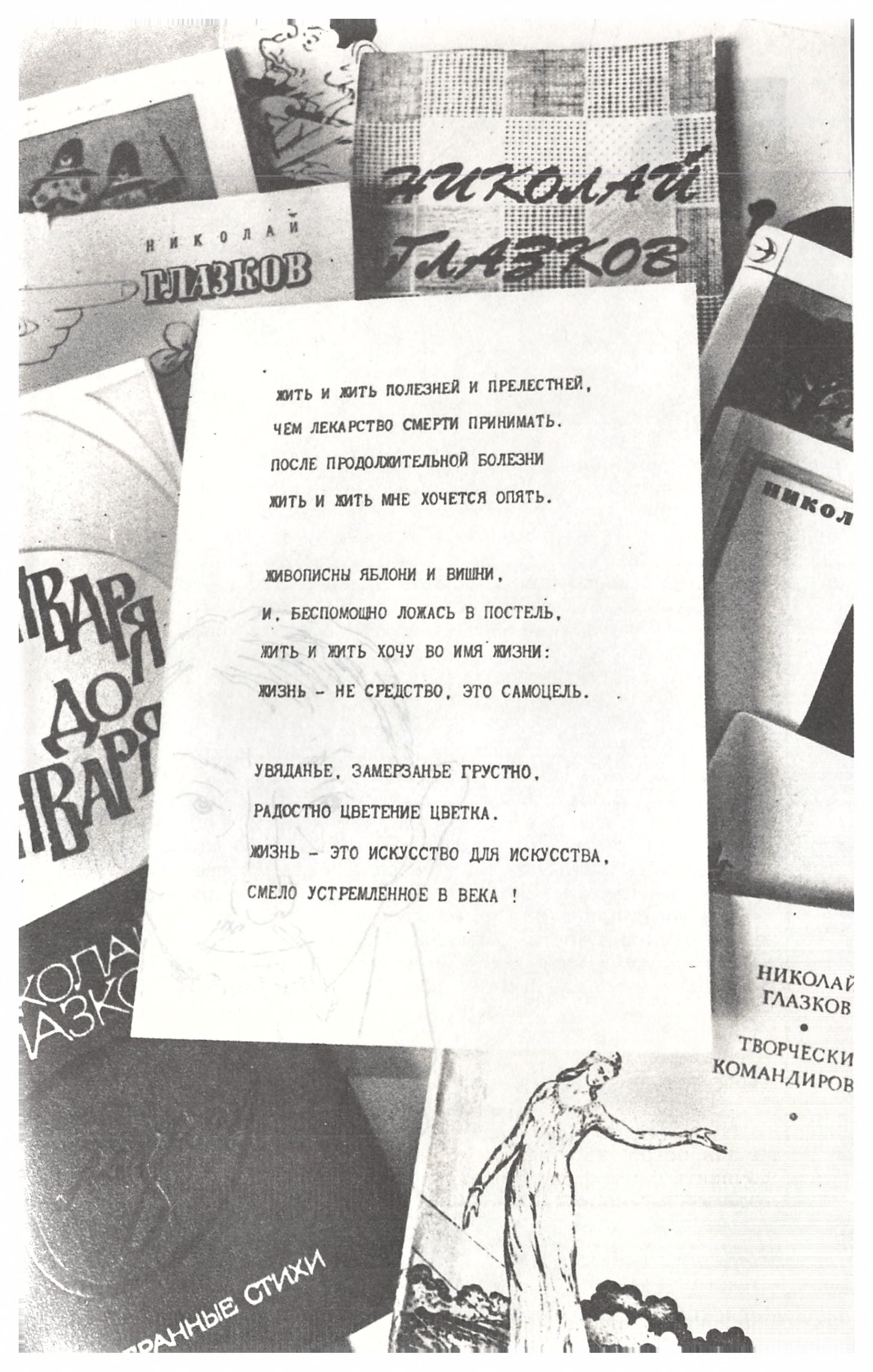
Поэт — это, вообще говоря, человек, для которого стремление выразить себя есть единственное условие его существования. Иначе говоря, поэт — это инструмент, посредством которого человечество *осознает себя*...

...Вот как много слов пришлось мне потратить, чтобы более или менее внятно сказать то, что я хотел.

Глазкову, чтобы сказать, в сущности, то же самое, понадобились всего четыре строки:

Все сметут, сведут на нет
Годы, бурные, как воды,
И останется поэт —
Вечный раб своей свободы!..




НИКОЛАЙ
ГЛАЗКОВ
НИКОЛАЙ
ГЛАЗКОВ
ЖИТЬ И ЖИТЬ ПОЛЕЗНЕЙ И ПРЕЛЕСТНЕЙ,
ЧЕМ ЛЕКАРСТВО СМЕРТИ ПРИНИМАТЬ.
ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ
ЖИТЬ И ЖИТЬ МНЕ ХОЧЕТСЯ ОПЯТЬ.
ЖИВОПИСНЫ ЯБЛОНИ И ВИШНИ,
И, БЕСПОМОЩНО ЛОЖАСЬ В ПОСТЕЛЬ,
ЖИТЬ И ЖИТЬ ХОЧУ ВО ИМЯ ЖИЗНИ:
ЖИЗНЬ - НЕ СРЕДСТВО, ЭТО САМОЦЕЛЬ.
УВЯДАНЬЕ, ЗАМЕРЗАНЬЕ ГРУСТНО,
РАДОСТНО ЦВЕТЕНИЕ ЦВЕТКА.
ЖИЗНЬ - ЭТО ИСКУССТВО ДЛЯ ИСКУССТВА,
СМЕЛО УСТРЕМЛЕННОЕ В ВЕКА !
НИКОЛАЙ
ГЛАЗКОВ
ТВОРЧЕСКИ
КОМАНДИРОВ

Росина Глазкова

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК

НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ — он так и состоял из этих букв — Н Г. Г — им самим расшифровывалось как цифра 4, четвертая буква алфавита. Это было его счастливым числом. Еще была цифра 13 — в сумме те же 4. И были три ипостаси: Гений, Гуманист, Глазков.

Н (это уже моя расшифровка) — непредсказуемый, необычайный, несчастный, непререкаемый, несносный, неповторимый, неряшливый, нежный, нудный, наивный, неуживчивый, непосредственный, незащищенный. И еще была в его характере буква Д — доверчивость, доброта, долг, духовность, доброжелательность, домовитость, деловитость, дурашливость, детскость. Оба эти ряда можно продолжить...

И все в нем уживалось и создало то, что навсегда осталось НИКОЛАЕМ ГЛАЗКОВЫМ — ПОЭТОМ.

Не знаю, с чего же начать? Наверное, надо так, как помнится.

Как писать о Коле, человеке, с которым я прожила более четверти века и которого я хотя и знала, безусловно, лучше остальных, но вообще-то не знала до конца? Он и сам себя не знал. В этом я уверена. Ведь многое из того, что было действительно его личностью, им ломалось, а было много привнесенного, наигранного, придуманного им еще в ранней юности для себя. Не для того ли, чтобы казаться оригинальным, необыкновенным? А ему не надо было ничего придумывать, ибо по своей сути он и был таким. С каждым днем, с каждым вновь прочитанным стихотворением, письмом — мне все ярче, и часто по-новому, открывается этот поистине странный, трагический характер.

Не то чтобы я не видела этого и раньше, видела — но не так остро, ибо быт заслонял многое. А вот теперь мелочность быта отпала, и открылась глубинная суть неповторимой личности.



женой Росиной Моисеевной. 70-е годы

Разным людям и при разных обстоятельствах человек :сегда раскрывается разными гранями своего характера. оля не был исключением. Он был очень умен, и он прерасно знал, где ему можно, а где нельзя. Были срывы. Поэтому так разноречивы высказывания о нем азличных людей.

Колю в раннем детстве одевали как всех детей из достаочно обеспеченных семей: толстовочки, матроски... Но тригли плохо, под гребенку. А его «под гребенку» стричь ыло нельзя во всех смыслах.

Потом, когда он повзрослел и остался без отца, мать е могла уже обиходить его так, как прежде. Коля это поимал, и вот появляется эпатаж, утрируются еще более те едостатки, которые были ему свойственны в наружности в одежде.

В 1956 году, в июле, он поехал на озеро Селигер по турисской путевке. Инструктор турбазы рассказал мне вподедствии, что Коля приехал на Селигер в пижамном костюме, правда из плотной ткани, но, как и полагалось пижае, с отделкой по обшлагам. В легкой соломенной шляпе с вафельным полотенцем на шее, так как по его тогдашим меркам было холодно.

Надо сказать: Коля считал, что одежда — «это налог на приличие и тщеславие»:

Ко мне отношение невежд
Зависит от ношения тех или иных одежд.
Но равнодушен я к болванцам
И пребываю оборванцем.

Когда я покупала Коле новую вещь и если эта вещь имела карманы и не была пижонистой, он носил ее с удовольствием. Хотя всегда первые его слова бывали: «Зачем? Не буду. Где моя любимая (рубашка, кофта, брюки...)?» Но и та «любимая» встречалась поначалу точно так же. Складка на брюках или начищенная обувь им не признавались.

Часто я решала его конфликт с той или иной вещью просто: вшивала изнутри пару дополнительных карманов. В них он носил обязательно бумажник с документами, начиная с паспорта и кончая сберкнижкой, перочинный нож, для которого я делала «ножны». Бывало, и книжки носил — свои или других авторов...

Но вернусь к той давней (в 1956 году) поездке на Селигер. Так как вид Коли не вызывал, мягко говоря, энтузиазма, то и инструкторы не хотели его брать в свои группы: «Чудило». Один его все-таки взял.

И вот начинаются Колины чудеса. Он лучше и дальше всех плывет на зачете, лучше всех — и это бесспорно для всех — гребет. Его начинают переманивать. В походе на Волгино Верховье его группа выходит первой. Лодка — обгоняет всех. А по вечерам в их палатке стоит громкий хохот. Коля «выдает» экспромты, тосты, сочиняет песни. (Одну такую песенку — «Потеряли девки руль» — пели в поезде туристы, передали как-то ее и по радио, объявив: «Слова народные».) Так закончилась эпопея с поездкой на озеро Селигер. Поездка́ эта дала стихи, в том числе и «Волгино Верховье». И книгу.

Всё, что стесняло его физически, включая подвязки, подтяжки,— не терпел. Боялся, что это может нарушить кровообращение, а значит, принести вред его здоровью. Боялся и боли. Был очень мнителен. Если он пилил дрова и заноза попадала в палец, то работа немедленно прекращалась — он требовал йод. Тщательно мыл руки, причем всегда и ногти чистил.

А вот когда приходило настоящее испытание, настоящая серьезная боль — он терпел всегда мужественно. Именно пустяки его выводили из себя куда как быстрее.

Я знаю по его рассказам, что в шестнадцать лет он уже ломал себе ногу. Рассказывал и Женя Веденский, который

был при этом. Они убегали, напроказив, от милиционера. Коля поскользнулся на спуске к Москве-реке и поломал ногу. Тогда же, после перелома, пролежав в больнице на вытяжке, потом долго ходил на костылях и утверждал, что это укрепило ему руки.

А руки у него и в самом деле были очень сильными.

Волосы на лето он состригал наголо. Это у него осталось с юности. Его любимая тюбетейка до сих пор хранится в доме. Итак, голова была или острижена, или он носил к зиме уже отросшие волосы, которые были очень мягки, тонки, и, когда-то русые, с годами они приобрели мягко-каштановый цвет.

Усы и бороду он стал носить в шестидесятых годах. Лицо его преобразилось, и чудны́м он уже не казался. И хотя тогда еще и не носили в общем-то бород, он уже привык к бороде.

Не только на Арбате, но и по всей Москве многие, не зная его, узнавали Колю. Все продавцы Арбата, Смоленской площади считали его своей достопримечательностью и обращались немного фамильярно, но с уважением. Сам же он был неизменно вежлив со всеми, с кем бы ни входил в близкий контакт.

Был такой случай. Мы возвращались из похода за грибами, за которыми неизменно ездили в течение многих лет, в конце лета и осенью, всегда по Киевской дороге. Мы заблудились и вышли уже поздно на соседнюю станцию, не на ту, с которой начинали свой поход. Первые же люди, которые нам встретились на платформе, оказались москвичами. Увидев Колю, они радостно объявили, что давно его знают. А ведь не были знакомы никак.

Есть у Глазкова в цикле прозаических миниатюр «Похождения Великого гуманиста» такой сюжет: Великого гуманиста остановил просящий денег и спросил: «Вы интеллигентный человек?»... Вот это, несмотря на его эпатированье, было всегда в нем, и с первого взгляда можно было его отличить от оборванца-хиппи, люмпена.

Немало неожиданного происходило во время наших совместных путешествий с ним. В сентябре 1955 года мы приехали в Новый Афон и, конечно же, полезли на гору, где были развалины монастыря. Полезли, ибо Коля меня потащил не по пологой отличной дороге, а прямо вверх. Взобрались мы наверх — и были вознаграждены открывшимся видом. Села писать этюд. Потом мы оба измучились от жажды и спросили, где можно достать воды. Нам указали на место, где в келье совершенно одиноко жила старая

женщина из прежних монашенок. Говорили, что она продает чай. Пришли, поздоровались, и вдруг она стала на Колю креститься, говорить, что у нее был вещий сон, он сбылся, пришел святой человек, что она сподобилась и т. п. Мы были крайне смущены. Она угостила нас, ничего не взяла, категорически отказалась от предложенных ей денег. И все крестилась, глядя на Колю. Провожая, поясным поклоном попрощалась. Я долго была под этим впечатлением.

Николай как-то притягивал к себе людей, это я замечала не раз, а часто. К нему обращались чаще, чем к другим, за милостыней на кладбище. Нередко, останавливая среди толпы, спрашивали у него дорогу...

Были у Николая неизменные привязанности, которым он следовал всю жизнь,— в дружбе, в творчестве.

Свято хранил он память об ушедших и не вернувшихся с войны друзьях-однокашниках. В конце 30-х годов молодые поэты, сплошь студенты, съехавшиеся в Москву из разных городов и расселившиеся по разным каморкам и общежитиям, знакомились, уже зная наизусть многие строфы полюбившихся стихов друг друга. Знакомились они в знаменитом общежитии на Стромынке, в Литинституте, в литобъединениях при московских издательствах «Молодая гвардия» и «Советский писатель», куда стекались молодые и еще не печатавшиеся поэты. Там впервые Коля услышал стихи Николая Майорова и Евгения Полякова. Подружился он в 1940 году с Михаилом Кульчицким: «Он был мой самый близкий друг Литинститута из...» И еще: «А мы бродили с ним ночами в начале сорок первого...»

В 50-е годы Глазков написал гневное стихотворение «Мемориальная доска», где сетовал на несправедливость:

...Кульчицкий Миша, Женя Поляков,
И Коган Павел, и Майоров Коля
На мраморе остаться для веков
Не удосужились. Не заслужили, что ли?
Не пали, что ли, в грозовые дни,
Иль, может, их не осеняла муза?
Нет, Муза осеняла, но они
Погибли все не членами Союза...

Он читал эти стихи всем, теребил своих давних и верных друзей-фронтовиков Сергея Наровчатова, Михаила Луконина, работавших тогда в аппарате Союза. И как знать — быть может, эти стихи помогли. Мемориальная доска теперь в ЦДЛ иная, на ней есть все имена погибших молодых поэтов.

Дружба Глазкова с Лукониным и Наровчатовым про-



Сергей Наровчатов, Борис Слуцкий и Николай Глазков в ЦДЛ. Начало 70-х годов

шла через их жизни и до конца. За два дня до смерти Коля пишет юбилейный акростих-сонет Сереже Наровчатову к его шестидесятилетию. Стихи пришли к юбиляру уже после смерти поэта, и Наровчатов, читая их в Политехническом музее, говорил о своей многолетней дружбе с Глазковым. А Миша Луконин с Колей всегда вспоминали, как они здорово умели бегать и прыгать из окон Литинститута и, по-видимому, гордились этим не меньше, чем стихотворными достижениями.

Бориса Слуцкого я не знала до середины 50-х годов. Встречала его имя и стихи часто слышала, но не была знакома. А когда познакомилась у нас в доме на Арбате, то и тогда видела его крайне редко. Но вот узнала, что Борис Слуцкий умер от инсульта и прощание с ним было в той же больнице, где скончался Николай Глазков.

Вспоминаются строчки их общего друга Давида Самойлова:

> Когда устанут от плохого
> И возжелают лучшего,
> Взойдет созвездие Глазкова,
> Кульчицкого и Слуцкого!

Перебирая архив, нашла я фотографию, на которой сняты трое: Сережа Наровчатов, Борис Слуцкий и Коля

Глазков. Сняты они уже перешагнувшими пятидесятилетний рубеж. Но так же рады своей, теперь уже не такой частой, как бывало в 40-е, встрече. И я памятью вернулась в тот, сороковой год.

На станции Зеленоградская находился тогда дом отдыха работников печати, директором которого был мой дядя. Он пригласил меня погостить у него в отдельном коттедже.

И вот в мои первые студенческие каникулы я, захватив этюдник и все прочее художническое, приехала в зеленую тишину. Но очень скоро она была нарушена к моей вящей радости приездом студентов Литинститута. Некоторые из молодых поэтов совсем недавно вернулись с войны: герои, они добровольно ушли в лыжный десант «на той войне незнаменитой» с белофиннами...

Среди них выделялся бывший уже на слуху среди студенчества Миша Луконин. Приехал он с женой, которую его однокашники называли «русская мадонна». Он читал ставшие сразу знаменитыми стихи, посвященные памяти Коли Отрады, его земляка и друга со школьной скамьи. Читал громко, иногда голос срывался на высокой ноте. Мы слушали, затаив дыхание. Его однокашники знали это стихотворение наизусть: «Николай, с каждым годом ты будешь моложе меня...»

Перезнакомились мы быстро и легко, почти что одногодки, да и я к тому времени регулярно бегала на все доступные выступления молодых поэтов в клуб МГУ, что на улице Герцена, на литобъединение, куда меня привел Миша Кульчицкий, с которым в свою очередь меня познакомила его подруга Генриэтта Миловидова.

Когда я восхитилась услышанными стихами, Миша Луконин мне заметил: «Да, это так, но у нас есть два гения: Миша Кульчицкий и Коля Глазков — они сами это утверждают, вот ты их послушай!» Имя Коли Глазкова я услышала впервые. Попросила что-либо на память прочитать. Луконин мне прочел «Вóрона». Начавшаяся война не вытеснила у меня из памяти это имя, хотя я еще не знала, как войдет оно в мою жизнь...

Коля любил поражать, восхищать — у него была потребность в этом. И он был незаурядным актером в быту. Где-то в ранних стихах у него есть строка, где он называет себя «развлекатором». Так оно и было. «Развлекать» он умел и любил. Разумеется, если собеседники к тому располагали.

Еще до войны, учеником последнего класса и студентом первого курса, Коля снимался в массовке. Подработать было нужно. С ним снимался и его друг и соученик

Евгений Веденский. Женя, хотя и был моложе на пару лет, тем не менее был поактивней Коли в житейских вопросах. Это он узнал путь на Потылиху для приработка. Вместе они и снялись в «Александре Невском». Результатом этих съемок стали и стихи.

А уже в шестидесятых годах его пригласили сниматься в «Андрее Рублеве» в роли Летающего мужика. Коля съемками увлекся чрезвычайно, много рассказывал, писал о них. Так как съемочная группа работала на Владимирщине, то, естественно, Глазков там все осмотрел и облазил. Роль у него была маленькая, ее еще срезали: из фильма вылетели куски, где он вначале плывет в лодке, а потом, оставив ее, мощно рвет воду сильными руками. Этими именно кадрами он очень гордился, ибо здесь-то мог как следует показать свое умение.

Конечно, было нелегко с ним режиссеру Андрею Тарковскому. Но то, что Николай остался самим собой в этом эпизоде, очень украсило фильм. Потом, уже снимаясь в «Романсе о влюбленных» в роли соседа-матрасника, он опять никак не играл, а оставался самим собою. Но тут и роли-то почти нет.

Коля снимался в кино очень охотно, несмотря на то что, будучи «совой», привык поздно вставать. А здесь приходилось ехать на Мосфильм рано. Но он считал, что этим хоть как-то компенсируется его замалчивание в прессе. Ему хотелось остаться «на потом»...

Интересно было ему работать с режиссером Верой Павловной Строевой. Она предложила роль Достоевского в фильме о Чернышевском. Глазков полностью переключился, был «в образе». Очень жаль, что фильм этот не вышел на экран.

Вот это участие в трех фильмах, участие активное, хотя и мимолетное, дало в актерском плане очень много Коле. Он потом уже мог с гордостью говорить, что он не «развлекатор», а актер. Он никогда не говорил «артист». Это звание он высоко ценил и писал о разнице между словами актер и артист — такой же, на его взгляд, как между словами стихотворец и поэт.

В самых последних числах мая 1965 года я упала на даче со стула, взгроможденного на кухонный стол, и сломала в запястье руку. А Коля был на съемках. Сделали мне гипс, и я приехала к себе на Арбат. Назавтра приехал нежданно-негаданно Коля: «Что с тобой, что случилось?» Оказывается, почувствовал. Приехал. Вот и отказывайте в предчувствии.

Примерно через месяц или около того вернулся Коля



Николай Глазков. Дружеский шарж худ. В. Алексеева

со съемок из Суздаля, с палкой в руке. Он на нее опирался. Я всполошилась. Сказал, что во время съемок упал, нога болела, но отснялся до конца. Назавтра поехал своим ходом домой. Нога была сильно опухшей, и я потребовала, чтобы он поехал со мной к хирургу.

— Нет, это подвывих, это ушиб, никуда не поеду.

Позвонила в поликлинику Литфонда, те сказали, что их приезд ни к чему не приведет, надо делать рентген. При-

везла, сделали. Меня рассмешила та радость, с которой хирург заявила:

— Вот видите, самый настоящий перелом лодыжки...

Наложили гипсовый «башмачок», и мы поехали на улицу 25-го Октября за костылями, возбуждая молчаливое любопытство окружающих. Оба в гипсе. «Переломным годом» я назвала тот год.

Коля к семидесятым годам был закален. Хочу рассказать предысторию. Ибо родилась легенда, которую поддерживал и он сам, что его воспитала и закалила Якутия. Но туда, в Якутию, он ездил только летом, и жара там была кавказская.

Поначалу же Коля был мерзляком. Откуда это у коренного волжанина? Ведь предки по отцовской линии были у него родом из знаменитого Макарьевского уезда, что на Нижегородчине. А дед матери был латышом, с Балтики, которая тоже теплом не баловала, он перебрался сначала на Витебщину, а потом и на Нижегородчину. Откуда же такой страх перед холодом у потомка таких «морозостойких» предков?

...Не помню точно, возможно, в конце шестидесятых, зашли к нам художник Василий Истомин и его жена Шура. Мы были предупреждены о том, что Шура будет купаться в ноябрьской воде. Мы поехали на машине. Причем Коля был в зимнем пальто, а мы все еще в осенних. Приехали к реке, там был дом, где была база «моржей». Шура зашла в дом, а мы прохаживались около него. Коля поднял воротник. А когда вышла Шура в купальнике и пошла не спеша к воде, Коля поспешил поравняться с ней и опустил воротник. Шура спрыгнула в воду. Коля расстегнул пальто. Когда она шла обратно, Вася отстранил Колю, пошел сам рядом и все время твердил: «Истомины вышли на моржевание...» Ну, а Коля... начал снимать с себя пальто и остался, такой мерзляк, в одном пиджаке.

Назавтра же, не переставая говорить о Шурочке, которую он просто «заобожал», Коля стал приучать себя к холодной воде и старался так не кутаться. Было им написано стихотворение «Северная Киприда»:

Ложилась первая пороша,
И до весны не жди тепла.
Лед плыл настойчиво, и все же
Она разделась и прошла

В одном купальнике сто метров
До леденеющей воды —
Достойная аплодисментов
Киприда зимней красоты...

Она плыла, не леденея,
Смотря с улыбкою на льды...
Я понимал: еще труднее
Ей, мокрой, выйти из воды.

Не откамарить плясовую,
А перейти из этой в ту:
Из плюсовой в минусовую
Температурную среду.

Вся в бусинках алмазно-влажных,
Как эти бусинки, светла,
Пенорожденная, отважно
Из влаги вышла и прошла

До дома теплого сто метров,
Смотря с улыбкою на льды,
Достойная аплодисментов
Киприда зимней красоты.

Коля методично и последовательно тренировал себя. В 70-х годах ему уже ничего не стоило ходить в одном пиджаке тогда, когда большинство людей надевали пальто. Ежедневно он принимал холодный душ, а с весны и до поздней осени купался в любой воде, включая якутские реки.

Однажды он ездил на охоту в одном из районов Якутии. Из лодки стреляли, и дичь падала в воду. Вода была градусов 8–10. Собаку,которая могла бы приносить им подстреленную дичь, они с собой не взяли. Вот Коля и поплыл, перекинул утку в лодку, на что якуты сказали, что он «лучше собаки, и его можно вместо нее брать на охоту».

С тех пор как мы переехали в 1974 году в Кунцево, Коля стал ходить на Москву-реку купаться почти ежедневно. Воду он любил всегда.

Двух лет от роду тихонько вышел как-то из дому и пошел к реке, держа в руке откуда-то захваченный молоток. Так, с молотком, его и нашла перепуганная мать. Немногочисленные свидетели этого говорили вслед: «Ежели с детства вместо игрушки да молоток взял в руки — мастером вырастет».

Волга была рядом все детство — и тогда, когда маленький Коля жил с родителями в городе Лысково Макарьевского уезда, и потом, когда приезжал к бабушке в гости из Москвы, куда семья Глазковых переехала в 1923 году.

На протяжении всей нашей совместной жизни купание было любимым увлечением и традиционным ритуалом Николая Глазкова.

Вспоминаю забавный случай. В осенние дни 1955 года на черноморском пляже я, как всегда, сторожила Колины брюки, а он плавал. И вот вижу, что публика волнуется, переговаривается между собой: «Успеют — не успеют...» А Коля далеко плывет, машет мне рукой и кричит свое лю-

бимое «уа». Шапочку я ему купила желтую, далеко видно. Вдруг к нему — спасательная лодка. Оказывается, он, махая мне и крича, всполошил спасателей и публику: думали, что тонет. С таким почетным эскортом и вернулся.

Страсть к купанию сохранилась и в Кунцеве. Спуск к Москве-реке был крутой, но он, с его сильными руками и ногами, преодолевал его шутя. Был и более цивилизованный способ — по большой деревянной лестнице, но туда идти дальше, а здесь — красивей. Когда у меня бывало время, я тоже с ним ходила к реке.

Обычно сезон продолжался до середины октября. Очень редкие прохожие или ребятня смотрели со стороны с некоторым даже страхом, а Коля — дай только зрителей — ходил павой по берегу. Проплыв туда и обратно, от берега к берегу, вылезал и обтирался не спеша.

Когда нам предложили квартиру в Кунцеве взамен арбатской, то мы, видя, что кругом и напротив зелено, тихо согласились. А день-то был воскресный. И рабочий транспорт не ходил. Вскоре дома-дачи напротив стали сносить. Сады повырубали, а транспорт прибавлялся с каждым днем. Мы, прожившие в тишине арбатского двора, сперва совсем не могли привыкнуть к шуму шоссе. Потом кое-как привыкли.

Но когда у Коли стали болеть ноги, он вновь обратился в комиссию по распределению жилплощади при Московской писательской организации и в Кунцевский райисполком. Вначале он обращался туда сам, а когда заболел и не смог ходить, то я носила его заявления. Не выходя и не выезжая из дому, он стал тяготиться шумом гораздо сильнее, ему было трудно сосредоточиться для творческой работы.

И лишь в октябрьский день 1979 года, утром, мне позвонили и сказали, что «вопрос решен положительно». А это был день положения во гроб.

Очень часто вспоминаю я наше арбатское жилье. На втором этаже каменного двухэтажного дома, над одним крылом которого был надстроен деревянный, оштукатуренный третий этаж, и жил Глазков с 1923 по июнь 1974 года, когда мы переехали в Кунцево.

В кунцевской новой квартире поначалу нам нравилось обилие света, огромное небо, очень красивое. А потом пришла ностальгия по Арбату. По тихой трехкомнатной, с окнами во двор, квартире, хотя вход к нам был из общего коридора. Впервые я пришла в эту квартиру осенью 1953 года.

Серым осенним днем я с общим приятелем, которого наконец-то упросила познакомить меня с поэтом Глазковым, поднялась по пологой лестнице прямо со двора на второй этаж. Дверь открыл сутулый, с низко опущенными руками, с мягкими светло-каштановыми волосами, спадающими на глаза, человек. Первое, что я услышала, было: «У меня дома мама». Не только сказанное, но и голос был странен — высокий, мягкий, чуть с запинкой.

Квартира была многонаселенная, странная даже в перегруженной Москве. Она была двухэтажной. Прямо из коридора, в который выходили двери комнат второго этажа, шла еще одна внутренняя лестница на третий, где жило еще три квартиросъемщика. Но квартира была тихой. Одни и те же жильцы прожили здесь почти что всю жизнь, сдружились, сроднились. Относились друг к другу внимательно, дружелюбно. Росли дети, у них появлялись свои семьи, а климат Арбата оставался постоянным.

Окна глазковского кабинета были затемнены разросшимися деревьями и построенным напротив зданием телеграфной подстанции, которая закрыла собой и вид на Арбат, и то здание, которое виднелось из окон наискосок по Арбату,— дом, где провел свой медовый месяц Пушкин. Для поэта казалось знамением, что он может видеть из своего окна дом Пушкина!

Бросились в глаза обширный двухтумбовый стол и полки книжного шкафа, где среди разномастных переплетов аккуратным рядком стояли самодельные книжки со стихами хозяина. Шкаф был до потолка, книг умещалось вдоволь.

Ничего приметного в квартире больше не было, если не считать трех сундуков — больших, кованых, громоздких. Странно было видеть их в арбатской квартире 50-х годов. И в столовой, и в комнате матери, и на кухне — сундук!

Деревянный, чисто вымытый пол укрыт домоткаными половичками. Слева от входной двери кафельная стена голландской печи, которая топилась из коридора. Черная тарелка радио на стене, маленький оранжевый абажур над большим обеденным столом — все здесь казалось перенесенным из провинциального дома российской глубинки 20—30-х годов. Даже кровати с подзорами, цветок фикуса на вязанной крючком салфеточке... Да полно! Может быть, это розыгрыш приведшего меня сюда?!

Но хозяин ведет нас в кабинет, и начинается то, что я бы назвала «действом». И уже нет сомнений: я у Глазкова, Коли — так его звали все, так звали его и в двадцатые, и в шестидесятые годы. Он старел, маленькая его бородка седела, а он все еще был для всех Коля. И это не было ами-

кошонством, снисхождением — нет, имя к нему пристало накрепко, ласково и уважительно.

После смерти матери Коля обновил мебель, быт. Но оставался все тем же Колей для всех приходящих сюда без звонка, по звонку, поодиночке и целыми компаниями. Все хотели слышать стихи. Приходили наряду с поэтами-однокашниками и более молодыми — физики-теоретики и шахматисты, художники и инженеры, актеры и летчики. Всех был рад принять Коля, усадить за большой свой гостеприимный стол и начать разговор. Он был жаден до людей. Но только до тех, кто мыслил самостоятельно и неординарно. К иным же, кто хотел «пообщаться» с поэтом (сколько отнято у него времени и сил!), он быстро терял интерес и, бывало, прогонял. Это никогда не касалось женщин — к ним он всегда благоволил, часто дарил что-либо из написанного или сочинял акростих. Стоило Коле прикрыть ладонью при разговоре рот (жест, непроизвольно прячущий щербинку) — и я знала: опять «распустит павлиний хвост». А ведь так и было при первой нашей встрече.

В тот день Коля с интересом приглядывался ко мне. Я хотела тогда пойти на выставку финского искусства, которая была открыта в Академии художеств на Кропоткинской. (До войны здесь был Музей нового западного искусства. Мы с Колей с детства, тогда еще порознь, посещали его — а у нас очень много таких совпадений,— особенно часто бывали там в конце 30-х годов. Коля прекрасно разбирался в живописи, хотя наши вкусы, бывало, и не совпадали. Но и он и я всегда очень жалели, что такой прекрасный музей расформирован. Он на нас обоих оказал очень серьезное влияние.) Так вот мы очутились на выставке, где многие сотрудники были мне знакомы, а я очень не хотела, чтоб меня видели с Колей — я стеснялась его странного вида. Треух, весь вытертый, низко надвинутый на глаза, брюки, обшлага которых были другой фактуры и цвета, чисто одетый, но на первый взгляд вроде бы безвкусно и дико как-то.

Но вот Глазков, которому было, по-видимому, интересно со мной, начал рассказывать, говорить нестандартно, необычайно поворачивая понятия, привычные до сих пор, совсем другой стороной. И мне стало безразлично: видят нас или не видят. И это на всю жизнь.

Коля знал много, память у него была выборочная, он ее много тренировал буквально до последних дней, и все, что он говорил, было окрашено его своеобразным мышлением, юмором, вкусом к слову. Не выносил общих фраз, банальностей. Если ему был интересен человек, то и тому обязательно было интересно с Колей. Чувство аудитории



Н. И. Глазков с художником В. Г. Алексеевым. 60-е годы

у него было первородное. Когда он читал стихи, в любой аудитории у него сразу же находились верные поклонники.

Очень застенчивый, он подавлял это качество зачастую эпатажем. А зачастую ему действительно было глубоко безразлично, «что станет говорить Марья Алексевна».

Занятый своими мыслями или стихами, идя по улице, он шептал, улыбался своим мыслям, и прохожие считали его «не в себе». Ходил он очень быстро, но когда уставал, то, начав с быстрого темпа, потом плелся. Терпеть не мог, когда впереди шли, он старался обогнать, а там еще и еще: ведь улица. И меня он загонял. А с сыном, Колей Маленьким, у них была песенка: «Мы сейчас пойдем вперед и обгоним дядь и теть, потому что теть и дядь мы привыкли обгонять».

Эта его привычка ходить бегом проявлялась и в наших грибных походах («Для чего нужны грибы? Грибы нужны для похвальбы»). С кем бы мы ни пошли за грибами, «пошли» не подходило к тому, что делал Коля. Пять-шесть километров в час по лесу. Его спутники нередко еле выдерживали сей марафон. Но вот когда находили грибные места, Коля становился методичным, обстоятельным, каждый гриб аккуратно срезал, очищал ножку, потом только клал в корзину. Я была азартнее, собирала много больше и получила почетный титул: «королева белых грибов и рыжиков». Но добычу нес домой он сам.

Каждый раз, когда мы, измученные и усталые, приходили домой, то клялись, что больше не пойдем. Весь наш огромный стол в столовой усыпали грибами. Мы сортировали их, Коля очищал и выносил негодные. Я шла готовить. Сразу же, несмотря на усталость, делалась жареха. Приходили друзья. Коля искренне радовался, усаживал всех за стол... Успевай только выставлять угощение из грибов.

Вообще Коля очень любил, чтоб стол был обилен, и любил, если ему говорили об этом, хвалили. Ему много недодано было хороших слов в жизни, и он очень ждал их, пусть даже по незначительным, будничным поводам. Может быть, поэтому всему, что было связано с праздниками в нашем доме, Коля придавал некую значительность, хотя и не лишенную самоиронии: покупал бесчисленную «закусь», устраивал выставки своих книжечек, придумывал неповторимые глазковские лотереи. А я готовила. Фирменное блюдо нашего дома — кулебяку — любили все.

Ходили мы в лес и по орехи. Иной раз ездили и на ночь. Коля, конечно же, вызывался жечь костер: он очень любил огонь и любил жечь костры.



С сыном Колей. 1961 год

Коля был более всего увлечен самой романтикой похода, леса, любил природу и тонко ее чувствовал.

Когда в начале мая 1954 года мы поехали с ним на пароходе до Углича, то он написал стихи: «И мы ушли в лес. Лес, какой ни на есть, для слуха и глаз удивительно хорош, и сразу от него не уйдешь. Было слышно, как лопались почки...» Когда после смерти матери Коля был в состоянии депрессии и не мог работать, то мы ходили на природу — она для него была лучшим лекарем. В 60-м году мы поехали с ним во Владимир, где он смотрел соборы, иконы, расписанные, по легенде, Андреем Рублевым. Тогда уже была задумана им поэма об Андрее Рублеве. Там мы познакомились с реставратором и копиистом икон Гусевым. Он сам тер краски из местных минералов и глин. Это очень понравилось Коле.

Для Коли было непреложным: от всего виденного, встреченного, вновь узнанного должна быть некая отдача (не подберу точного слова для выражения этого сложного Колиного чувства). Он не хотел мириться с пустой тратой времени. В 1976 году, уже под осень, мы поехали на Псковщину, с экскурсией от моей работы. Публика была разная, Колю мало заинтересовавшая, и к тому же он в самом Пскове бывал. Мне он стал пенять, что от такой поездки

толку не жди. Но, когда мы приехали в места, связанные с Пушкиным, в Святогорский монастырь, Михайловское, он преобразился. И конечно же он искупался в псковских водах, и в реке, и в пруду. А было уже холодно... По приезде домой в голове его сложились стихи:

У нас так любят переименовывать
Скоропостижно и неосторожно...
Но старое название от нового
Здесь отличить, пожалуй, невозможно.

Святые горы — Пушкинские горы!..
Холмы, равнины, и леса густые,
И голубая Сороть, и озера,
Коль Пушкинские, то вдвойне Святые!

У него с детства был ряд увлечений, некоторым он отдал дань и забыл о них, а вот некоторые прошли с ним до конца. До конца он остался верен детскому увлечению географией. Знал ее превосходно. Рассказывал, что в детстве играл так: разрезал географическую карту на малюсенькие квадратики, типа фантиков, и потом составлял карту заново. А когда появилась возможность, то стал географию познавать при поездках по стране. Он считал, что «поэтам верхоглядство очень противопоказано», и там, где можно было ездить или еще лучше — ходить, он так и поступал. И всегда называл себя Великим путешественником. Его действительно интересовал не только пейзаж — это у него, по-моему, не было главенствующим,— а вся сумма географических особенностей данного региона. Называя себя поэтом-путешественником, он проявлял неизменный интерес ко многим примечательным местам.

Особое место в жизни Коли занимал Тамбов. Впервые он приехал туда в 1953 году. И надо сказать, что в пятидесятых годах, до поездок Коли в Якутию, которая сразу и навсегда затмила все прошлые любимые географические места, он неоднократно ездил в Тамбов, гостил там летом по месяцу.

Не однажды бывал Глазков и в Ленинграде. В Ленинград я приехала с ним вместе в ноябре 1954 года. Эта поездка интересна своими встречами, ибо мы были приглашены к Вере Пановой, были у Сергея Орлова, были на премьере пьесы В. А. Катаняна о Маяковском, куда нас пригласили Лиля Юрьевна и Василий Абгарович. На премьере спектакля Коле очень понравилась увертюра, написанная Родионом Щедриным. Коля вообще-то не любил музыку. А здесь он был под впечатлением услышанного. (Я, наверно, неправильно выразилась: не любил музыку — это не так. Просто она часто его раздражала,

Дорогой Коля!

Сообщаю тебе совершенно официально, что ты есть

г е н и а л ь н ы й поэт. Сидел у тебя дома и два часа читал твои стихи. Хочу тебя озвучить, не смотря на твои отрицательные стихотворные высказывания о музыке.

Желаю тебе отдыха и хорошей работы на лесах, полях и огородах.

Жму тебе руку /но не больно!/

С гениальным музыкальным приветом

Родион Щедрин

Родион Щедрин

1 июля 1961 г.

Письмо композитора Р. Щедрина

утомляла. Ведь он обладал очень тонким музыкальным слухом, правда, голосом совсем не владел. Был очень ритмичен и пластичен. Хотя и казался неуклюжим — да это так и было. И тем не менее он очень любил некоторые песни и сам пел их. Как — это другой вопрос. Но пел.)

Немало примечательных «географических открытий» сделал для себя Николай Глазков. Он, например, прошел пешком и проехал по Чульманскому тракту, который еще не стал тогда дорогой БАМа. Поразившее его он изучал, хранил в памяти. Интерес к краеведению был у него не дилетантским: недаром он был действительным членом Географического общества СССР.

Кроме географии, были увлечения минералами. Если он что-то изучал, то досконально. Так, интересуясь минералами, изучил все химические свойства и даже формулы образования, решетки, группы по таблице Менделеева. Таблицу Менделеева знал наизусть. Один раз произошла такая история. Где-то в командировке он зашел в местное геологоуправление и попросил показать ему их музей. Те удивились: откуда он знает, что есть коллекция? Он

логически все объяснил. Тогда спросили: «А почему мы должны Вам показывать ее?» Глазков не хотел ссылаться на свое членство в Союзе писателей. Он просто повернулся спиной к таблице Менделеева и попросил его проэкзаменовать. Удивив всех и таким образом получив доступ к минералогическим коллекциям, он получил еще в знак восхищенного признания осколок полированного камня.

Он любил цифры. Сначала ему не давалась школьная математика. Но когда он сломал впервые ногу (вторично — на съемочной площадке), то в больнице увлекся и математикой и впоследствии жалел, что посвятил себя поэзии как профессии. Он говаривал, что если уж ему суждено быть поэтом, то он им все равно бы остался, а математикой мог бы зарабатывать себе на жизнь. «Поэзия, сильные руки хромого, я вечный твой раб, математик Глазков!» — писал он в одном из вариантов своего стихотворения. В часы досуга он частенько решал задачи из учебника метематики для высшей школы.

В его огромном архиве сохранились диаграммы, тщательно вычерченные и заштрихованные, из которых видно и количество написанных строк, и количество переведенных, напечатанных (Коля подсчитал, что им переведено 45.630 строк). И количество открыток той или иной страны по искусству. Сохранились и таблицы шахматных турниров, в которых он участвовал еще школьником, третьеразрядником и потом, уже перворазрядником, защищая на шахматных полях честь Центрального Дома литераторов перед учеными-физиками Обнинска или академгородка Новосибирска. И поныне каждый шахматный сезон в ЦДЛ открывается мемориалом Глазкова.

У Коли есть в «Похождениях Великого гуманиста» рассказец о слабостях гуманиста, одна из которых — книги. «Книг чем больше, тем больше хочется их иметь, а складывать некуда». Книги, которые ему дарили, он всегда прочитывал. Читал он очень внимательно, в ранней молодости все прочитанное из числа заинтересовавшего его конспектировал. И то, что прочел, запоминал крепко, навсегда. Читал он и специальную научную литературу. Круг его интересов никогда не иссякал. Так что все равно книги в доме прибавлялись.

А рядом с книгами множились альбомы с открытками. Это была давняя страсть коллекционера. В альбомах были не только репродукции картин любимых художников, но виды памятных мест, городов. К концу жизни у Коли было около 400 альбомов и до 40 тысяч открыток. Коля ежегодно делал ревизию своей коллекции, записывал все, что есть по странам, областям, городам. Очень легко ориентировался во всей этой массе. А в книгах соблюдался алфа-

витный порядок. Тот же принцип он как-то предложил в оглавлении книги в издательстве. Ему так работать было легче. И всюду, при его вообще-то бытовой, что ли, небрежности, был образцовый порядок. Тот же порядок строго соблюдался среди рукописей.

Коля всегда считал, что краткость — сестра таланта. А в последние годы добавлял: единственная. И еще, по его убеждению, в стихах ли, в прозе ли — обязательна информативность. Если в стихах не было этих двух обязательных компонетов — он считал стихи плохими. Прозаическая мысль, окутанная бессодержательным многословием, его раздражала. Любил афористичность, терпеть не мог словоблудия.

Из поэтов любил Гумилева, Цветаеву. Это кроме любимейших — Пушкина, Маяковского, Хлебникова. В тот же ряд ставил Блока, Тютчева, Пастернака, Ахматову. В первую десятку иногда входил Некрасов. Но всегда — Лермонтов. Пастернак то входил, то выходил из этого ряда.

Я никогда не слышала от мужа слова «обэриуты», но стихи Введенского, Олейникова и, в особенности, Заболоцкого Коля часто цитировал наизусть. Он всегда говорил: «Тебе нравится поэт? Тогда прочитай на память хоть одну строфу». Он Олейникова знал много и хорошо, любил из предыдущих — Минаева, Сашу Черного, хотя немногое признавал у него.

Мы узнали о смерти Заболоцкого из газеты, которую прочли на стенде у Арбатской площади. Коля сразу помрачнел, начал говорить о Заболоцком — поэте трудной судьбы. В тот же день встретились с Евгением Евтушенко. Решили пойти помянуть Заболоцкого. В тот вечер и Глазков, и Евтушенко читали его стихи.

Коле нужна была аудитория. Но не так часто приходилось ему выступать: всего несколько крупных авторских вечеров за всю жизнь. О них я и хочу написать.

Первое такое выступление — творческий вечер был проведен в начале шестидесятых годов в Каминной ЦДЛ. Было человек 30—40. Большинство — наши знакомые. Коля волновался очень, читал, как и всегда, когда был взволнован, дискантом. Потом освоился. Читал все, что входило в его апробированную программу, а потом все, что просили. Был успех, хотя слушателей собралось мало. Однако на этом вечере были Ярослав Смеляков, Егор Исаев, Александр Безыменский, Сергей Наровчатов, который вел вечер и сам прочел глазковскую «Молитву» («Господи, вступися за Советы...»).

Другое выступление состоялось уже в переполненном Малом зале ЦДЛ. У нас тогда было очень плохо с деньгами, и у Коли была отстающая подошва на туфлях, которую я и пришила нитками. Опять страшное волнение. Даже забывал строчки. Это при его-то памяти! Я подсказывала. Читал много, был хохот, аплодисменты, вызовы. Читал по просьбе Бокова, еще кого-то — всех, кто просил...

И когда принимали его в члены Географического общества, тоже читал стихи, и тоже успешно. Он проходил по краеведческой комиссии, отстаивал Хабарова от того, что тому приписывалось звание конквистадора, а Коля его считал великим путешественником, первооткрывателем. Это было отражено в «Трудах Географического общества».

Неоднократно он просто забирался на эстраду Большого зала ЦДЛ, когда шли чествования того или иного его друга, или с места, никем не званный, поздравлял, читал стихи, посвященные юбиляру. Запретить этого ему не могли. А вот пригласить наравне с прочими — не приглашали. Это его всегда больно ранило. Как не хватало ему внимания и признания. Того признания, которое выражали ему многие поэты, с такой охотой дарившие Николаю Глазкову свои книги.

В его библиотеке книг с дарственными надписями от «а» до «я» — масса. Беру из самой середины тех книг с автографами, что стоят на полках, несколько и хочу, чтобы читатели узнали о дарственных надписях на них. Тем самым опровергаю ходячую сплетню о том, что Коля «выжимал» у слабаков пожатием руки хвалебные надписи. Привожу надписи отнюдь не слабаков — ни в поэзии, ни в жизни.

Михаил Луконин свою книгу стихов «Сердцебиенье» (М., 1947) преподносит «богатырю и Агамемнону, поэту поэтов Коле Глазкову, чтобы помнил!».

А вот слова Александра Межирова на его книге «Разные годы» (М., 1956): «На память о разных годах — другу и учителю поэзии Николаю Глазкову».

На титуле книги Сергея Наровчатова «Горькая любовь» (М., 1957) автором написано: «Дорогому Коле Глазкову — комете постоянного действия и присутствия на поэтическом нашем небосводе».

Ярослав Смеляков дарит Глазкову сборник своих «Избранных стихов» (М., 1957) — «с заинтересованным удивлением». А Борис Слуцкий на своей книге «Память» (М., 1957) написал Николаю Глазкову: «20 лет знаю наизусть твои стихи и не забуду до смерти». И завершил это признание словами: «С высоким уважением».

В 1977 году, через год после смерти Михаила Луконина,

когда почтить его память пришли только Николай Глазков и Юрий Окунев из Волгограда (друг и верный соратник Луконина еще с довоенных лет), Коля горько сетовал, что так быстро забывается все.

А между тем и к самому Коле исподволь приближалась тяжелая болезнь! Еще в 1976 году я обратила внимание на то, что, когда он плыл (а было уже холодно), вся спина у него стала какого-то страшного синего цвета. Думаю, что это печень уже давала себя знать. Я сказала об этом литфондовскому врачу. Но ему не запретили принимать холодные водные процедуры.

С апреля 1977 года у Коли сначала болело правое колено, в июне стала краснеть и опухать вся нога, потом и вторая тоже. Осенью (кажется, в сентябре) ноги как-то успокоились, боли ослабли, и он опять потянулся к воде. Мы пошли. Я хотела покататься на лодке. Так уж получилось, что за все годы, что мы прожили, Коля, который очень гордился тем, что у него «на двух ладонях нет мозоли ни одной», только считанные разы катал меня. Взяли лодку. Коля стал грести. Шли вдоль Москвы-реки к плотине не то к шлюзу. Берега уже стояли в желтой листве. Вдоль берега виднелись гнезда стрижей или ласточек, которые с писком вылетали из них. Коля греб не сильно и явно утомлялся. Я заметила это и, щадя его самолюбие, просила останавливаться в том или в другом месте, чтобы полюбоваться побережьем. Так мы «открыли» и Бухточку Бурундучка, которую мне Коля преподнес в подарок. Об этом и его стихи.

Обратно он еле-еле дотянул, а я грести совсем не могу. По лестнице тоже шел с трудом. Это была его последняя вылазка на природу. Следом пришлось ему прибегнуть к палке, потом к костылям, на которых он передвигался в основном при помощи рук. Руки оставались сильными до конца.

Коля долго болел. Жили мы теперь не в центре, а на окраине Москвы, и немногие приходили навестить его. Был среди них и Сережа Наровчатов. Отрадно было видеть, как оживился, порозовел от радости Коля, когда они с Сережей вспоминали свою юность, первые творческие шаги и давние озорные проделки.

В дни тяжелой болезни Коли друзья и почитатели стали писать ему то, чего он так долго ждал от них,— слова признания...

Евгений Храмов

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ НИКОЛАЯ ГЛАЗКОВА

Николай Иваныч Глазков
Никогда не писал пустяков.
Потому что и пустяки
Он умел превращать в стихи.

С ним легко было водку пить,
А ему было трудно петь,
Ибо и поэтический быт —
Это не романтический бот
И не парус там, «в голубом» —
Это ярость с разбитым лбом.
Дураки не берут стихи,
А у умных дела плохи,
Ведь хорошими трудно быть,
Но зато их удобно бить.

Оттого Николай Глазков
Напечатал не много стихов.

Но теперь, Глазков Николай,
Ты сверкай, удивляй, накаляй!

Ибо тот настоящий поэт,
Кто тогда и когда его нет.

Владимир Одноралов

СЧАСТЛИВЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

У Глазкова есть сборник «Большая Москва». Конечно, она большая, а для него особенно. Хотя по рождению он волжанин, для него Москва — считай, вся жизнь.

Но и с самим Глазковым, и с его Москвой я познакомился в своем Оренбурге. Однажды летом поэт Геннадий Хомутов зазвал меня и юную поэтессу Олю Черемухину в сад имени Фрунзе. Он тогда был самым уютным в городе. Мы расположились на скамейке, а он достал из портфеля скромную стихотворную книжицу и, не давая до нее дотронуться, потряс ею в воздухе:

— Вот, поэт! Пре-кра-асный! Вот, слушайте...

Это была книга Глазкова «Поэтоград». Мы прочли ее вслух, залпом, и дружно влюбились в автора.

Можно объяснить отчасти нашу к нему любовь с первого прочтения. Мы тогда только-только окунулись в стихотворство, плохо ориентировались в потоке стихотворной продукции и, бывало, путались, принимая нестоящее за настоящее. И мы не подозревали, что поэзия может быть такой раскованной, веселой и вместе с тем — серьезной и глубокой.

Поразило умение Глазкова превращать в поэзию казалось бы прозаические слова, умозаключения, факты чисто фельетонного рода.

Многие его стихи задевали нас явной гражданственностью. Мы чувствовали ее нутром. А ведь мы тогда были уверены, что гражданские стихи должны быть непременно неулыбчивыми, на глобальную тему, весомыми, то есть — как тяжело-звонкое скаканье... Все это было для нас открытием.

В те годы не только мы, но и люди постарше и опытнее нас не видели ничего плохого, скажем, в такой газетной строке: «Тайга отступила!» Такая фраза часто мелькала тогда в информациях о стройках Сибири. А Глазков несколькими четверостишиями давал понять, как это страшно, когда тайга (читай — природа) отступает. Вернее, отступилась от человека.

Но главная причина влюбленности в Глазкова и его стихи в том, что они запоминались с лету, естественно. Когда я служил в Советской Армии, то вспоминал и про себя, и для друзей десятки его стихов из «Поэтограда» и «Пятой книги». И с ними жилось веселее. И не только мне.

Накануне июня семидесятого года я вернулся из армии в Оренбург. Наутро двинулся в город (то есть в центр) и на улице Советской счастливо столкнулся с Геннадием Хомутовым, который прекратил мои восторги командирским распоряжением:

— Так. Иди в Союз писателей, там Глазков. Познакомься. Скажи, что я сейчас подойду.

Что он еще говорил, не помню, потому что сразу оказался в праздничном состоянии: Глазков в Оренбурге!

Мы, молодые поэты, слышали от Хомутова, что он переписывался с Глазковым и настойчиво звал его в Оренбург, объясняя, что здесь его хорошо знают.

В общем, благодаря Геннадию, я знал все книги Глазкова, начиная с «Поэтограда». Я, как оказалось, довольно верно представлял себе человека, лишенного ханжества, «мэтровских» замашек и поз вообще, умеющего, несмотря на порядочные годы, радоваться жизни. Наверное, поэтому я шел в местное отделение Союза писателей без традиционных обмираний: был уверен, что встреча будет хорошей и интересной.

И когда меня представили Николаю Ивановичу, тоже не смутился, и от этого тоже было радостно.

Некоторым его взгляд в момент рукопожатия и потом казался лукавым, хитроватым, что ли. Это не так. Пожалуй, он был совершенно лишен этих качеств. Взгляд у него был заинтересованно-пытливым. Как от жизни, так и от людей Глазков ожидал новизны. Искал ее и, вероятно, отыскивал.

Он выглядел необычно. Большой, слегка сутулый мужчина (чувствовалась в нем сила) с большими ушами и редкой бородкой, с блескуче-цепким взглядом из-под шляпы, одетой почему-то задом-наперед. Нужно было некоторое время, чтобы понять, насколько он естественный человек, а тем, кто знает его стихи,— и этого не нужно было. Ну, лицо, фигура — это уж какие есть, а вот шляпа — для эпатажа, что ли? Но даже люди, которые туго воспринимают любого рода чудачества, после получасового знакомства с ним понимали, что личный опыт для этого человека — гораздо важнее требований моды, что перед ними — человек, поглощенный своим делом, поэзией, всем, что ее питает. И при чем тут шляпа?..

А разговор в оренбургском отделении писательского союза шел деловой. Николай Иванович попросил направить его в какой-нибудь интересный район нашей области. Борис Сергеевич Бурлак, тогдашний секретарь нашей писательской организации, вслух размышлял, куда бы это Глазкова командировать.

Я предложил Тюльганский район, поскольку немного знал эти, граничащие с Башкирией места. А Бурлак знал их отлично, и поэтому сразу поддержал своим могучим:

— Да-а! Это подойдет! Заодно заедете в Октябрьское, выступите и там.

Решили командировать с Глазковым и наших стихотворцев. Первым попутчиком утвердили молодого тогда поэта Валерия Кузнецова. Бурлак обратился ко мне:

— Ну, а вы свободны? Сможете поехать?

Еще бы я не был свободен!

В Октябрьское мы приехали к вечеру. Там нас встретил ответственный за районные культурные мероприятия товарищ, которого звали Николай Николаевич. Он, казалось, был несколько испуган прибытием московского поэта и все время старался выглядеть меньше, чем он был на самом деле. Он проводил нас в гостиницу, сказал, что здесь мы будем ночевать и что нас уже ждут в Доме культуры.

Глазков заботливо предложил договориться, по скольку стихов читать каждому и в каком порядке. Он при этом рассказал про выступление с одним московским поэтом, с которым они договорились прочесть по пять стихотворений, но тот, выступая следом за Глазковым, ободренный, видимо, аплодисментами, прочел все пятнадцать, заставив скучать Глазкова и всю публику. Глазков отметил, что это было не по-товарищески.

Мы решили прочесть по четыре стихотворения и (благоразумно) перед Глазковым.

К Дому культуры мы пошли пешком, и, когда он встал перед глазами, Николай Николаевич, быть может от смущения, но и не ожидая возражений, сказал:

— Вот, Николай Иванович, до революции это был собор, а в тридцатые годы наши энтузиасты переделали его в Дом культуры.

— Так ведь это не от хорошей жизни, Николай Николаевич,— возразил Глазков.— Это все равно что из фрака кроить пиджак.

Николай Николаевич обиженно задумался. Но выступление получилось очень душевным. И нам с Валерой хорошо похлопали, а Николая Ивановича слушали просто жадно. Он спросил собравшихся любителей поэзии: о чем

бы они хотели послушать стихи? И читал по заказу — о весне, о любви, о лошадях и о борьбе с пьянством. Больше он читать не стал, объяснив, что у нас договор. Но люди требовали стихов, и тогда он предложил читать по второму кругу. Лично мне читать больше было нечего. Маловато у меня тогда было стихов, которые я не стеснялся показать публике. Но вот эта порядочность меня сразила. И как хорошо, что мы с Валерой читали стихи до него. После него стихи читать очень трудно. Хотя никакой такой приметной манеры чтения у него не было. Казалось, не было. Он просто как можно внятнее рассказывал свои поэтические раздумья и открытия и был уверен, что перед ним искренние и понимающие толк в слове собеседники. И ему сразу верили.

Утром я увидел Николая Ивановича за работой. И так было во все дни его поездки к нам. Его не смущали ни дорожный быт, ни присутствие посторонних людей. Есть у него такое краткостишие: «Не каждый знает, что для творчества Необходимо одиночество». Так вот, он умел создавать для себя это творческое одиночество в любой обстановке. И, что интересно, окружающим незаметно было, что он уединился и — ни много ни мало — пишет стихи. Большинство его оренбургских стихотворений было начато и вчерне закончено на наших глазах.

Например, «Пугачевские ордена». Они появились после того, как мы с Глазковым посетили наш краеведческий музей. Действительно, там лежат под стеклом эти ордена, вырубленные в форме креста из медных пластинок или перечеканенные из царских серебряных рублей. Мы их десятки раз видели, но никому не пришло в голову, что они могут стать предметом поэзии. Хотя это даже странно: ведь они подлинные современники Пугачева. Да, для этого нужно было вроде бы немного: обладать цепким взглядом Глазкова и его выработанным всей поэтической жизнью убеждением, что «поэзия начинается со всего и не пугается ничего».

Для меня появление этого стихотворения — урок поэтической внимательности и умения работать одинаково продуктивно и в своем кабинете, и в номере гостиницы, и в купе поезда.

Рано утром мы покинули уютную гостиницу в Октябрьском и поехали в Тюльган. Там нас встретили замечательно тепло.

— Очень давно к нам не приезжали поэты! — сказали нам.

Мы выступили в переполненном зале. Выступали долго, весело и приподнято.

После выступления нам предложили пройтись по по-

селку. Мы зашли в книжный магазин, и там две пожилых продавщицы пожаловались:

— Вот мы слышали, какая хорошая поэтическая встреча была, а мы на нее не попали. Это обидно: ведь мы с книгами работаем.

Глазков тут же отозвался:

— Это не беда. Мы с Володей почитаем стихи специально для вас. (Мы пришли в книжный магазин вдвоем с Глазковым.)

Мы читали стихи для этих славных женщин, а потом в магазин зашли несколько покупателей и тоже остались послушать. Была небольшая и внимательная аудитория.

В магазине Глазков обнаружил несколько своих книг «Большая Москва». Он купил их все и в этот же день раздарил продавщицам магазина, слушателям, работникам райкома и нам с Валерой. Всем со стихотворными подписями.

После выступления в магазине заведующий отделом пропаганды райкома партии спросил, не оставит ли Глазков несколько стихотворений для районной газеты «Прогресс»?

— Охотно оставлю,— с готовностью ответил Глазков.— Напечататься в районной газете так же почетно, как и в центральной.

Это была не фраза. Глазков серьезно относился к любой публикации, и не только потому, что его долго не публиковали. Это, мне кажется, чисто профессиональное уважение поэта к своему читателю.

— Читатель везде тот же и стихи те же. Разница — в тираже,— серьезно говорил он.

Позже, когда я побывал у Николая Ивановича в гостях, он показал мне вырезки из районных газет европейской части СССР, Якутии, Казахстана. Это были вехи его путешествий, и хранил он их любовно.

Тюльганский район на границе с Башкирией — это довольно высокие холмы (отроги Уральских гор), покрытые лесом, словно зеленой переливчатой шерстью. Называют их здесь шиханами. Нас привезли на уютную поляну, спрятанную в этих шиханах. Представьте: вокруг дышит и здравствует веселый лиственный лес. Рядом — старые сосны. Высокие, сильно изреженные, но явно когда-то посаженные рукой человека. И меж этих сосен начинается и теряется в лесу мощная полоса сирени. Она была и есть чудо Тюльганского района. В стихотворении о ней Глазков воскликнул:

Бывал на дивной Лене,
Бывал в Алма-Ате,
Нигде такой сирени
Не видывал. Нигде!

Однажды посаженная, свободная от всякого ухода и обламывания, навечно укоренившаяся в этой земле, она цвела пышно и потрясающе. Во время разговора под брезентовым пологом, под сосной, мы оглядывались на нее всякий раз, когда до нас доходила волна ее запаха. Никакая парфюмерия не способна передать это сочетание чистого лесного воздуха и запаха цветения. Николай Иванович был покорен ею.

В застольной беседе всегда возникают вопросы к главному гостю. А главным гостем был Глазков. Отвечал он всегда остроумно и как-то так, что втягивал в разговор всех. И становилось незаметно, что он — главный гость.

О многом говорили в тот памятный вечер. В одном своем стихотворении Глазков опасается:

> Все, что я скажу, объявят важным,
> Для печати самым неотложным —
> И в огромном хаосе тиражном
> Совместят великое с ничтожным.

Но как, вспоминая о нем, обойти его своеобычный юмор? Ведь вся его поэзия им пронизана. У него не часто встретишь чисто серьезное или чисто юмористическое стихотворение. Чаще всего — сплав. Юмор в его стихах так же невычленим, как интонация, настроение.

И, между прочим, его экспромты, истории, анекдоты всегда существенны. В тот вечер мы услышали от Глазкова историю, свидетельствующую о том, что всяческие проявления национализма для него были чужды и неприемлемы. Он рассказал, как во время путешествия по Якутии пришел к нему в гостиницу знакомый якут и пожаловался: его обыграл в шахматы какой-то приезжий армянин-шабашник. Обыграл и, не удовлетворившись победой, сказал, что якуты — бездарная нация, они — ничто по сравнению с армянами.

И вот к этому армянину подходит вдруг сутулый, с косо посаженными глазами и по-якутски реденькой бородкой мужик и по-якутски же предлагает сыграть с ним в шахматы. Ну, здоровый какой-то якут. Затем он его довольно легко обыгрывает (Глазков играл в шахматы на уровне первого разряда) и ясно по-русски говорит:

— Не каждый армянин — Петросян.

Вот — поступок Глазкова. Ну а более серьезный его поступок в этом направлении — его переводы. Есть у него книга «Голоса друзей», в которой он опубликовал свои переводы армянских, киргизских, бурятских, осетинских, чувашских и якутских поэтов.

Или вот еще один пример серьезности, обоснованности его шуток. Глазков очень не любил зиму, холод.

— Хорошо в Москве-столице,
Но не всем и не всегда.
Мне вот плохо: минус тридцать...
Наступили холода.
И мечтаю о весне я,
Недовольный стужей злой.
А в Якутске и в Усть-Нере
Посмеются надо мной...

Шутливая интонация стихотворения не сбивает с толку читателя, потому что чувствуешь: человеку неуютно. Наверное, вся эта нелюбовь к зиме — от пережитого. Памятно намерзся Николай Иванович в жуткие военные зимы.

...Не знаю, что происходит с сиренью ночью, но тогда под звездами она прямо шумела волнами запаха, и она — светилась. То есть стало темно, а гроздья ее цветов были ясно видны. Думаю, что Глазков начал работу над стихотворением «Тюльганская сирень» прямо той ночью...

По укромной лесной дороге мы проехали к речке Ташлинке, и Глазков, прежде чем освежить ноги в ее родниковой воде, смерил ее температуру большим специальным градусником.

— Ведь я — член Географического общества,— пояснил он нам.— И если не буду измерять температуру воды перед купанием, то мои купания не будут иметь никакого научного значения...

А прекрасные стихи Глазкова о Тюльганской сирени впервые были опубликованы в районной газете «Прогресс» и уже потом в его книге «Творческие командировки».

Кажется, в день отъезда мы сидели в номере гостиницы «Оренбург», ели дорогие по тому времени помидоры, и Глазков уверял нас, что помидоры гораздо калорийнее мяса, поэтому не надо жалеть на них денег. Беседовали, и я рассказал Николаю Ивановичу, как работал помощником у геолога по фамилии Пушкин. Мы с ним возле села Пономаревка бурили небольшие скважины под строительство. И вот из одной скважины метрах в пятидесяти от речки Черная вдруг поползла совершенно голубая глина.

— А какая она была голубая? — встрепенувшись, спросил Николай Иванович.

— Ну вот, как эта рубашка. Нет. Еще голубее. Как небо.

Бурили мы зимой, в сумрачную погоду, и глина была действительно ярко-голубой.

— Об этой глине нужно сообщить в геологоуправление,— убежденно заявил Глазков.— Я своими глазами ви-

дел кимберлит и уверен, что только он может быть таким ярко-голубым и так удивить и запомниться.

Он настоял, чтобы мы отправились в геологоуправление тотчас же. Всю инициативу в переговорах он взял на себя, меня попросил только повторить рассказ. Глазков убеждал, что необходимо снарядить машину, взять его и меня — «прекрасного Володю» — и немедленно ехать в Пономаревку за этой удивительной глиной. Он говорил, что, насколько ему известно, в предгорьях Урала алмазы вполне возможны и глину надо обязательно исследовать. Ради этой поездки он готов был отложить отъезд в Москву на любой срок.

Вот когда я видел его разгоряченно-серьезным. Но спокойно-серьезные люди — геологи — слушали нас, дилетантов, без особого энтузиазма. Они соглашались: да, на Урале, в его предгорьях, алмазы возможны, да, глина в Пономаревке, действительно, удивительно голубая. Но она уже исследована. Это — обычные осадочные породы, интенсивно окрашенные каким-то красителем.

Тут-то Николай Иванович их и прижал.

— А каким красителем? Ведь такой интенсивный краситель должен быть чем-нибудь ценен?

Отвечали ему на это невнятно: мол, ничем он не ценен. Это — скорее всего то-то или то-то...

Николай Иванович не верил им, досадовал. Ведь у него отняли возможность сделать открытие! Не менее в его глазах ценное, нежели поэтическое. Когда мы вышли из геологоуправления, он предложил было попросить машину в отделении Союза писателей, но потом вспомнил, что машины там нет, махнул рукой. Отъезд отменен не был.

А действительно, чем же окрашена эта глина? Неужели неинтересно? Или время не пришло выяснять? И правда, поэты частенько опережают его.

О помощи молодым литераторам говорят и пишут много. Но, честное слово, любую помощь административного рода не сравнить с той, которую оказывает ученику мастер общением с ним. Глазков был доступен для такого общения.

На одном семинаре молодых литераторов в Пицунде я познакомился с талантливым прозаиком из Барнаула Евгением Гавриловым. Умный и славно наивный парень, он как-то решил пообщаться с одним большим литератором, там отдыхавшим. Глазков называл таких — литературными генералами. Понятно — пальмы, море. Всегда как-то глупеешь и теряешь осторожность в такой обстановке. Вышли мы с Женей на аллею, ведущую к морю,

и вот он, этот большой литератор. Стоит, мило шутит с десятилетней девочкой. Женя расслабленно и смело подходит к нему и говорит: нельзя ли, мол, к вам обратиться...

И как же изменился литератор, повернувшись к нему.

— Вы что, не видите, что я занят? — ответил он из-за невидимого, но громадного начальственного стола. Это был ледяной душ под солнцем юга.

Потом я часто видел этого человека улыбающимся, но никогда не верил его улыбке. И не верю, что он способен кому-либо помочь. Даже тому, к кому он расположен. Ну, денег одолжить, вероятно, может. Так ведь на это есть и касса взаимопомощи, всякие там кредиторы...

В семидесятом мы виделись с Глазковым в Оренбурге, а через год с небольшим я приехал к нему в Москву. Я тогда очень хотел учиться в Литературном институте. И почему-то был уверен, что поступлю. А в институте доброжелательные женщины сказали мне, что два тура конкурса я прошел, но на третьем — срезался. Насчет двух туров они скорее всего соврали: мол, утешься. С горя я немного осмелел и выразил уверенность, что у них есть справочник Союза писателей, по которому они могут сообщить мне телефон Николая Ивановича Глазкова. Я решил утешиться хотя бы звонком к нему. Он, в самом деле, приглашал нас всех заходить к нему, но мало ли что бывает: занят человек или вообще дела. Все-таки столица. В общем, я позвонил.

— Я у телефона! — ответил мне мягкий мужской голос.

— Николай Иванович, здравствуйте. Вы помните Одноралова из Оренбурга?

— Прекрасный Володя, где вы находитесь? Ясно. Немедленно приезжайте ко мне.

И он подробно объяснил, как до него добраться.

Я был приятно ошеломлен столь безоговорочным предложением и пошел на старый Арбат пешком. Неудача с Литинститутом совершенно вылетела из головы.

Дворик дома, где жил тогда Глазков, меня не поразил. Он был очень хорош и напоминал наши оренбургские дворики в старом центре. Но другое дело — квартира. Она была сумрачной, вероятно, из-за тяжелой, темного дерева мебели. Но сам Николай Иванович, кажется, светился приветливостью.

— Володя, вам здорово повезло. Росиночки нет дома, она ушла на Москву-реку ловить пескариков...

Я вглядывался в окружающую меня обстановку квар-

тиры: тяжелые, как мне показалось, черные стулья, громадный, как шестиспальная кровать, стол. А за ним черным айсбергом высился то ли буфет, то ли сервант. Еще один, тоже не маленький, буфет стоял по левую руку, а справа было окно, слишком маломощное, чтобы хорошо высветить все эти темные предметы. Но вообще сумрак был не пугающий, а приятный. Такой сумрак приводит детей в сладкий трепет. И вообще какая-то, похоже, детская игра шла в этой комнате...

Так, проникаясь окружающим, я помогал Николаю Ивановичу накрывать на стол. Накрывали мы его довольно необычно. Закусок было много, но всего понемножку. И вскоре половина этого громадного стола оказалась заставленной. Тут были небольшие котлетки, варички (вареные яички), зудавы (сосиски), борщ, уха, жареная рыба, что-то еще и любимые Николаем Ивановичем высококалорийные помидоры. И все это — на двоих.

Беседа была очень долгой. Николай Иванович много рассказывал о друзьях-поэтах Наровчатове, Слуцком, Недогонове, Окуджаве. Рассказы эти были полусерьезными и временами смешили до слез. И вот что интересно: забавные эти рассказы нисколько не были обидными для их героев. Рассказывая, Глазков подчеркивал наиболее острую грань таланта того или иного из них, а в забавных ситуациях герои рассказов всегда выходили победителями.

А вот о Кульчицком и Майорове он сказал с такой искренней болью, что больше я о них не расспрашивал. Он сказал, что война не дала им высказаться как поэтам, но как граждане они высказались до конца.

— Давайте, Володя, стихи читать,— предложил он.

Маловато у меня было стихов, которые я мог бы прочитать ему без стыда. А стыд за некоторые свои произведения я ощутил именно в этой квартире, обнаружив на полке серванта трехлапые чороны золотистого хрусталя. Они были материальной основой его стихов о якутских чоронах и мастерах Гусь-Хрустального. Они помогли мне принять в душу знакомую до сих пор понаслышке истину: поэзия должна вытекать из реалий, из жизненного опыта, а не из заданности, начитанности или неудержимого желания рифмовать. И в этом для меня главная помощь Глазкова.

Но не читать стихов в беседе с ним было нельзя. К этому он относился серьезно. У него были друзья — стеклодувы, ювелиры, краснодеревщики. И если, например, приходил к нему ювелир, то он тоже должен был показать свои новые произведения или рассказать о своих

замыслах. Читали мы тогда, как и в Оренбурге, поровну или, как говорил Глазков, по-братски, и была даже похвала:

— У вас есть ошибки,— одобрительно заметил он и пояснил.— Как-то молодой поэт принес мне стихи. И ни в одном стихотворении я не обнаружил ни единой ошибки. Ни в рифмах, ни в ритмике, ни в логике. А это говорит о том, что поэт писал стихи, строго соблюдая инструкцию. Но разве можно, соблюдая инструкцию, сделать открытие? Можно получить школьную пятерку. Помните наше приключение в Караван-Сарае? (Так называется здание, в котором расположено наше геологоуправление.) Там с нами тоже поступили по инструкции, а в результате никакого открытия не произошло.

И он прочитал стихотворение «Голубая глина», в котором уже не возбужденно, но спокойно-иронично отразил наше столкновение с учеными-геологами.

Таким приветливым и гостеприимным он был со всеми, с кем подружился в своих многочисленных поездках по стране. Он никогда никого не забывал, потому что в каждом человеке искал и находил новизну, необходимую в его поэтической жизни. Поэтому в его стихах так много незнакомых публике имен. Но это имена живых людей, друзей Глазкова.

На прощание он подарил мне свою книгу «Творческие командировки», в которой были опубликованы стихи, написанные после поездки в Оренбург: «Река Урал», «Тюльганская сирень», «Пугачевские ордена». А еще он показал мне шкаф (вернее — его содержимое), в котором хранились разложенные по месяцам и годам, аккуратно переплетенные маленькие самодельные книжечки его стихов и коротких рассказов (последних значительно меньше). Этих книжечек хватило бы на несколько томов.

— Будь возможность, вы бы все это издали?

— Нет, Володя, примерно половина здесь ерунды, малозначительного,— серьезно ответил он.

Это к вопросу о его требовательности к себе и способности к самооценке.

Это и была моя последняя встреча с Глазковым. А теперь, после его смерти, я часто обращаюсь к его стихам. Они дают возможность посетить неповторимый город его поэзии, полный жизни и присущих ей открытий. Впечатление такое, что его Поэтоград отстраивается и растет, как растет и отстраивается его Большая Москва.

Александр Аронов

АВТОРСТВО ОДОЛЕВАЕТ ВАРВАРСТВО

Глазков был высок. Но сутул. Вполне возможно, над его плечами помещалась невидимая, но неснимаемая тяжесть. Однако, пригнув его плечи, она его не надломила. Если забежать вперед и взглянуть под наклон лба, видно было, что глаза смеялись.

А забежать было можно — он двигался медленно — и, кроме того, необходимо. Надо было разгадать его загадку.

Дело в том, что путь от жизни до поэзии выглядел, да и был, конечно, невероятно далеким. Трасса для меня пролетала через всю русскую поэзию, от Пушкина, скажем, до Маяковского, а через мгновение уже до Евтушенко. И еще через всю современность, с ее соблазнами и запретами.

Глазков казался живой отменой этого несусветного расстояния. У него расстояние от жизни до поэзии было каким-то пустяшным, ерундовым и не стоило разговоров. Он оказывался там, где хотел, как бы не тратя на это никаких усилий.

Но тогда, спрашивается, о чем было разговаривать? Я терялся при встречах. Генерала мне хочется спросить: «А вы правда генерал?» Спросить Глазкова: «А вы правда гений?» — хотелось ужасно. Но наивности уже не хватало. К тому же я догадывался, что он ответит, и не знал, чем этот ответ может помочь мне.

Тем не менее помогало. В поэзии тоже укладывалась некая ощутимая табель о рангах, а Глазков и иерархия были две вещи несовместные.

Я, как и многие, тоже приглядывался к разгадке и время от времени предлагал свои варианты читателям «Московского комсомольца» — когда выходила его новая книга. Не знаю, удачно ли у меня получалось, но сквозь все построения, наверно, сквозила благодарность за то, что жить в его присутствии было легче не только в литературе, но и в любом отдалении от нее.

Кажется, ему мои попытки понравились, и мы познакомились.

Я все-таки терялся при Глазкове и не знал, о чем его спрашивать.

Мы встречались не раз. Однажды Глазков стал вдруг рассказывать о «моржах», он вообще был увлечен силой, здоровьем, шахматами. Я сидел в редакционной комнатке и что-то должен был писать. Потом я поймал себя не без изумления вот на чем. Оказывается, я сдвинул все бумаги, встал (клянусь, абсолютно трезвый) на стол и торжественно поклялся:

1. Я никогда не тренировался в моржевании. Так, иногда обливался холодной водой, и все.

2. Я обещаю прийти к любой указанной Глазковым проруби в любой выбранный им мороз, раздеться, нырнуть, сосчитать, кажется, до 15 или 20, не помню, вылезти, растереться — и не простудиться.

3. В случае, если все-таки простужусь,— возвращаю зря потраченные профилактические средства в двойном размере.

В редакцию заходит невероятное множество самых различных людей, и ни разу ни до того, ни после я себя так не вел: дело было именно в Глазкове. Потом я и сам наблюдал, как в его присутствии люди менялись и совершали поступки, которых никто, в том числе и они сами, не ожидали.

Поэт ничуть не удивился моей клятве-пари, принял ее, но, не знаю, почему все это не состоялось. Может быть, он просто не хотел, чтобы я схватил воспаление легких.

Иногда жизнь становилась безумно сложной. Тогда, в самые трудные моменты, вспоминался Глазков, и это было как действенное заклятье от ложной мудрости и от страха. Призраки разбегались при одном упоминании о нем.

Меня, помнится, ужасно занимало, что поэзия, даже самая замечательная, оказывалась бессильной в жизни, в быту, и даже Пушкина не могла уберечь от неудач в любви, как, скажем, в случае с Олениной. Просто руки опускались, когда подумаешь об этом. Но Глазков и здесь был чуть ли не единственным известным мне исключением. Он в такой ситуации написал стихи, как будто и не знал, что это не помогает никогда. Стихи получились очень смешными и очень искренними, а самое главное — подействовали.

Однажды я читал его новые стихи. И вдруг меня остановили строки о парусе (кажется, он срезáл там тонкий слой ветра). Такая изысканная метафористика — и здесь? Я поднял глаза на автора.

Он, кажется, ждал моего изумления и радостно улыбнулся, когда его увидел:

— Да,— сказал он с важностью,— это мне несвойственно.

Оказывается, он писал не просто «как рожден», он выбирал, он видел и другие возможности... Это было очень интересно и еще что-то добавляло к знанию о нем.

Он умел упрощать самое запутанное. Причем упрощать — не искажая. К тому же то, как делал это он, было абсолютно свежо, очень наглядно и просто, но почему-то никому, кроме него, не доступно.

Брехт любил упрощать самые сложные социальные узлы, и это потрясало всех, кто сталкивался с ним. Глазков не выбирал узлов, упрощал всякие — семейные, бытовые, поэтические, социальные.

Учителем поэзии для меня он так и не стал. Это, наверное, невозможно. «Каждый пишет, как он дышит». Но учителем жизни — стал, и, слава богу, не для меня одного.

Его абсолютная уверенность, что понять и назвать можно все на свете и что это совсем даже не трудно,— обещает какую-то другую жизнь, иные человеческие отношения. Поэтому для меня Глазков еще и своеобразный утопист, один из самых обаятельных в этом ряду донкитохов.

А кончить я хочу его посланием, не единственным ко мне, но, увы, последним. Он увлекался акростихом. Бывают, оказывается, такие строки, которые не нуждаются ни в подписи, ни в адресате, их невозможно подделать и не придумаешь, как комментировать. Вот они:

Стихотворцев тысячи в столице,
А поэтов только единицы.
Шахматист достоин славы, чести,
Если он действительно гроссмейстер.

Авторство одолевает варварство.
Радостно, коль побеждает авторство.
Осуждать не следует новаторства,
Надо расширять его границы.
Очень часто истина освистана —
Все равно восторжествует истина,
Утвердится, чтобы сохраниться.

Юрий Окунев

НЕТ КСЕНИ НЕКРАСОВОЙ, НЕТ КОЛИ ГЛАЗКОВА

Поэзия стала бедней от такого:
Нет Ксени Некрасовой,
Нет Коли Глазкова...

Ее — не себя — им хотелось прославить,
Пред ней не могли ни хитрить, ни лукавить.

Молились, как идолу, ей сокровенно
С языческой верою самозабвенной.

И сердце к ее алтарю приносили.
Взамен для себя ничего не просили.

Жила наша Ксюша безденежно, бедно.
Но голову гордо несла и победно.

И было признаньем и неба наградой,
Когда нас одобрить она была рада.

Мучительным, страшным казалось паденьем —
За что-то ее получить осужденье.

Но некие спрашивали надменно:
Какое блаженство нашли вы в блаженной?

О, нет, не скажите. Тут мудрость наитья.
И только лишь в нем все прозренья, открытья.

Ведь в древности люди в такой вот, как Ксеня,
Искали пророчество, даже спасенье...

...Порою услышишь шутливую фразу
Но в тайну глубин ее вникнешь не сразу.

Вот Коля Глазков, в суете повседневной,
Однажды сказал мне, что он — Агаме́мнон.

— Не веришь? (Мне что-то тогда помешало
Ответить... ведь был «председатель земшара»,

Был Хлебников... жил он в «чинах» не освоясь,
И вел он свой вечный поэзии поиск.

А тут — Агамемнон...) — Не веришь?.. Не надо...
Прощай!.. — Озорная насмешливость взгляда.

Теперь, постигая всю горечь потери,
Кричу вслед ушедшему: — Коля! Я верю!

Я вник: новизну ты принес вечной теме:
Лишь тот царь царей, кто поднялся над всеми

Уродствами чувства. И злоба, и зависть,
И ханжество — где-то внизу там остались,

Вся низость, все жалкое, в чем-то смешное,
Вся суетность — это несчастье земное.

Встречал ты с иронией и сожаленьем.
Царил! Вот и смысл твоего воцаренья.

Мудрец! Хоть и слыл средь людей балагуром,—
Все письма твои, все твои каламбуры

Читать, перечитывать снова и снова...
Нет Коли Глазкова, нет Коли Глазкова!..

Ольга Наровчатова

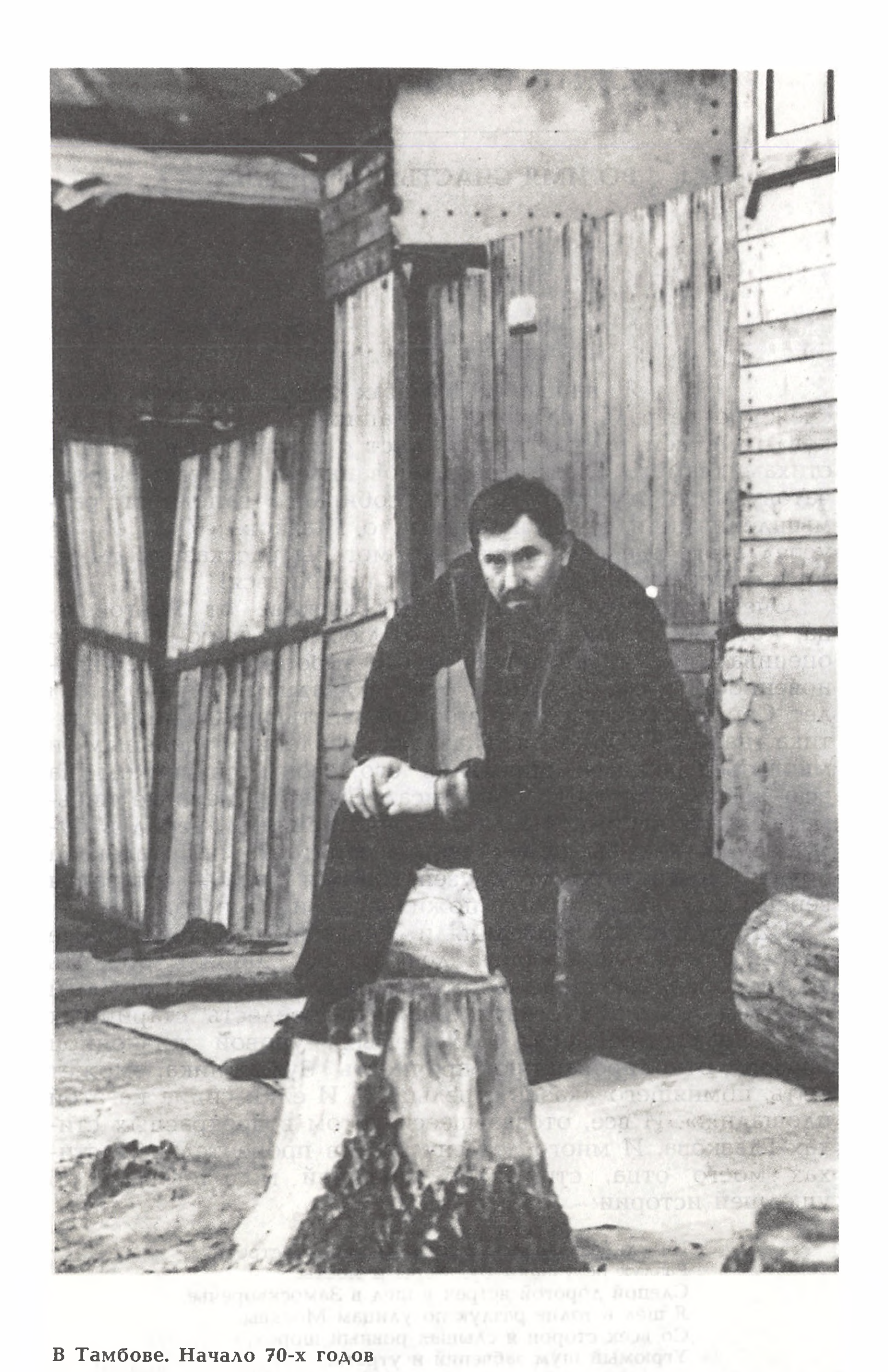
ВО ИМЯ СЧАСТЬЯ, А НЕ ГОРЯ

Я нашла в бумагах отца толстую белоснежную тетрадь, на которой написано: «Николай Глазков». И в ней только тонкий лист с обращением и акростихами самого Глазкова, адресованными Сергею Наровчатову. Всю эту тетрадь отец собирался заполнить размышлениями и воспоминаниями о Глазкове. Увы, он не успел этого сделать. А сколько мог бы рассказать, какими интересными воспоминаниями поделиться!

Очень многое я слышала о Глазкове от моего отца, который с юности знал его, любил поэзию и вполне оценивал всю талантливую многосторонность и необыкновенность этого человека. Уже в двадцать с небольшим лет Сергей Наровчатов с прозорливостью будущего критика называл Николая Глазкова «явлением сильным и многообещающим», определив его своим спутником на всю жизнь. С фронта отец писал Глазкову нежные письма, делился своими мыслями, впечатлениями, верил в будущее. И, как бы общественная занятость ни отвлекала подчас моего отца от друзей, он — я знаю — оставался верен Глазкову. Это было пожизненно и взаимно.

Их с юности объединяли серьезные литературные споры и веселые, озорные досуги. Оба любили бродить по старой Москве, по ее бульварам и дворам, каждый по-своему остро чувствуя древнюю прелесть старинных стен, поэзию соборов, создаваемых суровой жизненной прозой, отполированную прочность булыжника, может быть, помнящего «казнь стрельцов... И елки синие на этой площади...». И все, отозвавшееся потом в прекрасных стихах Глазкова. И много лет спустя — в пронзительных стихах моего отца, стихах об ушедшей молодости и об ушедшей истории:

На улицах Москвы разлук не знают встречи,
Разлук не узнают бульвары и мосты.
Слепой дорогой встреч я шел в Замоскворечье,
Я шел в толпе разлук по улицам Москвы.
Со всех сторон я слышал ровный шорох,
Угрюмый шум забвений и утрат...



В Тамбове. Начало 70-х годов

Их объединяла любовь к истории, к своей стране, любовь к путешествиям. По-разному это тоже отразилось в творчестве каждого. Каждый из них сумел талантливо воплотить самые разные и самые крайние стороны русского характера, уходящего корнями в глубь веков: анархическая талантливая разудалость, широта Васьки Буслаева в поэме отца «Василий Буслаев», огромная потребность в самоусовершенствовании, жадная жажда знаний, углубленность в стихию Духа, силу которого Андрей Рублев черпает в любви к людям, к своей земле в прекрасной поэме Глазкова «Юность Рублева». Но в той и в другой поэме сияет мысль, выраженная словами Глазкова: «Пусть многогрешен русский человек, но русский человек могуч и свят». Это умение ощущать масштаб явления, восхищаться великой стихией характера человека, природы, я думаю, раздвигало границы их поэзии и во многом вело к широте мысли и чувства.

Их роднила и способность к необычайной фантазии, парадоксу, шутке, мистификации. Это сквозило всюду в их творчестве, пронизывало повседневную их жизнь, украшало ее, давало разрядку, веселило. Оба они были щедрыми на отношения, любили радовать людей. И делали это истинно талантливо, красиво, с выдумкой, с искрой, весело. Вот надпись Глазкова на его книге «Первозданность», подаренной моему отцу в марте 1979 года:

Прекрасному Сереже

На Сахалине осень
Авторитетна очень,
Ругать погоду бросим:
Она не так плоха.
Ворона здесь не каркнет,
Что лето здесь не жаркое,
А говорит: — Ха-ха!
Тут осень благодатная
Отрадна для стиха:
В ней что-то есть занятное,
Уютное, ха-ха!

Глазкову блистательно удавались акростихи и приносили много неожиданной радости его знакомым и друзьям. И абсолютно в характере всего стиля Глазкова оказалось самое последнее обращение его к отцу (и ко мне). Это — тоже акростих, «хвостатый сонет», но шутка, полная прозрачной, легкой грусти и мечты, тончайшего лиризма, нежности и поэтического умения, выше которого — талант. Талант, сплетаясь с этим умением, сиял здесь тихо и в последний раз. Да, это был последний раз. Нам с отцом посчастливилось быть последним объ-

ектом внимания Глазкова-поэта. Никакие слова не передадут ценности, редкости и катастрофической нежности этого дара. Так он завершил свою дружбу с отцом. Отца совершенно это поразило. Он сказал: «Уходя, он оглянулся на нас — и пошутил». Последний — и поистине трагический — парадокс в судьбе Глазкова!

Вот как выглядело это последнее послание:
«26 сентября — 3 октября[1]

Дорогой Сережа!

Прими от меня к своему славному юбилею акростих — хвостатый сонет и акростихи, посвященные Олечке.

С дружеским приветом

79

Глазков.

ТРЕТЬЕ ОКТЯБРЯ

(сонет-акростих)

Съездить можно по грибы,
Если чувствуешь природу.
Роща. Мощные дубы.
Ежик чует непогоду.
Желтоваты в речке воды,
Ежели не голубы.

Нет грибов для похвальбы,
А зовут, зовут походы.
Роща все еще жива,
Осыпается листва —
Величавая краса.
Что-то грустно стало вдруг,
А разбросаны вокруг
Таинства и чудеса.
Осень все-таки права:
В день большого торжества
Улыбаются леса!

РАЗДУМЬЯ

1

О Лермонтове что сказать могу?
Люблю его могучую строку,
Есенин поравняться с ним не смог.
Чту чудо. Только он сумел взойти
К таким высотам лет до тридцати —
Единственный в шестнадцать лет пророк!

---

[1] Первая дата здесь — время написания юбилейного акростиха, вторая — день рождения С. Наровчатова. Глазков не дожил до этого дня: он умер 1 октября 1979 года.

2

О доблестях, о подвигах, о славе
Любой чудак мечтать, конечно, вправе.
Еще не поздно. Радужна мечта.
Что будет, если смолкнут птичьи песни?
Когда мечта, как летний зной, исчезнет,
Ее тогда заменит пустота!»

Нельзя смириться со смертью. Особенно со смертью человека, в котором все живо, и до такой степени.

В поэме «Юность Рублева» монах Онуфрий, который был силен в иконописном ремесле, передавая Андрею секреты мастерства, говорил:

«...Среди камней отыщешь цвет любой.
Ну, а для краски ярко-голубой
Потребен редкий камень — лазурит.
Его нам от уральского хребта
Везут купцы, а здесь такого нет:
Поблизости земные все цвета,
И далеко от нас небесный цвет!»

Одним из редких качеств, встречающихся вообще в людях, было в Глазкове стопроцентное зрение души, способность очищать явления, видеть суть в ее первозданности, умение не обольщаться обманчивым, внешним, извлекать чистые цвета из смешанных и приближать далекий небесный цвет — цвет чистой души, окрашивая им земные дела и отношения. И недаром его последняя прижизненная книга называется «Первозданность».

Николай Иванович никогда не был падок, по-моему, на внешние регалии, философски относился к почестям:

Истина, какая ни на есть,
Радостнее, чем победа в споре.
Оттого достойной правде честь,
Что она не покидает в горе.
Как надежный, верный друг она,
Ей победа ложью не нужна!

Эти слова Глазкова из стихотворения «Раздумья» могли бы стать, да и стали — его кредо. Я бы приравняла эти стихи по емкости и лаконизму, достоинству и чувству меры к сонетам Шекспира. Глазкову была близка емкая форма сонета и в отношениях с понравившимися ему людьми. Он мог общаться с человеком на протяжении многих лет фрагментарно, но каждый фрагмент мог быть серенадой, нежной шуткой, коротким стихотворением, даже проплытием вдоль берега моря с цветком в зубах в честь этого человека. Именно такие отношения сложились с Глазковым у меня, когда я наконец-то с ним познакомилась.

С детства я была подготовлена к встрече с ним, а увидев, поняла, что главного-то о нем ни мой отец, ни другие люди и не поведали. Они брали в рассказах о нем внешне оригинальную сторону и, конечно, поэтический талант, но никто мне не описал этой застенчивой улыбки, такой иногда трогательной в этом большом человеке, этой нежности и пронзительной красоты души, этого взгляда, немного исподлобья и идущего изнутри с такой надеждой увидеть что-нибудь хорошее, немного затаенного взгляда, полного ожидания, готового к открытиям.

Мой отец однажды сказал мне: «Глазков говорит, что он чувствует, как у него в темноте светятся глаза». Я думаю, что Глазков чувствовал в себе всегда свечение души, а ведь в темноте и свечение сильнее... Хотя отец сказал об этом с веселой улыбкой, мне переданные им слова Глазкова показались очень значительными. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется: многие люди недооценивали именно значительность, великую правду души Глазкова, слишком большое внимание уделяя его удачным остротам, комиксам, его оригинальности. В этом большая несправедливость. Ведь у него была великая душа, полная достоинства. Он никогда не шел на поводу внешних достижений, внешних отношений. Он был чист! Чище многих слепых душой, восхищавшихся только его остроумием и забавными проделками. По-моему, он был истинным поэтом. И не только в стихах, но и в подходе к миру:

Я друг своих удач и враг невзгод
И не всегда везучий человек.
А за окном обыкновенный снег.
Его бы мог сравнить я с серебром.
Зачем? Я простоватый человек,
Который платит за добро добром.

Вы чувствуете беззащитность и величие этого самоопределения? Именно таким и был Глазков. Милый, хороший Николай Иванович Глазков. Если это звучит сентиментально — хорошо! Ему этого, может быть, во многих людях не хватало.

Впервые я увидела его так: в Ялте, в Доме творчества писателей, глубоким синим звездным вечером, смотрящим в небо. В небо смотрела масса народу — все писатели и не писатели, вышедшие в благоухание табака (и цветочного, и курительного). Именно стояли и специально смотрели в небо, чуть не сводя шею. И я, конечно, стала смотреть. В небе же была Большая Медведица. На нее-то все и смотрели, и каждый говорил о ней все, что знал. Все увлеклись, многие многое знали. Один Глаз-

ков ничего не говорил, а просто смотрел на Медведицу и реже — на говорящих. Я подошла к нему. Издалека мы уже знали, что он — это он, а я — это я. Когда я подошла, он с высоты своего большого роста ласково посмотрел на меня и тихо сказал: «Хорошо, что эта Медведица поселилась на небе, а то они после всех разговоров посадили бы ее в Зоопарк». И он сразу стал мне близким и своим.

С тех пор мы в продолжение всего заезда почти не расставались. Что мне очень понравилось: он сразу воспринял меня независимо от того, что я дочь своего отца, то есть опять-таки увидел меня, как и всех видел, освобожденную от посторонних рекомендаций и мнений, поскольку ему было свойственно все мнения складывать самому. Не преувеличу, если скажу, что этот человек отнесся ко мне красивее и последовательнее всех, встреченных мной в жизни людей. Конечно, этому еще способствовала краткость общения и благополучная ситуация летнего отдыха, но твердо уверена, что, столкни нас любая конфликтная ситуация или тяжелая минута, Николай Иванович помог бы мне во всем разобраться, и сохранили бы мы хорошие отношения во всех случаях жизни. И то, что один из последних взоров он обратил ко мне, укрепляет меня в этом мнении.

Глазков был весь пронизан своим призванием и очень тверд в своей миссии художника. Думаю, что и это привлекало к нему моего отца, который любил людей, уверенных в себе, в своей счастливой звезде, в своем единственном для себя Пути,— людей самоукрепленных в своем художественном звании или в любом другом достоинстве. Отец называл это чувством самодостаточности. Ничего общего с самонадеянностью это не имеет. У Глазкова это облекалось в свойственную ему шутливую форму. Даря отцу свою книгу 1971 года «Творческие командировки», он подписал ее так:

«Прекрасному Сереже Наровчатову

Стихи:

Сегодня человек культурный
Тем отличается от дурней,
Что мыслит здраво и толково:
Всегда цитирует Глазкова!

28 мая 1971 года.
Глазков».

Кстати, он был одним из немногих людей, которые последние годы жизни моего отца, когда он уже приобрел известность, не считали нужным курить ему фимиам,

оставаясь верными себе, а если и мог подписать: «Прекрасному Сереже Наровчатову», то он и в действительности так чувствовал.

И мне Глазков сделал на своей книге «Большая Москва» сверхлестную надпись, которой, как мне кажется, я никак не соответствую. Но здесь другое дело: рыцарство, давно утраченное понятие, которое позволяло в старину и девушке с постоялого двора подняться до Дульсинеи Тобосской.

А надпись гласила:

Прекрасной Оле Наровчатовой,
Очаровательной актрисе,
Приятной, словно климат Ялтовый,
И стройной, словно кипарисы.

Достойной только восхищения,
Как эти горы или море,
Дарю свои стихотворения
Во имя Счастья, а не Горя.

И вся его поэзия, и сам он родились для Счастья, а не Горя. Мне в наших отношениях он дал только солнечные, радостные и глубокие ощущения, все напоенные теплом и искрометностью его фантазии. Это был человек чуткой художественной души и в так называемых мелочах.

Далеко на холмах юга росли дивно прекрасные, пылающие алые цветы, волшебные, на длинных, в человеческий рост, стеблях. Чтобы их добыть, рыцари Ялты вставали на рассвете и шли пешком по узким тропам вверх. Много говорили об этих цветах писатели, и их жены, и возлюбленные. И я вскользь выразила желание взглянуть на эти цветы. И забыла об этом.

Наступил день отъезда, пришел автобус. Во дворе Дома творчества столпились провожающие и отъезжающие. Не было только Николая Ивановича, с которым мне более, чем с другими, хотелось попрощаться. А его нет и нет. Сели в автобус, и автобус тронулся.

И вдруг все разом ахнули, и так ахнули, что автобус остановился. По узкой асфальтовой аллее бежал со всех ног, со всех своих длинных ног высокий-высокий, выше, чем всегда,— Николай Иванович Глазков. Он бежал, держа в вытянутой перед собой до отказа руке — чтобы не смять! — на длинном — в человеческий рост — стебле — пылающий, светящийся, красный, алый, необыкновенный цветок, и от цветка и от него шло в радиусе всей Земли сияние Души Николая Ивановича. Гробовая тишина взорвалась аплодисментами. Никто не позволил себе ни одной, даже очень доброй шутки. Всех

коснулась красота, обнаженная красота его Души. Николай Иванович добежал до остановившегося автобуса и, задыхаясь, протянул мне цветок. И до этих самых пор я не могу опомниться. Ведь отвыкли люди от этого. Таким я видела Глазкова последний раз в жизни.

Я не раз получала от него поздравления, послания с пожеланием успехов «реально-кино-театральных», послания в таком роде:

Очаровательная Оля
Луне подобна двухнедельной,
Ее хочу прославить дельно,
Найти ей слов похвальных вволю.
Акростихом своим поздравить
Решил я труженицу сцены.
Отлично выглядит она ведь,
Великолепно, вдохновенно!..
Что остается пожелать ей,
Актрисе ласковой и милой?
Триумфа, редкого, как радий,
Оваций небывалой силы,
Всех радостных мероприятий...
Она прекрасна, как легенда
Йошкар-Олы, Москвы, Ташкента!

И вновь должна сказать, что сама форма (шуточный гимн) определила преувеличение достоинства адресата и гиперболу выражений.

Способность воспринимать явления и события изнутри сочеталась в Николае Ивановиче с оценкой их со стороны, он говорил по существу, остерегаясь огульных суждений, не подкрепленных собственным проницательным наблюдением. Чужд был поспешности, и никогда я не слышала от него никакого дурного слова ни в чей адрес. Если имел он о ком-нибудь отрицательное суждение, то не оглашал его без особой необходимости.

Активно и азартно участвуя в жизни, он тяготел к философскому осмыслению всех ее сторон. Он твердо ходил по Земле, восхищался ее таинствами и чудесами и порой взглядывал в небо, а часто и сам оказывался над Землей, но, паря духом, видел реальные перспективы. Я позволю себе привести любимые мной его стихи, очень емко выражающие его мироощущение:

Мне бы спать и спать, но просыпаюсь:
Череда забот сильней зевот.
Зимнего рассвета белый парус
По утрам в поход меня зовет.

Мне вставать не хочется с постели,
Мне бы спать и спать, но даль светла:
Ждут меня удачи и потери,
Ждут меня великие дела!

Я никогда не видела его в споре, но угадывала в нем непреклонность и силу человека страстного. Хотя я общалась с Глазковым лишь короткое время, ощущение у меня такое, будто знала я его всю жизнь. Может быть, это и есть родство душ.

В нем переплеталось таинственное с реальным. Я не знаю, писал ли он сказки, но уверена, что мог бы их писать изумительно. В жизни он бывал сказочником. С серьезнейшим видом и детской важностью он и себя вплетал в сказочные истории. На берегу моря он рассказал мне о том, что однажды увидел маленьких гномов, которые, однако, оказались глупее и бесхитростнее, чем он предполагал, не открыли ему ничего нового, а только назойливо напоминали и растолковывали ему, что он — Николай Иванович Глазков. Он стал на них дуть тихо, доброжелательно и долго, и гномы, улыбаясь, растаяли. Рассказав это, Николай Иванович лукаво и затаенно улыбнулся. Должно быть, он любил детей.

Был он очень деликатен. Сближаясь с человеком, ни о чем не расспрашивал, а как бы прислушивался не торопясь.

В нем была непринужденность души.

Я могла одинаково живо представить его себе в кулачном бою и летящим на птице за тридевять земель.

Многие считали его некрасивым. Я этого не видела. Всё побивала его талантливость, его обаяние.

Он умер.

Почему? Я и сам не пойму,
Где тот климат, который безвреден?..
Ни один человек не бессмертен,
И не ведаем мы: Почему?

Давид Кугультинов

Способность Николая Глазкова всегда быть самим собой в наше поистине сложное время вызывала иногда удивление и зависть других.

Его мудрость выражалась в умении видеть мир и события только собственными глазами, и потому был его мир отличен от мира других, не стереотипен, не обычен. Таким он остался в нашей памяти. Таким он будет всегда в своих книгах.

Юрий Петрунин

ПОЭТ СЕВЕРНОЙ ДОРОГИ

В стихах Николая Глазкова много самоопределений. И серьезные, и шуточные, они выстраиваются в некий неожиданный ряд: «сам себе спецкор», «друг своих удач и враг невзгод», «самый безответственный работник», «Я Глазков — Харахтыров» (по-якутски тоже примерно Глазков), «неофутурист»... То он объявлял себя собственным меценатом, то подбирал себе одну из незавиднейших должностей в Поэтограде... К этому широко известному перечню можно добавить еще один глазковский титул — «Поэт Северной дороги». Именно так Николай Иванович представился однажды в сопроводительной записке к подборке своих стихов, присланных в редакцию мытищинской районной газеты.

Трактовать это можно было двояко, вернее сказать — с двух сторон. Во-первых, идя от Якутского Севера, по дорогам которого поэт поездил немало, о чем можно судить по большому количеству стихотворений, воспевающих красоты Лены, Индигирки и вообще «незнамых рек». Во-вторых, имея в виду Северную железную дорогу, начинающуюся от Ярославского вокзала столицы. Отсюда поэт отправлялся и в самые дальние, и в самые ближние свои путешествия. Первые километры этой дороги за чертой Москвы как раз и проходят по Мытищинскому району, и прежде всего через поселок Перловский. В одном из его домов, стоящих у самой кольцевой автодороги,— в доме жены — Николай Иванович Глазков прожил в общей сложности немало лет. Здесь он проводил летние, да и не только летние, месяцы. И был он, конечно, не просто дачником.

В 1954—1958 годах поэт сотрудничал в упоминавшейся уже местной газете (тогда она называлась «Путь к победе»). И после этого периода он продолжал поддерживать с нею связь. Нередко его стихи встречались на «Литературных страницах», подготавливаемых в основном силами литобъединения имени Дмитрия Кедрина при редакции мытищинской районной газеты. В их числе стоит упомянуть типично глазковское стихотворение



На даче в Перловке. Конец 60-х — начало 70-х годов

«Пироговское водохранилище», сочетающее точную географическую привязку и афористичную обобщенность: «Кто уважает плаванье, тот поступает правильно».

У «кедринцев» — так называют в районе членов литобъединения — возникло желание поближе познакомиться с этим необычным человеком. Мы только не знали, по какому «каналу» (может, через общество «Знание»?) пригласить его. А оказалось, что достаточно простого телефонного звонка.

В один из апрельских вечеров 1973 года в красном уголке редакции мы и встретили Николая Глазкова. «Простой и высокий», с бородой, похожей на детскую лопатку, он был узнаваем сразу.

Занятие началось, как обычно, с информации о наших выступлениях, публикациях. Потом началось обсуждение новых стихов (у нас есть и прозаики, но они в тот раз добровольно отошли на второй план). Свое мнение об услышанном высказывал и гость. Он интересовался «земными» профессиями наших стихотворцев, отмечал удачные строки, советовал смелее осваивать новый жизненный материал. Услышать мнение мастера о своем творчестве хотелось, конечно, каждому. Но не меньшим было желание послушать стихи самого Глазкова, особенно ранние, скупо печатающиеся в его книгах.

И мы услышали в тот вечер кое-что, относящееся к периоду «небывализма». Кроме того Николай Иванович прочитал «Андроников монастырь» — в связи с рассказом о съемках «Андрея Рублева» и еще потому, что монастырь этот стоит над Яузой, как и Мытищи. Делясь впечатлениями о поездках в Якутию, поэт также щедро перемежал их стихами. Потом было стихотворение «Памяти Михаила Кульчицкого» (известно, что накануне войны Кульчицкий с товарищами по Литинституту снимал комнату в Перловской). И пародия на А. Крученых прозвучала тоже не случайно — в ней упоминается небольшой приток Яузы — речушка Ичка, о которой из коренных-то мытищинцев знали далеко не все.

Вскоре в районной газете был помещен небольшой отчет об этой встрече — «Николай Глазков — гость кедринцев». Но там ничего не говорилось о том, чем закончился тот памятный вечер.

Совсем молодой тогда еще поэт и переводчик Гриша Кружков и я напросились к Николаю Ивановичу в провожатые. За разговорами получилось так, что мы проводили своего гостя от мытищинской улицы Колонцова до московского Арбата и сами стали гостями поэта. Несмотря на позднее уже время, Росина Моисеевна Глазкова ничему не удивилась, на массивном, темного дерева

столе появились чайные чашки. Выяснилось, что хозяйка дома хорошо знает отца Гриши: они учились чуть ли не в одном классе перловской школы. Николай Иванович начал показывать свою коллекцию якутских чоронов — сосудов для кумыса. Снова зазвучали стихи. Время летело незаметно. Но мой товарищ начал все-таки волноваться. Дело было в том, что он ходил тогда в женихах и должен был еще успеть отчитаться перед одной москвичкой, где он провел время. А уходить из гостеприимной квартиры не хотелось. Узнав об этом затруднении, Николай Иванович взялся помочь делу. Он вышел в соседнюю комнату, постучал там на пишущей машинке и вынес «справку» — отпечатанное на узком листочке бумаги двустишие, удостоверяющее, что Гриша был не где-нибудь, а у порядочных людей... Товарищ мой несколько растерялся, но потом все же попросил хозяина несколько отредактировать текст. Николай Иванович не заставил себя уговаривать. Снова пошел в комнату и вернулся со вторым вариантом:

Был милый Гриша не у дам —
Он вечер посвятил стихам!

Это уже снимало почти все проблемы. Правда, приободрившийся жених намекнул на то, что неплохо было бы вообще никаких дам не упоминать. Но тут уже Глазков был непреклонен — без них, мол, стихи вообще не получаются. Это был решающий довод поэта, прекрасно знавшего, как рождаются стихотворные строки «объяснения в любви и нелюбви»...

Станислав Рыжов

«...БЫТЬ САМИМ СОБОЙ!»

Глазков появился неожиданно.

Потом уже, когда мы были хорошо знакомы, я понял, что он и не мог появиться иначе — с предварительным известием о прибытии, подразумевающем, так сказать, ритуал встречи, авансированную почтительность, регламентированную накатанность общения с людьми...

Он появился неожиданно в этом далеком северном городе, в редакции газеты «Магаданский комсомолец», в частной, моей судьбе...

В августовский полдень распахнулась дверь кабинета, на пороге возник крупный бородатый человек с рассеянным выражением лица.

— Здравствуйте — я — московский — поэт — Николай — Иванович — Глазков.

Все это он проговорил размеренно, на ходу, направляясь к креслу, на которое я автоматически показал рукой.

Николай Иванович сел и... мы оба замолчали после взаимного приветствия. Глазков выглядел как-то растерянно, и я, молодой литсотрудник газеты, был смущен и не знал, что делать дальше.

«Глазков... Глазков...» — судорожно вспоминал я. «От моря лжи до поля ржи дорога далека...» Я вопросительно взглянул на него, Николай Иванович, словно угадав ход моих мыслей, улыбнулся.

— Но дело не в этом,— сказал он, словно продолжая разговор.— Ваши писатели все сейчас заняты и бегают, и нет даже машины, чтобы съездить в бухту искупаться.

Слово за слово, мы разговорились. Выяснилось, что Глазков приехал в Магадан, взяв командировку от «Нового мира».

«В Якутии я был не раз, а у вас никогда»,— объяснил он.

Приезд его совпал с областным семинаром молодых литераторов, который открывался буквально завтра, поэтому все внимание немногочисленной писательской организации было сосредоточено именно на этом, а также

на официальных, так сказать, гостях семинара, тоже из Москвы.

Но не только поэтому, наверное. Шел 1975 год. Глазков, хорошо известный в литературных кругах центра, был почти не знаком широкой публике, мало писала о нем (или не писала вообще) критика...

К счастью, редакционная машина, которая имела свойство в свободное от поездок редактора время ремонтироваться, была на ходу, материалы в газету сданы, и мы с Глазковым поехали в бухту Гертнера, очень красивую, в летнее время особенно.

Тут, на берегу, Николай Иванович сразу взбодрился, оживился, как бы помолодел.

— Прекрасное место,— сказал он.— Сюда можно приезжать всегда.

Был весьма редкий для Магадана солнечный, теплый день, над зеркальными водами бухты вздымались утесы зеленых гор...

— Я думаю, надо искупнуться, Слава,— с каким-то озорным возбуждением сказал Глазков.

— Водичка прохладная, Николай Иванович,— предостерег я.

— Это ничего, я еще не купался в Охотском море,— нетерпеливо сказал он и тут же начал раздеваться.

Я еще не знал об этой глазковской привычке — принимать «купель» везде, где он бывает. Об этом говорили, как о причуде, но для Глазкова, очевидно, купание было своеобразным «крещением», и только пройдя через него, он мог чувствовать себя по-настоящему приобщенным к новой земле. Это была мудрая причуда!..

Через пару минут Николай Иванович стоял по пояс в воде, с удовольствием плескаясь в ней. Я тоже полез за компанию, хотя купаться не хотелось,— вода и вправду была холодная, градусов тринадцать!..

— Вода хорошая, теплая,— с упрямым удовлетворением констатировал Глазков, когда мы вышли на берег.

И вечером, в гостиничном номере, куда мы пришли с поэтом Виктором Николенко, Николай Иванович с удовольствием вспоминал о своем купании в бухте Гертнера...

Назавтра мы встретились на поэтической секции семинара, куда пригласили Глазкова в качестве, так сказать, почетного гостя.

Николай Иванович внимательно слушал, как, волнуясь, читают стихи молодые авторы, но в обсуждениях почти не участвовал. Когда проходили дебаты, на лице

его было уже знакомое выражение рассеянности, казалось, он слушает вполуха...

Но когда заспорили о стихах одного молодого поэта, которые подверглись критике со стороны некоторых профессионалов, Глазков неожиданно поднялся.

— Вы хотите издаваться или печататься? — спросил он у автора.

Молодой поэт, не сразу сообразивший с непривычки, в чем разница, ответил спустя мгновенье:

— ...Печататься.

Тогда Глазков сказал, уже обращаясь ко всем:

— Издавать, быть может, рано, а печатать стихи надо.

Это было сказано столь определенно и категорично, что в наступившей почтительной тишине стало ясно, что это — оценка, высказанная в непрямой форме и в то же время затрагивающая самое главное.

Глазков вообще — как я потом убедился — не любил говорильню, и сам всегда был краток:

Многоречивость не похвальна,
И, очевидно, потому
Обратно пропорциональны
Минуты болтовни
Уму!

Эти строки я прочитал в подаренной им в те дни, только что изданной книге «Незнамые реки».

Я не знал тогда еще, как труден был литературный путь Глазкова, хотя чувствовал, откуда это резкое: «надо печатать!», так взбодрившее молодого автора... Николай Иванович хорошо знал цену слову поддержки, сказанному вовремя...

После окончания семинара все отправились на обед, заказанный по такому случаю в ресторане.

Упоминаю о нем потому, что во время этой торжественной трапезы, венчавшей исход мероприятия, разгорелся неожиданно горячий спор между Глазковым и прозаиком *N*.

N рассказывал, что на Колыме, помимо существующей уже ГЭС, будет построен целый каскад электростанций.

— Этому не радоваться надо, а огорчаться,— сказал Глазков.

— Ну почему же,— добродушно улыбнулся *N*.

— Потому что эти ГЭС испортили все реки!..

N принялся говорить, что это, мол, неизбежная необходимость, а кроме того, не так уж все страшно...

При этих словах Николай Иванович по-настоящему рассердился. Он бросил вилку и с гневом стал перечислять — начиная с Волги — реки, которые стали заболачиваться, в которых исчезает рыба, по руслу которых меняется климат...

Всякое новое возражение *N* подстегивало Николая Ивановича.

Их уже принялись «разнимать», с другого конца стола обеспокоенно смотрели официальные руководители семинара, однако Глазков никого не слышал в своей страстности и не успокоился до тех пор, пока не выговорил все, что считал необходимым.

— Вы только сегодняшнюю выгоду видите, а о стране ни черта не думаете! — в сердцах закончил он.

— Правильно Николай Иванович говорит! — донесся голос Виктора Кузнецова, молодого прозаика.— Я работал на Колыме, видел, какая вода мутная, желтая!..

Глазкова поддержали многие, можно было сказать, что он выиграл спор!..

К чести прозаика *N*, он изменил со временем свои взгляды на эту проблему, так как заблуждался, подобно многим из нас, не имея достоверной информации о последствиях гидростроительства.

В тот же день в центральном Доме культуры Магадана состоялся большой литературный вечер. Читал на нем стихи и Николай Глазков. Увидев, что в задних рядах сидят моряки, он прочитал стихотворение «ТОФ» (Тихоокеанский флот).

У Николая Ивановича вновь было рассеянное, отрешенное выражение лица, читал он размеренно, не нажимая на звук и интонацию, однако это было лучше артистического чтения, которое выхолащивает зачастую многозначность стихов, обедняет их некоей громогласной однобокостью.

Назавтра Глазков уехал в один из районов области, побывал там на приисках...

По возвращении его в Магадан мы виделись с ним каждый день. Глазков вообще больше общался с молодыми литераторами. Потому, наверное, что он органически не вписывался в какую-либо официальную обстановку, и потому, что был начисто лишен профессионального тщеславия, а также нетерпим к любого рода фальши.

— Странный он товарищ,— сказал один из местных поэтов.— Шнурки на туфлях болтаются... В оригинала играет?

— При чем здесь шнурки? — возразили ему.— Он такой, какой он есть.



Н. Глазков и якутский писатель Н. Габышев на полюсе холода в Верхоянске. Начало 70-х годов

— Конечно, это не главное,— ответствовал поэт.— Но все-таки...

Глазков был человек без «все-таки».

После Магадана Глазков улетел в Якутию. Уезжая, Николай Иванович оставил стихи, которые вскоре появились в областной молодежной газете. Через месяц от него пришла открытка: «13 сентября, будучи в Табаге, купался в Лене. А 15 сентября в Якутске выпал первый снег. В этот день я улетел в Москву».

Мы стали переписываться. Попадая в столицу, я всякий раз заезжал к Николаю Ивановичу, который всегда гостеприимно встречал человека с Севера...

Первая такая встреча состоялась зимой. Автор этих строк оказался тогда в Ленинграде. Здесь шел дождь, но после магаданских морозов погода казалась очень приятной. Прямо из аэропорта я направил Глазкову приветственную открытку, где поздравлял Глазкова «в стихии этой водной стихами с Новым годом».

Николай Иванович незамедлительно откликнулся: «С Новым годом, Славик! Конечно, следует встретиться. и дерябнуть! С дружеским приветом — Н. Глазков». Роспись его — в виде глаза — донельзя точно характеризовала Николая Ивановича с его взаправдашней зоркостью, с одной стороны, и с другой — с его склонностью к шутке,

игре, озорству. За этим, конечно же, стояло нечто более серьезное — корневое: его чрезвычайная самобытность, сохранившееся на всю жизнь детское умение находить радость во всем.

Что же касается «дерябнуть», или, как любил говорить Николай Иванович,— «тяпнуть», в этом было много игры. Легенду о Глазкове — любителе зелья повторяют люди безответственные, не знавшие Глазкова близко, даже если знали его долгие годы. Вакху Глазков отдавал дань более в стихах, нежели в жизни. Это было его своеобразной манерой: вакхические мотивы у Глазкова всегда идут на грани озорства.

Однажды в разговоре мы затронули эту тему, и Николай Иванович признался мне, что никогда не испытывает тяги к спиртному, и прекрасно обходится без него. Но — часто, увы, приходится, по сложившимся традициям... (Глазков, кстати, не курил, бросив это занятие лет в тридцать шесть.)

Николая Глазкова всегда манили, притягивали края российского Востока. Его тяга к путешествиям на Восток была во многом тягой к первозданности, «непочатости» природы, к незамутненной чистоте «незнамых» рек... К землям, от которых веет детством человечества...

В очередную поездку на Дальний Восток Н. Глазков отправился уже в следующем, 1976 году. В августе от него пришло письмо, извещавшее об этом: «Дорогой Слава! Сегодня я купил билет на поезд «Россия»: Москва — Владивосток. Из Владивостока собираюсь махнуть на Сахалин... Мне предстоит совершить великое, утомительное и увлекательное путешествие...»

Николай Иванович остался доволен этим «великим, утомительным путешествием». И конечно же, он с удовольствием сообщал, что «...купался в заливе Анива, Татарском проливе и на обратном пути в Амуре».

Глазков был абсолютно лишен какой-либо манерности, так же как какой-либо фальши в характере.

Как-то я послал Николаю Ивановичу обзор поэтической почты, опубликованный в нашей молодежной газете.

Глазков написал: «Обзор правилен и справедлив. Кто-то когда-то придумал влюбленного в розу соловья. Это было поэтично, а потом стало шаблонно. Многие поэтические находки становятся трафаретами, но не все.

— Большое видится на расстояньи! (С. Есенин). Здесь афоризм, который тверже образа.

Я, лично, предпочитаю прозаизмы поэтичности. Русские пословицы и поговорки, кратко излагающие все философские системы, в основном прозаичны».

Эта самохарактеристика, думается, очень важна для понимания творчества Глазкова.

Во время одной из московских встреч речь у нас зашла о свободном стихе, я спросил Николая Ивановича, как он относится к верлибру.

— Положительно,— сказал Глазков.— Это неправильно, когда спорят о свободных стихах. Есть поэзия, а есть непоэзия, независимо от того, верлибр это или рифмованная белиберда.

Помнится, появилась как-то в «Комсомольской правде» заметка об авторе, который написал целую книгу стихов-палиндромов. Речь шла о том, что никак эту книгу не удается издать, несмотря на рекомендации таких поэтов, как Николай Глазков и Владимир Солоухин.

Конечно же Николай Иванович приветствовал такую рукопись, ибо хорошо понимал, что подобные эксперименты со словом идут в русле обогащения поэтического языка, а не обеднения его. Обедняют поэзию (да и любое искусство) как раз выхолощенная логическая бесспорность мышления и, соответственно, языка.

К сожалению, насколько мне известно, вышеупомянутая книга так и не издана.

Постоянная игра со словом была естественным состоянием Глазкова. (Кстати, название одной из книг его — своего рода перевертыш фамилии поэта — «Вокзал».) И не следует понимать такую игру, как нечто несерьезное, поверхностное — она характеризует естественный процесс постоянной внутренней работы поэта.

Глазков, великолепно чувствовавший язык, был увлечен такой игрой, пробуя слово на вкус и цвет, гибкость и парадоксальность. Отсюда — его акростихи, шарады в стихах, отсюда — и необычайная раскованность поэтической речи. А также — ее органическая естественность.

В его письмах, открытках, автографах на книгах — россыпь стихов, которые появлялись экспромтом, благодаря этой вот непрекращающейся работе. Можно сказать, что Н. Глазков обладал мгновенной поэтической реакцией при виртуозном владении словом.

Вот пример серьезнейшего, глубокого по мысли и показательного по лаконизму акростиха:

Не очень трудно безрассудно
Идти проторенной тропой,
Любым героем стать нетрудно,
И трудно быть самим собой!
Нет если собственной задачи,
Успехи — те же неудачи!

Это стихотворение, впрочем, как и немало других, было впервые опубликовано в нашей молодежной газете. Помимо чисто поэтических публикаций, немало стихов, заметок, шарад, афоризмов Глазкова увидело свет в разделе сатиры и юмора «Алиби».

Читателю почти неизвестны афоризмы Глазкова, а среди них есть замечательные. Приведу некоторые из них, опубликованные в свое время в «Магаданском комсомольце»:

«Азбучные истины не должны начинаться с «Я».

Благородству сопутствует тактический проигрыш и стратегический выигрыш. (Как это подходит к самому Николаю Ивановичу!)

В прозаических текстах имеется достаточное количество самых изысканных рифм, но они, как поэтические души, удалены друг от друга.

Домашняя хозяйка без комнаты — все равно что нация без территории.

Жизнь — искусство для искусства: люди живут, чтобы жить!

Истина, любя доказательства, очень неохотно живет на правах аксиомы.

Краткость — ЕДИНСТВЕННАЯ сестра таланта!

Великие люди тем и отличаются от ничтожных, что признают свои ошибки!

Некоторые люди относятся к болезням, как к службе, и выполняют предписания врачей, как указания вышестоящих инстанций.

Господь создал кино, а черт — телевизор!»

Глазков отрицательно относился и к телевизору, и к личному автомобилю: он был ХОДОК в старом, добром смысле этого слова — ходок за Истиной и Красотой...

Летом 1977 года автор этих строк проводил свой отпуск на заполярном острове Врангеля с археологами, которые обнаружили там древнеэскимосскую стоянку. В первые дни после прибытия на остров я написал Николаю Ивановичу весьма восторженное письмо о красотах Врангеля. За те полтора месяца, что я пробыл там, на остров всего три раза прилетал вертолет. И, несмотря на это, ответное письмо Глазкова успело найти меня здесь. Невзирая даже на то, что на конверте стоял такой адрес: «Северный Ледовитый океан, остров Врангеля, С. П. Рыжову»... В нем были стихи, которыми откликнулся Николай Иванович на мое послание.

Услышав рассказ об интересном событии, примеча-

тельном происшествии, Глазков всегда остроумно комментировал его и добавлял:

— Об этом надо написать стихи!..

Последняя фраза была характерна для Николая Ивановича. Например: «Относительно того, что осень — обратное зеркало весны, а лето и зима симметричны незеркально, сказано очень верно. Об этом надо написать стихи!»

Сразу после возвращения с Врангеля я опубликовал проблемный очерк об острове, где в это время организовывался заповедник, и выслал газету Глазкову. Николай Иванович откликнулся так: «Из гоголевских героев на Крайнем Севере больше других порезвились Плюшкин и Ноздрев! Плюшкин создал на острове оленеводческий совхоз, а Ноздрев избороздил почву бульдозером и усеял местность осколками битой посуды».

Глазков чрезвычайно остро реагировал на случаи безобразного отношения к природе, к ее богатствам:

Что такое лесосплав
На реке великой Лене?
Это лесоистребленье!
Или я не прав?
По теченью древесина
Даром плотогонится.
Только эта дармовщина
Дорого обходится!

Как утверждение нормы человеческого отношения к природе звучит стихотворение Н. Глазкова «Священные деревья»:

Я не вижу в этом суеверья,
В том, что есть священные деревья.
Так священны дивная природа
И святая собственность народа!

Ничто так не гневало Николая Ивановича, как идиотизм бездумного потребления, паразитическое отношение к Отечеству и его сокровищам, никто не вызывал у него такую острую неприязнь, как бюрократы и чиновники всех мастей.

Глазков сам немало пострадал от них — известно, как труден был его литературный путь.

Однако никогда он не жаловался, лишь однажды промелькнула в переписке горечь. Это случилось, когда я отправил ему книжку со своей литзаписью одной местной сказительницы. Николай Иванович ответил: «Спасибо за литературную запись с трогательной над-

письо. Вы очень хорошо изложили все это, а книга вызвала у меня чувство некоторого сожаления. Прекрасный русский язык и души прекрасные порывы расходуются на ложную... мудрость... Лучше бы Вы написали книгу об острове Врангеля».

Я не был согласен с такой оценкой и только собирался написать об этом, как от Глазкова пришла открытка: «Дорогой Слава! Возможно, я несколько болезненно отнесся к повторению моих ошибок. В конце 40-х — начале 50-х годов я числился как переводчик больше, нежели как поэт.

Деньжата капали, а чести-славы никакой.

Старейший советский поэт-переводчик Державин успел умереть, не издав ни одной книги. Вот так».

Николай Иванович сумел навсегда сохранить детскую незамутненность сердца, ясный и непредубежденный взгляд на мир и людей. Это было ох как нелегко! («...И трудно быть самим собой!»). И это было органическим свойством его большого поэтического дарования.

Мудрый, очень самобытный русский человек, он хорошо знал, что личность, образ жизни, поступки — истоки творчества, всё это неразделимо в писателе, как корни и крона.

Ему глубоко чуждо было самолюбование (в стихах Глазкова это проявлялось в неповторимой самоиронии), эстрадная шумиха, литературная мода. Николай Иванович был абсолютно лишен высокомерия, очень прост и доступен для всех без исключения, деликатен, тактичен в обращении с младшими собратьями по литературному цеху... Автор этих строк не однажды слышал от него — с благодарностью — доброе слово поддержки.

Николай Иванович был очень по-русски добрый человек!

В сердце его было немало печали, однако по мировоззрению своему Глазков был жизнелюб и оптимист, веривший в победу добра и справедливости в Отечестве.

...В последний раз мы увиделись летом 1979 года. Я тогда ехал с юга, возвращался из отпуска. Позвонил. Трубку, спустя некоторое время, взял Николай Иванович.

— Приезжайте, Слава,— сказал он коротко.

Через час я был на Аминьевском шоссе...

Когда я нажал кнопку звонка, после долгой тишины за дверью раздался размеренный стук. Я знал, что Николай Иванович ходит на костылях, и все равно стало не по себе.

Он медленно открыл дверь и сразу, одновременно с моим приветствием, сказал:

— Слава, я, наверное, скоро умру.

И застучал костылями в большую комнату.

Я горячо принялся говорить что-то успокоительное о том, что мы еще съездим вместе на Чукотку (Николай Иванович мечтал о таком путешествии, и мы уговаривались раньше непременно его осуществить), однако Глазков отрешенно молчал... Я понял, что не надо успокаивать его. И — растерялся... Иссохшее тело, осунувшееся лицо, пронзительный пророческий холод: «Поэзия — сильные руки хромого...»

Мы уселись за круглый стол, я стал рассказывать о магаданских новостях, вскоре пришла из магазина жена — Росина Моисеевна.

Николай Иванович оживился, когда я стал рассказывать о полете на необитаемый остров Геральда, я увидел, как загорелись, засверкали прежней живостью его глаза. Но потом он опять словно бы угас.

Росина Моисеевна сказала мне, за спиной Николая Ивановича, что он утомился, ему надо лечь в постель...

В это время раздался звонок в дверь.

Через мгновенье в комнате стало шумно — пришел один из давних приятелей Глазкова. Он, как и каждый почти в такой ситуации, стал взбадривать Николая Ивановича.

— ...Коля! И это Коля Глазков, бесстрашный путешественник, не боящийся ни жары, ни холода!.. Выше нос, все будет хорошо!..

И т. д. Тон был не очень верный, хотя намерения, конечно,— самые благие.

Глазков лишь слабо улыбнулся, как бы извиняясь за то, что не может поддержать эту игру...

Приятель вскоре ушел, Николай Иванович попросил Росину Моисеевну дать мне пьесу для кукольного театра, которую он написал, а сам отправился в постель...

Я, не отрываясь, прочитал пьесу, поражаясь глубине и вкусу Глазкова!.. Сплав сказки и фантастики, мудрая непритянутость к весьма узнаваемым реалиям, великолепная проза, раек, афористические стихи — и все это с такой естественностью, какая была свойственна только основателю «небывализма» Николаю Глазкову!..

В этой жизни преходящей
Счастье — странный матерьял,
Очень часто состоящий
Из того, что потерял...

Я поздравил Николая Ивановича с пьесой, он слабо кивнул, лежа в постели,— так, словно речь шла уже о вещах второстепенных...

Часа четыре пробыл я у Глазковых в ту последнюю встречу, и когда настало время прощаться, Николай Иванович сказал, повернув на подушке голову:

— Слава, я вам скоро пришлю книгу (речь шла об «Избранных стихах», о которых Николай Иванович раньше написал мне, что это его «лучшая книга»). Всего хорошего вам...

Николай Иванович шевельнулся как-то, как будто хотел еще что-то сказать, но отрешенно замолчал.

Этот его жест остался во мне и время от времени встревоженно всплывает — будто Николай Иванович не успел сказать что-то последнее, важное.

...С тяжелым сердцем я уходил из этого дома. Ко всему примешивалась горечь и от того, что Глазкова мало навещают, что и в таком состоянии он пребывал, как и в литературе,— на окраине, полузабытый будто... А ведь так много людей называли его своим Учителем, так много — числились в друзьях и приятелях...

Жизнь дала испить Николаю Ивановичу до конца чашу горечи и полупризнания, граничащего с непризнанием. (Первая книга «настоящего» Глазкова, «Автопортрет», вышла спустя пять лет после смерти.)

Ему не хватало при жизни внимания, хоть некогда Глазков написал:

Дело не в печатанье, не в литере,
Не умру, так проживу и без;
На творителей и вторителей
Мир разделен весь.

Это — как продолжение хлебниковского: «Пусть Млечный Путь расколется на Млечный Путь изобретателей и Млечный Путь приобретателей».

Мужество Николая Ивановича было поразительно. Будучи прикованным в течение последних полутора лет к костылям, он продолжал постоянную, ежедневную, не будет ошибкой сказать — ежечасную работу.

По приезде, когда я звонил из Магадана, а Николай Иванович почти уже не вставал, Росина Моисеевна подробно рассказывала о его состоянии, о его мужественном сопротивлении болезни.

«Избранные стихи» Николай Иванович прислал, как и предыдущие книги, с теплым автографом. Надпись была датирована 9 сентября 1979 года.

А в начале октября пришла телеграмма от Росины Моисеевны о его кончине. Никогда не забуду острое чувство сиротства в те часы...

Он был поэтом — в том чистом и ныне почти забытом значении, которое нераздельно слито с человеческой сутью, без примеси какой-либо позы, внешнего блеска... Без нелепой тяги — выделиться.

Цельность души и слова, мудрая неспешность самобытности, доброта и глубокая внутренняя культура — таковы отличительные черты Глазкова, и все это отразилось в его стихах, которым суждено жить в нашей литературе.

Он хорошо чувствовал и сознавал назначение своей судьбы, неотделимое от высоких человеческих задач: «Поэты — это не профессия, а нация грядущих лет!» Николай Глазков следовал этому назначению, оставаясь всю жизнь верным голосу сердца.

Время направило энергию его таланта по жестколомающемуся руслу трудной и переменчивой эпохи. Но он остался самим собой, как это ни было трудно.

Николай Дмитриев

* * *

Незразлучны Глазков и апрель
В той поездке смешной и хорошей,
И весенний Владимир оплечь
При усмешке своей скоморошьей.

Были родственны город и он,
И на Тракторном, в самом начале,
Я боялся за прочность колонн —
Так глазковские шутки встречали.

А когда не припомнил он строк,
В бороде, меж ладоней зажатой,
Как Хоттабыч, нашел волосок,
Дерг! — и вновь чудеса продолжались.

И, мужицкой ухваткой хорош,
Был он — видел я — чем-то и в чем-то
Не на Воланда ликом похож,
Но на мудрого русского черта.

Был в нем тихий застенчивый свет,
Та печать непритворного детства,
От которой и в семьдесят лет
В седину и в морщины не деться.

Было то, что спасает в беде.
Та святой бескорыстности метка,
Что в писательской пестрой среде,
Как ни странно, встречается редко.

Он не с теми, кто, бледен с лица,
Жил, венец ожидаючи сверху,—
Полюбил он колпак мудреца
С бубенцами веселого смеха.

А зануды, жлобы и дельцы,
Что поэтом его не считали,—
Те таскают свои бубенцы,
Но признаются в этом едва ли.

Снова светится в Клязьме вода,
Снова вечное время струится.
Как на клязьминской круче, тогда,
Мне к живому бы вам обратиться!

Вы любили Сибирь и кино,
И застолья вам были по нраву —
Крепко дружат стихи и вино —
Две похожих российских отравы.

Вы на славу потешили Русь,
Так немало сморозить смогли вы,
Что, припомнив, опять улыбнусь
На неправдашней вашей могиле.

Николай Старшинов

СУЖУ О ДРУГЕ ПО ВЕРШИНАМ

Литературная судьба Николая Глазкова сложилась непросто.

В поэтической среде его хорошо знали, цитировали, на многих сверстников и на следующее поколение его поэзия оказала большое влияние.

А вот публиковался он чрезвычайно мало. Первая его книга «Моя эстрада» вышла очень поздно, в 1957 году, малым тиражом в Калининском издательстве, когда поэту было уже почти сорок лет. Но необходимо подчеркнуть, что он никогда не брюзжал, не жаловался на то, что его не печатают, что ему трудно.

Вообще трудности он умел переносить стоически, будучи не только добрым, но и мужественным человеком.

Уже тяжело больной, он сохранил способность улыбаться, шутить в жизни и в стихах. Даже в это нелегкое время он постоянно работал, оставался на редкость общительным и доброжелательным. Он хотел, чтобы рядом с ним постоянно были люди.

Часто он приглашал к себе и меня. Особенно настойчиво в последние дни своей жизни.

Когда я привез ему, с трудом передвигающемуся по комнате, первый экземпляр его книги «Избранные стихи», вышедшей в 1979 году в издательстве «Художественная литература», он радовался как малый ребенок.

В предисловии к этому изданию я написал о том, что, на мой взгляд, о поэтах надо судить по высшим их достижениям. И Николай Иванович немедленно откликнулся, как он это делал часто, на такую мою мысль. В стихах этих вместе с грустной улыбкой был и упрек в мой адрес за то, что не часто его навещаю. Впрочем, вот они, эти стихи, полученные мною за два дня до смерти поэта:

Быть снисходительным решил я
Ко всяким благам:
Сужу о друге по вершинам,
Не по оврагам!

Когда меня ты забываешь,
В том горя нету.
А у меня когда бываешь,
Я помню это!

Когда он умер, остро ощутил я эту утрату, еще отчетливее осмысляя неповторимое своеобразие его поэзии, воскрешая в памяти встречи с Николаем Глазковым и его стихами.

Еще в 1945 году, в конце Великой Отечественной войны, мы, начинающие авторы, хорошо знали его и его поэзию.

В то время при издательстве «Молодая гвардия» работало литературное объединение, которым руководил тогда еще малоизвестный, но прекрасный поэт и человек Дмитрий Кедрин.

Собирались мы в помещении Политехнического музея. Вот тогда-то всех нас и поразили стихи Николая Глазкова. При всей их доступности и кажущейся простоте они были совершенно необычными, неожиданными.

Помню, как он читал:

Слава — шкура барабана:
Каждый колоти в нее.
А история покажет,
Кто дегенеративнее.

Именно не гениальнее (как привычней было бы сказать), а — дегенеративнее. Так через отрицание шло утверждение...

Позже, в пятидесятые годы, когда я работал в редакции журнала «Юность», Николай Глазков нередко появлялся у нас и, увидев на моем столе горы рукописей, острил:

— У меня, Коля, есть предложение: чтобы разгрузить тебя, чтобы не читать тебе эти завалы рукописей, я подарю тебе силомер.

У Глазкова были могучие кисти рук. Пожатие его было железным, потому что он всю войну пилил и колол дрова, зарабатывая на пропитание. Он предложил:

— Когда к тебе будут приходить поэты и приносить рукописи, ты будешь давать им силомер. Если они не смогут выжать и пятидесяти килограмм, им спокойно можно возвращать рукописи, не читая их. Они наверняка окажутся слабыми у такого малосильного человека. А если автор сможет выжать семьдесят и больше килограмм, его рукопись можно, не читая, отправлять в набор: стихи у сильного человека обязательно будут сильными...

И он несколько застенчиво улыбался...



Олег Дмитриев, Николай Старшинов и Николай Глазков. 60-е годы

А позднее, когда мы подружились (при всем этом мне так и не удалось напечатать в «Юности» ни одного его стихотворения, хотя я неоднократно пытался это сделать, но он не обижался, зная, что я отношусь к нему как к поэту и человеку, с любовью), он постоянно присылал мне какие-то вырезки из газет, из журналов, из календарей с моими стихами или с упоминаниями моего имени.

Любил он и поздравить (и, конечно, еще многих!) с праздником. Меня он чаще всего и аккуратнее всего поздравлял с днем рыбака, зная мою приверженность к рыбалке.

Не забывал он это делать даже тогда, когда находился в дальних и длительных поездках. Так, однажды откуда-то из-под Магадана он прислал мне в день рыбака такое послание:

Старшинов Коля, милый друг,
Прилежно и толково,
Когда ловить ты будешь щук,
То вспоминай Глазкова!

А такое необычное послание я получил из Якутии:

Люблю миры рыбацких снов —
В них обитает хариус.
Их обожает Старшинов
И президент Макариус!

Его остроумию не было предела. Так, одному поэту, который не любил ходить в баню и нередко не мылся месяцами, он говорил:

— Дорогой, не мойся, не теряй своей индивидуальности!..

Он был человек незлобивый, веселый, постоянно острящий, пересыпавший свою речь и стихи парадоксами, любивший и умевший писать на ходу экспромты, поздравления, посвящения, акростихи.

О Николае Глазкове ходила слава как о гении. Да он и сам поддерживал эту версию, правда, всегда в этом случае у него присутствовала ирония, которая позволяла расценивать эти его заявления и серьезно и несерьезно.

Так, однажды, встретив меня на площади Пушкина, он сказал мне несколько очень уважительных слов о великом поэте, а потом заключил:

— Гений!

Потом, полусерьезно, полушутя, как это у него почти всегда бывало, добавил:

— Я вот все думал раньше — как хорошо быть гением!.. Ну вот стал им и, что ты думаешь, рад, что ли?!

Эта ирония нередко явственно ощутима в его стихах:

Как великий поэт
Современной эпохи,
Я собою воспет,
Хоть дела мои плохи...

Когда у меня не было настроения для шуток, а Николай Иванович продолжал их, я говорил ему очень серьезно: «Коля, хватит острить. Давай поговорим серьезно».

И он становился внимательным, сосредоточенным и серьезным.

Очень часто его ироничность скрывала его глубокие внутренние переживания. Глазков как бы надевал маску, которую мог не снимать неделями. Она стала его второй натурой, настолько естественной казалась для него.

Невозможно было уловить, где он говорит всерьез, а где — шутит. Он сам точнее всего сказал о себе и о поэзии такого рода в «Гимне клоуну»: «Надо быть очень умным, чтоб сыграть дурака!..»

В свете таких строк становятся понятнее многие его иронические стихи, такие, скажем, как «Ворон», «Волшебник», «Ты, как в окно...», «За мою гениальность», «Тапочки», «О литературных влияниях».

Наиболее самобытные черты поэтического лица Николая Глазкова проявились в стихах, связанных с его биографией, с подробностями его жизни. И здесь самые высокие удачи приходили к поэту в редком и трудном жанре иро-

нической лирики. Стихи, относящиеся к этому жанру, построены, как правило, на парадоксальном сочетании смешного, нелепого и трогательного.

Даже стихи о творчестве у него не обходятся без подспудной иронии, которая так запрятана, что некоторые читатели, не поняв ее, могут подумать о его самовосхвалении, самоутверждении.

Вот как кончается, например, трагическое стихотворение «Боярыня Морозова»:

У меня костер нетленной веры,
И на нем сгорают все грехи.
Я, поэт неповторимой эры,
Лучше всех пишу свои стихи.

Да, здесь можно было бы увидеть и самовосхваление, если не учесть одного: «Лучше всех пишу с в о и стихи!» Ну, конечно же, свои стихи (а не вообще стихи) поэт пишет лучше всех. А кто же напишет его стихи лучше?!

У Глазкова есть немало стихов, полных трагического ощущения жизни. Например, в его «Девятой поэме», которую он множество раз переписывал, перекраивал, убавлял, прибавлял, рассыпал на отдельные стихотворения. Начиналась она необычно:

Современная война
Происходит в городах.
И она похожа
на
Размышленье о годах.
Тех, которые
Ушли ото всех,
Тех, которые
Не знают утех,
Тех, которые
Бога бред...
Моя жизнь — история
Этих лет.

Потом в поэме шли хохмаческие строки о любви. А потом опять удивительно грустные:

Движутся телеги и калеки,
Села невеселые горят.
Между ними протекают реки.
Реки ничего не говорят.

Рекам все равно, кто победитель,
Все равно, какие времена,
Рекам, им хоть вовсе пропадите —
Реки равнодушнее меня...

А потом шли частушки о союзниках, тянущих с открытием второго фронта:

Ура! Да здравствует
Союзная флотилия.
Она десантствует
На острове Сицилия.
Победоносно
Входит в города...
Лучше поздно,
Чем никогда!..

Конечно, это смешно, но ведь и горечь в этом есть необыкновенная. Ведь пока они тянули с открытием второго фронта, сколько наших солдат погибло, защищая Европу...

Глазков любил необычное в обычном. Его лирический герой может совершать в стихах, казалось бы, алогичные поступки, парадоксально говорить и мыслить. Но при всей этой необычности поэт постоянно оставался в них самим собой — добрым, простым, естественным. Стремление к этому он неоднократно подчеркивал:

Искусство бывает бесчувственным,
Когда остается искусственным,
А может быть сильным и действенным:
Искусство должно быть естественным!

Сила поэзии Николая Глазкова — в этой естественности его стихов, при всей их необыкновенности, в доброте помыслов самого поэта, при всей их ироничности, в мудрой его наивности, в обнаженности души, в кажущейся ее беззащитности, которая, однако, этим и защищена от корысти, ханжества и всего того, что несовместимо с настоящей поэзией.

Николай Глазков до последней минуты жизни жил поэзией, ставя ее выше всего, зная, что высокое звание поэта ко многому обязывает.

И все-таки звание человека он ставил еще выше. Недаром в одном из стихотворений он написал:

Поэтом стать мне удалось.
Быть человеком — удавалось...

Как замечательно сказано!

Юлий Крелин

ИГРА

Я знал, на что иду. Отец мой — врач, и мне с детства дано было знать, что многих из близких придется сопровождать в последние дни пребывания в нашем мире, даже если многие годы приходилось встречаться походя, от случая к случаю, а то и вовсе не видаться.

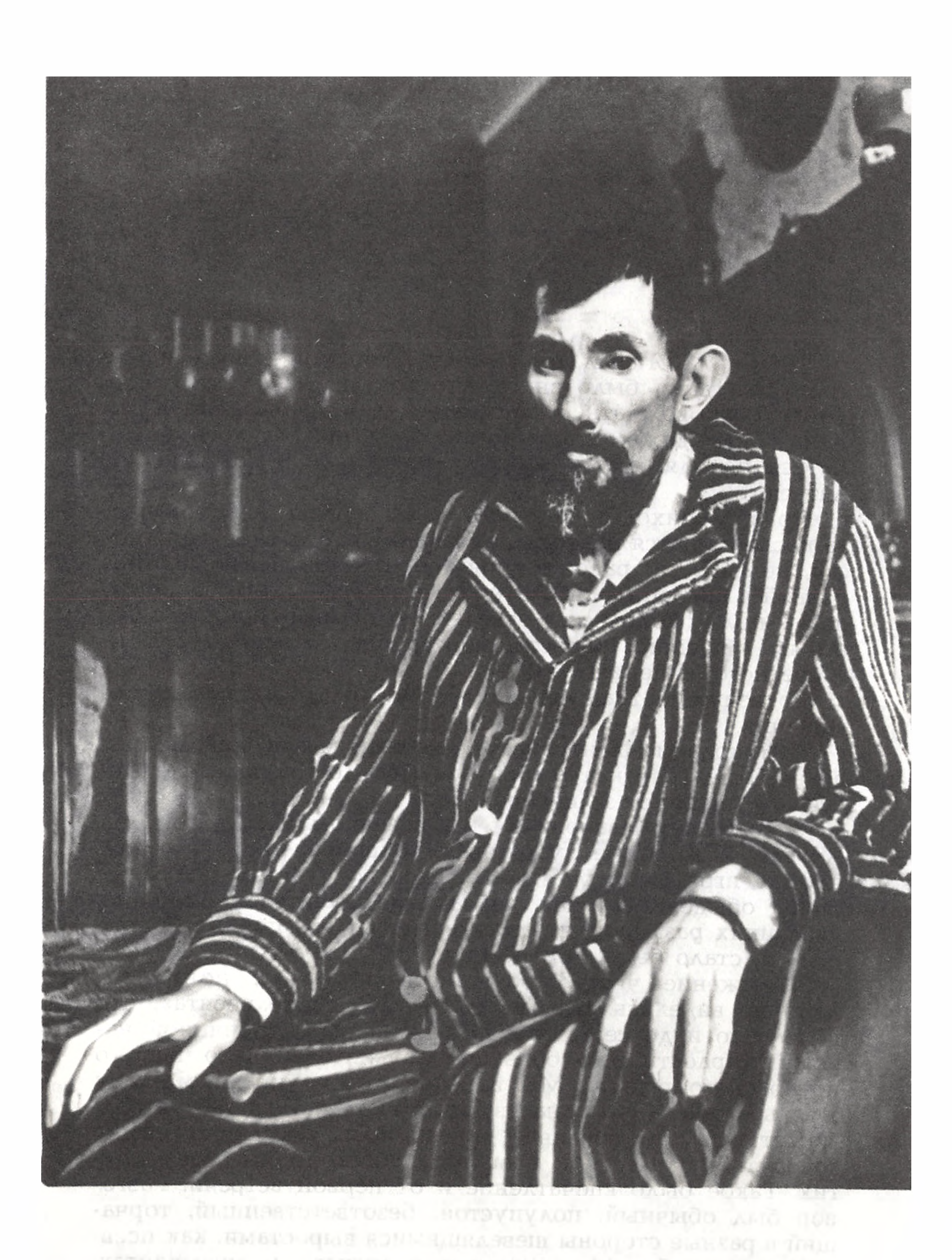
Но вот приходит болезнь... Если болезнь не смертная, то после остается радость от сознания собственной нужности, полезности; радость вновь обретенной близости, утерянной в прошлом мимолетностью человеческого общения, из-за малого количества отведенного нам времени для суетных общений; радость понимания в необходимости и суетного общения.

Болезнь смертная меньшему учит — зато чистые воспоминания.

С Николаем Ивановичем Глазковым мы познакомились в дни, когда Москва говорила о молодом победителе фестиваля, пианисте Клиберне.

С Николаем Ивановичем мы познакомились в доме на Арбате, в квартире художника Гришина, тоже Николая, слушая игру Клиберна, рассевшись вокруг телевизора не столь обыденного, как сейчас, и значительно меньше нынешних размеров, что заставляло сидеть поближе к экрану и, стало быть, друг к другу.

Сближение чисто пространственное — мы потом годами не виделись. Все мы были «арбатские ребята», что почему-то и до сегодняшнего дня является причиной неясной гордости для большинства жителей того нашего прекрасного района. Мы все понемногу украшаем нашу жизнь игрой — это одна из игр. Николай Иванович играл, может быть, откровеннее других, или, как любят нынче говорить и к месту и невпопад, «бескопромисснее» других. Такое было впечатление и от первой встречи. Разговор был обычный, полупустой, безответственный, торчащий в разные стороны шевелящимися выростами, как псевдоподии амебы. Мы говорили о музыке и музыкантах, медицине и врачах, о физической силе каждого из нас



Из последних фотографий

и общей слабости... Про поэзию не говорили, хотя стихи Глазкова в то время перелетали от одного к другому, от дома к дому...

И более четверти века мы встречались мимоходом, мы кивали друг другу издали, порой касались друг друга ладонями, перекинувшись парой ничего не значащих слов. При встречах видно было, что он продолжает свою, какую-то одному ему ведомую игру: то предлагал помериться силой, то вдруг начинал рассказывать что-то несусветное — или я просто не мог понять его. Игры его велись в местах вовсе для этого не предназначенных — где-нибудь в Доме литераторов, в издательствах, поликлинике. Жизнь шла.

И вот мы оба уже давно не на Арбате, оба в бывшем Подмосковье, а ныне в Москве, в Кунцеве,— у него тут дом, квартира; у меня работа, больница. И вот мы оба опять в одной комнате, как когда-то у Коли Гришина, только ходит Николай Иванович с трудом, опираясь на костыли, поскольку больная печень, нарушив кровообращение во всем организме, и скопившаяся в большом количестве жидкость в животе не дают ему свободно двигаться, дышать, нормально существовать — он может только работать, то есть сидеть за столом с машинкой. Трудно, но, по-видимому, иначе он жить не может; по-видимому, работа для него — как дыхание. Я прихожу — он за столом. Я в дверях прощаюсь, а из комнаты уже доносится стук машинки.

Он ждет меня, потому что я должен освободить его от жидкости, скопившейся у него в животе. Он ждет меня, потому что мистически боится всякого «дурного», кто норовит прикоснуться к нему любым, с моей точки зрения, самым безобидным инструментом, скажем, иголкой для взятия из пальца крови для анализа. (Или это тоже какая-то игра?) И так же мистически абсолютно спокойно разрешает мне достаточно неприятные действия инструментами, пугающими своим неприглядным видом,— они во сто крат страшнее безобидных иголок для анализов. Он спокойно и доверчиво ждал меня, позволял делать все, что я нахожу нужным. Говорят, его так трудно было лечить. Мне было его лечить так легко. И в этом не было моей заслуги. Мои профессиональные качества тут были ни при чем — это отвечало каким-то его собственным представлениям о жизни и тоже входило в какую-то его игру, которой он оставался верен до конца.

С игрой он подходил и к работе, засыпая меня последние месяцы, дни своей жизни акростихами на имена моих детей, жены. С игрой он подходил и к лечению, придумав

какой-то странный ритуал перед тем, как я должен был прикоснуться к нему своими орудиями помощи. По-видимому, я и мои инструменты входили своей составной частью в тот игровой ритуал, который помогал ему лечиться, жить, работать. Если ритуал был соблюден, очередная, достаточно неприятная манипуляция проходила спокойно. Я выпускал ему жидкость из живота, и при этом мы отвлеченно (относительно отвлеченно, конечно) беседовали с ним о том, что и Бетховену то же самое проделывали неоднократно, что в то время эту процедуру не называли столь вежливо — «манипуляция», а считали достаточно серьезной операцией, что она тогда выглядела не в пример трудней — и оба были довольны собой. Он играл — я поддерживал игру. (А может, я тоже включился в нее не только объектом, но полноправным партнером, поддавшись его влиянию?)

Лишь только я успевал закончить, лишь только я успевал наложить повязку, как он вновь спешил к своему станку, к столу. По-моему, эта торопливость диктовалась лишь правилами все той же его игры, составной частью все того же придуманного им ритуала.

Наверное, это помогало жить, лечиться, работать, умирать.

Ему становилось все хуже и хуже — он почти не дышал, я не понимал, откуда ему сил доставало сидеть за столом. Но, наверное, он так себе придумал, так счастливо себе придумал.

И надо же, чтобы на фоне угасающей печени, все ухудшающегося кровообращения, затрудненного дыхания, нарастающих отеков, надо же, чтобы пало на него еще и ущемление грыжи. Это уже была фатальная катастрофа. Шансов на жизнь почти не оставалось. Оперировать теоретически невозможно, практически не оперировать нельзя — непереносимые боли, неминуемая смерть заставляли использовать ничтожную долю шанса спасти его операцией.

Видит небо, как я не хотел и боялся операции: я хотел не быть в Москве, заболеть, исчезнуть, лишь бы миновала меня моя обязанность.

Николай Иванович ждал меня, несмотря на боль, он отказывался ехать в другую больницу. Я входил в его ритуал, и мы до конца должны были пройти путь вдвоем. Что и говорить, мне было только страшно, ему было больно, плохо, тяжело, ужасно. И все-таки он, страшившийся маленькой иголочки для пальца, спокойно сказал, что раз надо обязательно оперироваться — он готов. Он сказал мне, что готов ехать в мою больницу оперироваться, благо что она рядом... Только ко мне — опять та же иг-

ра в ритуал... По-моему, я был очередной игрушкой в его жизни. Даже в свой смертный час он себе не изменял.

И действительно, если уж придумал себе в жизни какую-то игру, надо прожить так, чтобы хватило сил довести ее до конца. На всю жизнь. Хочешь есть щи — проси деревянную ложку. У него хватило сил довести свою игру до самого конца.

Наверное, и в этом должна проявляться сила человеческая.

Содержание

От составителя 5

Е. Сидоров. Повесть о небывалом человеке *(Вместо предисловия)* 6

С. Наровчатов. Слово о Николае Глазкове . . . 13

Б. Слуцкий. Лицо поэта 15

I

С. Штейн. Воспоминания соседа 21

А. Попов. Здравствуй, Коля! 42

Е. Веденский. В школе и позже 54

Б. Шахов. Беглый набросок с Николая Глазкова 68

А. Терновский. Что запомнилось 73

Ю. Долгин. В сороковые годы 95

П. Незнамов. «В спасопесковской тиши я...» . . 110

Н. Шахбазов. Вспоминая Глазкова 111

Р. Достян. Поэт изустной славы 117

II

С. Блинцовский. Мой друг — Коля Глазков . . 129

Л. Курылев. Осень сорок первого 137

Л. Шерешевский. «Он молодец и не боится!» 140

Л. Шерешевский. Николаю Глазкову 164

К. Ларкина (Русинова). Те, которые непохожие 166

Р. Заславский. Мой стародавний друг 173

Р. Заславский. «Издайте настоящего Глазкова!..» 194

Письма военных лет Л. Ю. Брик, В. А. Катаняна, С. Наровчатова, М. Луконина 195

III

Л. Либединская. И его зачислят в книгу небывалых стихотворцев 213
В. Шорор. В ботинках без шнурков 222
Г. Шурмак. В трудном сорок шестом 232
М. Павлова. Глазков, каким я его знала 238
Н. Бялосинская. Так всегда 242
К. Ваншенкин. Коля Глазков 255
А. Межиров 259
Г. Куницын. Необычный посетитель 261
Л. Федорова. Как молоды мы были 271
Л. Озеров. Чем порадуешь меня? 282
Я. Хелемский. Свиданья наши долги 289
Е. Ильин. Спортивные страсти по Глазкову . . . 290
Ю. Авербах. Гроссмейстер не обиделся 301
М. Шевченко. «Он не столько знаменит...» . . . 305
Л. Нестеренко. О моем друге 311
М. Козаков. Тот августовский день 316
Б. Окуджава. «Тот самый двор, где я сажал березы...» 317
В. Кузнецов. Сосед и земляк 318

IV

Н. Панченко. Судьба Николая Глазкова 323
Ст. Рассадин. Человек, разговаривающий с дождем 326
А. Вознесенский 331
В. Строева. И поэт, и актер 332
В. Бурич. Антигерой 341
С. Поликарпов. Почетный гражданин Поэтограда 347
А. Жамбалон. Дружба, скрепленная творчеством 355
М. Мусиенко. Уроки поэта-переводчика 357
Д. Паттерсон. Памяти поэта Николая Глазкова . 365
Т. Вульфович. С утра до вечера (всего одна встреча с поэтом) 366
В. Цыбин. Ощущая мир во всем величии 377
И. Волобуева. В одной из поездок 384
П. Вегин. Царапина 388
М. Лисянский. Николай Глазков 391
О. Дмитриев. В глубине двора, на Арбате . . . 393

Д. Самойлов. У врат Поэтограда 397
Е. Евтушенко. Скоморох и богатырь 405
Э. Межелайтис 410
Б. Сарнов. Вечный раб своей свободы 411

V

Р. Глазкова. Непредсказуемый человек 443
Е. Храмов. Предисловие к книге Николая Глазкова 466
В. Одноралов. Счастливый свидетель 467
А. Аронов. Авторство одолевает варварство . . 478
Ю. Окунев. Нет Ксени Некрасовой, нет Коли Глазкова 481
О. Наровчатова. Во имя счастья, а не горя . 483
Д. Кугультинов 493
Ю. Петрунин. Поэт Северной дороги 494
С. Рыжов. «...Быть самим собой!» 498
Н. Дмитриев. «Неразлучны Глазков и апрель...» . 511
Н. Старшинов. Сужу о друге по вершинам . . . 513
Ю. Крелин. Игра 519

На шмуцтитулах к разделам книги помещены портреты Николая Глазкова и дружеские шаржи на него разных лет:

1-й раздел — рисунок А. Тышлера.
2-й раздел — рисунок И. Глазунова.
3-й раздел — дружеский шарж И. Игина.
4-й раздел — дружеский шарж В. Алексеева.
5-й раздел — рисунок В. Алексеева.

На первом форзаце — Н. Глазков выступает перед читателями Тамбова. Конец 60-х годов.

На втором форзаце — Н. Глазков в рабочем кабинете. Одна из последних фотографий.

Составители:

Росина Моисеевна Глазкова

Алексей Васильевич Терновский

ВОСПОМИНАНИЯ О НИКОЛАЕ ГЛАЗКОВЕ

Сборник

Редактор Л. Б. ВОРОНИН

Художественный редактор В. В. МЕДВЕДЕВ

Технический редактор Н. В. СИДОРОВА

Корректор Н. П. ЗАДОРНОВА.

ИБ № 6431

Сдано в набор 02.02.88. Подписано к печати 05.01.89. А 05403. Формат 60X90 1/16. Бумага офс. № 1. Гарнитура «Балтика». Печать офсетная. Усл. печ. л. 33,0. Уч.-изд. л. 29,0. Тираж 50000 экз. Цена 2 р. 40 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11.

Диапозитивы текста изготовлены на Минской полиграфической фабрике «Красная звезда» МППО им. Я. Коласа, 220079, Минск 1-й Загородный пер., 3.

Минская фабрика цветной печати. 220115, Минск, Корженевского, 20. Заказ № 392.

Воспоминания о Николае Глазкове: Сборник,—
В 77 М.: Советский писатель, 1989,— 528 с.

„...Ибо сам путешественник, и поэт, и актер",— сказал как-то о себе Николай Глазков (1919-1979), поэт интересный, самобытный. Справедливость этих слов подтверждается рассказами его друзей и знакомых. Только сейчас, после смерти поэта, стало осознаваться, какое это крупное явление — Н. Глазков. Среди авторов сборника не только известные писатели, но и кинорежиссер В. Строева, актер М. Козаков, гроссмейстер Ю. Авербах... В их воспоминаниях вырисовывается облик удивительно своеобразного художника, признанного авторитета у своих собратьев по перу.

В $\dfrac{4702010206-058}{083(02)-89}$ 159—88

ББК 83 ЗР